

ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Игорь Шкляревский*
Стихотворение
из новой книги

● *Марат Басыров*
Жэ-Зэ-эл
Роман

● *Ната Сучкова*
Монохромная страна
Стихи

● *Дмитрий Стахов*
Свет ночи
Роман

● *Ефим Бершин*
Неевклидово пространство
Переписка Инны Лиснянской и Елены Макаровой



9'2016

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.07.2016.
Подписано в печать 25.08.2016.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 3551. Цена свободная.

Дружба народов 9'2016

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Проза и поэзия

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. Стихотворение из новой книги	3
Марат БАСЫРОВ. Жэ-Зэ-эл. Роман	4
Илья ФАЛИКОВ. По касательной. Стихи	78
Дмитрий СТАХОВ. Свет ночи. Роман	82
Вера ЗУБАРЕВА. Если ты в этот миг одинок. Стихи	158
Дмитрий ВЕРЕЩАГИН. Заманиловка-2. Рассказы Сергея Иванова	161
Александр ЗОРИН. Глубже земных красот. Стихи	178
Анна АРКАТОВА. Я знаю пять имен девочек. Рассказ	181
Владимир ЕРМАКОВ. Нелюдимые русские веси. Стихи	190
Алексей ФЕДЕНКО. Рассказы	193
Александр ЕВСЮКОВ. Рассказы	198
Ната СУЧКОВА. Монохромная страна. Стихи	207
Адриан ТОПОРОВ. Фарт. Рассказ	210

Публицистика

Александр НИКУЛИН, Екатерина НИКУЛИНА. Москва: из «большой деревни» — в «мегасело»	215
--	-----

Нация и мир

ГЛАЗАМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ	
София БАХУРИНА. Нервных тут не понимают	224

Критика

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	
Ефим БЕРШИН. Неевклидово пространство. Заметки на полях	234
ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР	
Евгений АБДУЛЛАЕВ. О рейтингах и «борьбе за потребителя»	245

Дружба на вырост

Ольга БАЛЛА. В первый и единственный раз	249
--	-----

Эхо

Решетка, маски, узость дорожки. Читая Татьяну Любецкую.	
Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	254
Summary	256

Игорь Шкляревский

Стихотворение из новой книги

* * *

Я люблю ловить язей,
собирать в оврагах грузди,
тихой ночью в захолустье
слушать шорохи дождей.

Это всё, что мне осталось,
и не дай мне Бог на старость
много денег и друзей.

Деньги юности лишают,
а друзья уже мешают
слушать шорохи дождей.

Шкляревский Игорь Иванович родился в 1938 году в поселке Белыничи Могилевской области в семье школьных учителей. Учился в Литинституте (1965). Автор многих стихотворных книг. Переводчик «Слова о полку Игореве». Лауреат Госпремии (1978), Болдинской (1997), Царскосельской (1998) и Пушкинской (1999) премий РФ. Живет в Москве.

Марат Басыров

Жэ-Зэ-эл

Роман

Алик

1

Алик немного манерный, мягкий, можно даже сказать, кроткий, и в то же время он частенько бывает наглым. Кажется, он и сам дивится этой своей наглости: «Но ведь могу же!» — всем своим видом как будто говорит он себе и другим. Правда, с оглядкой: не переборщить бы, не получить бы леща за эту наглость.

Я познакомился с ним у Коли Сергеева, который собрал нас у себя дома. Когда я пришел, в комнате было уже человек шесть. Никто никого не знал; в тесном, плохо освещенном пространстве царила общая растерянность, а тут еще открылась дверь и вошла женщина, по всей видимости, мать Сергеева. Уперев руки в бока, она заявила: «Ну-ка, господа, быстренько предъявили паспорта!»

Всех собравшихся за столом охватило еще большее замешательство. Такого никто не ожидал. В самом деле, что за шутки, какие еще, к черту, паспорта? Сергеев поднялся со стула и попытался выпроводить мать за дверь, но та уперлась. Она не хотела уходить просто так, не заглянув в наши документы. Пока они, стоя у двери, толкались, а народ втягивал головы в плечи, я под весь этот сыр-бор пробрался в коридор и выскочил на лестничную площадку перекурить. Здесь и столкнулся с выходящим из лифта Аликом.

Он был худой и немного нервный. Его глаза горели мутным огнем, словно он только что выпил пару чашек крепкого кофе. В уголках его губ бледной пенкой запеклась слюна. Я потом заметил, что она у него всегда там запекалась, но он не обращал на это внимания. Так и ходил с белым налетом на губах.

С ним была совсем юная девчонка, на вид — лет шестнадцати, но держалась она независимо, как будто пришла сама по себе. Мне она сразу понравилась, так же как и Алик. В них было то, что я искал в людях: они совершенно не заморачивались тем, как выглядели и что говорили. И еще они постоянно смеялись. Смеялись и смотрели

Марат Басыров родился в Уфе. После армейской службы учился в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. Работал осветителем на киностудии, электромехаником по лифтам, риэлтором, строителем. Публиковался в различных альманахах. В 2012 году вышел совместный с Оксаной Бутузовой роман «Изолофобия», выпущенный издательством «Площадь Искусств». В 2014 году роман «Печатная машина», изд. Лениздат, вошел в короткий список премии Национальный бестселлер.

на меня, словно приглашая присоединиться к их смеху. Я рассказал им про мать Сергеева и про паспорта — здесь, на гулкой лестничной площадке, смех звучал особенно раскатисто.

Когда, покурив, мы вернулись в комнату, никакой матери уже не было. Все сидели вокруг стола, настороженно глядя друг на друга.

— Сначала чай или стихи? — спросил хозяин.

Вот те раз, чай! А я-то уж подумал, что мы будем пить мужские напитки.

Алик был удивлен не меньше моего. «Сначала паспорта, затем чай, что за детский сад?» — говорил его озадаченный вид. Впрочем, он тут же махнул рукой: почему бы и правда не сделать передышку? Конечно, отсутствие алкоголя — штука пренеприятная, но ведь это всего лишь эпизод, к тому же по опыту кратковременный.

— Так что, чай или стихи?

— Да без разницы, Сергеев, как тебе будет угодно.

Все облегченно закивали, заерзав на стульях. Тут было пятеро парней и четыре девушки. Или наоборот, мне было все равно. Остановив свое внимание на Алике, я уже не замечал других. В комнате горел торшер, косо падали тени. Меня охватило какое-то странное чувство соучастия, сговора.

— Ну так что?

— Николай, давай уже чай, — улыбнулся Алик. — Если действительно нет ничего покрепче.

— Покрепче нет, — проговорил Сергеев по слогам, отсекая все возможные возражения.

Когда он ушел готовить напиток, в комнату снова просочилась его мамаша.

— Так будем паспорта показывать или нет? — завела она ту же пластинку, вопросительно оглядывая наши лица.

— Будем, — сказал Алик и, встав, начал расстегивать ширинку.

Мать Сергеева, растерявшись, вытаращила глаза. Она хотела что-то сказать, но подходящих слов не было. Так и не найдясь, женщина погрозила пальцем и вышла, хлопнув дверью.

Потом мы пили в тишине горячий чай, слышны были только хруст сушек и шаги по коридору. За окном выла вьюга, а нам было тепло и уютно, как будто мы давно искали и вот наконец нашли друг друга.

Дело дошло и до стихов. Все читали по кругу, по два-три стихотворения, а когда наступил черед Алика, он прочитал рассказ.

Рассказ был большим, он не уместился в пределах этой комнаты, как будто привычный ее объем вдруг начал расширяться каким-то совершенно невероятным образом. Текст не был ярким или взрывным, он просто развивался по своим законам. Он рос с каждым предложением и постепенно набирал мощь, становясь огромным и разрушая к чертовой матери эти стены! И тогда я понял, что Алик самый значительный из всех, кого я до сих пор встречал. Когда он закончил читать, Сергеев только крикнул, как утенок, попавший под гусеницу танка. Наступила тишина, а потом настала моя очередь, и я выдал пять своих лучших стихотворений.

2

В то время я обитал в общежитии в Автово, а мой новый приятель Алик — в однокомнатной квартире на Гражданке. Потом я узнал, что она принадлежала отчиму, который жил с его матерью в их «двушке». Как я уже сказал, Алик был худой, повыше среднего, с впалой грудью и тонким большим носом — его любили все женщины, которые его знали, и даже те, с которыми он был едва знаком. Парни, кстати, тоже его обожали. Бывают такие люди — они нравятся всем. Даже завистники не могли скрыть свою симпатию. Он всех покорял своим обаянием.

Я долго не мог понять, в чем причина такого однозначного отношения к нему. Чем он подкупал, чем заслуживал любовь? Может быть, дело в том, что его невозможно было представить хамом, или подлецом, или тем же завистником. Этот человек был настолько обаятелен и честен во всех своих проявлениях, что располагал к себе сразу же, с первых минут. Ему невозможно было отказать, а он ничего и не просил, в то время как вам хотелось обязательно что-нибудь для него сделать и вы ждали, что он обратится с просьбой, например одолжить денег или помочь советом, но он только улыбался и говорил, говорил, не переставая, однако в его словах не было ничего такого, что вы могли бы тут же исполнить.

Он жил один, время от времени приводя девушек. Иногда в его квартире оказывались сразу две, но одной все равно приходилось ретироваться, так как он был консервативен в плане секса: никаких девушка-парень-девушка или, не дай бог, парень-девушка-парень. Он занимался сексом на отчимовском канapé, после чего курил в постели, а затем мог и почитать: пока его партнерша спала, он уходил на кухню и там сидел на табурете, поджав колени, надолго забывшись в толстенном томе Стерна или Рабле.

Ко времени нашего знакомства Алик нигде не работал и не учился — просто жил, питаясь своей молодостью. Его старый чумазый холодильник, бывший когда-то белоснежным, временами каким-то волшебным образом рожал продукты. Алкоголь приносили друзья и девицы, с этим тоже не было никаких проблем. Если ему и нужны были деньги, то только на сигареты. Он курил тогда «Пять звезд», которые считал эстетскими, потому что при чрезвычайной дешевизне у них был вполне приличный вкус.

Мы очень быстро с ним сошлись, буквально стремительно, как, наверное, сходятся в космической ракете, когда вокруг безвоздушное пространство, а жизнь только здесь, рядом друг с другом.

Алик сразу же закатил вечеринку в честь нашего знакомства, назвав его общим днем рождения. Я ехал к нему на другой конец города по первой линии метро, на которой впоследствии произойдет размыв, и тогда, чтобы добраться до Алика, нужно будет выходить на «Лесной» и пересаживаться в автобус, а затем, проехав несколько остановок, снова нырять под землю на «Площади Мужества». Но пока линия была непрерывна, вагоны покачивались и, разогнавшись, с веселым грохотом несли меня к нему. Только-только закончилась зима, и весна, робкая, как девочка, входила в накуренную комнату, полную пьяных парней.

Алик встретил меня так, словно мы были друзьями детства. Меня сразу же поразило его ненапускное радушие. Едва войдя в квартиру, я тут же ощутил себя желанным гостем.

Кроме Алика, здесь был еще один парень — рыжий, с гусарскими усами и такими же озорными огоньками в глазах. Он говорил со вкусом, немного грассируя, и поглядывал в зеркало, висящее на стене, словно мимолетом любуясь собой. Его звали Шульц, и он был ментом.

«Вот это номер», — сказал я себе, когда узнал о месте его работы. Шульц совсем не был похож на мента, хотя я бы, наверное, не удивился, увидев его в машине ППС, — это выглядело как парадоксально, так и вполне логично. Отныне все было возможным, и я уже не удивлялся ничему.

Впрочем, Шульц был не простым ментом, а тоже, как и Алик, писал рассказы. Сидя на стуле, он все время цитировал какие-то забавные фразы из собственного творчества, с которым я пока не был знаком, но уже предвкушал нечто необычайное. Теперь все, что было связано с Аликом, таило в себе если не вселенскую глубину, то уж точно небольшую бездну.

Гостей было немного, пришли еще две девушки, одна из которых оказалась той самой, бывшей с Аликом у Сергеева. Помнится, мы вышли тогда на улицу и, окунувшись в вихрящийся снег, поплыли по нему к далекому метро, как крохотные суденышки — к большой земле.

Ее звали Тася, у нее были ахматовский профиль и низкий грудной голос. Она встретила меня как старого знакомого, обняв и расцеловав в щеки.

Другая была Аня, высокая, с отличной фигурой. Она немного стеснялась или делала вид, что смущена. По ее словам, ей было неловко, что она единственная из всех собравшихся никак не проявлялась творчески. Аня не писала, не пела и даже не танцевала, зато, как выяснилось скоро, очень любила кино и со временем хотела бы попробовать его снимать. Этого было достаточно: мы все любили кино не меньше, чем литературу, но больше всего — красивых девушек.

В тот день мы напились так, как напивались только герои Генри Миллера и Чарльза Буковски. Эти имена звучали весь вечер, эти и другие, они наполнили маленькую кухню, и пусть в окне маячили кирпичные девятиэтажки Гражданского проспекта — у нас шумел Париж и гудел Лос-Анджелес. Тут были два пьяных писателя, самый прикольный на свете коп и две смешливые подруги. Мой чертов локоть касался нежной груди одной из них, и в штанах было твердо и мокро, и все время хотелось счастливо смеяться и плакать от нежности, и целовать того, кто был рядом.

Я не помнил, как оказался с Тасей в комнате, как я вообще оказался с ней, на ней и даже в ней. Потом она гладила мою голову, что-то приговаривая, будто бы утешая. Она просила меня успокоиться, тихо убеждая, что хватит и одного раза, что больше нет презерватива, а без него она не даст. Без него она не даст никому, даже самому Генри Миллеру. Все остальные сидели на кухне, и только Шульц, как выяснилось потом, ушел за пивом, да так и пропал.

Понемногу придя в себя, я почувствовал, что, возможно, перегнул палку. Возможно, никто из собравшихся в этот вечер не предполагал такого развития событий, что оно было нежелательно и, более того, недопустимо. Меня охватил стыд, хотелось тут же собраться и уйти, однако, встретившись глазами с Аликом, я понял, что все в порядке. Аня сидела у него на коленях, они радостно замахали мне, словно мы не виделись целую вечность. Где ты пропадал, парень? О, можешь не говорить, мы все знаем! Мы все про вас знаем!

Как выяснилось, Тася была тут не впервые и чувствовала себя едва ли не хозяйкой. Она набрала полную ванну горячей воды и, раздевшись, погрузилась в нее. «Тут хватит места для меня?» — спросил я. «Конечно, залезай!» — ответила она. И я последовал за ней.

Неожиданно на краю ванны появилась бутылка пива, словно ее откуда-то издалека телепортировал нам Шульц. Мы сидели в горячей воде, друг против друга, и отхлебывали из холодной бутылки, передавая ее из рук в руки. На кафельной стене было выведено черным маркером: «Я поеду с тобой на край света, лишь бы там была ванна». И еще: «Помни, ты на восемьдесят процентов состоишь из того, в чем сейчас находишься».

Не знаю, как насчет воды, но алкоголя в нас было предостаточно. Когда вода остывала, мы подливали горячей, она переливалась через край на пол, и я никак не мог нащупать пробку под Тасей, все время натыкаясь на ее промежность.

Шульц так и не вернулся. Алик постелил нам на полу, в углу комнаты. Аня легла вместе с ним, и минут через пять после того, как выключили свет, до нас донеслись характерные звуки соития. «Ладно, — прошептала мне Тася, когда они включились на полную мощность, — давай без презерватива». Я мысленно поблагодарил Алика и притянул ее к себе.

Потом мы курили, сидя на полу рядом с нашим матрацем, в тесном кружке,

почти касаясь друг друга. Все подробности поглощал полумрак, лишь четыре огонька, как светлячки, танцевали в ночи.

Кажется, Алик с Аней пошли на следующий заход, а я обнял Тасю и, прижавшись животом к ее спине, погрузился в глубокий сон.

3

Порой Алик бывал невыносим. Кажется, он серьезно верил в свой талант и считал, что это его кое к чему обязывает. Например, к тому, чтобы быть отъявленным эгоистом. Иногда я просто недоумевал, насколько глубоко он в этом завяз, а иногда завидовал его умению замкнуться и сосредоточиться на главной цели своей жизни. В том, что он писатель, не сомневался никто, но вот какой Алик писатель — тут мнения начинали разниться.

Одни говорили, что он едва ли не гений, — настолько их гипнотизировали его рассказы. Другие утверждали, что путь, по которому он пошел в своем творчестве, рано или поздно заведет его в тупик. Были и такие, которые просто молчали, не зная, что сказать. Что касается меня, то, будучи его другом, я был убежден в том, что он когда-нибудь станет отличным писателем.

Обычно он начинал готовиться к писанине загодя. Ему нужна была, по крайней мере, пара дней, проведенных в уединении, в тиши своей квартиры, чтобы настроиться на нужный лад. Что он делал в это время, чем занимался, никто не знал. Он становился другим человеком, от всегдашнего его радушия не оставалось и следа. Как-то раз мы просидели перед его дверью три часа, умоляя открыть, но он просто забил на нас и на наши сумки, полные вина. Он готовился стать великим писателем, там, за дверью своей квартиры, в то время как мы ему в этом активно мешали. Вот этого я понять не мог, вернее, мог, но не хотел, потому что сам, в отличие от своего друга, был катастрофически нечестолобив. У него же была мечта, была цель, и он, конечно, напился бы с нами, но не в этот день. Не в эти четыре дня.

Потом он читал мне свой новоиспеченный рассказ, и я испытывал такую гамму чувств, что, если бы разбирался в нотах, мог бы, наверное, запросто сложить из них симфонию. Тут было все: и восторг, и разочарование, и радость узнавания, и скука. Иногда, слушая, я ловил себя на том, что выпал из контекста и вообще уже давно не слежу за тем, что там происходит, и текст развивается где-то вдалеке от меня, не задевая моего восприятия. Его рассказы были долгими и тягучими, как эти четыре дня заточения, словно он уложил их длину на бумагу, обратив минуты в строки, а часы в абзацы. Читая, он бросал на меня взгляд, и приходилось быть начеку, чтобы не вывалиться из образа внимательного слушателя, — мне было лестно, что я был первым, чьему слуху он вверял свои творения, и только ради этого я готов был терпеть эту пытку.

В своей писанине он ориентировался на Марселя Пруста, Джеймса Джойса, Владимира Набокова. Из современников ценил Сашу Соколова, Андрея Левкина и Валерию Нарбикову. Еще он обожал Генри Миллера, хотя того же Хемингуэя считал слишком простым и мужиковатым. Любил Жана Жене, Раймона Кено, Джерома Д. Сэлинджера, Габриэля Маркеса и Хулио Кортасара. Можно перечислить еще с полсотни имен, чьи книги он читал или собирался прочесть. Впоследствии он увлекся литературоведением и философией языка, стал изучать Барта и Бодрийера, штудировать Лотмана и Бахтина. Затем наступил черед лингвистики — он все дальше и дальше уходил от того, что его окружало на данный момент, — что он вообще хотел понять? Или от чего бежал? От собственного неумения строить диалоги? От искусственных фабул и картонных персонажей, от неспособности заглянуть правде в глаза? Нет, он был самым талантливым из нас, я и сейчас так считаю. Просто ему не хватало характера. Да, не хватало стержня, чтобы писать так, как он мог бы это делать.

Мы тогда целыми днями просиживали в кафешках и кинотеатрах, спорили об увиденном и прочитанном, знакомились с людьми, клеили девушек. В городе было несколько мест, где собирались такие же молодые бездельники, как мы, более или менее приобщенные к искусству. Алика много кто знал, его везде окликали, хлопали по плечу, кричали через улицу: «Привет, чувак!» Он со всеми был любезен, всем рад и охотно делился сигаретами, даже если у него оставалось меньше половины пачки. Я не мог этого понять. «Что ты будешь делать, когда она закончится в одиннадцать вечера, а сон — чем дальше, тем сильнее хочется затянуться?» — хотелось спросить у него. Что бы он ответил на это? Просто пожал бы плечами. Он никогда бы не пошел в парадное собирать окурки, чтобы, выпотрошив и смешав табак, скрутить полновесную сигарку, как и не выскочил бы на ночной проспект стрелнуть курева у позднего прохожего. Алик мог спокойно оставаться один на один с собственной неудовлетворенностью, с которой давно сжился. Он ко всему относился, как к алкоголю: пил, когда он был, и не пытался во что бы то ни стало найти и продолжить, когда алкоголь заканчивался.

У него была библиотека, но книг из нее он не давал никому. «Это все равно что одолжить на ночь свою любимую женщину», — говорил он, отказывая в просьбе дать почитать. В то же время сам он постоянно что-нибудь читал или просто ходил с книгой под мышкой — Алик любил держать понравившуюся книжку при себе и перебирать длинными пальцами страницы — так нежно, так осторожно, словно усыплял бдительность красотки в намерении незаметно пробраться к ней под юбку. Тут было недалеко до оргазма, ей-богу, это надо было видеть, как он охмурял очередную книжку, прежде чем сполна насладиться ею.

Иногда, засидевшись, я оставался у него ночевать. Вино кончалось раньше сигарет, и мы курили на балконе, глядя на серое море июньской ночи. Небо светлело, постепенно наливаясь синевой, прохладный воздух тревожно пах грядущими переменами, будущими войнами, рождениями детей, смертью близких, встречами и расставаниями, ссорами и перемирием, потерями и хэппи-эндами. А потом всходило солнце, золотое, как наша молодость, и по проспекту гудели первые троллейбусы и пели птицы, но мы уже не видели и не слышали этого, потому что спали в тихой прокуренной комнате.

4

У Алика было много друзей, но так получилось, что я стал самым близким. По крайней мере, мне так казалось, а вот что на этот счет думал он сам, я не знал. Скорее всего, спроси у него, кого он считает своим лучшим другом, он бы назвал того, с кем почти никогда не виделся. Например, Шульца.

В то время мы везде появлялись вместе. Я пытался подражать ему и быть таким же дружелюбным и легким в общении, однако у меня мало что получалось. Алик, в свою очередь, также не перенял от меня ничего хорошего — каждый оставался при своем. Мы были разными, и было непонятно, что нас объединяло, но кто об этом задумывается в двадцать лет?

Итак, мы таскались по кино, кафешкам и разным литературным объединениям. Когда просили что-нибудь почитать, Алик доставал из рюкзака картонную папку, распускал тесемки, завязанные бантиком, и выуживал стопку листов формата А4. Восемнадцать, двадцать, двадцать пять отпечатанных страниц, с пятнадцатисантиметровыми абзацами, не разбавленными диалогами, — продукт последнего пятидневного затворничества. Он начинал чтение, и все вокруг тут же впадало в транс, слушая его ровный голос, который звучал в одной тональности, поглощавшей знаки препинания. В этом было что-то сродни магии, он вполне мог бы заклинать змей или еще каких-нибудь смертельно опасных тварей, если б захотел.

Когда он минут через сорок заканчивал, слушатели открывали глаза и глубоко вдыхали, словно выныривающие на поверхность воды глубинные ныряльщики. По идее в руке каждого из них должно было быть по жемчужине.

Еще мы ходили по его друзьям — музыкантам, художникам и актерам. Любой такой поход приурочивался к какому-нибудь событию: празднику либо памятной дате. Просто так мы не заявлялись. Впрочем, дата могла быть любой: будь то день американской независимости или просто первый день лета. Бывало, узнав о предстоящем солнечном затмении, мы пробирались в сквот, где вместе с бомжами, уголовниками и скинхедами жили его знакомые барабанщики-перкуSSIONисты, чтобы просидеть с ними до ночи со стаканами в руках, ни разу при этом не взглянув на небо.

Он не выпускал из рук блокнота, записывая в него какие-то мелочи, но, насколько я понимал, это была лишь игра на публику, та же самая, что и всегда: я писатель, посмотрите, я не трачу время на ерунду. Или вернее: для меня нет понятия ерунды — я все пускаю в дело, все идет в топку, горит жарким пламенем. «Предупреждаю, — говорил он мне в то время, — лучше молчи! Я использую все, что ты скажешь или сделаешь. Для меня нет ничего святого, никаких тайн, никаких секретов! Ты будешь рыдать, как барышня, умоляя, чтобы я вычеркнул ту или иную сцену, но бесполезно. Ты не проймешь меня слезами. Все на продажу, мой друг! Все на продажу!»

Вот это анджевайдовское «все на продажу!» стало его девизом, его кредо.

Мы больше ни разу не были у Сергеева, зато регулярно виделись с ним на различных литературных посиделках. Сергеев плавно переходил с поэзии на прозу и теперь вместо угрюмых коротких стихов писал такие же короткие угрюмые рассказы.

«Поймите, — почему-то на вы обращался к нему Алик, — нужно писать не что, а как. Не бытие формирует сознание, а, наоборот, сознание — бытие. И если вы думаете, что как — это и есть бытие, то вы глубоко заблуждаетесь».

Сергеев морщил лоб, подозрительно поглядывая на Алика, а не парит ли тот ему мозг, но Алик если кому что и парил, то в первую очередь самому себе.

Что-что, а с содержанием или с сознанием у него было туго. Он не мог выдумать ни одного законченного сюжета, в котором бы герои рождались, любили и умирали без заламывания рук, как в фильмах на заре кинематографа.

Однажды я поспорил с ним, что за неделю напишу сорок рассказов, у которых будет начало и конец, пусть каждый из них и уместится лишь в три предложения. Для меня это было просто, главное — расписать фабулу. Когда через неделю я представил ему все сорок, он вытаращил глаза.

— Ты гений, — сказал он мне.

— Да нет же, с этим любой справится, — ответил я.

Зря я такое сказал. Возможно, с этого момента он начал кое-что понимать о себе — и обо мне тоже.

Но первый раскол произошел у нас из-за женщины. Мы и раньше конкурировали в этом вопросе, но именно эта женщина вбила первый маленький клин в нашу дружбу.

Несмотря на молодость, у нее уже была пятилетняя дочь и сваливший в Израиль муж. Будучи практикующим врачом, он исправно посылал ей нехилые алименты, и на них она преспокойно снимала квартиру и, обеспечивая себя и ребенка, жила в полное свое удовольствие. В число этих удовольствий, кроме всех прочих, входили нечастые вылазки с Аликом в кино. Там-то он меня с ней и познакомил.

Ее звали Людмилой, но она представлялась Милой, словно, оставшись без мужа, срезала косу и теперь щеголяла с мальчишеской прической. Короткие волосы ей бы и правда пошли, они бы еще больше подчеркнули выразительность ее глаз. Но ее волосы были длинными, она собирала их на макушке в пучок и выглядела такой чопорной Одри Хепберн, мимо которой Алик, конечно же, с его-то любовью ко всему изысканному пройти не мог.

— Я видела этот фильм, — приблизив лицо к моему, вдруг тихо произнесла она, когда на экране пошли первые титры.

— Я тоже, — сказал я.

— Тогда пойдем?

Пойдем? Это было неожиданное предложение. Когда мы уходили, я прочитал на лице Алика такое смятение, будто он потерял дар речи. Я лишь пожал плечами на его немой вопрос, сам мало что понимая. Меня вели как на веревочке, и я ничего не мог поделать.

Выйдя из кинотеатра, мы немного проšliсь по улице, затем заглянули в маленькое бистро, где она заказала нам по чашке кофе и по пятьдесят коньяка. Разговор не клеился, мы оба были смущены, и в большей степени я. Все случилось так неожиданно, я чувствовал исходящие от нее флюиды, мне было лестно и в то же время неловко.

— Это из-за Алика? — спросила Мила, когда мы ехали в метро.

— Мне кажется, он влюблен в вас.

— Влюблен? Бросьте! Алик не умеет любить. Может быть, он научится когда-нибудь потом, если повзрослеет.

Она, конечно, верила, что Алик может испытывать к ней теплые чувства. Почему нет? Мила знала, что может нравиться, после отъезда супруга у нее было много мужчин — она рассказала мне, как снимает их в джаз-клубе, на одну ночь, а потом бросает. Или это они ее бросали? Не суть. В общем, она искала богатого еврея, потому что ее бывший был евреем, и теперь мужчин других национальностей для серьезных отношений она не рассматривала.

— Вы еврей? — спросила она у меня, никак не желая переходить на «ты».

— Похож? — усмехнулся я.

— Вы похожи на кого угодно, только не на еврея, — улыбнулась она. — Вы ведь не влюблены в меня?

Несмотря на молодость, Мила была опытной соблазнительницей. Мы дошли до ее дома. «Подниметесь?» — «А дочь?» — «Она у свекрови». Мы поднялись на второй этаж, вошли в темную прихожую. Она будто испытывала меня, делая все медленно, словно ждала, что я накинусь на нее прежде, чем она включит свет, а потом прежде чем снимет сапоги, пальто, подаст мне тапочки. У нее были отличный профиль и точеная фигура, единственно, что с ней было не так, — это плохие зубы. «Ненавижу зубные кабинеты», — поморщилась она. «Как много у нас общего», — сказал я.

— У меня есть одна странность, — снова заговорила она. — Я люблю по-жесткому.

— Это как?

— Это значит, вы должны меня немного побить.

Я смотрел на ее красивое лицо и не понимал, о чем она говорит.

— Побить?

— Да, побить, побить, — немного раздраженно повторила она. — В постели, перед тем как.

— Ты хочешь, чтобы я тебя избил?

— Вы видите разницу между словами побил и избил? — Кажется, она уже была порядочно раздражена.

— Нет, — сказал я и начал одеваться.

Она смотрела, как я зашнуровывал ботинки.

— А вы похожи с Аликом, — произнесла она, когда я выходил в парадное. — Вы такой же слабый, как и он.

— Попроси ты его, уже сейчас бы ходила в синяках, — ответил я и закрыл за собой дверь.

— И ты ушел? — спросил Алик с пола, по которому он катался во время моего рассказа. Но не от смеха, а от сильного потрясения.

— Я не мог так с тобой поступить, брат, — ответил я.

— Да ладно! Неужели ты не трахнул ее только из-за меня?

— Признаюсь честно, не только. Мне совсем не хотелось ее бить. А ты бы как поступил на моем месте?

— Я? — Алик поднялся на ноги и сел на стул. — Сделал бы я ей больно? Конечно! Если это ее возбуждает! Черт, я бы исполнил все, что бы она ни попросила!

— Ты гонишь.

— Нет, нет! Ты меня не знаешь! Ты не знаешь, на что я способен! Я бы сломал ей руку, если бы понадобилось, чтобы с ней переспать! Черт, чувак, на твоем месте должен быть я! Как так случилось, что она выбрала тебя? Какой же я дурень, что познакомил ее с тобой! — Но ты не виноват! — тут же спохватился он. — Ты ушел, поступив как настоящий друг.

— Ты влюблен в нее? — спросил я.

На секунду он задумался:

— Да, конечно. Она мне очень нравилась. Но теперь... теперь я даже не знаю, что тебе сказать.

Конечно, он врал себе и мне — Алик был еще большим пацифистом, чем я, и она это за версту чувала. С этой женщиной ему не светило с самого начала.

После того случая я стал замечать некоторую холодность в его глазах. Внешне мы оставались все теми же неразлучными друзьями, но я уже чувствовал, что он не доверяет мне, как прежде.

5

Спустя полгода он познакомился с француженкой, преподававшей на факультете иностранных языков в университете. Ее звали Ариэль, и в ней было немало арабской крови. Она с трудом говорила по-русски и очень мило картавила, что придавало ей дополнительное очарование. К Алику ее привел их общий знакомый, с ней был еще один парень, которого звали Седрик, с ударением на последний слог. Когда они, выпив вина, ушли, Алик решил написать ей любовное письмо. Он взял с полки «Войну и мир» Толстого и понадергал оттуда некоторые цитаты на французском, где герои объясняются в чувствах. Потом Ариэль говорила, что ни одна фраза не была написана правильно, но Алик перевел стрелки на великого русского писателя. В любом случае такое послание она получала впервые, ход оказался верным, и Ариэль ответила на его внимание.

У них завязался русско-французский роман. Ариэль была нежна, скромна и загадочна. Я считал ее лучшей из всех женщин, бывших когда-либо с Аликом. По сравнению с ним она была богата и в силу плохого знания русского языка немногословна, что опять же являлось плюсом. Ко всему прочему, она жила в Париже, в том самом городе, где творили его кумиры и куда он с ее помощью мог бы попасть, чтобы повторить их путь. Он стал проникаться интересом ко всему французскому: смотреть Годара и Шаброля, слушать Патрисию Каас и Азнавура, читать Сартра и Камю. Конечно, все это он читал, смотрел и слушал раньше, но теперь Алик воспринимал их гораздо ближе, они не казались ему недостижимыми.

Кокто, Габен, Паради, Готье, Монтан, Аджани, Денев, Брессон, Бессон, Влади, Марсо, Матье, Платини, Портман, Мориа, Бомарше, Кубертен, Ферма, Карден, Ришар, Декарт, Бернар, Ардан, Пиаф, Золя, Селин и многие другие соотечественники Ариэль стали занимать Алика едва ли не больше нее самой. Можно сказать, он загорелся Францией, а та, которая зажгла этот огонь, осталась в стороне.

Она ему нравилась, но не более того. За спиной этой девушки маячила такая

культура, которая полностью поглощала ее образ, растворяя без остатка. Глядя на Ариэль, он видел только величественную историю архитектуры, литературы, музыки и кино. Он не мог любить это как свое, он мог только восхищаться замечательной перспективой. Думаю, Алик так и не смог выделить из всего этого блеска простую, в общем-то, девушку, искренне влюбившуюся в него. Возможно, она тоже увидела в нем нечто большее, чем то, чем он являлся, но все-таки ее взгляд был трезвее.

Она свозила его во Францию. Тогда, в девяностые, в нашем кругу такая поездка приравнивалась к полету на Луну. Ариэль познакомила Алика с родителями, водила его по залам Лувра, они сидели в кафешках Монмартра, прогуливались по площади Пигаль, она показывала ему знаменитые набережные и мосты. Он вернулся полный впечатлений, но и вместе с тем опустошенный до предела — так бывает, когда волна, обрушиваясь на каменный берег, взрывается снопом брызг, а потом спадает. Он приехал другим, как будто потерял больше, чем приобрел, утратив по дороге часть своего обаяния. Некоторым людям нельзя никуда выезжать — оторвавшись от корней, они начинают увядать. Я, например, тоже не мог представить Алика в другом месте и в другом формате общения. У него была квартира, где он был полноправным хозяином, — это многое для него значило. Если бы он мог, как улитка, передвигаться со своей жилплощадью на спине, тогда другое дело. Без нее он чувствовал себя неуверенно. Но вряд ли и это было главным. Скорее всего, Алик выжал из этой девушки все и теперь не знал, что с ней делать дальше. Он мог на ней жениться и уехать из страны, но, побывав в Париже, Алик не нашел там того, что искал. Или Париж оказался пустышкой, или пустышкой был он сам.

Как бы там ни было, но после этой поездки отношения Алика и Ариэль постепенно сошли на нет. Он стал отдаляться от нее, все чаще уединяясь в своей квартире под предлогом письма, страсть к которому запылала в нем с новой силой. Теперь он запирался на неделю и больше, набивая на печатной машинке безумно длинные тексты, в которых не было ни одного героя и начисто отсутствовал сюжет. Он читал их на литературных объединениях, куда многие участники, заранее узнав о его чтении, не приходили вовсе, а мнения оставшихся делились пополам. Там были и горячие его поклонники. Ничего не понимая в том, что он делает, они увлекались его страстью, его любовью к письму, к самому процессу. В этом процессе и был смысл, хотя сами тексты не представляли никакой ценности.

После Ариэль его закрутила череда мимолетных интрижек. Все они были такими же бессюжетными и невнятными, как и его рассказы, будто он таким образом упражнялся, чтобы приступить к главному роману своей жизни. Ему нужна была такая героиня, с помощью которой он взобрался бы на неведомую пока высоту. И здесь он не хотел обмануться, это была его последняя попытка сотворить нечто грандиозное.

6

Славно было вернуться к тому, с чего начинал. Перемены касались других, но не Алика. Приходя к нему, я находил его все тем же клевым парнем, с которым можно было выпить вина и поговорить о чем угодно, легко и непринужденно, как в первые дни знакомства. Он снова был таким же милым и обаятельным, все так же по-мальчишески светились его глаза, все было впереди! И я верил, глядя на него, что ничего не потеряно, что жизнь продолжается, большая великая жизнь! И ведь так оно и было!

Долгое время он работал дворником, потом устроился сторожем в театр, а потом, спустя еще пару лет, его взяли продавцом в ларек. Теперь он довольно сносно зарабатывал, продавая часы и батарейки к ним, и даже заслужил особое расположение хозяина. Все это ему нравилось, он был не прочь примерить на себя роль доверенного лица. У хозяина было несколько ларьков, и он ежедневно снимал выручку, и когда по

каким-то причинам не мог, за него это делал Алик. Каждый вечер он пускался в другой конец города на метро по ветке, на которой уже был размыв, и определенный отрезок нужно было проезжать на автобусе. Это было крайне неудобно, но именно в этом автобусе он встретил свою любовь.

Увидев ее впервые, он не осмелился пойти за ней и заговорить, просто стоял и смотрел, как она, выйдя на остановке, переходит улицу и скрывается в арке дома. Он не был уверен, что встретит ее снова, но судьба свела их почти сразу, на следующий же день. И тогда Алик, не искушая фортуны, пошел за ней.

Путь оказался недолгим — подойдя к одному из парадных девятиэтажного дома, она остановилась и вдруг повернулась к нему. То есть она не обернулась, а повернулась вся, словно отдаваясь ему сразу и навсегда.

— Вы меня преследуете, — скорее констатировала, нежели спросила она.

— Преследую, — подтвердил он.

— Хорошо, — сказала она. — Это очень хорошо.

С этого момента все начало развиваться стремительно. Если я напишу, что она въехала к нему в тот же вечер, это не будет выглядеть преувеличением, поскольку так оно и было.

Ее звали Юлей, и она была танцовщицей: миниатюрной, почти хрупкой, с длинными пышными волосами. Не знаю, что Алик любил в ней больше всего: ее точеную, будто вырезанную из жесткого дерева, фигуру, или ее большие, с некоторой безуминкой, глаза, или стройные крепкие ноги, а может быть, волосы, которые она каждый раз укладывала по-новому? Она была всегда веселой и такой жизнерадостной, что, глядя на нее, казалось: в жизни нет ничего, кроме этой радости.

Они сделали косметический ремонт, переклеив обои и постелив новый линолеум. Знаменитое канапе, помнившее тела многих женщин, Алик снес на помойку, туда же отправился диван из кухни, а их место заняли широченная кровать и кухонный уголок. Алик, поднатужившись, даже купил компьютер в довесок к видеодвойке и музыкальному центру. Теперь он мог набирать свои тексты на клавиатуре, но это не упростило процесс писанины: ему недоставало звука шелкающих клавиш, сопровождающих каждую букву, — сухих щелчков, сливающихся в треск цикад, в клекот крылышек саранчи, надвигающейся ровными рядами на белое поле бумажного листа.

Юля, в отличие от всех своих предшественниц, сразу же почувствовала себя хозяйкой. Переставив мебель на свой лад, она установила некоторые правила, которые Алик теперь должен был соблюдать. Во-первых, было запрещено курение в комнате — теперь курить можно было либо на кухне, либо на балконе. Во-вторых, прекращалось систематическое употребление алкоголя — оно становилось упорядоченным. В-третьих, Алик должен был регулярно мыться и стричься, ухаживать за ногтями, ежедневно менять носки и нижнее белье. Ко всему прочему, ему пришлось привести в порядок зубы, чтобы устранить запах изо рта, а также проверить щитовидку, так как Юле показалось, что у него растет зоб. Алик всегда был сублильным, но теперь его худоба воспринималась как ненормальность. Я ждал, когда же в его небольшой квартире появятся велосипедный тренажер и беговая дорожка, а еще двухпудовые гири и трехсоткилограммовая штанга.

— Еще немного, и я тебя перестану узнавать, — сказал я, когда, выходя на балкон перекурить, мы втихую глотали коньяк из тайно принесенной бутылки.

— Не могу ее послушаться. Иначе буду лишен доступа к телу, — ответил он с каким-то несвойственным ему кривым канцеляризмом.

Но все же, несмотря на все эти ограничения, Алик был счастлив — по крайней мере, первое время, растянувшееся примерно на пять долгих лет. Он почти перестал писать. О чем ему было писать? Жизнь вошла в тихое русло и понесла свои воды вдоль ничем не примечательных берегов. Да и потом произошедшие в его жизни перемены так явно выявили отсутствие перемен в его писанине, что ему стало тошно продолжать

этот бесконечный, ставший уже утомительным путь. Он больше не черкал в своих блокнотах, не цитировал себя и других и, кажется, даже перестал читать, хотя у него на кухонном столе всегда была раскрыта какая-нибудь книжка. Как антураж, как предмет натюрморта, как пикантная добавка к кастрюле с куриным супом.

Алик был счастлив, потому что рядом с ним была счастлива его женщина. Их отношения и правда походили на идиллию — приходя к ним, я видел, как светятся их глаза, горят одним и тем же огнем. Не знаю, что было бы, сядь Алик в то время за клавиатуру, чтобы попробовать описать свое счастье. Возможно, из-под его пальцев вышла бы замечательная история взросления, прошедшая все испытания, но Алик даже не думал о такой ерунде.

Юля учила детей танцам в одной из городских школ, но и не упускала случая показать несколько запоминающихся па своим гостям, плохо стоящим на ногах после застолья. Мы не забывали своего друга, время от времени навещая его в знаменательные даты, когда ему было разрешено официальное употребление спиртных напитков. Юля показывала нам махи ногами, и мы повторяли их с таким веселым усердием, что порой, падая, разбивали лбы.

Алик все реже показывался на лито, и теперь его появление не вызывало былых эмоций. Находя глазами друзей, он кивал каждому и с потерянной улыбкой садился на свободный стул. По большей части он молчал, а когда высказывался, делал это негромко и коротко.

Конечно, Петербург ничем не хуже Парижа, только ведь и он бывает разным. Однажды выбрав его, по прошествии времени ты вдруг понимаешь, что выбирал не город, не улицы и не маршруты, которыми теперь вынужден ходить. Ты выбирал свободу, в которой твоя творческая активность должна была набрать ход, и поначалу все шло как надо, пока ты где-то не сделал неверный шаг. Отматывая время назад, можно было вычислить, где ты лопухнулся, но что ж теперь, когда самая первая твоя пурга уже давно замела все следы? Да за нами сугробы, брат, снежные завалы, хотелось сказать ему, когда он начинал жаловаться, что всегда делал что-то не так.

— Мне кажется, я больше ее не люблю. Это нелегко говорить, но я хочу, чтобы она ушла. Я устал. Хотя, с другой стороны, ей некуда идти. Что мне делать? — говорил он за кружкой пива в маленьком шалмане.

— Почему некуда? — удивлялся я. — До тебя ведь она где-то жила?

— Она жила с родителями, но теперь там живет ее сестра с дочерьми. И потом что мне делать со своей совестью?

— Господи, это всегдашняя история с чувством ответственности за тех, кого мы приручаем! Мне, может быть, тоже будет ее не хватать, но я же не строю из этого трагедию? — пошутил я.

— Ты другое дело, — принял он всерьез мои слова. — Ты всегда был жесткосерден.

А вот это было неправдой. Можно было вспомнить немало случаев, когда в роли плохого парня выступал именно я только для того, чтобы прикрыть его задницу. Алик, например, почти всегда давал очередной пассивке ключи от своей квартиры, а решая расстаться, забрать их обратно не мог из-за элементарной трусости. Приходилось разыгрывать такой спектакль: я звонил этой подруге и объявлял, что мне необходимо пожить в его квартире пару дней и что мне нужны ключи. Она перезванивала Алику, и тот, извиняясь, заверял, что это всего-то на пару дней. В результате я забирал ключи, а он на какое-то время отключал телефон. Все было просто, но почему-то в этих случаях угрызения совести испытывал именно я, а не он.

Но с Юлей действительно было сложнее. Честно говоря, я бы вообще не справился, будучи на его месте, так бы и жил скрепя сердце, пока не умер бы кто-нибудь из нас.

Я хорошо помню тот вечер, когда он решил объявить ей о расставании. Мы сидели в кафе и снова пили пиво, и он все порывался заказать водки, но каждый раз я его останавливал. «Тормози. Тебе сегодня предстоит серьезный разговор. Ты, кстати, не забыл о нем?» — «Конечно, не забыл. Я ничего никогда не забываю, у меня все записано вот здесь, — стучал он по своей груди кулаком. — Я скажу ей все, сегодня же! И буду свободен. Может, я и люблю ее, но свобода мне дороже!»

Свобода. Что он подразумевал под этим словом? С чем ассоциировал? Может быть, со свободой в своей писанине, в которой он себя ни в чем не ограничивал, тем самым переворачивая само это понятие, поскольку его просто не существует, когда нет противоположного значения.

Но он действительно устал. Ему было уже далеко за тридцать, и все вроде бы шло хорошо, но чего-то явно не хватало. А может, это просто уходила молодость, и он не мог смириться с ее уходом — таким будничным, незначительным... Ему хотелось, как когда-то, пуститься во все тяжкие, в какой-нибудь жесткий загул, и чтобы там было все, вплоть до безжалостного похмелья, а в какое-нибудь из утр — веселый поход за замерзшим пивом, состоящим наполовину из льдинок.

А тут еще объявился Шульц с какой-то девицей — они заявили без звонка, чем вызвали у Юли шок, но Алик был искренне рад старому другу. Шульц остался все тем же чудаковатым парнем. В этот раз он появился в какой-то солдатской шинели, накинутой на гавайскую рубашку. Его дама была в рваных колготках, с синяком под глазом. Они принесли бутылку вина и, как в старые добрые времена, собирались ее распить вместе с хозяином. Как в старые добрые времена. Здесь не было ничего, чтобы указывать им на дверь.

— Она просто их выставила, — сказал Алик, отхлебывая из бокала. — Она выгнала Шульца, которого я так давно не видел.

— А что же ты? — спросил я, хотя и знал ответ. Наверняка он виновато улыбался и разводил руками, провожая их до лифта. Может, даже помахал им вслед и сказал: «Я позвоню».

— Он больше мне не позвонит, — потерянно проговорил он, и тут я заметил в уголках его губ запекшуюся слюну, которую не видел с тех самых пор, как он начал встречаться с Юлей. Это был знак.

На следующий день я набрал его номер, и он ответил, что не смог порвать с ней. Еще он попросил, чтобы я некоторое время его не беспокоил, что он будет очень занят. «Я тебе сам дам знать», — добавил он на прощание и прервал связь.

Как же я был зол! Мое время, советы, участие — все это ничего для него не значило! Я вовсе не хотел, чтобы он кого-то выгонял, но если ты твердишь мне об этом в течение трех последних месяцев, раз за разом — одно и то же, то я вправе если не требовать, то хотя бы ждать от тебя, что ты ответишь за свои слова.

Впрочем, когда он рассказал, в чем было дело, я сразу его простил. В тот вечер, придя домой, он узнал, что Юля серьезно больна.

Она сгорела быстро, за какие-то полгода ее не стало. Насколько я знаю, он был с ней до самого конца, но подробности мне неизвестны. Все, что творилось в его душе, в его квартире, осталось с ним. Он не был мастером душевного стриптиза, он только мог описывать ничего не значащие абстрактные явления — так подробно и нудно, как, например, течет время или приходит старость. Он не мог описать уход Юли, но стал его свидетелем.

Когда я вновь появился на пороге его квартиры, она была тиха, как чистый лист. В ней были только Алик и кошка, вот и все, кто остался тут в живых. На полке в голубой

рамке стояла Юлина фотография — за шесть месяцев смерть выгнала ее из жизни, но так и не смогла выгнать из его квартиры.

Время шло, и постепенно Алик приходил в себя. В силу своей жизнелюбивой натуры он не мог долго убиваться из-за потери. Тем более, если вспомнить, он и сам хотел ее бросить. Судьба распорядилась таким образом, что ему не пришлось выглядеть подлецом, наоборот, теперь Алик был жертвой, хотя, если бы у него был выбор, он, безусловно, предпочел бы другой вариант.

Алик приходил в себя, заново обретая язык и нащупывая почву под ногами, как человек, вернувшийся из долгого плавания. Он наладил старые связи, на время забытые, но, как оказалось, не утраченные. Ему были рады. Вот он, наш Алик. Он заматерел и, кажется, повзрослел. Горе красит мужчин, добавляет им шарма. Тише, тише. А что такое? А вы разве не слышали о его трагедии? Они так и говорили между собой, склоняя на все падежи это слово. Трагедия. Еще говорили драма. И травма. И добавляли — душевная. Алик только грустно улыбался, пока никого не оставляя у себя на ночь, хотя претенденток утешить его хватало. Он чувствовал себя бесполым, одинаково тянувшимся как к мужчинам, так и к женщинам, но не за лаской, не за сочувствием, а просто как к живым существам, от которых исходит хоть какое-то тепло.

В это самое время у него случился затяжной роман с замужней поэтессой, которая примерно раз в месяц сбегала к нему из семьи и жила в его квартире до тех пор, пока им обоим не становилось тяжело в обществе друг друга. Это повторялось раз за разом. Первые дни они кайфовали: он готовил ей завтраки, они смотрели фильмы и говорили о чем угодно. Обо всем, только не о ее стихах. Алик их терпеть не мог. Единственное, что он запрещал ей в его присутствии, — читать стихи собственного сочинения. Это очень сильно ее обижало, но если вначале она как-то сдерживалась, то потом под воздействием спиртного начинала ему мстить. Дело доходило до пьяных истерик с битьем бокалов и крушением мебели, до вызовов скорой помощи и объяснений с участковым инспектором. Она клялась, что больше ноги ее не будет в этой квартире, но проходил месяц, она возвращалась, и они мирились. Такие качели повторялись раз за разом, пока он не поймал ее на измене. Собственно говоря, это слово для нее не имело смысла, так как она изначально уже изменяла с ним мужу. Одна измена накладывалась на другую, только и всего, почему он так бесится? Да, она любит его, но он никогда не понимал ее души!

Кое-как он покончил с этим безумным романом, и теперь, казалось бы, наступила пора тишины и спокойствия, но тут неожиданно грянула новая беда: у отчима пошли трещины в отношениях с его матерью. Это могло стать катастрофой. Отчим возвращался в свое жилье, а Алику нужно было переезжать к матери. После двадцати лет проживания теперь из этой квартиры выгоняли его. У него было такое чувство, как будто его выгоняли из собственной жизни, — как это вообще могло произойти?!

— Погоди, может, все еще рассосется, — успокаивал я приятеля.

— Знаю я, как это рассасывается, — отвечал он, качая головой. — Я даже знаю, чем это заканчивается.

Я не мог понять, что он имел в виду, произнося эти слова, но, если говорить откровенно, кое в чем опыта у него было действительно поболее моего. Все заканчивается смертью, рано или поздно мы все умираем, но даже там, за скобками этой жизни, скорее всего, мы остаемся теми же, кем являемся в ее пределах, а именно маленькими и бессильными, полностью зависимыми от внешних обстоятельств существами. Выбора нет, вот что он понял к своим тридцати пяти годам. Выбор — это иллюзия для дураков, это самый большой самообман, который только можно придумать!

8

И все-таки Алик был везунчиком, по крайней мере он мог считать себя таковым: смертельная ссора, казалось бы, грозившая полным разрывом отношений между его матерью и отчимом, внезапно разрешилась бурными женскими рыданиями и скупой мужской слезой. Эдаким очищением, названным древними греками катарсисом. Они помирились, и это была лучшая новость за последний год. Солнце вышло из-за туч, жизнь продолжалась. Удивительная и парадоксальная, она катилась себе по прямой, непонятно чем движимая, все дальше и дальше.

Алик больше не писал. Все, чего он добивался, на что потратил большую часть сознательной жизни, превратилось в неясное воспоминание о каком-то неестественном желании, детской неосуществимой мечте. Все тленно, вот что вынес он из собственного взрослого опыта. Даже бессмертные, казалось бы, тексты давно почивших в бозе классиков когда-нибудь умрут, растворятся в надвигающейся пустоте, которая обязательно придет за каждым из нас, за всеми. Зачем человеку все это, если оно исчезнет вместе с ним, как только он перестанет дышать? Если ничего не сохранить, не спасти от забвения?

А может быть, все было гораздо проще, и он понял, что больше не хочет обманывать себя и других. Что больше не может играть в эту игру, потому что игры закончились. Он не писатель и никогда им не был — вот что он наконец-то смог себе сказать, и после этого ему стало так легко, как никогда не было прежде. Он сбросил со своих плеч груз, который носил очень долго, и почти сжился с ним, но теперь с этим было покончено.

Он был уже не молод, когда его охватила новая жажда жизни. Теперь он многое знал о ней, потому что видел оборотную сторону медали и мог судить трезво. Ему нужна была женщина не для письма, а для любви, для быта, для гуляний под руку по вечерним бульварам, для походов на концерты и в кино, для всего того, что называется счастьем.

И он нашел такую. Ей было двадцать семь, они познакомились в торговом центре, в котором оба работали продавцами. Она торговала бижутерией на том же этаже, что и он, в трех отделах от него, возле запасного выхода, ведущего на эстакаду, куда он частенько выходил покурить.

Он постоянно рассказывал мне, как обстоят его дела на этом фронте. Судя по всему, они были не очень. Да что там говорить, по моему мнению, у него не было ни единого шанса. Она совсем ему не подходила. Я не понимал, что он в ней нашел, да он и сам не мог ответить на этот вопрос.

«Да, это совсем не то, что у меня было раньше, — говорил он мне, — но знаешь, как меня тянет к ней? Словно она — это я, мое продолжение или начало, не знаю, как сказать, чтобы ты правильно меня понял».

«Это твой конец», — предрекал я ему, а он тут же соглашался: «Да, возможно, она мой конец. Но мне все равно. Я просто хочу, чтобы эта женщина была моей в любой ипостаси».

Алик женился на ней спустя полтора года фанатичного ухаживания, после унижений, слез и истерик, после сотен подаренных букетов, после горы разбитой посуды, взаимных оскорблений и упреков, после тысячи слов и десятков расставаний, после объятий и пощечин, щипков и плевков, после прощальных поцелуев и сухих кивков, ненавистных взглядов и нежных прикосновений, после томительных часов ожидания и трогательных писем — после всего этого пиршества, называемого реальной жизнью, она стала его законной супругой. Свадьба была пышной, ничуть не хуже чем у других. На ней были все его друзья — все, кроме меня. Ровно через девять месяцев они купили таксу и назвали ее... а впрочем, это уже никому не интересно.

Омар

1

Как-то, после десятка лет нашего приятельства, он пришел ко мне домой и обыграл в шахматы моего восьмилетнего сына. Это случилось так: мы выпили водки, и я сказал ему:

А слабо сыграть с моим пацаном в шахматы?

— Ты серьезно? — спросил он.

Вполне.

Он только хмыкнул на это:

— Зови, сыграем.

Я им не мешал, пока они сидели за шахматной доской. Омар уверенно делал ходы, в нем угадывался заправский игрок. Впрочем, не было и сомнений, что он хорошо играет. Это ведь не карты — я даже представить его не мог, тасующим колоду. Омар и карты — смешно! Короче, он обыграл моего сына три раза подряд, целых три, не давая ему продохнуть. Сын крепился, хотя, конечно, ему хотелось плакать. Он не смотрел на меня и, пожимая руку Омару, отводил глаза в сторону. Я не мог понять, зачем я предложил такое приятелю. Неужели и правда рассчитывал, что мой отпрыск, который до этого сыграл с десятком партий со своими школьными товарищами, вдруг обыграет умудренного опытом взрослого мужчину?

— Ты и в самом деле думал, что он меня обыграет? — спросил он, прощаясь.

— Мог бы и поддаться, — пробурчал я.

— С чего это вдруг? — усмехнулся Омар.

— Да просто так. Поддаться ребенку, что здесь такого непонятного?

— Ты предложил мне сыграть и поддаться?

— Говоря откровенно, я рассчитывал, что он и сам тебя обыграет. Но из трех партий ты мог хотя бы одну свести к ничьей?

Он снова усмехнулся, а потом, ничего не сказав, стал спускаться по лестнице, на ходу раскуривая папиросу.

А действительно, зачем я предложил приятелю сыграть со своим отпрыском? Хотел унижить, надеясь на его проигрыш? И было ли бы унижением, если бы Омар вдруг проиграл? Да черта с два! Здесь не было ничего умышленного, в моих глазах это должно было стать продолжением нашего мирного застолья, но на деле вылилось в принципиальное сражение. И так было всегда. Мой приятель любое рядовое действие превращал в серьезное соревнование, в котором на кон ставились его честь и чувство собственной важности. Он хотел выигрывать во всем, в чем принимал участие, и каждый шаг превращался для него в изнурительный путь, в конце которого победителя ждала награда.

Я вернулся домой и проиграл сыну четыре партии подряд, а потом, вымотанный до предела, лег спать.

2

Мы познакомились в середине девяностых, когда он возил пиво. Он так и ответил на мой вопрос, чем он занимается: «Вожу пиво». Это была та еще работа! Весь день колесить по городу, раскидывая по точкам набитые бутылками ящики, с водителем, который был не промах, но вряд ли за всю свою жизнь прочел и пару книжек. О чем с ним можно было говорить, с ним даже молчать было не о чем. Так они и мотались туда-сюда, перекидываясь ничего не значащими фразами, подшучивая друг над другом.

С небес на землю падал мокрый снег, было зябко. Еще одно лето осталось позади, а до следующего было так далеко, как примерно двести пятьдесят раз проделать один и тот же маршрут: от центра по Энгельса до Суздальского, затем по Руставели на Пороховые, а оттуда по Российскому в Веселый поселок, потом по Народной через Володарский мост на Обуховку и дальше по Шлиссельбургскому в Рыбацкое, потом в Купчино, по Витебскому до Славы, следом на Типанова, далее Ленинский, Стачек, Газа, Огородникова, Лермонтовский, потом по Москвиной и Измайловскому снова в центр.

Не знаю, когда он успевал писать, но его стихи были прекрасны. Более того, они были восхитительны. Омар в то время слыл большим поэтом, это знал каждый, кто прочел хотя бы один из его текстов.

Наше знакомство состоялось на одном лито, которое вел его приятель Евгений. Скоро Евгений стал и моим приятелем. Мы часто проводили время втроем, и поначалу я чувствовал себя лишним в их компании, потому что между ними постоянно шло соревнование, в котором я не участвовал. Это была давняя история, и борьба велась на всех фронтах: оба писали стихи, крутили романы и заводили друзей. Когда-то у них был общий бизнес, но теперь от него осталась лишь точка на Сытном рынке, бывшая в распоряжении Евгения, и развозка пива, которой занимался Омар. Если в отношении женщин расклад был ровный, то в деньгах верх брал Евгений, но зато вчистую проигрывал на арене стихосложения. Боевые действия велись на всех участках одновременно, никто нигде не хотел уступать. Каково же было их удивление, когда однажды они поняли, что в сражении появился третий участник, который не просто занял одну из сторон, как случалось ранее, а выступил как полноправный противник.

С первого же дня Омар стал зазывать меня в гости. Он жил с женщиной, у которой было трое детей, и, кажется, очень тепло к ней относился. Не знаю, любил ли он ее и вообще испытывал ли к кому-либо сильные чувства, но младший ребенок звал его отцом, тогда как старший просто называл по имени. Их семейство занимало две комнаты в трехкомнатной квартире, располагавшейся на первом этаже панельного дома. Я так и вижу солнечный день и Омара, выходящего на застекленный балкон и закуривающего неизменную папиросу; как он шурится, глядя на разросшуюся возле самых окон листву, как разгоняет рукой дым и морщится от детского гвалта в глубине квартиры.

Он посвятил несколько дивных стихотворений той жизни и женщине, с которой жил. В них отразилась нехитрая обстановка, его выходной от развозки пива день, мокрая тряпка в ее руке, скользящая по оконному стеклу, неразборчивое бормотание кухонного радио, дымок от папиросы и солнечные зайчики на выцветших обоях. И во всем этом — тонкая нота звенящей печали. Шорох уходящего времени.

Это были первые полгода нашего знакомства, и в это время он работал на износ. Мы тогда все вкалывали как проклятые в попытках соответствовать определенному уровню, не жалея себя, но только Омар стабильно выдавал достойные тексты и вел в общем зачете, опережая на корпус ближайшего преследователя.

3

Итак, у нас сложилась теплая компания: Омар, Евгений и я. Да, еще была Маргарита, жившая на тот момент с Евгением. Она тоже писала, впрочем, ни на что серьезно не претендуя; по крайней мере, до определенного момента никогда не заявляя об этом вслух. Ее рассказы были странными, немного шизофреническими, от них несло больницей и длинными рукавами. В ее текстах совсем не было воздуха, и мне всегда хотелось вдохнуть поглубже, когда я начинал читать очередной ее опус. «Все это лишь разминочные упражнения, — говорила Маргарита про свою писанину. — Но я обязательно когда-нибудь возьму большой вес».

— Когда-нибудь я напишу про всех вас, — сказала она однажды. — И это будет большой роман на несколько сотен страниц. Забвение — самая страшная штука, а вы заслуживаете, чтобы о вас помнили.

— С чего ты взяла, что меня ждет забвение? — усмехнулся Омар, пропустив мимо ушей ее обещание написать роман. — Все уйдут, а я останусь, детка.

— Ты уже уходишь. Тебя уже почти нет.

— Правда? Кто же в таком случае сидит перед тобой и слушает твою чушь? Смотри, вот он я. Видишь, вот моя рука, вот нога, а хочешь, могу показать еще кое-что, столь же прекрасное и осязаемое. Я есть и буду всегда, уж поверь.

— Ты будда всегда, — скаламбурил Евгений, обожавший каламбуры.

— Тебя забудут, — продолжала настаивать Маргарита и тут же оговаривалась: — Без меня забудут.

— Вот дерьмо, что ты тут молотишь?! — Омар начинал заводиться. — Женя, закрой ей рот! Кто ее слушает? Ты ее слушаешь? — обращался он ко мне. — И что она вообще тут делает? Ты вообще кто такая? — Он снова поворачивался к ней. — Кто давал тебе слово? Заткнись, пока сидишь рядом с нами! Не говори ничего, ни звука, чтобы я тебя больше не слышал!

Когда его что-то бесило, он мог начать орать ни с того ни с сего, как будто заглывал невидимый крючок и он рвал его нутро. Дело в том, что Омар был очень честолобив, гораздо честолобивее нас всех вместе взятых. Люди, по его мнению, ничего не смыслящие в литературе, могли говорить что угодно, но когда они в своих разговорах касались его личности или, не дай бог, творчества, он выходил из себя. В понимании Омара Маргарита была кайфовой девчонкой, которая к тому же умело отсасывала, но она ни черта не понимала в том, что его занимало больше всего, а следовательно, и рот могла открывать только для того, в чем преуспела на данный момент. В слепом желании отстоять свое место в вечности он отказывал Маргарите в праве встать рядом с ним хотя бы сейчас, и это обижало ее до глубины души. Его трудно было назвать справедливым, скорее он был непредсказуемым.

И вообще, в нем сочеталось несочетаемое. Например, он мог быть романтичным и циничным одновременно — казалось, он и сам не осознавал, где находится граница между двумя противоположными состояниями, которые он испытывал за раз, и была ли эта граница вообще? Как можно было упиваться чтением античной литературы, а потом с такой же страстью смотреть голливудские фильмы третьей категории с какими-нибудь жуткими названиями типа «Забавные мордахи» или «Поцелуй оборотня»? Но стоило порекомендовать ему отличное кино, как он целых двадцать минут выговаривал мне по телефону, какое дерьмо он вынужден был смотреть из-за меня. Короче, порой он был абсолютно невыносим, но ради удовольствия с ним общаться приходилось принимать и эту его сторону.

Все это было позже — уже после того, как он серьезно влетел со своим пивом. И были нешуточные разборки: его забирали прямо из квартиры и везли на очередную стрелку. Садясь в большую машину с тонированными стеклами, он гадал: вернется ли он сегодня живым или его закопают где-нибудь за Невским лесопарком? «Ты просто стой и молчи, — говорил ему бандит, державший его сторону. — Говорить буду я. Отвечай лишь "да" и "нет", и то, только когда спрошу. Понял?»

Омар утвердительно кивал. Он был благодарен этому бригадиру и его бойцам за то, что они отбивали его от остальных. Тогда-то он и потерял первый зуб. Причем его уделали те, кто защищал, — нужно было разыграть спектакль перед жаждавшими его крови всерьез.

Наверное, это был переломный момент всей его жизни. Омар потерял не только зуб и бизнес, но и весь свой соревновательный запал. Он больше ничему не отдавался полностью. Он стал осторожен и скрытен, жаден и расчетлив, он перестал доверять

людям. Но, как ни странно, Омар от всего этого только выиграл, расширив диапазон своих достоинств от загадочной глубины до холодной прагматичности.

4

Приходя к Евгению, я обычно заставал у него Омара — хозяин уже третий день не мог выгнать поднадоевшего гостя из своей комнаты. Новая Женина пассия в отличие от Маргариты терпеть не могла нашего общего друга, и тот отвечал ей взаимностью. Это ее безумно злило, и она устраивала безобразные сцены, доводя Евгения до истерик, а потом начинала хохотать, показывая свои мелкие хищные зубы. Кажется, она не любила никого, кроме, разве что, Алика. Когда тот приходил, она прыгала к нему на колени и, не обращая больше ни на кого внимания, весь вечер нашептывала ему на ухо.

В общем, ее присутствие вносило в Женину, а значит и в нашу жизнь только раздор и хаос, поэтому все вздохнули свободно, когда он наконец с большим трудом от нее избавился. Это была та еще сучка, шумная и вздорная, которая еще, ко всему прочему, никому не давала. Нет, она, конечно, не обязана была давать всем подряд, но, мне кажется, даже Евгений, являясь законным обладателем ее маленького лона, и тот не получал в полной мере. Он выгнал ее без сожалений, впервые в жизни испытав оргазм от того, что дал кому-то пинка под зад.

Но и Омар ему тоже порядком осточертел. И хотя Евгений к тому времени выкупил в квартире вторую комнату и места стало вдвое больше, он принялся всячески изживать приятеля, как какого-нибудь таракана или древесного жука.

Омару, конечно, было где жить, и та женщина, в одиночку растившая троих детей, всегда была рада его грязной обуви, стоящей в коридоре ее квартиры, но вот только он все чаще надолго уходил от нее в свободное плавание. Ее дети росли, и вместе с ними росли заботы, и нужно было тащить весь этот скорбный быт, и она разрывалась, деля любовь между детьми и тем, кто когда-то посвятил ей несколько стихотворений, которые, правда, уже не грели. Слова в них постепенно теряли свое значение.

В конце девяностых у Омара случилось несколько романов, и каждый из них мог бы вылиться в нечто посерьезнее, чем просто любовное помешательство на парутройку недель. Он жил в квартире, окна которой выходили на Летний сад, просыпался в огромном доме элитного поселка Лисий Нос, ему приносили в постель кофе и утренние газеты, а он при этом даже не удосуживался прятать под одеяло свои большие грязные ступни. Отцы его подруг ректорствовали в университетах, заседали в законодательных собраниях, владели сетью продуктовых магазинов, и все они души не чаяли в своих дочерях. Омар мог спокойно сделать себе будущее, оставшись с любой из них, но его, как Одиссея, тянуло в открытое море, и всем, кого он бросал, оставалось только вспоминать его высокий рост, греческий профиль и тоску, мерцающую в глазах.

Он продолжал писать, но стихи были уже не те. Казалось, он что-то потерял в погоне за неведомым, за неуловимым. Его слова, не находя опоры, повисали в пустоте или громоздились, наплывая друг на друга, образуя словесный туман, сквозь толщу которого было не видно ни зги.

По инерции он еще делал то, что его занимало раньше: например, устраивал публичные чтения, собирая под это дело всех более-менее значимых городских поэтов, и они еще с удовольствием принимали в них участие, но я видел, как что-то в нем угасало, теряло быллой блеск.

Запомнился последний из поэтических вечеров, который он устраивал в одном из помещений Интерьерного театра на улице Марата. Накануне мы сидели у Евгения, и Омар заставлял меня вслух читать мои стихи, добиваясь, на его взгляд, идеальной

декламации. Я начинал вновь и вновь, но ему не нравилось то одно, то другое — он все время находил какие-то огрехи и в конце концов довел меня до белого каления, так что я не выдержал и пригрозил, что вообще не явлюсь на это чертовое мероприятие. Он вроде как укоризненно покачал головой. «Что?» — с вызовом спросил я. «Ничего, — ответил он. — Пойдем».

Мы уже порядком набрались, но хотелось выпить еще, только в другом месте — эта квартира была доверху заполнена моим раздражением и его менторством.

Мы вышли на улицу и сели в автобус. В автобусе почему-то оказалось два кондуктора. Они оба подошли к нам.

— Ты это видишь? — сказал я Омару.

— Ты о чем?

— Два кондуктора. Они стоят возле нас.

— Ну и что? — пожал он плечами. — У тебя есть мелочь?

— У меня вообще нет денег.

Иногда его невозможно было удивить, а порой он вздрагивал от вполне рядовых вещей. Он не выносил вида крови, боялся собак и высоты, а еще терпеть не мог анекдоты и когда кто-нибудь при нем начинал разглагольствовать о литературе. Здесь у него был заготовлен коронный вопрос, которым он осаживал любого неосторожного знатока. «А ты читал Боэция?» — глядя прямо в глаза очередного выскочки, холодно спрашивал он, после чего тот непременно сдувался, даже если и знал труды древнего философа наизусть.

Итак, заплатив и проехав несколько остановок, мы вышли. Стемнело и как-то резко похолодало, словно мы проехали несколько климатических зон. Я засунул руки глубже в карманы пальто. Омар шел по ночной улице, присматриваясь к подвальным окнам. Наконец он остановился и постучал в одно из них.

— Удав! — громко позвал он. Потом снова: — Удав!

Сначала было тихо, затем справа от нас раздался звук, словно кто-то отодвинул металлический засов. После скрипа дверных петель чей-то голос грубо спросил:

— Кто здесь?

Мы спустились по ступеням и оказались в небольшом подвальном помещении с низким потолком, в который хозяин упирался головой. Ярко светила голая лампочка, в углу я заметил швейную машинку «Зингер» с ножным приводом. Еще тут были пластмассовые столик и стулья, словно их притащили сюда с пляжа. Мы достали водку и пиво, хозяин принес стаканы. Он как-то странно поглядывал в мою сторону, словно видел меня впервые, хотя мы, конечно, были знакомы.

— Ты, пожалуйста, не приходи завтра на вечер, — сразу же после первой сказал ему Омар.

— Это почему еще? — вытаращил глазища Удав. Своей бритой головой и заплывшим лицом он напоминал мне людоеда из мультфильма о Коте в сапогах. Казалось, он сейчас кого-нибудь сожрет, и я никак не мог расслабиться.

— Тебя никто не ждет, — сказал ему Омар.

— Не понял. — Удав открыл рот.

— Понимаешь, — как можно мягче заговорил мой приятель, — никто не хочет, чтобы ты там был.

— Правда, что ли? — еще больше удивился тот. — И ты пришел мне это сказать? И взял с собой его? — Он ткнул в меня пальцем.

Омар промолчал. Я тоже предпочел не вмешиваться в их разговор, хотя внимание Удава неожиданно переключилось на меня.

— А он будет читать? — вкрадчиво спросил он и, опять не дождавшись ответа от Омара, повернулся уже ко мне.

— Ты будешь читать?

— Возможно, — дрогнув голосом, ответил я.

— Значит, будешь. Ты, значит, будешь, а я нет. Получается, тебя все ждут, а я никому не нужен.

Вот тут Удав не угадал — меня тоже никто не ждал. Но сказать это я не успел, потому что столик вдруг взвился в воздух, сделал сальто и, чудом никого не задев, под звон стекла рухнул на пол.

Мы с Омаром вскочили на ноги. Любое странно улыбался, продолжая плотоядно глядеть на меня. Все, пора было закругляться. Запахиваясь на ходу, я решительно направился к двери.

— погоди, — зашептал Омар, сунув мне в руку деньги. — На вот, купи еще водки. Тут магазин недалеко.

— Ты с ума сошел, он же псих!

— Прошу, сходи, я пока его успокою.

Я вышел на улицу и замер, пораженный. Что-то вдруг изменилось, казалось, даже воздух стал другим. Сделав несколько шагов, я понял, что произошло: за это небольшое время выпал снег и мир стал белым. Под светом фонарей медленно кружились снежинки, я побрел куда-то вдоль улицы, оставляя следы на тротуаре. По пути мне попался ночной магазин, и я купил на деньги Омара банку пива. Я и не думал возвращаться и чувствовал себя предателем по отношению к нему, но почему-то сейчас это чувство было не постыдным, а вполне оправданным. Неожиданно мне понравилось его предавать, более того, сам не понимая почему, я испытывал какую-то необходимость этого поступка, его закономерность.

На следующий день это чувство правоты прошло. Мы сидели в шалмане на Колокольной, и я не знал, что ему сказать. До чтений оставался час. Я уныло оправдывался.

— Знаешь что, — в конце концов сказал Омар. — Идет оно все в баню.

— В смысле? — не понял я.

Он махнул рукой и вышел из шалмана. На вечере его не было. Больше он никогда ничего не устраивал.

5

Не знаю, когда он потерял свои документы, — на момент нашего знакомства у него их уже не было. Сначала это не вызывало проблем, наоборот, выделяло Омара среди всех. Никто не знал его фамилии, только имя, имя великого восточного поэта. Омар Хайям — если мне хотелось увидеть, как он выходит из себя, достаточно было лишь назвать его так. Так вот, сначала он не испытывал никаких затруднений, потому что у него были работа и дом и в девяностые менты еще не зверели от восточных лиц. Но потом его стали останавливать на улице и в метро, и Омар вынужден был сидеть в обезьяннике, пока менты шарили в его папке со стихами, которую он все время носил за пазухой. Блюстители порядка попадались разные, но их всех роднила общая озадаченность, когда на вопрос, чья это писанина, он отвечал: моя. Бывало и так, что кто-то из них предлагал Омару в подтверждение слов прочесть наизусть одно из стихотворений, потом еще одно и еще, и неожиданно рядовая дежурная смена превращалась в нечто, похожее на поэтическое представление. Омар гордился такими вот фактами своей творческой биографии. Вряд ли кто-то еще мог похвастать выступлениями в милицеских опорных пунктах, и пусть эти люди не хлопали в ладоши от восторга, но то, что у них пропадало желание отбить почки выступающему, было уже неким подобием успеха.

Попав в мусарню, он обычно рассказывал одну и ту же историю про оставленные в другой куртке документы и про жену, ждущую его дома. Дальше он называл адрес, номер телефона и просил позвонить супруге, чтобы та сама подтвердила правдивость его слов. Ею могла стать любая из его многочисленных подруг, но обычно он давал

координаты той, что ждала его дольше всех остальных. Она могла приехать за ним в самый дальний конец города — Валентина, мать троих детей, для которой Омар стал четвертым.

Долгое время она боролась за его любовь в попытке отвоевать ее у тех, кто был моложе и красивее и у кого он пропадал неделями. Иногда он месяцами не появлялся в ее квартире, но потом все же возвращался. Каждый раз принимая его заново, она понимала, что могла бы отбить его у любой, но перед его неистовой тягой обладания, часть которой приходилась и на нее саму, была бессильна.

Омар очаровал многих — он умел и любил очаровывать. У него был отлично подвешен язык, и когда находило вдохновение, он мог говорить часами, прерываясь лишь на то, чтобы махнуть рюмашку или опрокинуть пластиковый стаканчик, в зависимости от обстоятельств, которые, нужно сказать, никогда ему не мешали.

Тит Ливий, Боэций, Брежнев, Гораций, Катулл, Овидий, Гиммлер, Ларошфуко, Гомер, Мандельштам, Бродский, Бетховен, Конфуций, Гайдар, Волошин, Нострадамус, Коперник, Аристотель, Авиценна, Рабле, Линкольн, Пинчон, Хемингуэй, Селин, Лосев, Гурджиев, Джером, Толстой, Кастанеда, Чехов — он мог говорить о ком угодно, мог поддержать и развить любую тему. Откуда берутся цунами, как устроен телескоп, когда наступит реальный конец света — он знал все и не знал ничего, ему было плевать на факты, он оперировал исключительно собственным воображением, оттого его обожали дилетанты и терпеть не могли специалисты.

Однако, как быстро и легко он очаровывал людей, с той же стремительностью они в нем разочаровывались. Стоило им узнать Омара поближе, как все его обаяние сходило на нет. Он уже не мог долго притворяться милашкой, да и его жизнь этому не способствовала. Все чаще он вынужден был спать в парадных, натянув на голову две вязанные шапки. Все чаще ему отказывали в жилье — даже Евгений, единственный близкий друг, с которым он прошел огонь и воду, и тот гнал его на улицу. Омар не таил обиды, он просто молча одевался и уходил с единственным пожеланием на данную ночь — не попасться ментам, чтобы не проводить ее в каталажке. Любой чердак был милее тесной камеры, и пусть там было холодно, зато убаюкивало воркование голубей и можно было курить, выпуская дым в кисло пахнущую темноту.

Иногда при наших встречах он рассказывал мне, что уже неделю ночует черт знает где и что не ел уже несколько дней. Если у меня были деньги, мы шли в какое-нибудь кафе, где он не спеша жевал оставшимися зубами мясо, а если нет — то так же степенно закусывал бутербродом в дешевом шалмане. Он никогда не роптал и не жаловался, принимая как должное все, что с ним происходило.

— Омар, ты же губишь себя, свою жизнь! — пытался внушить я ему. — Начни жить правильно, будь как все! У тебя же есть возможность, да у тебя тысяча возможностей!

— Как? — спрашивал он, не глядя на меня.

— Просто возьми и живи, как живут все вокруг!

— Не могу.

Да, наверное, он не мог. И не хотел, пока не хотел. Потом, когда его все-таки припрет начать жить, как все, у него не получится, потому что он зайдет слишком далеко, но это будет потом, а пока его все устраивало. Более того, он снова начал писать, и его тексты снова восхищали.

Он писал, и я понимал, что ради этого стоило так жить. И если его муза питалась исключительно неустроенностью и маргинальщиной, то незачем было что-то менять. Если можно так сказать, это была единственная женщина, ради которой Омар шел на все. Все остальные быстро понимали, что он лишь использует их, и разочаровывались. Вся его брутальная внешность и весь шарм гасли в глазах очередных спутниц, ощутивших себя обманутыми. Всех, кроме, пожалуй, Валентины.

Однажды у одного моего приятеля освободилась комната в общежитии, и я сказал Омару, что он мог бы в ней какое-то время пожить. Тот принял это с

воодушевлением, и мы поехали за ключом. Приятель жил в Сосновой Поляне, мы долго ехали к нему на троллейбусе, а потом шли пешком к общежитию. Стоял уже поздний вечер, когда мы наконец добрались до места. Я давно не видел Омара, и мне хотелось выпить с ним, поговорить и посмотреть на него в новой обстановке. Возможно, втайне я ждал от него еще и слов благодарности.

— Слушай, я устал, — ответил он на мое предложение сгонять за алкоголем. — Давай в другой раз.

Я опешил.

— В другой раз?

— Да, давай все-таки в другой. А сейчас я лягу спать.

Он, конечно же, не собирался сразу ложиться, ему просто хотелось поскорее от меня избавиться. Выгнать на улицу точно так же, как выгоняли его. И ему было плевать на то, что именно я привел его сюда, он хотел отомстить не мне за других, а другим через меня. В этом был весь Омар, и это нужно было либо принять, либо отказаться от общения с ним. Все просто: либо да, либо нет, и если вы выбирали общение, то в конце концов у вас набивался целый чемодан такого вот добра, который вы, устав тащить, в один прекрасный момент выбрасывали на помойку. И это не было предательством — просто у вас заканчивалось терпение.

На следующее утро я принес еды и немного денег. Мне хотелось многое ему сказать, но какие слова я мог подобрать, чтобы достучаться до его сердца? Как донести до человека, что мне не все равно, как он живет и как относится ко мне, если в ответ я могу получить лишь равнодушный холодный взгляд? Мне хотелось признаться, что я считаю его своим другом, что восхищаюсь его бескомпромиссностью по отношению к себе и к жизни, хотя не очень хорошо понимаю, в чем она выражается. Что, зная о всех его недостатках, я вижу и достоинства, и пусть их значительно меньше, в моих глазах они важнее любого из его несовершенств. И что, желая такого же трепетного отношения к себе, желая, чтобы он так же сильно ценил меня, как ценю его я, я все же подозреваю, что все это так и останется лишь в моих желаниях.

6

Как-то однажды, разбирая свои бумаги, я наткнулся на большую подборку его стихов. Я совсем забыл о таком богатстве и вот, предвкушая необычайное удовольствие, начал читать набитые на машинке тексты. Я прочел первое стихотворение, второе, третье... Это было невероятно. Все казалось претенциозным бредом. После десятого я отбросил их, ничего не понимая. В них не было того, что было раньше! Словно эти стихи кто-то вылушил, пока они лежали в моих бумагах, просто вытряхнул из них все очарование, всю их прелесть. Покинутые, они потухли без своего хозяина, который всегда носил их за пазухой, согревая своим теплом.

Что это было? Что-то явно произошло за то время, пока мы с ним не виделись. Где та магия, исходившая от него, почему она не сохранилась на бумаге? Неужели она работала только в непосредственной близости с ним, а когда он был далеко, от нее не оставалось и следа?

Нужно признать, что так оно и было. Поэзия Омара была в нем самом, в его жизни, которую он вел, он распространял ее на все, что окружало его в конкретный момент времени. Это был уникальный случай поэтического дара — не стихи делали человека поэтом, а он сам всеми доступными средствами приносил в них поэзию. Сами по себе, в отдельности от него слова были мертвы, им недоставало главного — поэтического духа, жившего в творце, который почему-то не захотел передать его им.

В начале двухтысячных Омар еще писал, но уже почти не тусовался. Ранее не пропускавший ни одного более-менее интересного поэтического мероприятия, он

постепенно забил на все эти сборища и даже слушать не хотел, что ему рассказывал исправно посещавший их Евгений.

Я тоже не был любителем таких тусовок, здесь мы с ним сходились. Встречаясь у Евгения и распивая коньячный спирт, который тот закупал канистрами на винзаводе, мы почти никогда не говорили о литературе. Не то чтобы это была запретная тема, просто уже так много было сказано ранее, что не было никакого желания заходить на новый круг. Мы смотрели фильмы, говорили о бабах, обсуждали футбол и какие-то политические события. Омар был рад приходу нового президента, он видел в нем эдакого Нерона, напоминавшего о былой империи, на развалинах которой мы прозябали. Он вновь начал штудировать Тита Ливия, пересказывая в красках подробности той или иной битвы, а потом вдруг садился к компьютеру и выпадал на несколько дней, сражаясь с ним в преферанс. Теперь он любил такие соревнования, когда противником была обезличенная машина, какой не стыдно было проиграть, просто потому что ты выставил самый высокий уровень игры.

Конечно, долгое время он нигде не работал. Представить не могу, как он вообще жил. Например, что ел, как одевался? У него было много знакомых, он пользовался их гостеприимством и хорошим отношением до тех пор, пока это было возможно, выжимая из благоприятствующей ситуации все до капли. Опыт научил его жить настоящим, не надеясь, что завтрашний день будет таким же щедрым. Он словно испытывал тех, кто ему благоволил, кто восхищался им со стороны, не догадываясь о его хищных повадках, потому что вынужден был брать все и сразу, не обращая внимания на соблюдение этикета: как он пригодится ему зимней ночью, на чердаке или в подвале? Или что он будет делать с этой самой тактичностью, когда от голода сведет живот и будет кружиться голова?

Временами он вспоминал, как когда-то возил пиво и был беспечен и весел. С тех пор прошло не так много лет, а кажется, словно вечность легла за спиной. И ведь действительно наступило новое тысячелетие, многое обнулилось, и на арену вышли бесстрастные цифры, тогда как самовлюбленные буквы отступили.

Омар заговорил языком математики.

— Да, — вспоминал он, разливая по новой. — Представь, поздний летний вечер, Рыбацкое, берег Невы. С нами две пьяные телки, костерок, шашлыки, пиво. Я захожу в холодную воду и плыву. Потом переворачиваюсь на спину и смотрю в небо. Оно затухает, переходя из синего в бледно-голубой, и на нем — сразу солнце и луна. Они смотрят с разных краев друг на друга, а я смотрю на них. И вот, глядя на них, я вдруг понимаю, что мы равны. Что эти два светила тождественны друг другу, а я тождественен им. И что все, что есть внутри меня, все, из чего я состою, равновелико этим двум великолепным звездам. Ни больше ни меньше. Я третий угол этого сакрального треугольника, а все, не входящее в него, просто фон, смысл которого мне не нужно понимать, потому что для меня его нет. Все, что лежит за пределами этой фигуры, в моем понимании бессмысленно. Те же девки на берегу, костерок, мой товарищ. Они считают, что я с ними, но это не так. Я ни с кем, я сам по себе. Понимаешь ли ты это?

Я все понимал, и это было хорошо, в его духе, но что-то нужно было делать в плане работы. Больше никто не хотел ссужать его деньгами. Он должен был всем, кого знал, а больше всех — Евгению. Каждый раз, одалживая ему, Евгений клялся, что это в последний раз, но проходило время, и Омар снова звонил с просьбой ссудить пару тысяч. «Сколько? — поражался его наглости Евгений. — Я не расслышал: ты сказал пару тысяч? А почему не пару десятков тысяч, не пару сотен?» — «Ты же не дашь пару сотен», — парировал Омар. «Не дам. Я тебе больше ни рубля не дам!» — орал Евгений в трубку, но через несколько часов они встречались и мирно пили пиво, о чем-то беседуя, как старые друзья. Потом Омар, забрав деньги, уезжал, понимая, что очень скоро все это закончится: Евгений просто перестанет получать эмоции от этого своего благородства, оно приестся ему, как сладкий пирог.

Работая одно время на стройке, я уговорил своего товарища взять в бригаду Омара. С нами был еще один поэт — итого целых три поэта, считая меня, скакали по этажам с ведрами раствора; все остальные были забубенные работяги, но мы вкалывали не хуже, и от нас так же, как и от них, воняло потом и перегаром.

Запомнился один момент — когда диском работающей паркетки мне зацепило два пальца. Это случилось во время обеда, кровь брызнула по стене, и все, кто был в комнате, вскочили из-за стола и забегали в поисках бинта, один лишь Омар остался сидеть, спокойно прихлебывая из кружки чай. Потом он признался, что намеренно не стал паниковать вместе со всеми, а своим бесстрастным видом хотел меня успокоить, показать, что ничего особенного не произошло. «Пустяк, да и только», — сказал он.

Пустяк! Я едва не лишился пальцев, а для него, оказывается, это был пустяк! Мог хотя бы потом, когда меня уже перевязали, сказать пару ободряющих слов!

— Отстань от меня, что ты теперь-то хочешь? Зачем вспоминать это дерьмо? — был его ответ.

Да я особо никогда и не требовал от него ничего, даже благодарности. Он мог воспитать альтруизм в любом, кто собирался его терпеть дольше, чем остальные. Главное — не доводить дело до мазохизма, ко всему остальному можно было привыкнуть.

А тут вскоре снова появилась Маргарита. Впрочем, она никуда не исчезала — хотя их бурный роман с Евгением постепенно и сошел на нет, они продолжали питать друг к другу теплые чувства, подкрепляя их нечастыми встречами в его квартире. Она вышла замуж за художника, который, ко всему прочему, занимался еще и керамикой. Узнав об этом, Омар вдруг очень заинтересовался техникой изготовления керамических поделок, но так как он был в контрах со всем миром, и с Маргаритой в первую очередь, пришлось мне всяческими способами выуживать секреты мастерства, столь необходимые ему. В общем, худо-бедно, не без моей помощи дело у него пошло, но для этого ему пришлось вернуться к Валентине. Ее дети подросли, младший ребенок совсем его не помнил и едва не заплакал, когда Омар склонился над ним и поднял на руки.

Валентина снова приняла его, как будто они и не расставались. Да так оно и было, потому что он все время давал о себе знать, когда в ее квартире раздавались звонки из разных отделений милиции, которые она уже выучила по номерам. Такие вот были от него весточки, а это значит, он в любом случае ее не забывал.

Он занимался керамикой три года, осваивая профессию с самых ее азов. Он лепил и обжигал диковинных животных в виде пепельниц, колокольчиков, свистулек и копилочек. Здесь были жирафы и павлины, жирные свиньи и забористые петухи, динозавры и саблезубые тигры, обезьяны и дельфины, был даже косяк летучих рыб. Филигранные в исполнении и нарочито аляповатые, поделки отражали всю противоречивую суть Омара — одни выходили из-под его рук милыми, другие, наоборот, получались агрессивными, веселые чередовались с печальными, а простодушные сменялись нагловатыми. Он изобрел новый способ обжига, передерживая изделия в печи так, чтобы глазурь покрывалась мелкой сетью морщин, — в этом было что-то восточное. Кто-то находил его керамику излишне вычурной, а мне она нравилась — то, чего он в конце концов достиг. По-моему, ему удалось в ней то, чего не удавалось в стихах, — вдохнуть свой поэтический дух, найти ему форму. Они и правда казались живыми.

— Почему же ты бросил это занятие? — спрашивал я его спустя время. — Мне казалось, ты наконец нашел себя.

— Нашел себя? — удивлялся он, закуривая сигарету, на которые он совсем недавно перешел с папирос. — Ты шутишь. Да ты просто не представляешь, как меня достала эта гребаная керамика. День за днем — одно и то же. Час за часом, неделя за неделей. Господи, три года я потратил на это говно, и что? Как это помогло мне? Я не стал богаче, у меня не появилось ни одной новой женщины, эти безделушки вообще

никому не нужны. Ты думаешь, их покупают? Я тебе скажу, как их покупают: Никак. Но нет, вру, их ведь и правда покупают. Три раза в году. Целых три, понимаешь, да? На Новый год, на День святого Валентина и на 8 Марта. Вот тогда сметают все, что у тебя есть, но остальное время ты сидишь на голодном пайке. У Вальки все полки завалены этим говном, и я уже не знаю, кому еще его дарить.

О да! Дарить говно — это было в его стиле. Но справедливости ради нужно сказать, что он действительно раздавал свои керамические поделки направо и налево — только в моем шкафу стоят три его штуковинки.

7

Однажды я узнал, что Омар хочет купить земельный участок, более того, не просто хочет, а уже ищет и успел посмотреть несколько в Ленобласти. Прежде всего его интересовали живописное место, круглогодичный подъезд, наличие коммуникаций и близость водоема.

— Не больше двух километров, — сказал он мне при встрече.

— А как же дом? — поинтересовался я. — Голый участок и все?

— Дом я построю сам.

Омар построит дом? Это было что-то новенькое. Не то чтобы эта идея была безумной, но все, кто знал Омара, в сомнении качали головами. Омар — и вдруг дом? Да у него сроду не было дома, откуда в нем вообще это понятие? Чтобы что-то строить, для начала нужно понимать, что ты собираешься построить и, самое главное, для чего.

И потом где он возьмет деньги на эту затею?

Все оказалось проще простого: деньги ему давала Валентина. Она решила продать одну из двух комнат — по их расчетам, этого должно было хватить на участок и постройку.

Конечно же, это была полностью идея Омара. Гораздо проще купить участок с готовым домом — не нужно париться со строительством, но в таком случае его роль во всем этом предприятии сводилась к нулю. Просто купить дом — в этом не было ни вызова, ни борьбы. Омар же привык отвоевывать себе место в недружелюбно настроенном к нему пространстве, и тут он бросал перчатку всему, что пыталось его уничтожить. И не собирался на этом останавливаться. Он хотел построить дом, чтобы его продать, и на вырученные деньги снова купить участок. Омар хотел борьбы, но уже по своим правилам, ему надоело следовать правилам других. Теперь он будет главным, вот так вот.

Участок он нашел в небольшом садоводстве, недалеко от Гатчины. Место было не так чтобы очень хорошее, но вокруг рос лес и исправно ходил автобус — круглый год до участка можно было добираться без особых хлопот.

Он был небольшой, полностью огороженный, с посадками. Более того, на участке стояла временка, в которой можно было жить, и был залит ленточный фундамент под дом. В довершение ко всему прежний хозяин оставил еще и штабель бруса, которого по расчетам должно было вполне хватить на сруб. В общем, Омара можно было только поздравить со столь удачным приобретением, и теперь дело оставалось за малым — начать строительство.

И вот мой друг взялся за работу. Его не волновало, что он чего-то не знал, — до всего можно было дойти собственным умом. На то и смекалка, чтобы с помощью нее затыкать брешь в познаниях. В конце концов, к тому времени уже продавалось много книг по строительству загородных домов, и потом он всегда мог позвонить тому, кто в этом разбирался лучше него.

Он купил бензопилу и другой необходимый инструмент, а потом, найдя общий язык с соседом справа и в пух и прах разругавшись с тем, что слева, наконец приступил. Сруб он поставил меньше чем за месяц, один. Ничего, что стены были косы и углы

завалены, — строение все равно выглядело довольно крепким. Правда, кое-где брус повело и выгнуло пропеллером, и по правилам его нельзя было использовать в качестве венца, но у Омара все шло в ход, он особо не парился по таким мелочам. Большие щели он просто запенивал монтажной пеной. Вообще, глядя на сруб со стороны, можно было подумать, что пена была основным его компонентом; застывшая и потемневшая на солнце, она выступала тут и там. Иногда казалось, что ее больше дерева, а в каких-то местах древесины нет вообще, и там строитель ухитрился запенить сам воздух. Но, повторяю, несмотря ни на что, сруб получился крепким и, как будущее жилье, приводил в умиление.

Валентина, контролирующая стройку, и представить себе не могла, что ее Омар способен на такое. Нет, она, конечно, верила, когда он убеждал, что все пойдет как по маслу, старалась поверить, но только безумная любовь подтолкнула ее на столь сомнительное предприятие. Теперь же, когда мечта превращалась в реальность и на глазах вырастал дом — плод ее бессонных ночей, слез и отчаянных молитв, а Омар был таким, каким она всегда хотела его видеть — настоящим мужчиной, строителем их очага, добрым и сильным, а главное, верным, она ощутила долгожданное счастье.

Да и он вдруг впервые за долгие годы мытарств начал проникаться чувством собственного жилья. Его отчий дом был далеко, он так давно в нем не был, что начисто забыл его тепло. Скитаясь по разным квартирам и даже находясь у Валентины с ее детьми, он не чувствовал того, что должен был, а именно желания остаться тут навсегда и больше никуда не уходить. Здесь же, звездной ночью выходя из временки покурить, он смотрел на темный силуэт возвышающегося дома, его дома, и находил в своем сердце нежность и спокойствие, как когда-то в детстве. И пусть звезд на северном небе было гораздо меньше, чем там, где он родился, это место становилось таким же родным. В нем была неожиданная мощь, которой он раньше не предполагал.

Да, это было лучше и значимее любого самого удачного стихотворения. Теперь он понимал это всеми своими мозолями, ноющими плечами, каждой ссадиной и занозой. То, что он сейчас создавал, было ошеломляюще реально, было живым и настоящим — это можно было потрогать, прижаться щекой и почувствовать ответное тепло. И, конечно же, во всем этом был его дух. Ни Рембо, ни Джон Донн, ни Бродский не смогли сделать того, на что сподобился он, — своими руками выстроить храм своему Духу — не из каких-то красивых фраз, а из самого что ни на есть осязаемого материала, более живого, чем слово. И это было невероятное чувство — знать, что ты хоть в чем-то обошел своих учителей, что ты создал нечто, что навсегда выделило тебя среди них.

За то лето он скинул лишний вес, посвежел лицом, его мышцы налились, глаза разгорелись. А когда он отпустил бородку и подстриг ее эспаньолкой, то вообще приобрел неотразимый вид. Большой поджарый мужик с сетью морщинок возле глаз, с мозолистыми руками и усталой, но не потерянной улыбкой, уверенный, знающий цену себе и своим словам, — теперь не то что менты, скинхеды обходили его стороной. Даже собаки, которые раньше, чувствуя его страх, спешили облаять, сейчас просто поджимали хвосты и подобострастно заглядывали в глаза. Что же говорить о женщинах?

Валентина приезжала на дачу каждые выходные, иногда с детьми. Неожиданно уродилось много клубники — она была как сладкое подтверждение того, что все идет правильно, что риск оправдался, и вот они, его плоды, сочные и сладкие, тающие во рту. Омар работал как заведенный. Его знало все садоводство. Многие ходили полюбоваться на то, как он в одиночку тягает тяжелый шестиметровый брус. Кто-то предлагал помощь, но он неизменно отказывался — этот дом он должен был построить собственноручно.

— Повезло вам с мужем, — здоровались с Валентиной женщины.

— Это уж да, — соглашалась она, прикидывая в уме, какая из них уже успела подкатить к нему свои хорошо пропеченные на солнце булки.

Но ей не стоило ревновать — ее возлюбленный был ангелом во плоти, всемогущим и бесполом. Ближе к осени он возвел стропила, прикрутил обрешетку, и на этом дело застопорилось — Омар ушел в загул. Он элементарно запил, да так сильно, что ни о какой работе не могло быть и речи. Попив неделю на участке, он перебрался в город.

Недели через три мы встретились у Евгения. По нему нельзя было сказать, что он бухает уже месяц.

— Ты поможешь мне? — сразу спросил у меня Омар.

— Конечно, — ответил я.

Как я уже говорил, он боялся высоты, а крышу необходимо было покрыть до снега, который мог пойти не сегодня-завтра, так что нужно было спешить.

— Я тебе заплачу, — сказал он.

— Ладно, разберемся.

Мы приехали на участок рано утром. Я осмотрел стропильные ряды. Они были поставлены не ахти как, но на вид выглядели крепкими. Все вокруг было серым, доски напитались влагой, с неба моросило. Омар стоял внизу с бутылкой пива и смотрел на меня.

— Нормально? — спросил он, ожидая похвалы.

— Потянет, — кивнул я.

Раскатать рубероид и прибить его к обрешетке было делом техники. Рубероидные ряды я сшивал рейкой, чтобы ветер не задирает края. Дождь усилился. Я натянул на себя полиэтиленовый плащ, но он быстро порвался. Доски стали скользкими, и я пару раз едва не загремел вниз. Стропильная система раскачивалась под моим весом. Я боялся, что она просто сложится.

— Ты бы укрепил все это потом, — сказал я, забывая последний гвоздь.

— Сойдет и так, — ответил он и махнул в сторону времянки. — Пойдем выпьем. Тебе нужно сменить одежду.

— Сойдет и так? — удивился я. — Да она же рухнет через пару лет.

— Не рухнет. Я потом еще металлокерамику постелю.

— Тогда точно рухнет!

— Говорю, не рухнет. Не спорь, это мой дом!

Да, это был его дом, его детище. Ничто не должно быть на века — вот в чем был принцип всего того, что он делал. Стихи, керамика, дома, люди — все исчезало, ломалось и рушилось после его ухода. Если задуматься, в этом содержался глубокий смысл. Вода должна замывать следы, чтобы песок снова стал девственным, вечность безымянна. Вечность — чистый лист без единой кляксы на нем.

8

Стройка заморозилась до весны. Всю зиму он прожил во времянке, отапливая ее двумя электрическими радиаторами. Целыми днями он валялся на диване, почитывая книжки, выходя на улицу только для того, чтобы справить нужду и подышать морозным воздухом. По ночам лес вокруг садоводства словно подступал к участку, сжимая его со всех сторон, а когда небо было чистым, на нем мерцали звезды.

Теперь у Омара был дом — место, где он мог делать все что захочет. Еще у него была земля. За время обладания ею он исследовал каждый квадратный метр. С виду земля была обыкновенной, но что она таила в своих недрах? Иногда он задумывался, представляя, какие неожиданные богатства она могла скрывать в глубине. Омар ощущал их наличие в ней так же, как и в себе, и это роднило его с этой землей. Он пускал в нее корни.

Это была самая легкая зима, самая беспечная в его жизни, а с наступлением весны он снова принялся за работу. Омар никуда не спешил, полностью обжившись на участке. Поставив окна и двери, он отделал комнату и кухню, сложил печь, и

следующая его зима прошла в совершенном раю. Рай спустился с небес и объел все вокруг сладкой негой. В этих образовавшихся куцах не хватало только Ев, но и их не пришлось долго ждать — стоило только набрать на телефоне пару номеров, и вот они уже тут, белеют нежными телами.

Не знаю, это ли сгубило его, стало последней каплей для Валентины, но, поймав новоиспеченного Адама на очередной измене, она не выдержала. Не для этого она продавала комнату, ущемляя в жилье своих детей, чтобы этот выродок трахал тут баб. Господи, да сколько же можно! Горбатого только могила исправит! Сколько лет она ждала, надеясь, что он изменится, но все было без толку. Нет уж, хватит с нее, она просто вышвырнула его вещи за забор, отобрав у него ключи. Это случилось мгновенно: еще вчера он был тут полноправным хозяином, а сегодня не мог ступить даже на участок.

Возможно, если бы Омар стал оправдываться, сочинив очередную невероятную историю, она бы и пошла на попятную, в конце концов однажды снова его простив, но ему все надоело. И он поступил так, как поступал всегда в таких случаях, — молча сложил в рюкзак свои нехитрые пожитки и пошел прочь.

Наступало самое сложное время в его жизни. Он был уже немолод, и заходить на новый круг ада было невыносимо. Все повторялось как в кошмарном сне: его ждали чердаки и подвалы, одиночество и отчаяние, тягучее похмелье и скребущий голод.

Все его женщины, когда-либо бывшие с ним, — где они были теперь, с кем они были? Почему ни одна не смогла его удержать, не захотела, чтобы он остался, не легла на пороге, когда он уходил? Неужели никто не любил его так сильно, чтобы вынудить остаться навсегда? И так ли он ценил свободу, так ли не хотел лишиться себя возможности выбирать себе жизнь? И где она — эта его жизнь? Что с ней стало, кому теперь она нужна? В чем она теперь?

Он снова жил на улице. Несколько раз его прихватывали менты, и однажды он едва не отдал концы в одиночной камере, пролежав в ней трое суток. Вызволял его Евгений, чудом разув, где находится приятель. Он нашел Омара едва живым, у него был жар, он не мог произнести ни слова.

В то время я работал с новым мужем Маргариты, помогая ему с камнерезными работами. Мы жили в деревенском доме, в семидесяти километрах от города. Узнав новости об Омаре, я уговорил Маргариту, чтобы она разрешила ему пожить с нами.

— Позволь ему пережить эту зиму здесь, — сказал я ей по телефону. — Кто ему еще поможет, кроме тебя?

В голосе Маргариты звучало сомнение. Что это значит — «кроме нее»? Сколько говна он принес в ее жизнь, она уже стала забывать, и теперь опять?

— Да ладно тебе — какого еще говна? Забудь ты это. Где та Марго, которая хотела про всех нас написать?

— Мы все уже давно не те, — вздохнула она. — Ладно, звони своему Омару, пусть подгребает.

— Нашему Омару, — поправил я ее.

— Нашему, нашему, — согласилась подруга.

Он приехал к вечеру и сразу же залег в соседнем доме, который Маргарита снимала для гостей. Он не выходил из него двое суток. Свет не горел и не топилась печь. Дверь была закрыта изнутри.

«Может, умер?» — всерьез обеспокоился я. Пришлось снова звонить Маргарите в город.

— Ну вот, а я тебе говорила про его говно, — раздраженно ответила она. — Не хватало, чтобы он еще тут концы отдал. Хотя от него не дождешься, — тут же добавила она. — Он еще нас всех переживет. Иди постучи в дверь, в окно. Пора его оживлять.

Надев валенки, я потопал на соседний участок. Кругом лежал снег. Он был белым, как чистый лист бумаги.

На этот раз дверь дома была открыта, на крыльце сидел Омар и курил. Его лицо было изможденным, но, увидев меня, он улыбнулся.
— Привет, — сказал я ему.
— Привет, — ответил он.

Сорин

1

Сорин трижды квадратный, весь в углах, они налезают друг на друга, выпирают тут и там, как на какой-нибудь кубической картине Пикассо. Окружность у него только одна — голова, но и она бугристая, словно ее пропахали маленьким плугом, когда он был в отключке. Несмотря на такое несуразное обличие, Сорин — душевный человек. Он даже мил, как бывает мила стеснительная горилла. Сказать больше, Сорин невозможно трогательный, просто душка, но не дай бог вам его по-настоящему разозлить. Лучше не будить в нем зверя, лучше уж оставить все как есть.

Угловатый, застенчивый, но очень мужественный, Сорин всегда приковывал женские взгляды. Женщины тянулись к нему, в особенности те, что были несчастны в собственных семьях, — одинокий тридцатилетний мужик, пишущий стихи, с тихим голосом и могучими плечами, — у них теплело в низу живота, когда он, бесконечно сомневающийся в своем праве говорить, сидел на стуле и морщил лоб, пытаясь разобрать собственные каракули в школьной тетради. Его стихи были дикими и чувственными одновременно: шок и нежность, рык и трепет, а потом бурный оргазм — все, о чем вы только могли мечтать.

То, что кто-то в свои тридцать еще не женат, воспринимается окружающими как досадное недоразумение. С другой стороны, каждый, кто считал, что хорошо знает Сорина, мог сказать, что другого расклада тут и быть не могло. Это же Валера Сорин, крепкий орешек, он любит женщин, это так, но есть то, что Валера любит больше всего на свете. «Больше всего на свете он любит стихи!» — воскликнут те, кто его действительно знал, и это будет правдой, но лишь частичной. Что же еще любил Валерий Сорин, во что еще был влюблен Великой Любовью?

Он жил с родителями в двухкомнатной квартире, кстати, недалеко от Алика. Однажды я даже привел к нему Валеру, но Алик, кажется, остался этим недоволен. Впервые в такой ситуации его гостеприимное радушие дало сбой. Вот кто был полной его противоположностью: квадратный, улыбающийся в пол человек, мучительно подыскивающий слова и не знающий, куда деть свои большие руки, повторяющий вопросы по два раза, — у Алика просто скулы сводило от напряжения. Он не знал, как отвечать, например, на такое: «Ты здесь один живешь? Ты один? Здесь? Живешь?» Казалось, этот нелепый человек пришел к нему только для того, чтобы поиздеваться. «Он мне внушает ужас, — сказал потом Алик, когда мы остались наедине. — Вроде безобидный, но, по-моему, очень опасный».

Это он зря — Сорин совсем не был опасным, скорее, наоборот. Я больше боялся за Валеру, когда он вынужден был с кем-нибудь знакомиться. Мне всегда казалось, что ему нужно было набраться большой храбрости, чтобы пересилить себя и пойти на контакт с незнакомым человеком.

Так вот, он жил с матерью и отцом, а еще у него была сестра, но она давно вышла замуж и жила отдельно. Отец почти все время пропадал на даче, где-то под Тихвином, туда же уезжала и мать — как только наступал апрель, она закрывала дверь, и Валера вплоть до конца октября оставался один. Таким образом, целых полгода он был самостоятельным человеком, тогда как остальная часть его жизни проходила под

жестким материнским контролем. Его мать не была домашним диктатором, просто, хорошо зная своего сына, она вынужденно следила за его поведением.

— Скажите, молодой человек, вы пьете? — первое, что спросила она после нашего знакомства. Она так и обратилась ко мне: «молодой человек», хотя десять секунд назад услышала мое имя.

— Бывает, — ответил я.

— Вам, наверное, можно, а вот Валере пить нельзя, — твердо сказала она. — Вы знаете об этом?

— Нет.

— Разве он вам не сказал? — удивилась она. — Он обязан был вам это сказать!

Не знаю, что он там был обязан, а что нет, я к тому времени многого не знал. Сказать по правде, я даже не понял, как мы с ним сошлись. Мне совсем не нравились его стихи, они казались мне излишне грубыми, но не потому, что этого хотел автор, а потому, что иначе он не умел. Несмотря на их топорность, в них все же присутствовала музыка, но, на мой взгляд, совершенно случайная. Она витала в его несоразмерных строчках, словно блуждала в темном лесу, то теряясь в густом кустарнике, то вновь вырываясь к свету. В ней было больше сумбура, чем стройности. Во всей этой сумятице сквозила какая-то дичайшая грусть, возникавшая от чувства обреченности, да и сама она была обречена. Его стихи были полной графоманией.

Лесть всегда груба, пусть кто-то иногда и называет ее тонкой. Не всем она к лицу, но Сорин смог покорить меня ею. Так грубо мне еще не льстили. Мне пришлось присмотреться к нему — может быть, изначально я и проявил слабость, отозвавшись на его нехитрое внимание, но потом никогда не пожалел об этом.

У него практически не было друзей, так что, по сути, он всегда был один. Мои приятели смеялись над ним и над его стихами — конечно, беззлобно, но все равно обидно, и ни одного из них он не мог назвать просто своим хорошим знакомым, не говоря уже о чем-то большем. Все они были ловчее и изобретательнее его во всем, они могли сожрать и переварить десять таких Валер, и, понимая это, он никогда не подавал виду, что его задевают их смешки. Он только улыбался в ответ, и мне становилось обидно за него. Мне казалось, он не должен был ограничиваться этим жалким жестом, ему нужно было идти дальше: либо заплакать, либо взорваться и кого-нибудь покалечить, а лучше проделать и то и другое в любой последовательности. Нельзя прятать свою сущность от себя, пытаюсь спрятать ее от всех. Она все равно вырвется из твоих глубин, как бы ты ее ни скрывал. Явленная лишь в стихах, она продолжала жить в нем тайной жизнью, дожидаясь своего часа.

2

— Хочешь немного заработать? — спросил он меня однажды, и это было действительно очень кстати — на тот момент я как никогда нуждался в деньгах.

— Что за работа?

Нужно было покрыть крышу шифером и заменить подгнивший венец в деревенском доме.

— Ерунда, — сказал Валера. — Справимся за неделю.

— Ты когда-нибудь делал это раньше?

— Раз десять или пятнадцать.

— Правда?

— Конечно!

Мы собрались и поехали. Встретились утром на вокзале, где Валера познакомил меня с хозяйкой — полноватой женщиной в платке, всю дорогу она подозрительно косилась в мою сторону. Я не внушал ей доверия в качестве профессионального

строителя. Сорин куда больше подходил на эту роль, и она общалась исключительно с ним.

Мы вышли на какой-то неприветливой станции, кругом простирались поля. По дороге нам попала речка, она оказалась неожиданно бурной. Берег был каменистым, два рыбака стояли с удочками наперевес, накрапывал мелкий дождик. Лена, так звали хозяйку, раскрыла цветастый зонт. Через полчаса ходьбы показалась деревня.

Дом был старый, его темный бревенчатый сруб немного покосился в сторону двора. Из покрытой дранкой крыши торчала кирпичная труба.

Хозяйка повозилась с замком и с трудом открыла пухлую, обитую дерматином дверь. В доме стоял затхлый сырой дух.

Показав, где что лежит, и простившись только с Валерой, она быстро уехала.

Деревня была немножко унылой, казалось, тут жили одни старики. С крыши открывался тот же вид, что и с земли, — маленькие темные дома, голые участки обнесены покосившимся штакетником. Слева, на краю деревни, разлилась огромная лужа. На горизонте чернела полоска леса. Небо было низкое, дождь все не прекращался.

Кое-как растопив печь и разобравшись с заслонками, мы приступили к работе.

Для начала нужно было содрать с крыши дранку. Это оказалось непростым занятием. Она была прибита мелкими гвоздями, мы поддевали ее гвоздодерами и отделяли от обрешетки. Валера кричал, работая как заправский мастерской, без усталости орудуя монтировкой.

Вечером мы сварили на плите ужин, и в доме стало уютнее.

— Давно ты так работаешь? — спросил я его за едой.

— Лет десять, — ответил он, не переставая жевать. Раньше он шабашил с зятем, но теперь, когда шабашки накрылись, ему приходилось перебиваться такими вот халтурами.

Я задал еще несколько вопросов и узнал много интересного из его прошлой жизни.

Оказывается, все началось со стройотрядов, куда он ездил, учась в институте. Институт он так и не окончил, зато нашел себе постоянную работу с очень хорошим заработком. Каждый год начиная с весны и до поздней осени он проводил время за строительством коровников и птицеферм, рыл колодцы и городил заборы — короче, занимался всем, за что неплохо по тем временам платили. По его словам, за пять месяцев он получал столько, что потом оставшиеся семь не вылезал из ресторанов, просаживая там все деньги. Тогда-то Валера и подсел на алкоголь, и теперь у него с ним были весьма непростые отношения.

Однажды они бригадой бухали всю ночь, а когда наутро ему стало плохо, его повезли на колхозном УАЗе в ближайшую больницу, находящуюся в районном центре. В машине Валере стало еще хуже, и тогда он лег на капот и открыл рот, чтобы встречный воздух задувал внутрь.

— И ты ехал так всю дорогу?

— Почти. Правда, на одном крутом повороте, уже под самый конец, не удержался и полетел в кювет. В результате падения я сломал руку и выбил колено.

Я представил его на капоте с открытым ртом и не смог удержаться от смеха.

— Валера, — сказал я, прекратив смеяться. — Ты мой кумир!

— Кто? Я?

— Именно!

Он смущенно заулыбался так, что по всему лицу пошли морщины. Наверное, его так никто в жизни не называл. Впрочем, как и меня.

На следующий день с дранкой было покончено. Мы повытаскивали из обрешетины оставшиеся гвозди и кое-где заменили доски. Дом стал похож на огромную рыбину, выброшенную на берег, которую до самых ребер объели птицы.

Следующее утро выдалось ясным. Валера действительно знал толк в строительстве.

Я же и понятия не имел, что, например, шиферные листы кладут от низа, накрывая следующим внахлест, и так далее до самого конька; и что для крепежа нужны специальные гвозди с резиновыми прокладками на шляпках, чтобы в отверстия не затекала вода. И что опять же для пушей гидроизоляции эти гвозди следует забивать в волну, а не в ложбину между ними.

Мы натянули между краями ската веревку, по которой выравнивался нижний ряд. Работа двигалась споро, никогда я еще не трудился с таким удовольствием.

В этот день было солнечно, и наконец можно было скинуть куртки. Я старался разговорить Валеру, задавая вопросы, и постепенно он стал раскрываться. Под вечер мы сидели возле трубы и жарко спорили о стихах. Вокруг стояла вечерняя тишина, и наши голоса долетали до самых отдаленных концов деревни. Могу поспорить, что тут никто ни разу не слышал таких разговоров. Садилось солнце, начинало остро пахнуть землей и еще чем-то пронзительно нежным, наполняя легкие пьянящим воздухом какой-то дикой свободы, так что хотелось запеть или заорать благим матом. Мне казалось, что я могу полететь, если захочу, — нужно только оттолкнуться и раскинуть руки.

Валера тоже преобразился. И хотя, по моему мнению, он нес полную чушь, я готов был ее принять только ради того, чтобы его слова наконец-то обрели вес. Чтобы он почувствовал весомость своих слов, и они в таком неожиданно прекрасном месте, как это, не пропали под гнетом моего пренебрежения.

«Ты прекрасный строитель, — обратился я к нему мысленно, — но плохой поэт. Не знаю, было бы лучше, если бы было наоборот? И что нужно сделать, чтобы изменить ход вещей?»

Но если говорить откровенно, мои стихи тоже были не так уж хороши. Сейчас я понимал это очень отчетливо. У меня даже промелькнула мысль: может быть, потому я и сблизился с этим человеком, что он похож на меня? Я был уверен, он чувствовал то же, что и я, в этот вечер. Может, это и была его Великая Любовь — вот эта крыша, молоток в руках, пьянящий весенний воздух и нежно-красное небо над головой?

На следующий день мы добились крышу быстрее, чем ожидали, потому что оба были на подъеме, и теперь нужно было быстро переходить к последней части, так как к вечеру обещала приехать хозяйка принимать работу.

Оставалось заменить два подгнивших бревна в нижнем венце сруба. По словам Валеры, все было просто — нужно только приподнять избу на домкратах, вытащить гнилые бревна и подсунуть вместо них новые.

— Ты и это делал? — я не смог сдержать изумления.

— Нет, — покачал он головой. — Но слышал от тех, кто это проделывал не раз.

— А что будет, если у нас не получится?

— В худшем случае дом рухнет, и все.

— И ты хочешь попробовать?!

— Мы же подписались под это дело.

Я смотрел на Валеру и снова не узнавал его. Передо мной стоял уверенный в себе, решительный малый и держал в руках тяжелый дрын, словно в нем вообще не было веса.

— Даже если у нас не получится, ты все равно в моих глазах останешься крутым, — сказал я ему.

— Ты тоже, — засмеялся он.

Когда приехала хозяйка, она молча обошла то, что осталось от дома, и опустилась на бревно.

Мы смотрели на нее, готовые ко всему.

— А я шампанского привезла, — сказала она. — Обмыть вашу работу.

— Это хорошо, — отозвался Валера. — Но лучше бы водки.

3

Насколько я знаю, он никогда никому не звонил. За всю жизнь он лишь несколько раз набрал мой номер, в остальных случаях это делал я.

Если трубку брала мать, я представлялся, а потом просил позвать Валеру. Через пару звонков она стала меня узнавать.

Она неизменно была приветливой и обращалась ко мне на «вы», иногда мы с ней мило беседовали. Мне она казалась прекрасной женщиной, да такой, по сути, и была. Она любила сына, но считала, что он мог быть и поумнее.

— Да он умный, что вы! Только, может, прикидывается простачком, — смеялся я.

— Вот именно, — сердилась она. — Так наприкидывался, что уже не расприкинуться.

Да уж, она и правда могла так говорить. Неустроенный в свои тридцать лет, он выглядел крайним недотепой.

Спустя полгода после нашего деревенского приключения на него завели уголовное дело. Вменяемое ему правонарушение было таким же нелепым, как и он сам. Выпивая однажды у какого-то приятеля, Валера пошел за водкой и, возвращаясь, перепутал этаж. Ничего не соображая, он начал долбиться в чужую квартиру, в которой проживала одинокая старушонка. Сначала она сидела тихо, но после того как Валера пустил в ход тяжелые башмаки и дверь стала трещать под их ударами, ей пришлось вызвать милицию.

Наряд приехал быстро, но Валера все-таки успел выломать дверь и ворваться в квартиру, после чего был сбит с ног тяжелой чугунной сковородой. Оказалось, бабуля сжила со свету одного за другим троих мужей — в общем, она знала, как управиться с обезумевшим мужиком. Падая, Валера задел ее бутылкой, так что скорую помощь пришлось вызывать для обоих.

В себя он пришел в отделении, очнувшись в камере с перевязанной головой. Она сильно болела, боль от удара перемешалась с похмельем. В камере было темно. Валера встал, подошел к железной двери и заглянул в небольшое круглое отверстие. Было тихо, и среди этой тишины неожиданно откуда-то начали приходить строчки — они напознали одна на другую и складывались в стихотворение. Оно было прекрасным, его хотелось записать, но было нечем. Чтобы не забыть, он повторял его про себя, заучивая наизусть. В ноющей от боли голове звучала чудесная музыка, в то время как он видел перед собой тускло освещенное помещение дежурки, стол и мента, спящего на стуле.

Дело замяли — старушка забрала заявление, после того как Валера купил ей телевизор. Он едва не разбил его, ударив дверью парадного, но все же донес и вручил, еще раз сердечно извинившись.

«Больше не пью», — сказал себе Валера. Не хватало еще ему в тюрьму.

Но в следующий раз он загремел в дурку, когда едва не спрыгнул с балкона на желтый песок, по которому шел караван навьюченных верблюдов. Никаких верблюдов, естественно, не было, зато была белая горячка — она поднялась на лифте на одиннадцатый этаж и без стука вошла в дверь.

— Тебе нравятся верблюды? — спросила Валеру большая белка.

Тот с готовностью кивнул:

— Я их обожаю.

— А ты видел хоть одного верблюда? — продолжала задавать вопросы белка.

Он помотал головой.

— Так вот же! Смотри, они ждут тебя, — и она показала вниз.

Он уже перекинул ногу через балконные перила, как белка внезапно превратилась в его сестру и втащила Валеру обратно в квартиру.

Он пролежал в одиночной палате две недели, и все это время ему делали уколы и ставили капельницы, а потом в палату вошел крепкий лысый мужик в белом халате и уселся напротив его кровати.

Валера покорно ждал, что он скажет. Врач мог сказать все что угодно, например: «Ты не выйдешь отсюда до конца своих дней». Но вместо этого произнес:

— Я люблю вашу сестру.

Валера, опешив от такого поворота, тревожно ожидал продолжения, но его не было. Врач встал и вышел. Это был самый главный человек, от которого зависела Валерина судьба.

На следующий день Валеру отпустили.

— Ты не знаешь, на что мне пришлось пойти, чтобы вытащить тебя, — прошипела ему сестра по телефону.

— Ты сама меня туда сдала, — ответил ей Валера.

— Неблагодарный! — выкрикнула она и бросила трубку.

4

Несмотря на всякие жизненные невзгоды, он продолжал писать и, кстати, выпустил больше всех книжек из всех наших общих знакомых. Издавал он их за собственный счет по двести-триста экземпляров — это были карманного формата тонкие брошюрки, жалкие и смешные, с нелепыми рисунками на обложках, со вступительными словами поэтов калибром немногим повыше, нежели сам автор. Стихи в них были с исправленными от руки опечатками — хотелось взвыть от тоски, глядя на эти покалеченные строчки.

Да, это были действительно абсолютно жалкие книжонки. Хватало нескольких страниц, чтобы прекратить чтение и больше никогда к нему не возвращаться. В мире и так много печальных вещей, чтобы таким вот образом их еще и приумножать.

Всего он воспроизвел их на свет семь или восемь, а между пятой и шестой — женился. Я видел его жену лишь однажды — это была молодая миловидная женщина с удивительно красивой улыбкой, немного застенчивой, как у Валеры, но более открытой. Он гордился ею и очень дорожил, считая, что ему невероятно повезло.

Он уже давно не пил — жена вообще никогда не видела его пьяным. Пожив три месяца у него на Гражданке, они переехали на Черную речку в квартиру ее родителей. Кроме отца и матери, там жили несколько кошек с диковинными именами, которые трудно было запомнить, и белый крохотный мопс, таявавший так, что закладывало уши.

Валера продолжал заниматься строительством и частенько отсутствовал, тягая бревна на свежем воздухе. Когда он возвращался и обнимал жену, она, вдыхая его запах, говорила: «Милый, ты пахнешь лесным шампунем». Лесным шампунем? Да он пах настоящим лесом, при чем тут какой-то шампунь? Вроде ерундовина, но, если задуматься, в этих словах ее наивность граничила с глупостью, однако Валера не замечал таких мелочей, потому что был не приучен или попросту не способен подмечать тонкости и еще потому, что она уже тянула его на кровать.

В то время мы редко общались и еще реже виделись — он был полностью поглощен семейной жизнью. Из наших телефонных разговоров я сделал вывод, что жена у него «любимая», теща «пришибленная», а тесть «дурной». Про домашний зоопарк он выражался нецензурно, так что эти определения можно опустить. Подробности Валериного проживания в этой семье проявились позже, уже после того как его вышвырнули вон, а пока все смахивало на вполне нормальное житье-бытье.

Теперь он звонил мне сам, я хоть и знал его новый номер, но ни разу его не набрал. Еще мы могли пересекаться на литературных тусовках, но он стал редко на них появляться, полностью отдавшись новой жизни. Впрочем, никто особо не

переживал по поводу его отсутствия, так же как не кричал от радости, когда он неожиданно возникал. Никто о нем не спрашивал, не узнавал, как у него дела, какие новости на личном фронте. А новости-то как раз были.

Он позвонил мне в один из мартовских дней и сообщил, что уже третий месяц живет дома.

— Да, кстати, поздравь меня, у меня родилась дочь, — добавил он, а затем рассказал историю своего очередного грехопадения.

Когда подошел срок рожать, его жену положили на сохранение. Валера, не в силах терпеть ее родителей в одиночку, переехал на это время домой. От сильнейшего переживания за жену и будущего ребенка он запил и не появлялся в роддоме до тех пор, пока жена не разродилась дочкой, и только потом решился навестить, но перед посещением перепил. Можно представить лицо молодой матери, увидевшей своего мужа, на четвереньках вползающего в палату.

Нет, это был не он — какой-то совершенно незнакомый человек ползал возле ее ног и пускал слюни на больничный линолеум. Она не хотела признавать в нем мужа, а он в свою очередь не хотел ее пугать — он просто таким образом выражал огромную благодарность, выражал так, как мог на тот момент, но эта женщина, не умевшая отличить запах настоящей сосновой смолы от шампуня, в ужасе отпихнула его ногой.

На ее крик сбежался весь этаж. Когда два дюжих охранника тащили его, окончательно обезумевшего, по коридору, он продолжал мычать и вертеть глазами, цепляясь руками за стоящие вдоль стен каталки. Полтора часа его не могли выдворить из роддома, и все закончилось в обезьяннике ближайшего опорного пункта, однако поутру менты сжалились, и молодой отец был отпущен под честное слово больше не посещать жену в таком виде.

Валера был опустошен. К жесточайшему похмелью прибавилось осознание случившейся беды и понимание, что ничего уже не исправить. Можно было встать на колени и попытаться вымолить прощение, но эта поза решительно исключалась, так как могла напомнить супруге о его недавнем визите, а иначе вымаливать прощение он не умел.

С тех пор прошло уже три месяца, а Валера еще ни разу не видел своего ребенка.

— Я не знаю, что мне делать, — сказал он, сморкаясь в телефонной трубке. — Она вообще не хочет со мной разговаривать.

— Подожди немного, дай время, сейчас ей не до тебя, — попытался я его утешить, впрочем, сам не очень-то веря своим словам. Конечно, ее можно было понять. Она вышла замуж за одного человека, а родила другому, причем если первый был идеален во всех отношениях, второй — просто ужасен.

Что ж, ее случай был не исключительным в своем роде, а вполне показательным и вполне мог послужить иллюстративным примером для какого-нибудь глянцевого женского журнала. Со своей стороны, думая о Валериной проблеме, я пытался представить все то, во что он вляпался и что довело его до критического состояния. Я видел перед собой родителей жены, всех их кошек, всю тесноту их квартиры — каждый оккупированный квадратный метр: все эти диваны, столы и стулья, телевизоры, шкафы и кровати, кошачьи туалеты, цветы в горшках, ковры и тумбы, швейные машинки, тазы и микроволновки, полиэтиленовые мешки, шторы и половые тряпки, грязное и чистое белье, мочалки, картины на стенах, абажуры, хрустальные фужеры, слоники, какие-то липучки, тапочки и огромный, на полкухни, холодильник... Господи! Да там не то что Валере, там Тебе не было места! Как не было места Тебе и в его стихах.

Все это было неправильно, все шло не оттуда и не туда, двигалось набекрень, наискось, катилось юзом, подпрыгивая на ухабах, застревая и пробуксовывая. Все это выглядело жалко, называясь жизнью. Но это и была жизнь, и другой не было: ни у Валеры, ни у меня, ни у каждого из нас.

С женой он все-таки разошелся — она так и не смогла его принять. Так он стал приходящим отцом. Забирая дочку на выходные, он угощал ее мороженым, конфетами и другими сладостями, катал на каруселях и катерах, гулял с ней и всячески баловал, а потом отвозил к матери и по совместительству бывшей жене.

Разводясь с ним, она думала, что легко найдет ему замену, но, помыкавшись с одним-другим-третьим, быстро поняла, что все мужики одинаковы в своем беспредельном эгоизме и каждый из них любит выпить, каждый хочет от нее большего, нежели может дать сам, и у каждого нужно регулярно сосать без всяких жалоб и отговорок.

Если сравнивать их с бывшим мужем, то тот хотя бы беззаветно любил дочь, и ему можно было спокойно ее доверить, чего нельзя сказать ни про одного из ее половых партнеров.

Потом Валера рассказывал, что по прошествии времени она не раз предлагала ему сойтись, но он уже сам не хотел этого. Не то чтобы он не мог ей чего-то простить, просто не желал расставаться с вновь обретенным чувством равновесия, которое дарило ему ощущение свободы.

Зачем ему было сходитьсь?

Во-первых, у него и так была любимая и любящая дочь, которая всегда искренне радовалась его приходам и с которой по субботам он мог насыщать свое отцовское чувство.

Во-вторых, оставшись в конце концов одна, бывшая жена радовалась его приходам не меньше, потому что перед тем как пойти гулять с дочкой, он всегда добросовестно удовлетворял ее саму. И этот секс не имел ничего общего с рутинным супружеским долгом, в какой он мог превратиться в случае их воссоединения. Так что понятно, почему во всем остальном послушный и кроткий Валера в этом вопросе был неуступчивее самого упрямого барана.

Оставшись наедине со своей стихотворной музой, он снова взялся за старое и в течение трех лет издал еще два сборника, которые были посвящены бывшей супруге. Это выглядело более чем странно, потому что обычно стихи пишут тем, к кому стремятся и о ком тоскуют, а не тем, от кого бегут, но это же был Валера. Я думаю, ему самому было нелегко разобраться в побудительных мотивах своего творчества, что уж говорить о других, кто даже и не пытался заглянуть в потемки его души.

В начале двухтысячных мы часто подолгу работали вместе, выполняя различные заказы, а однажды целую зиму протрубили на стройке, устанавливая в огромном строящемся доме двери, окна и подоконники. Нами командовал наш общий знакомый Борис, взявший этот подряд. Лет пять назад, новичком, он ходил за Валерой хвостом, учась работе, и тот с удовольствием делился секретами мастерства, и вот уже ученик, давно переросший своего учителя, гонял его по этажам.

Валера любил и умел работать, но у него был свой неспешный ритм, и если ему навязывали другой, все валилось у него из рук. Бориса, платившего нам по часам, такая нерасторопность совсем не устраивала, тем более что и мы, глядя на Валеру, снижали работоспособность. Это выводило нашего бригадира из себя.

— Быстрее! — кричал он Валере. — Двигай мослами, чертов стихотворец!

Валера только улыбался в ответ, морща лицо, становясь похожим на актера Бельмондо.

— У меня болит спина, — отвечал он, мелко, как в приступе пароксизма, трясая головой. — Натри мне ее скипидаром.

— Я тебе сейчас задницу натру.

Это нужно было слышать. Борис, набрасываясь, нещадно заикался, а Валера

неловко отшучивался, отбиваясь от его нападков, — они были те еще голубки. А вскоре к нам присоединился Омар, и стало совсем весело.

До ближайшего метро ходили трамваи, но мы с Валерой предпочитали добираться пешком. Он брал мне в ларьке джин-тоник, покупая мое внимание, и потом всю дорогу жаловался на свою бывшую жену, целенаправленно наставлявшую рога их совместному прошлому, а заодно и будущему.

— У тебя же не может быть с ней никакого будущего? — отхлебывая из банки, напоминал ему я. — Или ты еще на что-то надеешься?

Да, тогда он еще надеялся. Он все еще ненавидел ее и любил, сходя с ума от невозможности что-то изменить.

И еще я заметил, что он стал постепенно меняться, и не в лучшую сторону. Как будто в нем поистерся механизм и шестеренки, до сих пор крутившиеся исправно, начали давать сбой. Это отмечалось во всем — в той же работе, которую раньше он проделывал играючи; теперь ему приходилось напрягаться, чтобы не наделать косяков, и все равно они вылезали тут и там, как несъедобные грибы. В итоге, напарившись с ним несколько раз, Борис стал брать его с собой, тогда как мы с Омаром работали самостоятельно. Валера был незаменим в подыгрыше, из него получался отличный подсобник, вкалывающий под присмотром. За ним просто нужно было следить, чтобы он чего-нибудь не запорол, чего уже невозможно было исправить.

Примерно в то время у него стала развиваться одна характерная особенность: он не хотел говорить о чем-то, что, на его взгляд, могло принести страдание или просто задеть. А если, скажем, собеседник начинал настаивать на этой теме, то Валера, недолго думая, напяливал маску клоуна и начинал дурачиться, выводя того из себя.

Конечно, такое проявление эгоизма возникло у него как форма защиты и в крайних случаях было вполне приемлемо, но когда подобное поведение постепенно становилось нормой, это начинало раздражать. Хотя, с другой стороны, каждый защищается как может, и очень трудно после многочисленных схваток сохранить себя и свое лицо прежними.

Теперь с ним можно было говорить только о том, что нравилось ему. Это напоминало мне разговоры с трехлетним малышом, который повторял за тобой твои же понравившиеся ему фразы. Например: «Мама нас любит». — «Да, мама нас любит». — «Мама любит Валерика». — «Да, мама любит Валерика». Это было понятно и приятно. «А кто ручки испачкал? Почему Валерик молчит? Валерик не хочет говорить, почему он испачкал ручки?»

Валерик молчал. Ему не нравилось, когда его тыкали в его «грязные ручки». Не нравилось, когда говорили, что он неудачник, что он ничего не умеет и не хочет уметь, что его выгнала женщина, которая и сама-то никому не нужна. Не нравилось, что родители жены настраивали его дочь против него, что собственная мать постоянно его пилила, а сестра и вовсе перестала с ним разговаривать. Что к тридцати пяти годам у него, по сути, не было друга, с которым он мог бы снять все эти чертовы маски, одну за другой, и просто откровенно поговорить.

А ведь настанет время, когда все эти маски настолько прирастут к лицу, что их будет уже не отодрать. И вот тогда он даже наедине с собой не сможет разглядеть себя ни в зеркале, ни в собственной душе.

6

Но пока мы шли к метро, я глотал джин-тоник и слушал откровения, может быть, уже последние в его жизни, обращенные к человеку. Механизм разрушения был запущен, и он работал исправнее любых часов.

— Ты не пробовал записать свою жизнь? — спросил я его.

— Записать свою жизнь? Зачем? — не понял он.

— Ну, просто. Ты порой так забавно рассказываешь, с таким своеобразным юмором — мне кажется, из всего этого могла бы получиться неплохая книга. Повесть или роман, почему нет?

Мне самому показалось это забавным, а вдруг и правда получится? Стихи стихами, куда они денутся, хотя давно уже нужно было признать, что они никуда не годятся, так почему бы не попробовать себя в ином качестве?

— Это ты думаешь, что они никуда не годятся, у меня на этот счет другое мнение, — сказал Валера, жмурясь, как кот на солнце.

— Ладно, речь сейчас не об этом...

— Критериев нет, — продолжал он, блаженно улыбаясь, словно и не слышал моих слов. — Кто-то любит Есенина, кто-то Бродского...

— А кто-то Васю Пупкина с третьего этажа, — перебил я его. — Ты это хочешь сказать?

— Именно.

— Следуя твоей логике, Вася Пупкин ничем не хуже того же Бродского?

— Для того, кто его любит, даже лучше.

— Но ты же понимаешь, что Вася Пупкин — не Бродский? Ты не можешь не понимать их неравнозначности.

— Я этого не знаю, — продолжал он улыбаться своей резиновой улыбкой.

Конечно, тут он отстаивал свою несостоятельность в стихах, но кто не давал ему другого шанса? У всех был шанс, вот что я сумел внушить ему в тот день.

И Валера начал писать. Это было удивительно, но он даже купил у моего приятеля печатную машинку без двух литер, когда-то бывшую моей, и основательно сел за писанину. До того никогда не замораживавшийся формальной стороной дела, кропавший стишки в блокнотиках, он сразу понял, в чем он раньше терял. Печатная машинка как первый необходимый атрибут большой литературы — вот где был залог вдохновенного труда.

Он сразу определил для себя каждодневную норму — две страницы с полуторным интервалом, и теперь ничего не хотел слышать о сверхурочных рабочих часах на стройке. Ни за какие деньги он не соглашался на дополнительные халтуры, которые могли бы помешать его вечерней встрече с печатной машинкой, что безмерно злило Бориса и наполняло уважением Омара и меня. У Валеры появилась Цель, и она, собрав все его разрозненные части воедино, сделала его сильным. По крайней мере, мы не могли вот так просто отказать нашему бригадиру.

— У него все получится, — говорил мне Омар под пиво в трамвае к метро. — Я верю в Валеру.

— Дай-то бог, — отвечал я. — Наверное, он это заслужил...

Через два года у Валеры Сориная вышла первая книга тиражом восемь тысяч экземпляров. У нее было какое-то идиотское название, но издали ее хорошо: пятьсот белоснежных страниц под твердой обложкой, пахнущих клеем и типографской краской. Это был плутовской роман на современный лад, где главный герой — любимец женщин и просто славный малый — в поисках счастья, богатства и любовных утех летит по жизни мотыльком, совершенно не боясь пламени.

Издательство, выпустившее книгу, называлось «Соитие», и это название было под стать самому роману, напичканному пикантными сценами. Еще у Валеры был такой необычный стиль — он писал радостно. Было видно, что автору нравится абсолютно все: и герой, и его многочисленные подруги, и Петербург, в котором происходило действие, и весь этот увлекательный процесс, называемый сочинительством. Ликование так и било ключом со всех страниц, и это, пожалуй, было самым замечательным и самым безобразным в этой книге. Если поначалу это приятно удивляло, то к десятой странице начинало настораживать, а к двадцатой ты понимал,

что тебя принимают за полного идиота. Только они могут бескорыстно восторгаться буквально всем, что их окружает, не выражая больше никаких эмоций.

Понятия не имею, чем руководствовалась издательша, густо накрашенная женщина средних лет, решая издать Валерину писанину, но она буквально влюбилась в нее. Узнав адрес по «Желтым страницам», он принес ей отпечатанную на машинке рукопись. Все «М» и «А» были выведены в тексте шариковой ручкой. Это сильно удивило издательшу, и она тут же взялась читать. Она читала весь рабочий день, потом по дороге домой дочитывала в метро и хохотала на весь вагон. Она не могла сдержаться слез от смеха, Валера попал в точку. Возможно, даже в точку джи, потому что на следующий же день с ним был заключен договор.

«Это универсальная литература, — сказала издательша своему редактору, который по совместительству был ее мужем. — Она подходит для любого читателя. Это просто восторг какой-то, пир духа». Тот промолчал, только поднял брови, ничего, впрочем, этим не выражая. Если его жена решила что-то издавать, то возражать было бесполезно.

Книга, с горем пополам отредактированная, наконец вышла, и мы хорошенько ее обмыли. В этот раз Валера не стал бузить, потому что нужно было срочно писать следующий роман. Издательша настаивала на продолжении. Вскоре и оно было готово.

Если первый роман, в который он вложил свои представления о самом себе, был хотя бы любопытен в плане подачи, то второй получился неудачным во всем. Написанный наспех, он вышел настолько пустопорожним, что даже влюбленная в его писанину издательша засомневалась, но тут неожиданно вмешался ее муж. «Это новое слово в литературе, — заявил он жене. — И ты будешь первой, кто донесет его до читателя».

Не знаю, кто из них был глупее — он или она. Скорее, они стоили друг друга. Да, у них было издательство, но одно дело штамповать переводные женские романы, и совсем другое — делать ставку на штучный товар. А может быть, он просто хотел, чтобы она поскорее обожглась и выкинула наконец из головы бредовую мысль встать на одну ступень с «Азбукой» и «Лимбус Пресс».

В этот раз сюжет был закручен, как хвост поросенка. Теперь главный герой грабил банк, для чего ему необходимо было соблазнить шестидесятилетнюю подругу матери, чья квартира соседствовала с этим учреждением. Казалось, это неразрешимая задача, но герой Сорины справлялся с ней просто блестяще. Тут автор ничего не придумывал — у него был подобный опыт, только на кону стояла обыкновенная похоть, а не мешок с золотыми слитками. Оставалось просто собраться с духом — и дело было в шляпе. Как потом он проникал в банк — это узнать мне было не суждено. Думаю, кроме самого Валеры и сотрудников «Соития», этот роман больше никто не одолел.

Но как бы там ни было, я все равно был очень рад за Валеру. Дело даже не в качестве его писанины, а в том, что он первый, кто так лихо ворвался в так называемую большую литературу. Второй его роман издали одиннадцатитысячным тиражом — кто бы мог такое представить! Ему неплохо заплатили, и на эти деньги он поставил себе зубной мост. Обмывая книгу, он все время гримасничал, поводя губами, словно языком пересчитывал зубы.

— Хорош корчить рожи, — не выдержал я. — Что ты, как конь, паясничаешь?

— Привыкаю к мосту, — объяснил он. — Не нравится, не смотри.

Эта привычка останется у него навсегда и впоследствии перейдет в невроз, а пока он мог спокойно улыбаться во весь рот, обнажая ровный ряд красивых зубов. Да, он стал писателем, настоящим, и на нем собирались заработать немалые деньги.

Казалось, жизнь налаживается, он раздарил все авторские экземпляры и теперь покупал свои книги в магазинах на подарки новым и старым знакомым.

— Ого, ты написал книгу! — удивлялись они. — Слышите, Валера Сорин написал книгу. Даже две! Или уже три?

Валера смущенно улыбался, немного раскачиваясь всем своим квадратным телом, словно собирался оттолкнуться и взлететь, — у него были красивые зубы, и книжки тоже были красивы сами по себе. Им гордилась дочь, и жена стала отдаваться еще яростнее, чем прежде.

Чтобы как-то нормализовать процесс писанины и поставить ее на поток, он устроился плотником на завод. Пятидневный труд совсем не изматывал, наоборот, помог ему самоорганизоваться.

Вставать приходилось рано, но сама работа была нетрудной. Бригада состояла в основном из пожилых работяг. С утра до вечера они пили технический спирт и резались в домино, а когда приходил мастер и выгонял их на улицу, они брали в руки молотки и что-нибудь сколачивали, чтобы с чувством выполненного долга разъехаться по домам.

От непьющего и не играющего в домино Валеры быстро отстали, записав его в разряд белых ворон. Его никто не донимал разговорами, и он никогда не принимал участия в жарких дискуссиях на тему спорта и политики. Все свободное время Валера дремал, сидя на стуле возле своего шкафчика.

Смена заканчивалась в половине четвертого, и Валера сразу же ехал домой, где его ждала пишущая машинка, — компьютер он не хотел покупать принципиально, ссылаясь на больные глаза. Мне кажется, он это придумал только для того, чтобы не заморачиваться с дорогой покупкой, и потом ему просто нравилось стучать по клавишам и с легким звоном переводить каретку в исходное положение. Во всем этом был особый шик, и плевать ему было на то, что такая писанина отбрасывала его в прошлый век, — он и сам был весь с головы до ног из прошлого века. Валера заправлял сразу пять листов бумаги, промеженных копирками, и наяривал, ничего не правя и не ведая сомнений. Это была идеальная печатная машина, выдающая по две с половиной страницы в день, без выходных, не ломаясь и не требуя ремонта. Она была живой, полной честолюбивых замыслов и возможностей их осуществить.

Ложился он в одиннадцать и сразу засыпал, гримасничая даже во сне.

7

«Соитие» его уже не хотело. Похоже, его книги совсем не продавались, и оба тиража следовало пустить под нож. Что ж, тут не было виноватых, разве что муж издательши, который, по ее словам, не только позволил ей так опрометчиво купиться на этот бред, но еще и подтолкнул.

Валера начал ходить по другим издательствам, называя их почему-то редакциями. Так как его машинописные рукописи нельзя было размножить, ему приходилось не только разносить их по «редакциям», но и забирать обратно. Нелепый, с неизменной резиновой улыбкой, он стоял на пороге и, гримасничая, ждал, пока искали его папку, чертыхаясь и раскидывая бумаги. Бумаг было так много — целое море, и по нему можно было плыть бесконечно.

Его визиты стали привычными. Во всех городских издательствах он стал уже не то чтобы своим, но вроде как и не чужим.

— Давно вас не было, — говорили ему. — Это не подходит, извините.

— Новое принес?.. Эгей, да это мы уже читали! Ты по второму кругу, что ли, пошел?

Он пробовал записывать, чтобы и правда не приносить по второму разу один и тот же текст, но все равно забывал или терял записи, записывая вновь, и снова в который раз путался в этой круговерти. Со стороны это выглядело безнадежно, но нужно отдать ему должное — Валера никогда не отчаивался и не злился, он был уверен

в окончательном успехе, потому что если ему повезло однажды, то почему бы фортуне снова не повернуться к нему лицом?

За пять лет он написал тринадцать романов, шесть из которых представляли собой нечто вроде приключенческой саги. Самое замечательное в них было то, что всем своим персонажам он раздал наши имена. Мой герой был правильным полицейским и вообще бравым парнем, Евгений — полоумным магнатом, задумавшим погубить мир, герой Омара являл собой тип законченного злодея и отъявленного мерзавца, а героиня Маргариты вроде Маты Хари торговала своим телом и разведанными несколькими стран.

Каждый раз, созваниваясь с ним по телефону, я узнавал что-то новое о собственных похождениях. Оказывается, я никогда не тратил время на пустую болтовню и всегда бил первым, временами до ужаса становясь похожим на своего антагониста Омара, которого преследовал из одного романа в другой, а тот, наоборот, постепенно обретал благородные черты. В этом замещении я находил главную авторскую задумку, хотя, скорее всего, такие метаморфозы с героями происходили исключительно из-за полной неразберихи в голове автора.

Честно говоря, я не особо следил за стремительно разворачивающимся сюжетом — со слов Валеры, он был очень даже занимательным, но знакомиться с ним вплотную не возникало желания. Вряд ли его читал кто-то еще — в конце концов Валера так и остался одиноким воином, который в отсутствие врага был вынужден сражаться с собственной тенью.

А она надвигалась и была страшнее любых врагов. Однажды, работая недалеко от его дома, я вызвонил Валеру и предложил встретиться. Он подошел, когда мы с Борисом уже сворачивались. Подождал, пока мы переоденемся, чтобы вместе пройти до метро.

— Он был пьян? — на следующий день поинтересовался у меня Борис.

— Он же не пьет, — с сомнением ответил я. — Не знаю, что это было.

Валера действительно выглядел поддатым, даже несколько перебравшим. Создалось впечатление, что он нетвердо держался на ногах. Его немного заносило, и он натыкался то на меня, то на Бориса, виновато при этом улыбаясь. Что-то с ним действительно было не так. Ко всему прочему, приходилось напрягать слух, чтобы разобрать то, что он говорил. Мне было не по себе, когда я смотрел в его дергающееся лицо, в то время как он ни разу не поднял на меня взгляд.

— Давай, не теряйся. — Стоя у входа в метро, я пожал ему руку.

— Вы тоже.

Казалось, его улыбка была предназначена не нам, а кому-то, кто сидел внутри него и контролировал все его действия.

— Как романы? — спросил я его напоследок. — Пишешь?

— Пишу. Но никто пока не берет. Говорят, не формат.

— Они всегда так говорят. Но ты пиши, не останавливайся.

— Я и не останавливаюсь. Мне хорошо.

— Это главное.

— Да.

Вот и все, будто больше ничего не осталось. Непонятно было, что нас до сих пор связывало, какие мотивы вынуждали набирать телефонные номера друг друга. Теперь казалось, что у нас никогда не было ничего общего, хотя, возможно, думая так, я врал самому себе. Может быть, я хотел, чтобы он всегда был рядом и напоминал мне, каким не нужно быть? Или, наоборот, мое желание держать его в поле видимости провоцировалось моим стремлением быть на него похожим? Все время сверять — похожи мы или нет? Насколько далеко мы разошлись и хватит ли этого расстояния, чтобы чувствовать себя спокойно или, наоборот, ощущать тайный дискомфорт?

Я ничего не понимал в этой жизни, так же как и он ни черта в ней не разбирался,

и это был единственно верный ответ в вопросе нашего родства. Пожалуй, во мне было меньше трагизма, но и вместе с тем меньше стремления чего-то достичь. Он же никогда не оставлял попыток, снова и снова катил этот камень в гору, безропотно и даже, кажется, с удовольствием, словно в этом и заключалась его жизнь, та, к которой он стремился.

Да ведь так оно и было, господи, его же все устраивало! И уже совсем не важен был результат — только движение вверх или вниз. Все — дело вкуса, как он говорил когда-то, критериев не существует. Кому-то нравится Бродский, а кому-то Вася Пупкин. В данном случае ему нравился он сам.

Его дочь стала совсем большой, но любила его так же, как в те времена, когда он катал ее на каруселях и покупал сахарную вату.

— Почему вы не помирились с мамой? — спросила она его однажды.

— Мы с ней никогда не ссорились, — ответил он совершенно серьезно. Дочь была единственным человеком, с кем он мог позволить себе снять все маски. Вернее, оставив только одну, маску отца.

— Но она же выгнала тебя? — настаивала девочка. — Или ты ушел сам?

— Какая разница?

Теперь действительно не было никакой разницы, тем более он уже и не помнил, что там было одиннадцать лет назад. Бывший тесть умер, а бывшая теща еще больше ушла в себя. Бывшая жена старела, все вокруг старилось, и все было бывшим; вот и его мать совсем сдала, а отца он не видел так давно, что уже и не знал, как тот выглядит.

Было время, когда он ходил на свидания, выкупая номера телефонов в одном агентстве знакомств. Это было похоже на хождение по «редакциям». Иногда женщины сразу бросали трубку, выслушав только замысловатое приветствие, но случалось и такое, что кто-то из них соглашался на встречу. Я представлял Валерино лицо и его улыбку, все его трагикомичные гримасы, и на мои глаза наворачивались слезы. Но вряд ли пришедших на свидание женщин охватывала такая же грусть. Я только надеялся, что те, кто оставался на месте, а не бежал прочь, испытывали еще и любопытство, а не только оторопь.

8

Три года мы не созванивались. Я совсем забыл о нем, а когда вспомнил, то позвонил и предложил встретиться.

— Давай, — сказал он, и его голос показался мне подозрительным.

— Ты там бухой, что ли?

— Нет, — ответил Валера. — Я не пью. Мне пока нельзя.

— Пока?

Насколько я помню, нельзя ему было всегда.

Договорились — на канале Грибоедова. Приехав немного загодя, я стал ждать.

Было лето, Невский, как всегда, кишел народом. Валера запаздывал. Я подождал еще немного и, не выдержав, позвонил.

— Ты где? — спросил я раздраженно, когда он ответил.

— Я на Гостинке, а ты?

— Мы же на канале Грибоедова договорились! Дуй сюда!

— Иду.

Канал Грибоедова и Гостинка — разные выходы одной станции метро. Между ними ходьбы минуты три, не больше. Минут через восемь я снова, уже в крайнем раздражении, набрал его номер. «Ты где, черт бы тебя побрал?» — хотел выкрикнуть я в трубку, но тут Валера вышел прямо на меня.

Впрочем, «вышел» — это сильно сказано. Я не знаю, как можно было назвать его

походку, но он точно не «шел» в обычном понимании этого слова. Скорее, приплясывал, продвигаясь в мою сторону.

Выглядело это жутко: если одной ногой он еще вышагивал, поднимая ее, как цапля, высоко в колене, то вторую просто подтягивал, при этом выворачивая голову назад так, что на крепкой шее вздувались вены. В одной руке он держал пакет, в другой — складной зонтик.

— Думаешь, будет дождь? — тупо спросил я, не зная, что мне делать дальше. Это было похоже на кошмарное кино, и если он меня сейчас разыгрывал, то у него это получалось на все сто.

Но Валера не умел разыгрывать. За всю свою жизнь он ни разу никого не разыграл. Скорее, это жизнь разыграла его.

— Пойдем? — спросил он, вроде как глядя на меня, но я был в этом не уверен.

Он все так же широко улыбался, но теперь его улыбка превратилась в свою противоположность, словно ее вывернули наизнанку. Мы шли по Невскому, я старался подстроиться под него, замедляя шаг. Идущая навстречу толпа обтекала нас, как вода камень. Я подумал, что впервые Валере уступали дорогу, и если раньше это приходилось делать ему, то теперь с этим все было в порядке.

«Господи, что же с ним такое случилось?» — спрашивал я у себя, не решаясь спросить у него. Может, его переехала машина или он упал с высоты?

Мы поднялись на второй этаж Гостиного двора и вышли на галерею. Тут было безлюдно. Вдруг Валера развернулся и неожиданно бодро засеменял спиной вперед.

— Давай! — крикнул он, откидывая голову назад. — Догоняй.

Мне пришлось, преодолевая легкий шок, прибавить шагу.

— Я так часто делаю, — ответил он на мой вопросительный взгляд. — Когда, например, опаздываю на работу. Так легче, попробуй сам!

Он даже говорить стал четче, теперь я без труда его понимал.

В кафе Гостиного двора было немногочисленно. Он присел за свободный столик, а я подошел к стойке и купил пару молочных коктейлей.

— Что же с тобой случилось, Валера? — наконец спросил я, садясь рядом с ним. — У тебя был инсульт?

— Нет, — ответил он, потягивая из трубочки сладкую безалкогольную жидкость. — Врачи говорят — это невроз.

— Но от чего? — продолжал допытываться я, хотя и видел, что ему неприятна эта тема.

— От жены. Я очень сильно переживал, когда разошелся с ней.

— Переживал? Господи, Валера, да вы с ней пятнадцать лет как разошлись!

— Ну да... Уже пятнадцать лет прошло... Как идет время, старик.

Он посмотрел на меня и растянул губы в знакомой улыбке, показавшейся мне сейчас жутковатой.

— Не могу поверить! — Я никак не мог понять такой дикой метаморфозы, произошедшей с ним. Конечно же, его жена тут была ни при чем. Тогда кто или что?

— Время. Это время, старик, — покачал своей большой головой Валера. За соседним столом сидела полная, ярко накрашенная женщина. Отставив мизинец, она попивала из чашки и, как мне показалось, с интересом посматривала на Валеру.

— Ты работаешь? Или инвалидность оформил?

— Из-за невроза инвалидность не дают, — беспечно ответил он. — Так что я работаю.

— На заводе?

— Ага. Знаешь, сколько там баб?

Я не знал, сколько там баб. Я вообще ничего не знал. Мне хотелось что-то сказать ему, что-то, что могло бы его утешить, но, кажется, он совсем не нуждался в утешении.

Мы снова вышли на галерею. Под нами, внизу, шумел город.

— Романы не бросил? — не зная уже что сказать, спросил я. — Пишешь?

— А как же!

Он развернулся и снова пошпарил задом наперед.

— Попробуй так! — крикнул он, удаляясь. — Не бойся.

— Я и не боюсь, — сказал я и, тоже развернувшись, стал повторять его движения.

Мы поравнялись и засеменили рядом.

— А ведь и правда, так лучше!

— А я тебе что говорил!

Из-за витрин на нас удивленно смотрели продавщицы. Мы пятились раком, суча согнутыми в локтях руками, Валера, кажется, улыбался, а мне хотелось плакать.

Маргарита

1

Маргариту нельзя назвать красавицей, но она мила, этого у нее не отнять. Небольшой рост, красивые ноги, отличная грудь, нижняя капризная губа, а главное — неподдельный интерес в глазах к собеседнику, всегда с сексуальным оттенком, эдакая блядская заинтересованность. Ей плевать, мужчина перед ней или женщина — она всегда готова рассмотреть человека как объект желания, в большей мере шаловливого, из какого-то веселого любопытства.

Я познакомился с ней у Евгения, ей было двадцать, и у нее уже была дочь. Кроме этого, она уже успела развестись с мужем, и Евгений был ее любовником, с которым она спала официально, но, полагаю, одним им дело не ограничивалось. В общем-то, Маргарита и не скрывала своих мимолетных интриг — все это подавалось ею легко и совсем не отталкивающе; интерес в ее глазах подкупал искренним расположением, хотя иногда оно могло обернуться едкой насмешкой, впрочем, всегда недолгой. Короче, Маргарита была из тех женщин, с которыми после близости скорее становишься другом, нежели любовником, но она никогда не откажет в шансе попробовать еще раз, и еще, пока вы оба не поймете, что лучше вам все же остаться хорошими друзьями.

Первый ее муж был бизнесменом, причем на ноги он встал уже после женитьбы. За время их недолгой совместной жизни из обыкновенного парня он превратился в успешного коммерсанта, и, надо полагать, не без ее непосредственного участия. Нет, она, конечно, не ездила с ним на заключения сделок, не составляла ему бизнес-планов, не подыскивала клиентов, налаживая рынки сбыта. Маргарита просто в нужную минуту всегда находилась рядом, и он мог в любой момент войти в нее, чтобы поработать в ней своим членом. Этого было достаточно, чтобы активировать мозг и основательно подзарядить батарейки. Теперь пришла пора открыть самое главное ее достоинство — тот мужчина, который был в ней, всегда добивался материального благополучия. Оно могло выражаться в каких угодно цифрах, в большинстве случаев достаточно солидных.

В чем тут был секрет, никто не знал, скорее всего, в силе ее характера и в огромном желании иметь рядом с собой успешного мужчину, чем бы тот ни занимался. Первый муж торговал книжками, начиная с раскрасок и заканчивая собраниями сочинений. На момент их расставания он возил товар машинами и уже подумывал о железнодорожных составах, но после ее ухода дело как-то резко пошло под откос: подельник его кинул, кто-то не заплатил, что-то украли, и вот он уже ни с чем, пьет с утра до вечера и плачет у мамы на плече.

Когда я спросил у нее, почему она от него ушла, — они не бедствовали, родилась дочь, он не изменял — Маргарита не смогла толком ответить на мой вопрос. Я понял

лишь одно, что ей стало неинтересно, что, рано выйдя замуж, она быстро подросла в браке, поумнела, посмотрев однажды на мужа другими глазами. Она переросла его во всех планах: и вовсе он не был таким умным, каким казался ей вначале, да и красивым тоже. Короче, у него оказалось так мало достоинств и так много недостатков, что она решила все это прекратить. К тому же у него была дурацкая мания овладевать ею спящей. Ей надоело просыпаться от того, что ее натягивали на член, как перчатку, сухую и тесную, — ей это крайне не нравилось, но, кажется, именно это обстоятельство заводило мужа, и он сладострастно пытался сзади, в темноте борясь с ее сонной вагиной, от чего становилось тошно вдвойне.

С Евгением было проще — он не только не покушался на ее сон, но и был вынужден платить за минет, потому что она нуждалась в карманных деньгах, а просто так Евгений их не давал. Он не был скупым, но считал: с нее хватит и того, что он везде оплачивал выпивку и еду, поэтому Маргарита в свою очередь поставила одно единственное условие — полтинник за каждый сеанс орального секса. На тот момент это была смешная сумма, но важен был сам факт платы за дополнительное удовольствие. Что ж, это было справедливо, и Евгений вынужден был платить, потому что не представлял секс без подобного вида ласк.

— Я тут подсчитал, сколько выложил за один только минет, — сокрушался он однажды, когда мы сидели чисто мужской компанией.

Я был удивлен: он никогда не жалел потраченных денег, тем более на своих друзей и подруг, и всегда платил не только за Маргариту, но частенько и за тех, кто был на мели. Хотя та же Маргарита могла жестко поддеть его на этот счет.

— Ты даешь займы всем, кто ни попросит, — едко выговаривала она ему в другой раз, поджав под себя изящные ножки, — а мне платишь только за то, что я сосу твой член.

— Кто мешает тебе взять у меня займы? — усмехался на это Евгений. — Но ты же предпочитаешь зарабатывать.

— Да, и это честнее, чем брать и потом не отдавать!

— Ну, я думаю, здесь ты неправа.

— Еще как права! Все твои друзья имеют тебя по полной. Ты не можешь им отказать, потому что считаешь, что они талантливее и при желании легко найдут тебе замену. Ты пресмыкаешься перед ними, потому что каждый из них чувствует свое превосходство над тобой. Но самое главное — это чувствуешь и ты. Посмотри на того же Омара — он же тебя ни во что не ставит! Как он с тобой разговаривает! Он всем своим видом говорит, что ты ничтожество, червяк!

— Это правда, — вынужден был соглашаться с ней Евгений, хотя в душе понимал, что не все так однозначно, как говорит Маргарита. Да, ей хотелось бы, чтобы он уменьшил расходы, потому что на своих друзей он тратил немало, но нельзя было утверждать, что все только и делали, что наживались на нем. Да и каким, собственно говоря, образом? Бред, конечно, но все же в главном Маргарита была права — ему нужно больше времени уделять своим стихам, вот к какому выводу приходил он всякий раз после таких разговоров.

Маргарита умела настроить мужчину на нужный лад, этого у нее было не отнять. Думаю, если бы она захотела, то легко могла бы рассорить Евгения со всеми нами, но вряд ли это входило в ее планы. Более того, она по-своему любила каждого из нас, и с каждым у нее была близость.

Секс с ней всегда был опереточным, эдакой шаловливой фантазией, не обязывающей ни к чему, даже к аплодисментам, и только однажды я почувствовал, как она отдалась полностью. Это продолжалось недолго, но я успел ощутить черную воронку, в которую меня засасывало так быстро, что, казалось, мне не спастись. Через мгновение мы снова лежали, как и прежде, на смятых простынях, и она безмятежно улыбалась, глядя мне в глаза.

— Если мне будет нужно, я тебя проглочу, — сказала она тогда.

Евгений знал про все ее связи, но относился к этому легко. Мне вообще казалось, что он не ревновал только потому, что элементарно не умел любить, хотя опять же этого я утверждать не могу. Но когда у других включались эмоции, у него начинала работать голова. Это касалось не только его девушек, но и стихов.

Математически выверенные и эмоционально выхолащенные, оригинальные по форме и абсолютно примитивные по содержанию, они были такими, словно их намутила компьютерная программа. Маргарита знала их наизусть и часто повторяла вслух как мантру, строфу за строфой, каждую по несколько раз, заставляя нас затыкать уши и вводя Евгения в какой-то мистический транс. И тогда всем становилось ясно, что она нашла еще одну его эрогенную зону, и за это он был готов заплатить куда больше полтинника.

2

Несмотря на официальные отношения с Маргаритой, Евгений одновременно вел сразу несколько интрижек, используя каждую минуту свободного времени. Это ужасно ее злило, но она ничего не могла с этим поделать. Оставалось только платить ему той же монетой, флиртуя направо и налево со всеми, кто попадался ей на глаза. Скорее всего, она уже тогда понимала, что ничего у нее с Евгением не выйдет, но не могла решиться на разрыв, настолько он запал ей в душу. И потом потерять его значило потерять и нас, а следственно, и свой будущий роман, который она задумывала написать.

Евгений, и правда, умел влюблять в себя женщин. Расставшись с ним, они долго его помнили, и ни одна из них не могла сказать, что он сломал ей жизнь, а все потому, что после разрыва их жизнь каким-то непредсказуемым образом начинала складываться именно так, как им хотелось.

Впрочем, не все попадались на его крючок — бывали и такие, кто оставался к нему совершенно равнодушен. А если вспомнить еще и тех, кто терпеть его не мог, то в конце концов Евгений становился отличным тестом для выработанной мной классификации всех наших знакомых баб. Лично мне нравился тип, входящий в последнюю группу, хотя для той же Маргариты я готов был сделать исключение.

Сточки зрения Омара, Евгений писал посредственные стихи, но, несмотря на его мнение, собирался стать большим поэтом. Он постоянно ходил с небольшим блокнотом, не пропуская ни одной удачной фразы, своей или чужой. Все шло в дело; он даже записывал анекдоты, дополняя их собственными ремарками, чтобы при пересказе не упустить какого-нибудь существенного нюанса.

— А вот подождите, братцы, тихо, тихо! — обращался он ко всем присутствующим, махая над головой записной книжкой. — Сейчас я вам новый анекдот прочитаю!

Стихи он писал долго, неделями выписывая строку за строкой, подгоняя рифмы и переставляя слова, словно играл в какой-то хитрый тетрис, где всегда мог отменить неудачный ход. В то время как все гонялись за вдохновением, Евгений испытывал кураж только от своей неторопливой рассудительности.

Главное, во всем иметь собственный стиль — вот на что опирался он, выбирая тактику. У него было несколько ларьков, торговавших всякой всячиной, начиная от дешевых одноразовых зажигалок и заканчивая дорогой одеждой. После всех экономических пертурбаций в его ведении остался только один, на Сытном рынке, зато он смог купить комнату. Еще он довольно успешно жонглировал облигациями на рынке ГКО, пока дефолт 1998 года не похерил враз все дивиденды. Это сильно его смутило, но ненадолго: получая второе высшее образование, он готовился стать первоклассным юристом, в то время как у большинства из нас не было и первого. В

общем, он знал, чего хотел, и никуда не спешил, при этом не упуская ничего, что могло ему когда-нибудь пригодиться. В этом и был его стиль.

Маргарита, конечно же, занимала в его жизни определенное место, но только до тех пор, пока могла отвоевывать его у других. Она понимала, что пока у нее будут силы удерживать Евгения своей вагиной, он никогда всерьез не увлечется другой женщиной, но вместе с тем и ей никогда не удастся изменить характер их отношений. А ведь Маргарите хотелось чего-то большего, чем просто держать мужика на тонкой, звенящей от натяжения леске, постоянно контролируя его маневры. Она мечтала об искреннем восхищении и даже поклонении, чего от Евгения было не дожидаться. Поэтому все когда-нибудь должно было закончиться, и вот однажды, сидя у него, я поинтересовался, куда это пропала наша Маргарита, на что он, не глядя на меня, ответил:

— Нашла себе кого-то.

— Так она тебя все-таки бросила? — удивился я.

— Бросила? — рассмеялся Евгений. — Да мы встречаемся с ней каждую неделю. Просто теперь все стало сложнее. И одновременно проще.

— Но ты уже не платишь ей за минет?

— Конечно, плачу!

3

Маргарита перестала ходить на лито, я не видел ее на тусовках. «Неужели она пропала из моей жизни? Скучаю ли я по ней?» — спрашивал я себя. Конечно, иногда Маргарита была слишком едкой, а порою просто невыносимой, но никто не был так цинично остроумен и так филигранно точен в определениях, как она. Ее тонкая ирония и ядовитый сарказм могли взбесить любого, но это и бодрило — многим на этом фоне хотелось выглядеть таким же цепким и остроумным. В общем, все относились к ней тепло, хоть и настороженно, один лишь Омар делал вид, что едва терпит ее и в любой момент может взорваться. Маргарита, конечно же, понимала, что его грозный вид лишь маска и ничего Омар с ней не сделает, но все равно время от времени Евгению приходилось вставать между ними.

— Он зол на меня за то, что я ему больше не даю, — говорила она мне про Омара.

— Она не может простить, что я ее больше не хочу, — в таком же духе отзывался Омар о Маргарите.

— У меня такое чувство, что эти двое до сих пор трахаются за моей спиной, — добавлял откровений Евгений.

Алик на этот счет предпочитал молчать, запутавшись в собственных отношениях, а мне было лестно, что все они делились со мной своими переживаниями, хотя я и не мог определиться с симпатиями. Все они были дороги для меня, наши судьбы переплелись, хотели мы этого или нет.

Я встретил ее примерно через год. Она стояла возле магазина, из которого я выходил, навьюченный пакетами. У нее была другая прическа, кажется, она подстриглась и вообще изменилась в хорошем смысле.

— Ты что тут делаешь? — Я совсем не ожидал увидеть ее в своем районе.

— А ты? — ответила она, улыбаясь, вопросом на вопрос.

— Я тут живу, черт побери!

— И я!

Оказалось, что здесь проживает ее парень. Она назвала номер его дома — ну и дела! Маргарита теперь жила в каких-то двухстах метрах от меня!

— Не думала тебя тут встретить, хотя и знала, что обитаешь где-то неподалеку, —

сказала она. — Я тоже частенько захожу сюда. Мне нравится этот магазин, хоть он и дороговат для нас.

— Кто твой парень? — спросил я после некоторой паузы.

— Художник.

— И он тебе нравится?

— Что за вопросы? — Маргарита игриво подняла брови. — Ты ревнуешь?

— Я-то нет, а как Евгений?

— Вот уж точно кто никого никогда не ревнует!

Мы пошли в сторону наших домов, и она успела рассказать, как этот ее новый парень, Святослав, в первый же день знакомства предложил ей двести долларов, если она с ним переспит.

— Ого! Двести баксов — большие деньги! Ты согласилась?

— А то!

— И он тебе заплатил?

Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.

— Это было признанием в любви.

— Понятно.

— Очень рада, что встретила тебя, — сказала она напоследок. — Зайдешь к нам в гости?

— Я тоже рад, — ответил я. — Конечно, зайду.

Святославу больше подходило уменьшительное производное от его имени — Славик. Так его все и звали. Он был похож на американского актера Мэтта Деймона, только сантиметров на двадцать пониже, впрочем, это обстоятельство ничуть не мешало ему быть таким же обаятельным и улыбаться так же лучезарно, как это делала его голливудская копия. Вся квартира, вернее, та ее часть, в которой жил он, была увешана его картинами. В основном на них были изображены горы, преимущественно в синих и желтых тонах — такие, как на полотнах Рериха. Были еще холсты с индийскими мотивами, синие слоны, желтая река, красное поле, маленький мальчик, сидящий над горшком с варевом, и ветер, раздувающий волосы и огонь.

Он принял меня очень тепло, за его спиной стояла счастливая Маргарита, они были одного роста и казались идеальной парой. Потом из другой комнаты вышла его младшая сестра, и я, глядя в ее глаза, вдруг подумал, что в жизни не видел ничего прекраснее. Она была восхитительна — тонкая, с совершенной фигурой. Единственный ее минус, как потом сообщила мне Маргарита, свернутые набок мозги.

— Ну, это ты завидуешь, — сказал я ей.

— Чему там завидовать? — хмыкнула моя подруга. — Она просто дура набитая.

У сестры тоже был ребенок, и тоже девочка — казалось бы, чем не повод для сближения двух женщин, но у одной совсем не складывалось с мужчинами, в то время как у другой с этим, наоборот, все было в порядке, поэтому им не суждено было понять друг друга. Они просто здоровались, когда пересекались на кухне, и на этом их общение заканчивалось.

Квартира хоть и была четырехкомнатной, но совсем небольшой — такие еще называют живопырками. Одну комнату занимала сестра с дочерью, другую — Святослав, самая большая была отведена под гостиную, и оставшаяся — заставлена всяким хламом.

Я принес с собой несколько бутылок пива и бутылку вина. Мы выпили за знакомство, и Славик очень быстро опьянел. Он включил магнитофон, и из него полилась тягучая музыка, от которой заныли зубы.

— Как тебе Святослав? — спросила Маргарита, когда мы уединились с ней в пустой комнате.

— Хороший парень, — ответил я. — Располагающий.

Он и правда мне понравился. В нем была какая-то нерастреванная беззащитность, как и в улыбке Мэтта Деймона — никакой настороженности, одно сплошное, незаинтересованное ни в чем очарование.

Похоже, Маргарита попала именно на этот крючок. Славик был хорош для нее уже только тем, что совсем не был похож на Евгения. По сравнению с ним он был наивен и девственен, как ребенок. Тут простиралось поле, не паханное до самого горизонта, и она решила взяться за него и вырастить на нем урожай. Я видел в ее глазах не просто интерес или влюбленность — в них загорался творческий азарт, какой бывает у творца, когда он ловит замысел и, оценив все перспективы, принимается за воплощение.

4

Первым делом Маргарита залетела, и когда Славик узнал о ее беременности, он впал в транс. Позже, пьянея с одной бутылки самого слабоалкогольного пива, он будет повторять, что его развели, как лоха, что он совсем не собирался заводить семью, по крайней мере не с Маргаритой, потому что у него была другая девушка, которую он действительно любил, но которая, похоже, совсем не любила его. Ну и что, пусть так, но это же совсем ничего не значило, вернее, очень даже значило, но не то, чтобы жениться на первой встречной, у которой в придачу была еще и дочь. Господи, он же совсем ее не знал! «Даже ты, — обращался он ко мне, — знаком с ней дольше, почему жениться должен я?»

Это была странная постановка вопроса, но я уже успел его понять. Он был из тех, кому время от времени была необходима эмоциональная встряска. По своей натуре спокойный и рассудительный, без нее он быстро становился занудливым и депрессивным, поэтому такие взрывы помогали ему перезаряжать батарейки. После того как оседала пыль, он смирялся с ситуацией и начинал искать пути решения проблем.

Славик был художником, но уже долгое время зарабатывал керамикой. В основном он лепил и обжигал черепах. Уже несколько сотен маленьких черепашек благодаря ему явились на свет — в этом смысле Святослав был настоящим черепашим королем. Он был верен им и лепил их с такой любовью, что и они отвечали ему взаимностью и, несмотря на незатейливый вид, до сих пор его кормили.

Славик никогда не придавал большого значения деньгам, которых у него все равно не было, но теперь рядом с ним была Маргарита, и такое положение вещей ее совсем не устраивало. Она очень хорошо знала разницу между «растить ребенка в достатке» и «растить ребенка в нищете» и знала, в каких цифрах эта разница выражается.

Однажды Святослав подошел ко мне и попросил в долг энную сумму денег, расписав мне свой бизнес-план. Основная ее часть должна была пойти на муфель — печку для обжига, остальная — на приобретение старой стиральной машины, порошкообразной глины и гипса. Таким образом Славик решил наладить собственное керамическое производство.

— Много денег уходит на обжиг, которые я мог бы сэкономить, — сказал он мне.

— Которые мы могли бы сэкономить, — поправил его я.

Он удивленно посмотрел на меня, затем улыбнулся своей голливудской улыбкой.

— Ты тоже хочешь быть в деле?

— Ну, я бы посмотрел, что это такое.

На следующее утро, посоветовавшись с Маргаритой, он дал мне согласие.

Муфельная печь оказалась не очень большой, мы ее спокойно привезли на тележке. Стиральная машина нашлась у соседа по подъезду, раздобыть глину и гипс тоже было несложно. Все шло замечательно, Славик просто светился от таких

перемен. Маргарита не лезла к нам ни с советами, ни с замечаниями — она вела себя мудро, улыбаясь мне за спиной Славика, как заговорщику. Она показывала большой палец и подмигивала, говоря всем своим видом, что все движется исключительно благодаря ей.

Для формовки мы выбрали семь резиновых гномов и одну большую жирную свинью. Из гномов могли получиться замечательные колокольчики, а хрюшка, естественно, шла под копилку.

Под мастерскую выделили свободную комнату — для этого пришлось расстаться с ненужной мебелью. Мы вынесли на помойку старый полуразвалившийся шифоньер и две разошедшиеся книжные полки. Я думал, что скажет сестра Славика, когда увидит, что вытворяет ее брат с их общей мебелью, но она лишь рассмеялась и захлопала в ладоши, когда он ей сообщил об этом.

— Это чудесно, — промурлыкала она, хлопая своими метровыми ресницами, и я подумал, что она, возможно, и правда ничего не сообщает.

Зато у нее всегда было чудесное настроение, которое портилось только с приходом бывшего мужа — он заходил два раза в месяц, чтобы дать ей немного денег. Высокого роста, с какими-то нелепыми мускулами, которые выпирали у него отовсюду, он скрывался в ее комнате, а затем она провожала его с таким видом, будто за эти небольшие деньги ей приходилось вытворять черт-те что.

— От него воняет козлом, — говорила Маргарита. — Как вообще можно спать с таким мужиком?

— Моя сестра предпочитает козлов, — улыбнулся Славик. — Вот скажи, — обернулся он ко мне, — она обратила на тебя внимание?

— Ни малейшего, — сказал я.

Сестра окончила Вагановку и даже где-то танцевала. В первый наш вечер она пыталась научить меня паре па, но после того как я попытался завалить ее на кровать, ее интерес ко мне пропал.

— По сути, мы все козлы, — снова сказал я. — Или стремимся быть ими, потому что женщины по-настоящему любят исключительно козлов.

— Это не про меня, — заявила Маргарита. — Я всегда любила исключительно зайчиков.

— Еще скажи мальчиков-колокольчиков.

— Именно колокольчиков.

Маргарита говорила неправду — все ее мужчины были теми еще козлами. Возможно, один лишь Святослав казался исключением, но и то только лишь оттого, что ему пока не удавалось проявить себя в полной мере.

Если знать все секреты, то керамика — дело плевое, особенно пока ты не работаешь с глазурью. Мы тоже начали с простейших вещей — Славик знал технологию производства от и до и теперь собирался открыть мне все ее тонкости.

Сперва мы отлили из гипса формы всех изделий — каждая состояла из двух половинок, соединение которых давало полный объем. Святослав говорил, что форма может состоять и из большего количества частей — все зависело от сложности самого изделия. Я смотрел, как он вдавливал очередную игрушку в гипсовый раствор, и у меня замирало внутри от ощущения таинства происходящего.

Маргарита также наблюдала за манипуляциями Святослава, и в ее взгляде я видел то удовлетворение, какое замечал после того, как ей удавалось кончить. Но не только его — она была наименее эгоистичной из всех нас, в ее глазах еще была благодарность и была любовь, много любви. В ней можно было утонуть, уйти в нее с головой, и я отводил взгляд.

Что касается Славика, то он вообще ничего не замечал, настолько был увлечен процессом. Наконец все звенья технологической цепочки были в его руках. Он ощущал себя Творцом, создающим из пыли и грязи великолепный мир.

Мы наливали в стиральную машину воду, а затем сыпали в нее измельченную в порошок глину — после долгого размешивания она превращалась в жидкую кашеобразную массу, называемую шликером. Шликер заливался в гипсовые формы, заполняя весь полый объем, и через час сливался в ту же машинку. Гипс забирал воду, и на стенках формы образовывался слой пластичной глины, повторяющий все мельчайшие изгибы формы. Мы разъединяли гипсовые половинки, и перед нами представала глиняная копия резиновой модели. Нужно было только немного поработать ножиком, срезая кант посередине, возникший на месте соединения гипсовых половин, но это была ерунда. Главное, что все шло по плану, и я держал на раскрытой ладони своего новорожденного глиняного ребенка.

После первого же запуска муфеля повылетали пробки. Мы включили его еще раз — та же история. Напряжение в сети не было рассчитано на печь. Это могло стать серьезной проблемой.

— А что, если обжигать по ночам? — предложила Маргарита.

— А какой смысл? — спросил я.

— По ночам люди спят, следовательно, освобождается дополнительная мощность других квартир, — просиял Славик. — Да и мы тоже можем повыключать все лишнее. Стоит попробовать.

Все прошло как нельзя лучше. Первый же ночной обжиг дал нам румяную свинью и выводок гномов.

— Ура! — заорали мы, держа на руках своих свежеиспеченных детей.

— Что это вы орете? — вышла к нам заспанная сестра Святослава.

На ней не было ничего, кроме крохотных белоснежных трусиков. От такого зрелища я едва не упал в обморок.

— Богиня!

— Идите вы в жопу, — сказала она и, повернувшись к нам идеальным задом, протопала в свою комнату.

5

Маргарита родила в «девятке», на Орджоникидзе. Мы ездили к ней со Святославом, и я был первым, не считая счастливого отца, кто увидел их дочь. Она была крохотной, совсем не похожей ни на Маргариту, ни на Славика, кирпичного цвета, словно ее только что вынули из печи.

С появлением ребенка все становилось сложнее. Славик сделал ремонт в комнате и продолжал усиленно заниматься керамикой, осваивая глазурь. Его поделки не то чтобы пользовались большим спросом, но все равно продавались лучше, нежели черепахи.

На Маргарите были дети и Святослав. Пока старшая дочь переходила из рук в руки, живя то с ними, то с Ритиной матерью на Крестовском, то гостя у отца, Маргарита разрывалась между малышкой и мужем, который требовал внимания и любви не меньше новорожденной, словно он тоже только что родился, и теперь у нее было целых три ребенка.

А еще она задумала размен, потому что ей надоело руководить коммуной. «Мне хватает трех человек на моей шее, — говорила она мне, — а тут еще сестра Святослава со своей дочерью!» Я согласно кивал, однако пропускал эти выпады мимо ушей. При чем тут сестра и ее дочь? Как Маргарита заботилась о них, чем они ей мешали? Я знал только одно — если они разъедутся, я больше никогда не увижу эту дивную красавицу, пусть и с повернутыми слегка мозгами. Ее роль в моей жизни была совсем незначительна, но в то же время эта женщина была больше всего — керамики, дружбы, алкоголя, любви. В ней было что-то дьявольское, может быть, потому Маргарита так стремилась с ней разъехаться.

Может, кто-то и сомневался, что и здесь у Маргариты проявится дар, но только не я — ее стараниями квартиру разменяли так быстро, насколько это было возможно. В результате сестра с дочерью поехала в небольшую «двушку» в Красное Село, а Святославу досталась комната на Лиговке.

Двухкомнатная квартира и комната — это, конечно, не равноценное жилье, но ведь и районы тоже были не равны. В любом случае все остались довольными, тем более что Маргарита со Святославом собирались проживать на Крестовском, где у нее была трехкомнатная квартира. Правда, там обитала еще и ее мать, но той было еще где жить, и если ей предложить комнату Святослава, то она вообще могла бы отказаться от своей доли в этой квартире.

Это были сложные жилищные дела и семейные разборки, в которых я, по правде говоря, вообще ничего не смыслил. Всплывали обещания и вспоминались долги, поднимались завещания, договоры дарения, пересчитывались доли, метры и так далее — все это было столь запутанным и неинтересным, что и говорить обо всем этом не хочется, даже если и надо. Они разбирались сами, без меня, а если Маргарита что-то и пыталась мне рассказывать, я убирал звук и думал о своем.

А тут еще разгорелась холодная война с бывшим мужем, вернее, с его родителями, в результате чего они выкрали старшую дочь. Это случилось среди бела дня, во дворе их дома. Из кустов высунулась бывшая свекровь и, поманив девочку, увела с собой.

Все были в шоке! Маргарита тут же собралась писать заявление в милицию, в то время как Славик в ярости точил ножи, но все это было если не напускное, то сиюминутное, потому что, как выяснилось почти сразу же, побег был спланирован давно и сама дочь была рада этому. Ей было комфортнее там, где ее зацеловывали до одури, с родным отцом, но главное — с бабушкой и дедушкой, всячески ее баловавшими. Здесь же ей приходилось жить с непонятным мужчиной, которого она звала Славиком, и с розовым, все время орущим младенцем, за которым нужно было ухаживать. Но самое неприятное — строгая, постоянно раздраженная мать, с темными кругами под глазами, шпыняющая за неубранную постель и разбросанные карандаши. Господи, да на ее месте девяносто девять процентов детей так же дернули бы в страну конфет и поцелуев, и никто бы ничего тут не поделал, потому что, подкрепленное достаточной ловкостью и определенной суммой денег, решающее слово было здесь за ребенком.

Война за дочь была проиграна не начавшись — у Маргариты просто не было на нее сил. Она вдруг с необычайной ясностью поняла, из чего состоит жизнь, — из мужчин, которых ты теряешь, и из детей, которые теряются сами по себе. И теперь, держа на руках второго ребенка, она не могла сказать, что сможет его сохранить, когда уйдет Святослав, — она уже ни в чем не была уверена так, как раньше, а самое главное — не ощущала своей правоты.

Я часто бывал у них в гостях, почему-то Святослав не сошелся ни с одним из наших общих друзей — ни с Евгением, ни с Омаром, ни даже с Аликом. Только со мной у него сложились дружеские отношения, и Маргарита очень радовалась этому обстоятельству.

— Заходи к нам почаще, друх, — говорила она на прощание, глядя на меня своими блядовитыми глазами и целуя в щеку. — Нам тебя не хватает.

Я выходил на тихую улицу и шел безлюдным проспектом через мост или ждал трамвая, который домчал бы меня по Большой Зелениной до «Чкаловской».

В июле они собрались в Крым, в Форос. У них практически не было денег, только на дорогу, как они будут там жить? «Очень просто, — ответил Славик, рассекая в моей гавайской рубашке. — У нас же четыре коробки гномов и свиней».

Да, он так и ответил. Целых четыре коробки гномов и свиней! И шестимесячный ребенок на руках!

Я не понимал их оптимизма: они планировали сразу же, в день приезда, начать торговлю керамическими безделушками. Прямо на пляже! Славик уверял, что там

такие штучки уходят влет, только успевай доставать новые. На вырученные деньги они смогут снять жилье и прожить столько, сколько нужно, и даже что-то привезти домой. У него было все рассчитано, у этого черепашого короля.

Несмотря на мои опасения, все прошло как нельзя лучше. Они вернулись загорелые и отдохнувшие, а их дочь Сашенька, кажется, даже подросла. Славик рассказывал, как, просыпаясь утром, он нырял в море и плыл к большому валуну, торчащему из воды, на котором собирал мидий. Потом он их жарил и подавал Маргарите в постель.

Это было что-то! Наверное, ради такого она могла простить ему все, что случится позже, уже тогда предвидя его резкое к ней охлаждение. Нужно сказать, что все шло к этому с того момента, когда он пожаловался мне, как его развели с нежелательной беременностью, но ведь он всем сердцем полюбил дочь, и чем больше он ее любил, тем больше отдалялся от жены.

Помню, в те времена они либо постоянно выясняли отношения, либо вообще не замечали друг друга. Расстроившись, я шел к телевизору смотреть футбол, но подросшая Сашенька не давала мне этого делать — она залезала в кресло и выпихивала меня из него своими крохотными ножками. Это продолжалось снова и снова, весь матч, и я никак не мог понять, чем я ей мешаю. Мне хотелось хорошенько огреть ее подушкой — маленькое злобное существо, смотревшее на меня исподлобья, словно это я был виноват во всем, что творилось в их доме. Но, скорее всего, ей просто не хватало внимания и она требовала его от меня. Как только я отвлекался от телевизора, в ее глазах вспыхивали знакомые мне огоньки, они становились озорными, как у ее матери, которая сейчас была мрачнее тучи.

Сколько это могло продолжаться? Кажется, их жизнь зашла в тупик, но, как бы там она ни складывалась, Маргарита должна была сделать из Славика успешного человека! Это было главным, остальное неважно. Все терпело, пока она продвигалась к намеченной цели.

Дела с керамикой шли ни шатко ни валко. Основные заработки приходились на Крым и Новый год. Все остальное время они едва сводили концы с концами.

Славик был то вспыльчив, то, наоборот, отрешен. Случалось, он мог просидеть в углу комнаты пару дней, не вставая и глядя в одну точку, ни на что не реагируя. Маргарита накрывала его одеялом, когда приходила ночь, как клетку с канарейкой. В ее жизни было всякое, теперь предстояло пройти и этот этап.

Не знаю, кому первому пришла идея попробовать других половых партнеров, но, нужно признаться, на какое-то время это спасло их семью. Они стали приводить в дом новых знакомых, заговорщицки подмигивая друг другу, прежде чем закрыться в комнате, а потом обсуждали их достоинства и недостатки. Это стало чем-то вроде игры, порой очень забавной, порой — драматичной, но плюс был в том, что они играли в нее вместе, стараясь придерживаться определенных правил, и это их сближало. Между ними снова установилась та близость, которая была в самом начале, и тот секс, за который он когда-то предложил ей двести долларов — все, что было у него на тот момент. Теперь он хотел ее даже больше, чем тогда, и брал сразу после того, как ее брал другой, чтобы она могла сравнить обе страсти, и его страсть неизменно покрывала чужую.

Возможно, эти перемены и дали ему новый толчок — Славик занялся камнерезкой. Он давно хотел попробовать это, все примерялся и прикидывал, и вот наконец решился. Купив самое необходимое, он приступил.

В течение полугода зубной бормашиной он вытачивал из камней разные части одного целого, видимого только ему. Он забросил керамику, полностью отдавшись новой работе, и когда я попросил у него муфель, с радостью его отдал.

— Но ты точно не будешь больше заниматься керамикой? — спросил я у него. — Я могу ее взять?

— Конечно, бери, — сказал он. — Это ведь и твоя печь тоже. Мне она уже не нужна.

Славик был благодушен, только Маргарита в сомнении покачала головой, но ничего не сказала. Печь приносила хоть какие-то деньги, теперь же, когда их не стало совсем, нужно было что-то делать. Хоть самой устраиваться на работу.

6

Нет, Маргарита, конечно, время от времени работала, более того, иногда предлагая подработать и мне. Помнится, однажды перед выборами мы обходили с ней дома, собирая подписи за какого-то кандидата. Был поздний зимний вечер, я замерз как собака и больше не мог объяснять каждому, какого лешего я звоню в его квартиру.

— Все, хорош, — сказал я ей, притоптывая на снегу. — Давай домой.

— Ты что, смеешься? — округлила она глаза. — Мы же только начали!

— Только начали?! Да мы уже три часа тут колдыхаемся!

— Пойми, сегодня последний день! Списки можно сдать до двенадцати, каждая подпись — полтинник! Где ты еще получишь такие деньги? Хотя, если они тебе не нужны, можешь сваливать.

— Ну так давай сами везде распишемся!

Она посмотрела на меня как на сумасшедшего. «Ты совсем придурок, что ли?» — прочитал я в ее взгляде и вдруг понял то, чего раньше в ней не понимал, — ей было не важно ч т о приходило, важно было к а к. Важны были усилия, затраченные на это, собственные усилия. Она хотела именно заработать, а не взять на халяву, и чтобы кто-то заплатил за ее труд, как, например, когда-то платил Евгений за минет. И она готова была вкладываться в мужчин, но только чтобы они ценили это так же, как ценила она сама, получая в ответ столько же, сколько затрачивала, ни больше ни меньше. И это было справедливое желание, наверное, самое честное из всех, с которыми я сталкивался.

Святослав наконец выточил все части и, отшлифовав их, собрал воедино. Когда я увидел готовую модель, у меня перехватило дыхание. Это было настоящим произведением искусства. Двухсантиметровая фигурка старика со скрипкой в руках была сделана с такой любовью, что он казался живым. Его глаза блестели, словно были наполнены слезами, длинные узловатые пальцы бережно сжимали гриф и смычок. Казалось, через мгновение польется такая дивная и печальная музыка, что весь мир вокруг сам превратится в камень. Работа состояла из более чем пятидесяти частей, выточенных из разного сорта отличающихся по цвету и фактуре камней. Все они были отполированы до блеска и поражали взгляд мельчайшей проработкой, точностью в деталях и поразительным мастерством в исполнении. Более того, Славик привлек еще и ювелира — здесь были и золотая пряжка, и серебряные струны, и бриллиантовые запонки.

— Сколько же стоит такая работа? — спросил я, изумленно ее разглядывая.

— Ей цены нет, — сказал Славик, также не в силах оторвать взгляд от своего творения.

— У всего есть цена, — отрезала Маргарита. — И это только начало.

Она была права. Скрипач был продан очень дорого, но Святослав все равно остался недоволен. Это был его первенец, и он один знал, сколько труда и души он в него вложил, но Маргарита оценивала только свои затраты, поэтому и назначила вполне адекватную цену, убедив мужа, что эти цифры отличные.

Они расплатись с долгами и купили очень хороший компьютер, который в то время стоил целое состояние, зато теперь Маргарита могла спокойно писать, о чем мечтала все последнее время.

Не знаю, помнила ли она о своем обещании однажды написать обо всех нас? Как клялась это сделать, когда каждого из нас жизнь уже наградит по заслугам и мы станем теми, кем станем. Когда наши иллюзии о нашем будущем растают как дым, став настоящим, в котором нет ничего, кроме правды о нас самих.

Помнила она это или нет, но Маргарита взялась за другое: один знакомый предложил ей написать женский роман, который он потом покажет издателю. Сроки написания были лимитированы, и это было воспринято Маргаритой как вызов, к тому же сумма гонорара была весьма солидной. В общем, она согласилась.

Пока Славик корпел над новым шедевром, Маргарита взялась за свой. Не прошло и недели, как роман был готов. Она и сама не ожидала от себя такой прыти, но, начав писать, просто не смогла остановиться, пока не поставила окончательную точку.

— Концовку нужно переписать, — передал ее знакомый слова издателя, после того как тот прочел ее творение. — А так все замечательно.

— Что значит «переписать»? — не поняла Маргарита.

— Понимаешь, у тебя концовка нелепая, будто придуманная, а нужна логично вытекающая из повествования. Именно такую и ждут люди, то бишь читатели, — терпеливо объяснил он ей.

— Да мне плевать, чего ждут читатели! — взорвалась Маргарита. — При чем тут они?

— Ну как же! Ты же пишешь жанровую прозу, а она живет лишь в границах, определенных жанром. Не нужно из них выходить, и тогда, солнышко, все у тебя сложится.

Снисходительный тон собеседника взбесил Маргариту так, что ей захотелось огреть его рукописью по голове. Никто не смел указывать, что ей делать.

— Ты можешь кое-что передать этому издателю? — еле сдерживаясь, спросила она.

— Конечно, — улыбнулся он.

— Передай ему, чтобы он шел в жопу!

На этом карьера писателя женских романов для Маргариты закончилась. Зато у Святослава все складывалось великолепно — его работы шли на ура, и все, кто их видел, приходили в восторг. Они продавались за очень большие деньги — тут Маргарита вполне могла гордиться своим творением.

Надо сказать, что ребята всегда скучали по тому району, где раньше была квартира Святослава, и мечтали когда-нибудь туда переехать. Думаю, дело тут было не в районе — им обоим казалось, что можно вернуть те времена, когда они были действительно счастливы. И вот в погоне за ушедшим они задумали переезд и уже через полгода справляли новоселье.

Квартира была хорошая, Святославу пришлось немало доплатить, чтобы все сложилось. Они оба были очень рады, да и дочери Сашеньке все тут нравилось. Единственно, чего не хватало для полноты картины, — это сестры Славика, которую я предложил поселить у них.

— Тебе не хватает его сестры? — сказала Маргарита. — А вот лично меня уже достали его шлюхи!

— Он продолжает водить шлюх? — удивился я.

— Ну, может быть, они и не шлюхи и дают только ему, но их много и все время разные!

— А с тобой? Вы занимаетесь сексом?

— У меня уже полгода не было секса! Хотя бы ты меня поимел что ли, друх!

Маргарита и правда была похожа на кошку во время течки. Было невыносимо смотреть, как она страдает, но что я мог поделать? Те годы, когда мы могли спокойно переспать, при этом не обижая никого, остались позади, все стало намного сложнее. Да и что бы нам дал этот секс?

Но нужно было совсем не знать Маргариту, чтобы так долго испытывать ее терпение. Она, как любая муза, не выносила безразличного отношения к себе. Через

какое-то время я обнаружил в их квартире еще одного парня, который в тапочках и тренировочных штанах сидел на диване.

— Аркадий, — представился он, протянув руку.

— Это кто? — спросил я у Славика.

— Он теперь живет у нас, — мрачно ответил тот.

— Как это?

— Вот так.

Оказалось, Маргарита нашла этого парня у какой-то своей знакомой, которая страдала экземой кожи, и Аркадий в качестве платы за проживание каждый день натирал ее с ног до головы вонючим кремом. Ему негде было жить, и Маргарита, задумав его спасти, заодно решила кое-какие свои проблемы.

Аркадий был добродушным и простым в общении, похожим на тех людей, кто все схватывает на лету. Говоря с вами уважительно, он не мог скрыть легкого налета панибратства, какой остается у тех, кто долгое время вертелся в каких-либо коммунах: жил в общежитии или водил компанию с неформалами.

— Представляешь, прихожу домой, а они в ванной развлекаются, — рассказывал мне Славик. — А мне что, руки на кухне мыть?

— Ну, зашел бы в ванную, помыл там, — пожимал я плечами. Как будто ему было впервые заниматься любовью втроем.

— Как ты себе это представляешь?

— Так ты ревнуешь?

— Нет. Просто он живет в моей квартире.

Да, дело было только в этом. Если раньше их половые партнеры приходили и уходили, то новый парень Маргариты жил в квартире постоянно — вот в чем была проблема. И, кроме того что спал с его женой, еще носил его обувь и ел продукты, купленные на его деньги.

Святослав запил. В пьяном бреду он пытался выяснять отношения, но Маргариту этим было не взять. «Ты сам все подвел к этому», — таким был ее вердикт. Славик бил посуду и крушил мебель, уходил из дома и напивался черт знает с кем, а потом сидел в обезьяннике, дожидаясь Маргариту, которая вызволяла его оттуда. Это продолжалось долго, пока не закончилось подшивкой.

Обессиленный и опустошенный, Святослав собрал вещи и уехал на месяц, а когда вернулся, обнаружил, что все его алмазные сверла попорчены.

— Кто тебе разрешал их трогать? — заорал он на Аркадия. — Ты совсем оборзел?!

— Научи его резать камень, — вмешалась Маргарита.

— Резать камень? А потом что? Он и меня зарежет?

— Ну, пусть хотя бы шлифует. Пусть будет твоим подмастерьем.

Это было другое дело. Подмастерье! Вот кто он такой. Наконец Святослав нашел подходящее слово для этого хитрого жука. Посмотрим, как он будет справляться с черной работой.

7

Так Аркадий начал работать на Святослава, шлифуя и полируя готовые изделия. Святослав даже платил ему какие-то деньги, потому что Аркадий неожиданно для всех хорошо справлялся. А еще через полгода он вырезал свою первую самостоятельную модель. Не без помощи Славика, конечно, так что вырученные деньги они поделили пополам.

Первая удача вдохновила Аркадия, и он полностью перешел на самостоятельный труд, за короткий срок освоив все приемы камнерезания. Более того, пока Святослав вырезал одну работу, Аркадий успевал сделать три. Казалось, он вообще не вставал из-за рабочего стола, оборудованного в ванной. Первое время он постоянно доставал

Святослава, выпрашивая советов, так что иногда тот взрывался, но все же, поостыв, терпеливо показывал, что и как нужно делать.

В конце концов Святославу все это надоело, и он собрался съезжать с квартиры. Он уже не мог слушать, как в соседней комнате веселится эта сладкая парочка.

— Он украл у меня все, — говорил Славик, когда мы оставались одни. — Жену, квартиру. Он перенял стиль моих работ, к тому же оказался втрое продуктивнее меня. Он залез в мою жизнь и все отнял.

Я, конечно, сочувствовал приятелю, но что тут можно было поделывать? Нужно было жить, тем более пока все были еще молоды, тридцать пять — не возраст для мужчины.

Что же касается Маргариты, то они с Аркадием развернулись вовсю: купили машину и участок, на котором начали строительство дома. Он был поставлен быстро, буквально за лето. В доме был водопровод и канализация. До озера — двести метров.

В то время я видел ее нечасто и даже пропустил момент, когда у нее родился сын. Слышал только, что Аркадий забил своими работами весь рынок и что они продавались за очень большие деньги.

Встретиться нам всем пришлось года через три, когда Маргарита попросила меня установить в их доме печь, вернее, протянуть от нее трубу через два этажа и вывести ее на крышу.

Стояла поздняя осень, и Аркадий впервые решил провести зиму за городом. Он оборудовал под мастерскую вагончик и теперь мог работать в свое удовольствие, не захламывая городскую квартиру. Единственно, ему был необходим присмотр — за ним нужно было выключать свет, подбирать раскиданную одежду, варить кофе, готовить еду, спускать в унитазе воду, искать его зажигалки, телефоны и ключи, вытирать сопли и делать за него еще кучу разных вещей, которые он сам был не в состоянии выполнить.

— Он, как всякий гений, совершенно не приучен к быту, но зато уже сейчас можно сказать, что его работы переживут нас всех, — говорила про Аркадия Маргарита. — Каждая из них — памятник.

Я молчал, потому что моим мнением на этот счет никто особо не интересовался. Для меня Аркадий был вторичен — он во всем был лишь копией Святослава.

— Может, ты поживешь с ним? — предложила она, как всегда блудливо глядя на меня. — Поможешь ему в работе.

— Ты хочешь, чтобы я стал его подмастерьем? — вспомнил я слово Славика.

— Почему нет? Мы тебе будем хорошо платить.

— Мне нужно подумать.

— Да чего тут думать. Посмотри, в кого превратился Аркадий! Ты можешь пройти его путь.

— И отбить тебя у него? — улыбнулся я.

— Да я же и так всегда твоя, — она прижалась ко мне грудью и пародийно задышала.

В общем, я решил принять их предложение. В тот момент, когда мне позвонил Омар, я жил там уже два месяца.

— Мне некуда пойти, — сказал он в трубку. — Может, поговоришь с Маргаритой?

— Почему бы тебе самому не поговорить с ней? — спросил я.

— Ты же знаешь, она меня не станет даже слушать.

— Ладно. Хотя ничего не обещаю.

Он приехал на автобусе, весь какой-то черный, словно обугленный. Аркадий дал ему ключи от соседского дома, который они снимали для гостей.

— Вот печь, растопи ее, прежде чем лечь, — сказал я. — Хочешь поесть?

— Потом, все потом, — ответил Омар. — Очень хочу спать.

Он лег на диван, как был в куртке и ботинках, я накрыл его одеялом, затем еще одним. Выключил свет. Затем вспомнил, что нужно закрыться изнутри.

— Закрой меня снаружи, — глухо сказал он.

— Э нет, давай уж сам.

Ему пришлось встать и закрыть за мной дверь. Из дома он вышел только через два дня, выпавшись, по его словам, на всю жизнь.

Чтобы зря его не кормить, Омару нашли работу. Снег сыпал не переставая, и его нужно было убирать. Омар часами, как заправский дворник, махал лопатой, заходя в дом только для того, чтобы погреться и выпить чая. Еще на нем были дрова — Аркадий заказывал машину, и водитель, застряв однажды на участке, теперь вываливал наколотые поленья прямо в снег у дороги. Омар пер их на санях через два участка к беседке, где тщательно укладывал. К вечеру он забирался в свой дом и, протопив печь, просиживал за маленьким нетбуком в социальных сетях почти до утра.

— Меня зовут в Америку, — однажды сказал он мне. — Представляешь, мой одноклассник живет в Майами на берегу океана. Говорит, и мне там домик присмотрел, небольшую хибару типа этой, — кивнул он на дом.

— Как же ты туда поедешь? — спросил я. — У тебя ж документов нет.

— Не знаю. Можно перейти границу с Украиной, а оттуда — в Польшу.

— А дальше?

— Дальше будет видно. Поляки — ушлый народ. Не пропаду.

Я удивлялся тому, что рождалось в его голове. По-моему, в последнее время он слишком много махал лопатой — это хотя и укрепляло его мышцы, но не способствовало работе мозга.

Вместо Америки он укатил в Подмосковье. Однажды за ним приехала женщина, с которой он переписывался в ВКонтakte, посадила в свою маленькую красную машинку и увезла. С Маргаритой он так и не пересекся ни разу за эти три месяца проживания с нами.

— Ты не считаешь, что с ним уехала целая эпоха? — спросил я ее. — Что именно сейчас то самое чертовое время, когда мы все были счастливы, помахало нам рукой?

— Может быть, — в задумчивости произнесла она. — Омар иногда писал замечательные стихи, но превратить свою жизнь в поэму — это нужно еще суметь. А он сумел.

— Вот, ты все-таки по достоинству оцениваешь его.

— Да я что? — пожала она плечами. — Его творчество и жизнь оценят потомки. Если узнают.

— Да, если узнают.

— А что, кстати, он будет делать в Подмосковье?

— Жить. Любить. Писать картины.

— Картины? Наверное, такие же плохие, как он сам.

— Ты сучка, Марго. Знаешь об этом?

— Знаю, знаю.

— Ты просто сучка.

Сергеев

1

Сергеев одно время был очень похож на Достоевского, но когда мы с ним познакомились, он скорее походил на Чернышевского, портрета которого я, надо сказать, никогда не видел, но смутно представлял по набоковскому роману «Дар». В моей памяти отложился трагикомичный персонаж, катающийся по полу с Добролюбовым, — больше я ничего не помнил, но ощущение общего нелепого драматизма, на мой взгляд, очень хорошо сочеталось с фигурой Сергеева.

Впервые я увидел его в ДК имени Ленина на Васильевском острове. Там было лито от какого-то завода, и я, решив обойти все такие объединения в поисках себе подобных, однажды зимой в летней обуви бежал по Большому проспекту, опаздывая к назначенному часу.

В фойе мне указали на небольшую группу, сгрудившуюся прямо тут же: в углу помещения стоял стол, за которым восседал худой усатый мужик за пятьдесят, перед ним на стульях сидело несколько человек. Все они были немолоды, на их лицах лежала тень усталости. Казалось, они пришли сюда сразу после того, как отстояли смену у рабочего станка. Было странно, что эти люди имеют какое-то отношение к стихам, — это никак не вязалось с моими представлениями о литературной среде. Присмотревшись внимательнее, я заметил среди них парня моих лет. Это и был Сергеев.

Он сидел несколько в стороне от всех, лицом к основной массе, взъерошенный, как загнанный в угол зверек, готовый в любой момент укусить. Исподлобья поводя глазами, он не искал спасения, а, наоборот, улучал момент для ответного броска.

«Ничего себе, — подумал я тогда, глядя на эти страсти. — Вот она какая, большая литература».

Заметив меня, человек за столом спросил, что мне нужно и не ошибся ли я собранием. Люди в суровых зимних одеждах обратили на меня свои тяжелые взоры.

Мне пришлось прочесть пару своих стишков, и их лица немного разгладились.

— Вот, молодой человек, — обратился усатый к Сергееву. — Учитесь.

На этом все внезапно закончилось. Усталые люди встали и, не спеша, двинулись к выходу. Меня подозвал усатый, но прежде Сергеев сунул мне в руку клочок бумаги с адресом, временем и датой.

— Приходи, — сказал он с некоторым усилием, словно гребя внутри себя против течения. — Соберется народ. Будет интересно.

— Хорошо, — ответил я.

Потом усатый прочел мне небольшую лекцию о заводской стенгазете и, пожимая руку, устало спросил:

— Ну что? Понравилось вам у нас?

Я не хотел его разочаровывать.

— Конечно! Очень понравилось.

Больше я никогда не был в этом ДК. Последней каплей стала поэтесса в каракулевой шубке, до самого метро читавшая мне свои стихи. У нее был голос Беллы Ахмадулиной или, по крайней мере, Елены Соловей, от которого шарахались голуби. Мне было неловко, потому что люди оглядывались на нас, но эта уже не очень молодая женщина с кривыми некрасивыми зубами совсем не замечала этого — казалось, она вообще ничего не замечала вокруг. Ни снега, ни солнца, ни деревьев, как будто красота мира складывалась из других вещей, из тех, что были внутри нее и были видны только ей. Ее стихи были ужасны, так же как и вызванная ими экзальтация. Все было нелепо, кроме, разве что, самого порыва, но я давно замерз в своих летних туфлях, и мне не терпелось оставить мою новую знакомую. Желательно навсегда.

2

У меня не возникало вопроса, идти к Сергееву или не идти, — все было решено в тот момент, когда я пожимал твердую ладонь руководителя заводского лито. Не представляя, что ждало меня в квартире этого странного на вид парня, я пребывал в легком возбуждении, которое всегда провоцировало во мне отчаянное веселье.

Хозяин был хмур и сосредоточен, но все же пытался разместить на своем лице еще одну привычную для него эмоцию. Казалось, необдуманно собрав в своем доме

гостей, он уже сотню раз пожалел об этом и теперь ждал какого-то подвоха то ли с их стороны, то ли со своей.

Гости рассаживались вокруг стола, в углу небольшой комнаты стоял наполненный водой аквариум, горел торшер. Тут было человек шесть, не считая самого хозяина, глядевшего на всех исподлобья. Мне было весело, и я не скрывал этого, тогда как остальные вели себя достаточно скованно.

Тут-то и вошла мать Сергеева, громогласно заявив, что хотела бы проверить паспорта. Просто хотела бы посмотреть на них, вроде как из любопытства. Ведь ничего страшного не случится, если мы покажем их ей.

— Мама! — Сергеев пошел на нее, расставив руки, как футбольный вратарь. — Это мои гости. Выйди, пожалуйста.

— Ну и что, — стояла она на своем. — Твои гости в моей квартире, и я имею право знать, кто они такие.

— Они все замечательные люди, неужели ты не видишь этого? — бубнил сын, тесня мать к двери. — И потом они находятся в моей комнате.

— Да, а твоя комната находится в моей квартире! — мать никак не хотела уступать сыну.

Так они и боролись, как Иаков с ангелом, не входя в телесный контакт, мать и сын. Все замерли за столом, наблюдая за происходящим. В аквариуме плавала одинокая рыбка.

Наконец мать была побеждена. Сергеев плотно закрыл за ней дверь и, повернувшись к нам, мрачно улыбнулся. Тут-то я его и разглядел.

Он был маленький и худой, с каким-то изможденным лицом и затравленным взглядом. Его нельзя было назвать привлекательным, но и отталкивающим — тоже. Да и не был он жалким, если кто-то вдруг подумал об этом, наоборот, в его чертах угадывалась твердость характера. Одной из примечательностей был его огромный лоб — может, он казался таким из-за начинающейся лысины, но даже любой знатный чуб, будь он у него, не смог бы покрыть его и наполовину. Еще он странно моргал: не как все, едва заметно, а чуть задерживаясь перед тем, как снова поднять веки, как будто они были тяжелы. Несмотря на худобу, у него были сильные руки с большими ладонями рабочего человека, которыми он мог, наверное, при случае основательно отдубасить своего обидчика.

Составив портрет хозяина, я незаметно проскользнул по коридору и вышел покурить в подъезд, где столкнулся с худым долговязым парнем и его девушкой. Оказалось, они тоже пришли к Сергееву.

— Паспорта с собой? — спросил я, закуривая.

— Нет, а нужны паспорта? — весело удивился парень.

— У него еще и выпить нечего.

— Нечего? Может, сразу свалим? — обратился парень к спутнице.

Это были Алик и Тася, мои будущие друзья.

Все, кто присутствовал на такого рода квартирных вечерах, знают, насколько дико это выглядит со стороны. Тесный круг слушающих, и кто-то один шаманит голосом — это скорее похоже на спиритический сеанс или сборище оккультной секты, чем на литературное мероприятие. В этом нет никакого творчества, есть только желание объединиться, чтоб не пропасть поодиночке, чтоб почувствовать своим плечом плечо такого же напуганного человека и хоть как-то унять трусливую дрожь.

Только Сергеев не боялся ничего: ни наступающей ночи за окном, ни матери за дверью, ни изнурительной борьбы с Хаосом, в которую он собирался вступить. Он готовил себя именно к этому, хотя, возможно, пока еще не понимая, с чем ему предстоит столкнуться, но сам его вид говорил о том, что он готов к любому развитию событий.

Его стихи были тяжеловесны, как панели дома, в котором он жил. Он читал их,

запинаясь, словно тягал гирию в полтора пуда, поднимая над головой снова и снова, наращивая мышцу. Каждый раз, слушая его, я буду испытывать ощущение, что он не справляется с собой невидимым, с тем, который гораздо больше и сильнее того, что находится на виду. Отсюда эта постоянная сдержанность, этот взгляд, обращенный внутрь себя, взгляд укротителя. В нем как будто все время кто-то ворочался, причиняя боль, а он даже не мог как следует ему ответить. Может, это и был тот самый хаос, вернее, небольшая его частица.

Я подружился с ним, если можно так назвать наше общение. Я заходил к нему несколько раз после той первой встречи, и даже его мать больше не требовала у меня документов. Мы читали друг другу написанное за последнее время, причем он всегда писал очень много, примерно раз в двадцать больше моего. Иногда мне казалось, что ему не терпится выпроводить меня, чтобы сразу же снова засесть за писанину, продолжив с того места, где я его прервал.

Однако он всегда прислушивался к моему мнению, сидел и вникал в то, что я говорю о его стихах, повернув ко мне одно ухо, как старик, который не слышит другим. Из двенадцати его строчек я находил четыре неплохих и две совершенно волшебных, а оставшиеся можно было не писать вообще, но он был прав в том, что эти две восхитительные поддерживали десять посредственных и эти чудесные строки никогда бы не появились, не будь написаны остальные.

В этом, конечно, была логика, но мне-то хотелось, чтобы человек как поэт выигрывал везде и во всем. То есть, чтобы у него и в мыслях не было где-то лажануться, потому что это нормально. Именно это я хотел донести до Сергеева, чувствуя в нем огромный потенциал.

Как выяснилось позже, Сергеев стал звеном во многих цепях, опутавших меня с головы до ног, но я был только рад этому. Он познакомил меня с прекрасными людьми, а потом еще и привел в лито, на долгие годы ставшее для меня родным.

Я помню этот день — зима вдруг перепугалась чего-то и превратилась в весну, вернее в ее преддверие, и потекла, как последняя сука. Во дворе на Салтыкова-Щедрина находился лицей, чьи большие арочные окна выходили на кинотеатр «Спартак» — в одном из его классов мы и встретились.

Народу было немного, кроме уже знакомых мне персонажей там была еще одна девушка, державшаяся немного поодаль, и парень, сразу подошедший к нам. Это был Игорь, друг Алика, учившийся на филологическом в ЛГУ. Он был женат и уже имел ребенка.

— Представляешь, у него уже ребенок! — восторженно говорил мне Алик, когда мы курили на крыльце. — Эдакое маленькое живое стихотворение, с хокку, грозящее вырасти в поэму, а может, и, чем черт не шутит, в целый стихотворный том.

— А ты-то как сам к этому относишься? — не понял я.

— Мне кажется это ненормальным, — заржал Алик. — Зачем подменять одно другим? Или стихи, или дети — вот как я считаю. Мой ребенок будет славным малым, не сомневайся! Никаких стихов, да здравствуют сопливые голоштаные спиногрызы!

Игорь был добродушным малым, не в пример Сергееву, он только посмеивался, слушая этот бред. Перед крыльцом набежала большая лужа, в которой отражалась прикинувшаяся кинотеатром лютеранская кирха. Нежно пахло талым снегом, откуда-то сверху чирикали воробьи, а в здании лицея нас ждала сама Поэзия.

Оказывается, за эту неделю Сергеев написал почти целую книгу. Это было удивительно — такая его работоспособность, но он все равно щадил себя. Снова две хорошие строчки, остальное — полный отстой. И так во всех текстах. Он, словно опытный ракетный конструктор, запуская в космос капсулу, сжигал тонны горючего материала, но здесь был другой космос! Здесь космос начинался у самых ног, у выпачканных весенней грязью башмаков.

Сергеев читал, запинаясь, словно у него не хватало дыхания разом осилить эту

гору. Мелодии не получалось, только прерывистое дыхание, куча мусора и два бриллианта на самом ее верху. Но иногда было по-другому. Иногда эти две строчки блестили в середине или в самом начале, иногда снова в последней части, но заканчивать он, как правило, не умел.

Завершив чтение, он растерянно озираясь, прислушивался, словно слепой к тишине, угадывая или точно зная, в каком ухе раздастся первый шелчок.

Чего он ждал? Одобрения? Признания? Любви?

Не знаю, каково бы вам было, когда бы вы знали, что вас никто не любит.

Две строчки против десяти. Думаю, если бы математический расклад был другим и удачных строк было втрое больше, ничего бы не изменилось. Любовью правит не математика, а химия. Сергеев пока не был силен ни в чем, но нужно было видеть, как он заряжался на то, чтобы отвоевать себе место.

3

Я знал, что Сергеев серьезно пострадал в армии. Что-то там связанное с неуставными отношениями: избиения, драки, госпиталь, военно-врачебная комиссия, увольнение по статье. Он никогда не рассказывал подробности этой истории, а я не спрашивал — ни к чему было вызнать то, что ни одного нормального человека никогда не заинтересует. Все было в прошлом, как в темном чулане за намертво заколоченной дверью. Я знал, что теперь он жил на таблетках и совсем не употреблял алкоголь. Можно было сколько угодно подшучивать над ним с тем же Евгением или Аликом, но, оставаясь наедине с Сергеевым, мне хотелось говорить ему лишь слова одобрения, понимая, что этот человек прошел ад и, может быть, до сих пор шагает по его пустоши.

В семье тоже было не без проблем. То, что его мать была заиклена на проверке документов, это еще полбеды. Основные неудобства доставлял младший брат. Он был добрым малым, безобидным, как пичуга, а еще хорошим шахматистом, даже имел какой-то разряд, но так бывает, что именно такие люди и сходят с ума, уходя в мир резных фигур и выверенных ходов, как это случилось, например, с набоковским Лужиным. Жизнь для них превращается в напряженную шахматную партию, где нет места любви и живому слову и где любой неверный шаг может стать роковым и привести к проигрышу, а значит, к концу игры.

Тихий и замкнутый в себе, брат сутками проводил время за решением шахматных задач, выстраивая фигуры на доске в том или ином порядке, а потом его начинало клинить. Не знаю, каким образом это выражалось, но, чтобы привести в чувство, его быстренько сдавали в психушку, и он какое-то время проводил там, однако признаки помешательства атомной пылью оседали на всем, что было в квартире. Все там пахло этим помутнением, даже чай, что я пил на кухне, горчил слабым помешательством.

Но зато от всего этого оставались две строчки, всегдашние две его гениальные строчки среди множества никудышных. Например, такие: «Потому что правда, как ложь, крепка. Потому что солнце, как бой быков». Даже Омару не снилось ничего подобного, не говоря уже о всех нас. Ради подобных алмазов можно было тоннами перелопачивать эту руду, которую Сергеев называл стихами.

В середине девяностых мы с Аликом и еще парой ребят открыли рекламное агентство. Теперь нам всем приходилось часами сидеть за телефоном, вызванивая потенциальных клиентов. Мы продавали рекламные места в региональных выпусках газеты «Известия». У одного знакомого в Омске жил дядя, который этим заведовал, он и предложил нам попробовать себя в этом бизнесе.

Ну, тогда все были бизнесменами. Все что-то продавали, покупали, чтобы потом, накрутив новую цену, снова выставить на продажу. Кругом были посредники, крупные

и мелкие спекулянты, всем хотелось легких денег. Найти человека на вакансию рекламного агента было непросто, и я предложил кандидатуру Сергеева.

Вот уж никто не думал, что именно у Сергеева дело пойдет, что он станет чемпионом по заключенным сделкам. Он собирал клиентов, как опытный грибник, у него всегда было полное лукошко. Иногда даже кто-нибудь из нас был вынужден подхватывать его клиентов, потому что ему одному было не справиться с оформлением договоров. Мы ходили по офисам и просто собирали деньги, унося их в дипломатах, как в каких-нибудь лихих голливудских фильмах. Основная часть отправлялась родственнику в Сибирь, но и у нас оставалась неплохая маржа. Вернее, у Сергеева.

Эта его чертова работоспособность! Наверняка он сидел за телефоном, не вставая круглые сутки, точно так же, как и писал свои стихи, одно за другим. И если мне, например, нужно было долго настраиваться на то, чтобы набрать следующий номер и по новой начинать надоедать незнакомым людям, то Сергеев вообще не парился по этому поводу. Он словно был уверен в своем праве делать то, что делает. Вот о чем я и говорил! Не испытывая никаких сомнений, можно многого добиться, многого.

— Сергеев, ты машина! — говорил Алик восхищенно. — Тебя бы еще оттюнинговать как следует.

Не знаю, что бы с ним в конце концов стало, возможно, он бы сейчас был мультимиллионером, если бы не накрылся наш бизнес. Первым соскочил Алик, который попросту устал. Следом еще один отлетел в кювет, и еще. Последними остались я и Сергеев. Конечно, этого могло хватить, но тянуть в одиночку лямку черной лошадки, пока Сергеев загребал весь жар, я не мог. Мы не вкладывались в развитие и были обречены заранее. Все, сказал я себе и ему. Приехали, слезаем с телеги.

Надо было видеть его лицо. Он не мог понять, почему все прекратилось. У него впервые появилась хорошая денежная работа, он был в команде приятных ему людей — куда все это девалось в один миг? Он не мог понять, как можно все вот так вот просто бросить, когда ничего не случилось и все работает как часы.

— Вы что, больные все? — спросил он, глядя на меня из-под бровей.

— Больные, Сергеев, — согласился я. — Ты сам-то здоровый?

Мне было легко и несладко одновременно. Я знал, что это не последний наш проект, что будут другие, а если даже и нет, то все равно ничего страшного не произошло. Подумаешь, были деньги и — вот их нет. Не в деньгах счастье, Сергеев, хотелось сказать мне ему, да тут и так было понятно, что дело не в них. Тогда в чем?

Может быть, в том, что за время совместной работы мы сблизились, и Сергеев подобрался к нам с другой стороны. Он даже пару раз побывал у Алика, что, наверное, стало высшим достижением всей его жизни. Искренне почитая его прозу, он втайне восхищался и им самим. Я видел это, замечал по его глазам, как он на него смотрит, как слушает, как с ним говорит. Сергеев завидовал его умению быть легким и обаятельным, его дару нравиться, быть великодушным и благородным — и тому, как просто ему это давалось.

Однажды Алик даже снизошел до того, чтобы обстоятельно поговорить с ним о литературе, дав Сергееву пару «бесценных» советов. Да, глядя на этих двоих, я уже мог кое-что предсказать, а именно что Сергеев благодаря своей настырности пойдет дальше Алика. Именно из-за своей тяжеловесности и бульдожьей хватки он будет грызть и грызть, пока не перегрызет все, что встанет помехой на его пути, в то время как Алика просто унесет ветром, едва ли не первым порывом.

А пока Сергеев остался без работы и без друзей. Когда примерно через год я снова навестил его, он уже жил в комнате брата, потому что его комната понадобилась матери. Комната брата была раза в два больше, но Сергеев, кажется, занимал места

еще меньше, чем раньше. Он обустроился в углу за шкафом. Там он поставил кровать, вся остальная территория в связи с очередным отсутствием брата пустовала.

Тут было много специфических книг. Теория шахмат, сборники шахматных задач, биографии знаменитых шахматистов. Имея такого близкого родственника, можно было либо влюбиться в эту игру, либо ее возненавидеть, но Сергеев не выказывал никакого к ней отношения. Он даже о брате никогда не говорил, словно боялся таким образом заразиться его болезнью. Ему хватало того, что он ежедневно видел его вещи и кровать. Хватало ожидания его возвращения, когда тот вновь будет целыми днями сидеть за шахматной доской и судорожно или, наоборот, осторожно передвигать костяные фигуры.

4

Все складывалось не очень хорошо — это если еще не вдаваться в детали. Мир был слишком суров по отношению к нему. Никто его не любил, даже собственные родители не испытывали к нему теплых чувств. Он понятия не имел, как такое могло произойти и в чем он вообще был перед ними виноват.

Город также отвергал его, хотя он в нем родился и вырос, — шумные улицы, полные людей и машин, внушали ему не то чтобы страх, но настолько его подавляли, что он начинал физически задыхаться от ощущения собственного одиночества.

Другое дело — лес. Вот где он чувствовал себя по-настоящему дома. Тут все было по-другому, не так, как везде, включая его собственную постель, находящуюся на высоте девятого этажа серого панельного дома. Гораздо спокойнее было спать на земле, в старом спальнике, просыпаясь под утро от звука дождя, мелко семенящего по палатке.

В то время было много разных историко-географических клубов, созданных под эгидой изучения собственного края и базирующихся при дворцах культуры. В них приходили люди разных возрастов, но в основном — определенного мировоззрения. Они, как и Сергеев, не могли найти себя в зарождающемся обществе потребления, но искать тут единомышленников тоже не стоило, потому что пение под гитару у костра никак нельзя было назвать высокой поэзией, а на звездное небо можно было глядеть и в одиночку.

Еще одной серьезной проблемой стало отсутствие денег. Его инвалидной пенсии едва хватало на дорогие лекарства, без которых он не мог нормально существовать, — на еду оставались копейки. Устав от постоянных родительских попреков, он однажды бросил им в лицо, что больше никогда не притронется к их продуктам. «И правильно, — сказал на это отец. — Тебе уже давно пора начинать самостоятельную жизнь». «Может, мне еще из дома уйти?» — спросил Сергеев. «Может быть, и уйти, — поддержала отца мать. — Что здесь такого необычного?»

Месяцами сидевший на картошке и рисе, он похудел и осунулся. Его постоянно преследовало чувство голода, а по ночам снился один и тот же сон: как он пытается выловить из кастрюли большой кусок вареного мяса, но ему никак не удается подцепить его половником. Иногда он даже завидовал своему сумасшедшему брату, которого регулярно кормили в том месте, где он находился.

Нет, он, конечно, работал, когда работу удавалось найти, но она всегда была мало оплачиваемая и недолговременная — фирмы, в которые он с большим трудом устраивался, закрывались почти сразу же после того, как Сергеев приступал к деятельности. Это выглядело как насмешка судьбы или как знак того, что тратить время на продажу рекламных щитов — непозволительная роскошь для человека, способного из шестнадцати строк две написать гениальные. Ему как будто подсказывали свыше, что следят за каждым его шагом, тут же отсекая неверно выбранное направление. Его одиночество, болезнь, нелюбящие родители, сумасшествие, творящееся

вокруг, — все это словно было вписано в некий необходимый и достаточный реестр твердой, не знающей сомнений рукой.

Чтобы совсем не околеть с голодухи, Сергеев стал посещать церкви в надежде найти в них утление не только духовного голода, но и физического. Батюшка одной из них, приметив худющего, почти прозрачного прихожанина, отбивающего поклоны, подошел к нему и сказал: «Переставай поститься, сын мой. Это, конечно, дело богоугодное, но так ведь и помереть недолго».

Помереть и правда можно было в любой момент. То ли от хронического недоедания, то ли от нервного истощения у него стали обостряться приступы болезни, грозящие перейти в эпилептические припадки. Однажды, совсем одурев от голода, он на последние деньги купил мяса и, сварив, буквально его сожрал, обжигаясь и почти не жуя.

Через несколько минут ему стало так плохо, что он вынужден был лечь, чтобы успокоить жуткие колики в животе. А еще через час ему позвонили и пригласили прийти на Конюшенную отведать церковной трапезы.

Господи, он так давно ждал этого приглашения, а тут даже не мог подняться с постели, не говоря уже о том, чтобы куда-то поехать! Полежав еще немного, Сергеев понял, что никогда не простит себе, если и дальше будет валяться в кровати, вместо того чтобы лишний раз поесть. К тому же он боялся, что если не примет этого приглашения, то второго ждать уже не придется.

Преодолевая слабость и боль, он встал, оделся и вышел на улицу. Можно было подождать автобуса, но он пошел пешком, и когда добрал до метро, боль внезапно отпустила.

Дальше даже вспоминать было стыдно. Он съел все, что ему подали, — большую тарелку с картошкой и мясом — и тут же выблевал это на стол. Бедный желудок не справился с таким обилием щедрот. Было обидно, что он изверг из себя и то, что съел дома. Подбежавший толстый поп зашипел ему на ухо так, чтобы больше никто не услышал: «Чтоб я тебя больше здесь не видел, сатанинское ты отродье!»

«Ах, отродье!» — у Сергеева вскипело внутри. Целый год он ходил по разным православным соборам, выстаивая непонятные службы и пытаясь вникнуть в пугающие обряды! Целый год, потраченный впустую! За это время он не приобрел ни одного знакомства, никто не улыбнулся ему, не заговорил. Все здесь казалось лживым, заикленным на пустых ритуалах, за которыми не было ничего, кроме самолюбования и чванства. Все, с него достаточно!

С протестантством было куда понятнее — здесь человек, почитая Бога, поклонялся только ему, так как спасение даровалось единственно через его волю, и при этом не нужны были никакие посредники с их замороченным церемониалом. Хотя и тут были свои траблы, но главное, что привлекло и очаровало Сергеева, — это то, что каждый верующий имел право толковать и излагать Божье Слово. А чем были его стихи, как не попыткой передать то, что приходило свыше?

Он начал ходить на проповеди, слушал псалмы, изучал Библию. Ему нравились отсутствие пышности и простота — бедных тут охотно подкармливали, а имеющим грудных детей давали памперсы и молочную смесь. Здесь он почти сразу познакомился с очень приятной девушкой, которая так же, как и он, искала свою духовную среду.

Ее звали Ларисой, она приехала из Старой Руссы учиться или работать, но так толком и не поняв, чем ей заниматься, пока просто жила у подруги. Она была легка и непринхотлива в быту, у нее были тонкие пальцы и нежная кожа, и Сергеев, соскучившись по женской ласке, тут же сделал ей предложение руки и сердца, и та, недолго думая, согласилась.

Однажды он привел ее на лито, она сидела рядом с ним и, по-птичьи склонив голову к плечу, слушала стихи и комментарии, при этом в ее глазах не было ничего, ни единой мысли. Потом Сергеев подавал ей пальто, помогая ее рукам влезать в рукава,

поправлял воротник. Впервые я видел, как он о ком-то заботится, как смотрит вокруг с тем же вызовом, с каким смотрел после чтения своих стихотворений, будто ожидал насмешки. Но никто не обращал на них внимания, тут каждый был занят исключительно собой, своими амбициями и надеждами когда-нибудь написать что-то действительно стоящее.

Они вынуждены были снимать жилье, потому что мать Сергеева сразу сказала, что пока она жива, он никогда никого не приведет в ее дом. Отец тоже был против — он ненавидел в равной степени всех, но своих детей, кажется, больше остальных. Когда-то, женись на еврейке, разве мог он предположить, что именно евреи продадут и разграбят его страну? Всю жизнь проработав простым инженером на заводе, он дважды терял все свои сбережения, в девяносто втором и девяносто восьмом, и теперь у него не было ничего, кроме двух больных жиденков, сидящих на его шее, как насмешка над всей его жизнью. И вот старший из них приводит в квартиру жену, которая по своему уму напоминает младшего, — такого издевательства он стерпеть не мог. Короче, молодым было указано на дверь, и она захлопнулась за ними так громко, словно выстрелила им в спину.

Первое их съемное жилье Сергееву понравилось. Это была двухкомнатная квартира, где, кроме них, обитала маленькая сухонькая бабушка. Он едва смог открыть дверь в комнату, которую они сняли, настолько она была завалена мусором. Ему пришлось полдня выгребать и выносить его на помойку, с четвертого этажа без лифта, но когда комната освободилась, она оказалась вполне уютной. Это было похоже на редактирование поспешно написанного текста, когда твердой рукой вычеркивается все лишнее и из-под словесных завалов начинает проглядывать смысл.

Бабушка была хозяйкой и просила за комнату совсем немного, но Лариса без всяких видимых причин почему-то сразу ее невзлюбила, так что после двух месяцев проживания Сергееву пришлось искать новый вариант. Сначала он не мог понять, какая муха укусила его жену и за что она взялась на безобидную старушонку, которая, говоря откровенно, была идеальным наймодателем, но вскоре он обнаружил за женой одну странную особенность — ей всегда был необходим внешний враг, причем желательно в ближайшем окружении. Им мог стать кто угодно — будь то сосед по лестничной площадке или стоматолог, долгие годы лечивший ее зубы. Очередное озарение вспыхивало внезапно, и она ничего не могла с собой поделать — перебороть охватывающую ее неприязнь к человеку и ощущение исходящей от него опасности.

— Тебе нужно лечиться, — узнав об этом, сказал ей Сергеев.

— Это тебе нужно лечиться, — бросила она ему. — А со мной все в порядке.

На том тема была замята. Снова начались поиски жилья, и вновь им повезло: благодаря знакомым они вышли на человека, у которого была парализована мать. За ней требовался уход — ее нужно было кормить, менять постельное белье, проветривать комнату, мыть пол и так далее. Со слов ее сына, здесь не было ничего сложного, просто требовалось время, которого ему катастрофически не хватало.

— Как у вас со временем? — спросил он Сергеева.

У Сергеева со временем было все в порядке — благодаря написанным стихам, а точнее двум гениальным строкам в каждом из них, он уже знал, что такое бесконечность.

— У меня его полно, — ответил он. — В отличие от денег.

— Я вам буду доплачивать, — пообещал мужик. — Буду отдавать пенсию мамыши. Годится?

— Еще бы! — вскричал Сергеев.

Он еще не знал, за что берется. Войдя в квартиру, он пошатнулся, словно его ударили по носу, — такое здесь стояло зловоние. В одной из двух комнат он увидел лежащую на кровати толстую голую женщину. Нижняя ее часть была перемазана жидким калом. Седые волосы, морщины, складки, безумный взгляд. Сергеев постоял, прикидывая, что делать дальше, — может быть, уйти совсем? — потом начал

раздеваться. Оставшись в трусах, он склонился над ней и попробовал взять на руки. Вонь стала невыносима. На глазах выступили слезы. Перемазанная в дерьме старуха была неподъемна. Его настигло такое отчаяние, какого он никогда не испытывал, но сразу же за ним неожиданно откуда-то всплыла строчка, как будто проявилась из этой зловонной жижи, сверкающая своей чистотой, за ней — еще одна и еще. Сергеев бросился к своему рюкзаку и перепачканными руками начал рыться в нем в поисках блокнота. Вонь, парализованная старуха, отчаяние — все ушло на дальний план. Скорее найти и записать — вот что сейчас волновало его больше всего.

5

Так они и стали жить — целыми днями Сергеев ухаживал за больной: обмывал, готовил еду, кормил. Выяснилось, что у нее диабет, и сын, вместо того чтобы колоть ей инсулин, вводил глюкозу, так что старуха мочилась практически сахарным сиропом. Понятно, чего он хотел, — на одной чаше весов была парализованная мать, на другой — двухкомнатная квартира. Сергеев никого не судил, его самого выкинули из дома родители, он просто делал то, на что подписался, и больная, бывшая уже при смерти, ожила. У нее даже появился аппетит. Она целыми днями смотрела телевизор, а когда Сергеев запаздывал с кормлением, громко ныла на всю квартиру.

Лариса ждала ребенка и плохо переносила беременность — она тоже почти все время лежала, и ему приходилось разрываться между ними, бегая из одной комнаты в другую.

Да, это была жизнь, его жизнь. Может быть, он бы и хотел что-то в ней поменять, но не знал как. К тому же он был уверен, что, где бы он ни оказался, везде его ждало одно и то же, потому что, как говорил когда-то Алик, сознание формирует бытие, а не наоборот. Именно его больное сознание образовывало ту реальность, в которой ему приходилось жить. Что же касается стихов, то здесь было так: бытие, возникшее из сознания, снова перетекало в него и формировало новую реальность, которая, впрочем, совсем не отличалась от предыдущего состояния. Это был замкнутый круг, и вырваться из него он не мог. Его стихи были так же мрачны, как и его жизнь, и в них уже совсем не было гениальных строк.

Они прожили в этой квартире два года, здесь родился их сын. Лариса из плохой хозяйки превратилась в плохую мать — она вообще все делала из рук вон плохо. Теперь, когда у них был ребенок, на это уже невозможно было закрывать глаза. Иногда, приходя домой из магазина, он заставал сына в постели старухи, перемазанного в ее фекалиях, и жену, преспокойно сидящую у телевизора. Этому нужно было положить конец. Все катилось в тартарары, Сергеев больше не мог сдерживаться, хотя и понимал, к чему это приведет. У его жены давно не было врагов, она как-то неразумно забыла о них на время, но теперь, когда ее муж начал повышать на нее голос и что-то от нее требовать, пробел был тут же восполнен.

В общем, как и следовало ожидать, Сергеев занял вакантное место. Это было не страшно, потому что он привык ко всему, он мог справиться с любой проблемой, но, как оказалось, не с этой. Однажды, вернувшись домой, он не нашел там ни жены, ни сына. Позвонив ее единственной подруге, он узнал, что Лариса поехала домой, в Старую Руссу, и просила передать, чтобы он ее не искал.

Господи, что значит — не искал! Да он сейчас же, сию же минуту поедет туда и... Он не знал, что будет потом, он ни разу не был в этой Старой Руссе и даже не знал точного адреса. Вслед за вспышкой гневной решимости пришла слабость, закружилась голова и подкосились ноги. Он был голоден, у него не было денег. Последний год сын старухи не давал ни копейки из обещанной им материнской пенсии, и Сергееву приходилось кормить ее на свои, но он как-то со всем этим справлялся, подрабатывая,

где только мог. Дворником, ночным сторожем, расклейщиком рекламных объявлений. У него была мотивация, и вот сейчас ее не стало. У него не осталось ничего.

Из комнаты парализованной донеслось нытье — подошло время обеда. Он прошел на кухню, подогрел в кастрюле остатки супа, перелил его в тарелку и в последний раз накормил старуху. Потом собрал вещи, вышел за порог и закрыл за собой дверь.

Две недели он жил в квартире своего знакомого, уехавшего с семьей на отдых. Все это время он пролежал на диване, тупо уставившись перед собой. Ему казалось, что два года его предыдущей жизни ему просто приснились. И не было никакой жены и сына, не было парализованной старухи, все это ему привиделось. Ничего не было, шептал он про себя, ничего. Только если это так, откуда же тогда в его рифмованных столбцах брались тоска, отчаяние и боль?

У той же подружки ему удалось узнать телефон жены, и теперь он мог ей звонить, но после первых же слов она бросала трубку. Он говорил только с ее матерью, когда Ларисы не было дома, и та довольно охотно поддерживала разговор.

— Ты не волнуйся, Коля, — говорила она в трубку, — все еще у вас получится. Я знаю свою дочь, она подуется, а потом простит.

— Да нечего прощать, — отвечал Сергеев. — Я ни в чем не виноват.

— Ой ли? Так уж и не виноват? Послушай меня, я знаю свою дочь...

Спорить было бесполезно, он и не спорил. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы узнать адрес. Уже через сутки Сергеев был в Старой Руссе.

По адресу он нашел бревенчатый дом барачного типа, во дворе которого играли дети. Сергеев сразу же узнал сына. Он подошел к нему, взял на руки и быстро пошел прочь.

Было жарко, яростно палило солнце. Сергеев почти бежал, боясь оглянуться, до автовокзала было совсем ничего, но в запарке он свернул куда-то не туда, потом еще и еще и, похоже, заблудился. Можно было спросить дорогу, но он боялся, что его тут же схватят. Бешено колотилось сердце, и чтобы его унять, он вынужден был присесть на скамейку возле серого административного здания. Сын сидел на коленях и мусолил шоколадку. Она таяла в его руке, маленькие пальчики были в липкой, похожей на дерьмо коричневой мякоти, и Сергеев едва не заплакал от нахлынувших воспоминаний.

Его схватили сразу же, как только он вошел в здание автовокзала. «Нужно было выбираться на попутках», — мелькнула в голове запоздалая мысль, когда ему заламывали руки. Сын, кажется, не плакал.

6

Сергеев посвятил сыну несколько стихотворений, в которых просил у него прощения за то, что не смог стать ему отцом. Это был душевный порыв. Вряд ли он надеялся, что когда-нибудь повзрослевший ребенок прочтет эти строки и все поймет. Но кто мог знать наверняка? В конце концов, не он ушел из семьи — наоборот, Сергеев делал все, чтобы быть рядом с дорогими ему людьми. Но случилось так, как случилось, и в этом нет его вины. Кто может знать, что было бы через месяц, год, через двадцать лет? Как бы они жили, что бы делали, о чем говорили? Вокруг было полно плохих примеров семейной жизни — взять хотя бы его родителей.

Спустя год Сергеев сошелся с женщиной, обладавшей экстрасенсорными способностями. По крайней мере, утверждавшей это и, более того, наладившей по этой линии небольшой частный бизнес. Она принимала клиентов в их съемной однокомнатной квартире, и Сергееву на время сеансов приходилось выходить на кухню или в парадное. Он садился на холодные ступени возле мусоропровода и, строку за строкой, выводил в толстой тетради очередное стихотворение.

— Хочешь, я наведу на нее порчу? — как-то раз спросила его паранормальная сожительница.

— На кого? — удивился Сергеев.

— На твою бывшую жену.

— С ума сошла. Никто не заслуживает порчи.

— Правда, что ли? — усмехнулась она, насмешливо посмотрев на него, и вдруг он с ясностью осознал, чем та занималась целыми днями. На следующий день Сергеев, собрав свои вещи, ушел.

Это не было похоже на возвращение блудного сына, никто не обнимал его за плечи, но так как он вернулся в отчий дом один, его с горем пополам приняли. Брат снова проводил дни на Пряжке, в окне застыл тот же пейзаж — жизнь, провернувшись, сделала круг и установилась на начальной отметке. Все, случившееся с ним, можно было представить долгим сном, но вот он наконец открыл глаза и облегченно вздохнул — здесь, в родительской квартире, прошлое выглядело неправдой, нелепой выдумкой, которую поскорее нужно было стереть из памяти, но как это сделать? Едва ли не впервые за многие годы Сергеев пожалел, что когда-то начал писать, потому что стихи, воскрешая время, возвращали боль.

Дни потекли серой чередой, все казалось бессмысленным, бестолковым. Вокруг кипела жизнь, бурлила и пузырилась, а он видел лишь обратную ее сторону — заводь, тину, болото. То же произошло и с его стихами — казалось, они утратили жизненную силу, были мертвыми, как яичная скорлупа.

Долгое время он копил на компьютер, недоедал, обкрадывая свой желудок, и вот наконец собрал необходимую сумму. То, что он купил, годилось разве только на металлолом. Сергеев испытал одновременно два сильнейших искушения — найти и убить того, кто ему это продал, и убить себя, прыгнув с балкона. Это было сильнейшим эмоциональным потрясением, но благодаря ему он снова вернулся к жизни.

Он вспомнил, как однажды с одним своим товарищем бродил с рюкзаком за плечами по ловозерским тундрам. Посередине плоскогорья лежало озеро, оно было голубым, тогда как горы вокруг него — зелеными. У воды рос необычный лес, по крайней мере с высоты каменистых, поросших травой гор он казался диковинным. Несколько дней они шли в густом тумане, ориентируясь только по компасу, пробираясь буквально на ощупь, теряя друг друга в густом белом мареве, пока им не пришла мысль привязаться веревкой. Это было невыносимо: они словно застряли в каком-то странном измерении и теперь вынуждены были находиться в нем до тех пор, пока не произойдет что-нибудь ужасное. Так почти и случилось: в одно из хмурых утр Сергеев вышел из палатки и едва не сорвался в пропасть. Ночной ветер развеял туман, и оказалось, что вчера вечером они расположились на самом ее краю; стоило сделать еще несколько шагов — и они стали бы последними. Это было жутким открытием, но радость от спасения превосходила глубину пропасти. Тогда Сергеев понял, что жизнь познается в полной мере только рядом со смертью, в непосредственной ее близости, когда она нависает или же, как в данном случае, разверзается под тобой.

Он решил взять себя в руки и, во-первых, найти женщину, но не просто спутницу по жизни, а самую настоящую музу, для чего необходимо было пересмотреть свои взгляды на женский пол. Если раньше Сергеев, как всякий нормальный мужчина, подходил к выбору тривиально, обращая внимание прежде всего на внешность избранницы, то теперь он понял, что для истинного вдохновения нужны другие мотивы, более веские, нежели обаяние или красота. Рядом с ней, а значит и с ним, должна была витать смерть — вот к чему он пришел однажды, но не умом, а всем своим больным существом. Это решение сформировалось неосознанно, скорее всего, он и сам не понимал, почему на сайте знакомств его взгляд задерживался на анкетах женщин, имеющих инвалидную группу. Он мог это объяснить только тем, что и сам был не совсем здоров, так что вроде все выглядело логично. Но только на первый взгляд.

Его выбор остановился на хрупкой тоненькой женщине, страдающей полиартритом. Было что-то трогательное, даже щемящее в ее голосе, который он услышал в телефонной трубке, а потом, при встрече, и во всем облике. Она скорее походила на девочку, словно болезнь, коснувшись ее впервые в довольно нежном возрасте, остановила и выгнала из ее тела время, не желая делиться ни с кем. Ее звали Таней, и она жила в Астрахани, городе арбузов, рыбы, икры и жаркого лета. У нее была трехкомнатная квартира; и это, говоря откровенно, было немаловажным дополнением ко всему прочему. Можно было сразу же, с порога, начинать обживать, не трясая на ерунду.

Но Таня повела себя непредсказуемо, вернее, не так, как ожидал Сергеев. Вместо того чтобы броситься ему на шею и возблагодарить Бога за ниспосланное ей неожиданное счастье, она приняла его предложение руки и сердца с юмором. В ней оказался очень живой озорной ум, она всегда была на позитиве и смеялась так, словно никогда не знала страданий и боли.

— Ты что, действительно жениться сюда приехал? — спрашивала она Сергеева, вот-вот готовая снова рассмеяться.

— Конечно, — серьезно отвечал он, глядя в ее искрящиеся глаза.

— На мне?

— Ну да.

— Вот так сразу?

— А что?

Это было и правда смешно, смешно и грустно одновременно. И еще во всем этом была такая смесь чувств, столько эмоций — и они переполняли всех участников события и тех, кто наблюдал за ним со стороны. У Тани оказалось много друзей и просто хорошо знающих ее людей — знакомясь с Сергеевым, они настороженно смотрели на него, и он всем телом ощущал исходящую от них подозрительность и даже неприязнь. Для всех он тут был чужаком, человеком с непонятными намерениями.

— Не обращай на них внимания, — говорила ему Таня. — Они думают, что каким-то образом причастны к моей жизни, что на них висит ответственность за мою судьбу. Но это не так. Я давно уже не маленькая и сама могу принимать решения.

Это было так, но не совсем. Решение ей пришлось принять только через пять лет, и все это время Сергеев ездил к ней, живя то в Астрахани, то в Петербурге. Было сложно, порой невыносимо, хотелось все бросить, со всем порвать, но когда он, сидя у окна родительской квартиры, вспоминал, как она задорно смеется над его неловкими шутками, все снова вставало на места. Он умел ждать и терпеть, не умея больше почти ничего.

Но как бы там ни было, а все же пять лет — срок немалый, как и километраж, который он наездил за это время, мотаясь между этими городами. В конце концов его жизнь разделилась надвое: одна была в северном, другая — в южном. Устав от одиночества, он познакомился с одной женщиной, которая была без ума от его стихов. Все шло к тому, что выбор придется делать именно ему, заканчивая эти бестолковые поездки. Он уже купил и подарил обручальное кольцо будущей своей невесте, как вдруг раздался звонок из Астрахани. «Приезжай! — сказала ему Таня. — Я хочу выйти за тебя».

На следующий же день Сергеев, позабыв о невесте, сел в поезд. Он смотрел в окно на пролетающие мимо поля и думал, что наконец-то он чего-то добился. Ночью под Ярославлем ожил его мобильник. Это звонила та, которую он оставил. «Ты бросил меня, — плакала она в трубку. — Я знаю, куда ты поехал!»

Испытывая угрызения совести, Сергеев сошел в Ярославле и купил билет до Петербурга. «Я мужчина и должен держать слово», — сказал он себе, сидя на жесткой вокзальной скамье. До отправления поезда оставался час с небольшим, когда снова раздался звонок, но теперь уже из Астрахани. Переговорив с Таней, он встал, подошел к кассе и, сдав билет на Петербург, вновь купил билет до Астрахани, но только для того, чтобы через три часа, после звонка из Петербурга, опять его обменять. Это

продолжалось до тех пор, пока у него не закончились деньги. Выбор был сделан сам собой — он возвращался в Петербург.

Иногда судьба вмешивается только для того, чтобы человек, возмущившись ее самоуправством, пошел наперекор. Так получилось и здесь: уже через три дня Сергеев сидел в астраханской квартире и смотрел на Таню. Казалось, что эти пять лет, прошедшие после первого приезда сюда, не прибавили к его возрасту ни дня, словно время, остановившись в ней, остановилось и в нем, — и это стало самым главным открытием в его жизни. Но за все нужно было платить.

Если раньше Таня еще могла передвигаться самостоятельно, то теперь ей нужна была помощь. Болезнь не дремала, она знала свое дело. Музе Сергеева требовалась инвалидная коляска.

Они бы остались в Астрахани, но Сергеев физически не переносил жары, поэтому им пришлось поехать в Петербург. Таня ни разу не была в этом прекрасном городе и с волнением ожидала встречи с ним, но сначала ее ждала другая встреча — с его родителями. Конечно же, она была наслышана о них от Сергеева.

— Давай сначала покатаемся по городу! — попросила она его на вокзале.

— Может, сначала завезем вещи домой? — предложил Сергеев.

— Нет, — помотала она головой. — Не хочу в четыре стены. Покажи мне свой город.

Потом он провезет ее на этой коляске по всей Новгородской и Псковской области, они объедут половину Крыма и весь Карельский перешеек, побывают в Украине и Беларуси и еще во многих местах, но тогда, в тот самый вечер их приезда, когда он толкал коляску по набережной Фонтанки, к его сердцу впервые подкрались сомнение и страх. «Справлюсь ли я? — спрашивал он себя. — Выдержу ли эту ношу?»

7

Мы пересеклись с ним у Евгения на его дне рождения, потом вместе ехали в метро, а после сидели в каком-то сквере на скамейке и ждали прихода утра. Ночь была белой, мы попивали вино из горлышка, глядя, как синее небо. Сергеев рассказывал мне, что было после их приезда.

— Мать, конечно, сразу же потребовала у Тани паспорт. Помнишь ее привычку встречать гостей?

— Еще бы! Она не спустила вас обоих с лестницы?

— Нет. К тому времени она подала документы на постоянное проживание в Германии как жертва холокоста. Ей помогла ее сестра, которая уже там устроилась. В результате мать могла жить и тут и там, при этом получая от германского правительства нехилую пенсию. Круто, да? Но мы все равно не смогли жить в родительской квартире — отец начал пить, брат вышел из больницы совсем чумной, опять же мать, ее перепады настроения. Некоторые люди с годами делаются только сильнее, это я не про себя сейчас, а про своих родителей. Чего, например, не скажешь про мать Тани.

Он рассказал, что она умерла от атеросклероза через год после того, как они с Таней окончательно сошлись и стали жить в Петербурге. В Астрахани у нее остался брат, который кому-то задолжал приличную сумму, и родительскую квартиру пришлось продать.

— Да, — вспомнил Сергеев, — одной астраханской подруге Тани втемяшилось в голову, что я женился на ней только ради того, чтобы завладеть квартирой. И что это я убил ее мать и теперь в скором времени непременно убью и Таню. Эта сумасшедшая даже звонила из Астрахани какому-то местному депутату, чтобы проверили, жива ли еще ее подруга. К нам приходил участковый и тщательнейшим образом осматривал документы, что мою мамашу просто взбесило. Представь, она думала, что в этой квартире только она может ставить всех раком, и вот неожиданно находится тот, кто ставит раком ее. И это даже не муж.

Сергеев засмеялся, обнажая зубы, нисколько не стесняясь прорехи в верхнем ряду. Он постарел, стал грузным, волос на голове поубавилось. Глядя на него, я вдруг понял, какими мы все стали старыми и сколько нам пришлось пережить. Чему тут было радоваться, но Сергеев, кажется, и не думал грустить. Я впервые видел, как он пьет вино, пьет и почти не пьянеет.

— Знаешь, — снова заговорил он, отхлебывая из горлышка, — тех денег, что остались у нас после продажи астраханской квартиры, хватало только на хорошую комнату, но жить в коммуналке двум инвалидам — тот еще ад. Мы решили купить жилье в Ленобласти, вызвонили по объявлению квартиру в Выборгском районе, в Житково. Сидим в Выборге на остановке, ждем автобус, а рядом на скамье — старушка. Разговорились, и оказалось, она там же, в этом же поселке, квартиру свою продает. По той же цене, только двухкомнатную. Ну, мы ее, недолго думая, и купили. Первое время было трудно — у нас даже теплой одежды не было. Раз поехал я в Выборг, сел в автобус, а в нем, кроме водителя, никого. Едем по дороге, вокруг зимний лес и такой призрачный лунный свет. И вдруг мотор глохнет, и водитель говорит: «Кобздец, приехали». Что-то там с мотором у него случилось. Вышел я из автобуса, мороз градусов тридцать, тут же меня прихватил. Пока водитель возился с автобусом, я смотрел на небо, полное звезд, и думал, что вот он, мой конец. Хотел вспомнить всю свою жизнь, знаешь, как перед смертью прокручивается она в голове, и не смог — только какие-то невнятные обрывки. Ничего путного, вроде больше половины прожил, а вспомнить нечего. Даже молитвы ни одной наизусть не знаю. Разве только стихи вспомнились, да и те не свои. И вот начал я читать про себя из Анненского: «Одной звезды я повторяю имя», помнишь? И вдруг завелся мотор! И я тогда еще о Тане подумал. Если умру, то как же она одна будет жить?

— Эх, Колян, большой ты человек, — с чувством произнес я.

— Не, я маленький, — легко ответил он. — Знаешь, кто был большим? Вернее, кто им стал?

— Кто?

— Помнишь, на лито ходил такой Арсений? — Сергеев назвал его фамилию.

— Конечно, — ответил я. — Он же умер несколько лет тому назад.

— Да, а перед смертью написал цикл потрясающих по глубине стихотворений. Знаешь его историю?

— Нет. Расскажи.

Арсений был старше нас, он запомнился мне серьезным, немного замкнутым человеком с тихим голосом и солидными рассуждениями об искусстве — на нашем фоне он выглядел вполне сложившейся личностью. Он писал крепкие стихи, они были какие-то правильные и основательно выстроенные, не без красот, но и без понтов. Ощущая себя хорошим человеком, мудрым и всецело познавшим жизнь, он хотел перенести свой жизненный опыт в стихотворные строчки, и это, нужно признать, ему удавалось. Стихи были хорошие, но неотличимые от сотен других, так же мастеровито и ловко исполненных. Чего-то в них не хватало, какого-то особенного взгляда. Была высота, но не было бездны.

Арсений работал геодезистом при городском земельном комитете. Всю жизнь он составлял кадастровые планы участков, в буквальном смысле копошась в земле и не думая ни о какой карьере, кроме разве что поэтической. Но вот однажды ему предложили должность начальника, и он неожиданно согласился. Что подвигло его к такому повороту? Он ведь наверняка знал, что ему придется брать взятки, но не предполагал, что та нравственная платформа, выстраиваемая им всю жизнь, рассыплется под его ногами. И о каких стихах тогда можно будет вести речь?

Дальше мужика, что называется, понесло — он влюбился и ушел из семьи, в которой прожил больше двадцати лет. Арсений, конечно, страдал и испытывал такие муки, которые переживает только праведный человек, неожиданно познавший грех. Но он уже ничего не мог поделать, словно катился в пропасть, обдирая руки в

безуспешных попытках удержаться. А когда женщина, к которой он ушел, совсем уже неожиданно умерла, он заболел.

Рак скопил его за год, он боролся, но все было бесполезно. Сергеев видел его примерно за месяц до смерти — бледный и худой, уменьшившийся в росте, Арсений слабым голосом читал на лито последние свои стихи, и они были до того хороши, что останавливалось дыхание.

— Хотел бы я хоть когда-нибудь написать нечто подобное, — после долгой паузы продолжил Сергеев. — Хотя бы раз заглянуть в ту бездну, где рождается такое.

— А ведь эта бездна — смерть, Коля, — сказал я. — Только не придуманная, а самая что ни на есть настоящая...

Потом он уехал в свое Житково, а я, пьяный, возвращался домой и думал об Арсении, о Сергееве, о себе, обо всех нас — таких сильных и таких слабых, таких романтических и таких восторженных, опьяненных жизнью и раздавленных ею, смирившихся и не сдавших своих позиций. Я думал о сломанных крыльях Алика. Думал о Валере Сорине, у которого никогда их не было и не будет. И снова о Николае Сергееве, вцепившемся в инвалидную коляску, чтобы, не дай бог, не взлететь. И об Омаре, с детства боявшемся высоты, но все равно рвущемся в небо... Я думал обо всех своих друзьях, с которыми когда-то был так тесно связан, а сейчас даже не мог никому из них позвонить, словно они из живых людей превратились в персонажей одной большой книги, называемой Жизнью.

Подойдя к своему дому, я поднялся на второй этаж, открыл дверь ключом и вошел в квартиру. Тут было тихо — жена с детьми отдыхали на даче, куда я тоже собирался поехать. Дача была в том же направлении, где жил Сергеев, только гораздо ближе к городу — удобной гражданской жизни.

Пройдя на кухню, я открыл холодильник и достал початую бутылку водки. Плеснув в стакан, подошел к окну.

Двор был пустынен, легкий ветерок играл молодой листвой. День обещал быть отличным — ярким, звонким и ясным, как прекрасное стихотворение. Я выдохнул и одним глотком выпил.

Конечно, я помнил Арсения. И читал его последние стихи. И знал, насколько они хороши. Но также знал еще кое о чем. Когда в тот самый вечер, незадолго до смерти, он прочел их на лито, почти никто из собравшихся не оценил их по достоинству. В них была бездна, та самая, о которой говорил Сергеев, и Арсений парил над ней, а все остальные видели только падение.

И вдруг я понял, кто мы есть на самом деле.

Я достал мобильник и поднес к уху.

— Алло, — отозвался Сергеев сквозь гул набирающей ход электрички.

— Знаешь, кто ты? — сказал я.

— Кто?

— Ты ангел.

— Ангел?

— Да. Ангел без крыльев.

— Что?

— Но у тебя еще есть шанс.

— Ладно, я тебя не понимаю. Плохая связь. Позвони мне потом.

Я отключился и убрал телефон.

На душе было беспокойно.

У меня ведь тоже он был.

Этот шанс вырастить крылья.

Илья Фаликов

По касательной

* * *

Там непрокуренный воздух густой,
там меня нет и стол мой пустой,
то ли течёт под верандой река,
то ли созвездья горят с потолка.
Там — это там, где нигде и везде.
Вести приходят на птичьем хвосте.
Дышит бесстыдница, высится тис.
Мир состоит не из птиц.

Я уходил — тебя не было там.
Я возвращусь — все по местам.
Все на местах, кроме нескольких птах,
не поборовших страх.
Там поменялись, у тучи в тени,
лучшие годы на лучшие дни,
стали минутами в поллой горсти,
спелыми зёрнами горя, прости.

Транзитом

В чём-то чёрном, их много. Привет и приют
им не светят. Транзитная база —
черноморские ночи в горах отдают
антрацитом Донбасса.
Это беженцы, то есть бомжи.
Соберётся под деревом кучка,
разольётся по ёмкостям жизнь не по лжи,
золотая появится тучка,

и пролётится заря сквозь погашенный стон
на того, кто под розовым видит кустом
достоверные сны золотые.
Не журитесь, родные,
что со сказочных гор не течёт молоко,
что прикинулся пепел кустом тамариска,
что сыграла по-чёрному жизнь-бандуристка,
что до города Счастье теперь далеко,
а боярышник близко.

* * *

Но в последний момент я подумаю о тебе.
Был я драный кот, сидел на печной трубе,
а труба не дымила, или сам я был пыль и дым.
Хорошо умереть молодым.
Но за пазухой есть последний момент.
От всего артефакта остаётся один фрагмент.
Это сахар просыпан, а ты полагала — соль.
Роль была коротка, но была, а себя не жаль.

ЮБК¹

...как драгоценным винам...

М.Ц.

Павлония усыпала дорогу.
Розарий вдоль елового ствола
бежит наверх, ссыхаясь понемногу.
Бесстыдница ещё не расцвела.
Квартет скрипачек, уличных рабочих,
долбит своё. Определённо стар
состав скворчих, до моцартов охочих, —
не обновляется репертуар.

Оттрепетав на ласточках и струнах,
на удалённый падают паром
персты заката, тоже не из юных,
и делаются звёздным серебром, —
завален берег музыкой старинной,
и, полночный выдыхая зной,
ты старый спор затеяла с Мариной
о том, кто больше властен надо мной.

¹ Южный берег Крыма.

Старый поэт

Толстый барин, в заспанном халате,
топал через улицу в кабак,
бормотал Горация некстати,
грохался на стул среди гуляк.
Говорили: Александр Петрович!
Свет ты наш! Что делаешь ты тут?
Ты же не одно из нас, чудовищ,
ты — статуя, выпренный статут.
Водку с перцем подают на завтрак,
это круче москворецких волн.
Скушно в императорских театрах,
если Сумароков вышел вон.
Подымите, братцы, отведите
в сад, где Фроська белая стоит
у пруда, подобна Афродите.
Как тебе не стыдно, говорит.

* * *

Серебряная рябь и лебедь белый —
пруд ослепит и станет жизнью целой,
твоей или чужой, уже неважно,
и шелестит растительность бумажно,
поскольку рядом, совестно бессонна,
шумит скоропечатня Левенсона.

А девочки рождаются на Трёхпрудном,
на серебре и камне изумрудном.
Листва трепещет в двух шагах от дома
страницами вечернего альбома.
Ещё растут, не достигнув притина,
Цветаевы, особенно Марина.

Цветаевы, особенно Марина.
Ни Праги, ни Парижа, ни Берлина.
Существенная выдана бумага
от Аюдага или Карадага.
А женская гимназия под майским
сеmineбесным кедром гималайским?

* * *

Окна дома запечатаны
камнем, старым, как и дом,
и руками не захватаны
звёзды в воздухе пустом.
Мирозданье перекошено
без вопроса почему —
почему оно заброшено
и не нужно никому.

* * *

Между кладбищем и маяком,
то есть рядом,
стрекозиный пролёт с ветерком
в одиночку и стадом.
Очень много стрекоз.
Получается, в самом начале
было больше невидимых слёз,
чем их черти потом накачали,
и не все ещё наперекос
покатило с крутого откоса.
Очень много стрекоз?
Нет вопроса.
Сосунки целовались взасос
неумело.
Очень много стрекоз
безглагольно запело.

Были крылышки, стали крыла
у кого-то,
и ударили колокола,
закипела работа,
строчкогоны всерьёз
вдохновились, уселись за дело —
очень много стрекоз
безголоса запело.
Получается жить ни в глазу
бедновато-опрятно.
На асфальт уложил стрекозу
воробей, вероятно.
Происходит знакомый процесс —
поединок и стычка.
Побеждает в лазури небес
хищноватая птичка.

Утром по Москве

Мимо Шолома Алейхема
возле Александра Блока
у Большого Вознесения,
где запнулись мы, Алёха,
опосля Константинополя,
Карфагена и Неаполя, —
мы куда с тобой дотопали,
доканали и доплакали?

Это жизнь...

Это жизнь по касательной
за касаткой вослед.
В павильоне спасателей
несмолкающий свет.
Лампа люминесцентная
или просто луна,
абсолютно бесценная —
ей полушка цена.
Это снасть рыболовная
и бесшумный баркас,
и удача условная
в чёрный час про запас.

Убери меня с улицы,
ветерок низовой, —
хватит на море плялиться
и болеть головой.
До предела нахапано
беспредельных щедрот,
и лекарства накапано,
и тоска не берёт.
Это все устаканится,
и наматы бока,
ничего не останется
от большого хапка.

Дмитрий Стахов

СВЕТ НОЧИ

Роман

1.

В приемной Раечка повязывала шарфик: лето было дождливым, холодным, туманным, Раечка поет в хоре, на концерте которого я как-то был, ждал чего-то лирического, оптимистического, скажем — об обретении усталыми людьми светлой жизни, — но хор два часа распевал псалмы на латыни, и мне удалось хорошо поспать. Раечкин нынешний муж еле-еле достает ей до плеча, у него огромный живот — наши сплетницы говорят, что Раечка завязывает ему шнурки, — короткие сильные руки, и он пишет для Раечки диссертацию.

Раечка поставила ногу на стул, подтянула чулок, поправила резинку: полные икры, тонкие щиколотки, кожа над резинкой ослепительно бела. Подтянув второй чулок и опустив подол юбки, Раечка посмотрела на свое отражение в зеркале, промокнула салфеткой ярко накрашенные губы, и наши взгляды встретились.

— Ты неотразима, — сказал я.

— У меня вся тела такая, Антон Романович. — Раечка выставила вперед левое плечо и притопнула.

— Где все?

— Прорыв плотины: смыло несколько деревень. Взрыв на полигоне: в областном центре ходят в противогазах. Обрушение крыши торгового центра: мелочи, собственно, каких-то полсотни погибших. — Раечка застегнула верхнюю пуговицу на плаще, провела руками по бедрам. — Вы оттуда, где нет Интернета и телевизора? Где это благословенное место?

— Почему?

— Что — «почему»?

— Почему в областном центре все ходят в противогазах?

— Потому что на полигоне уничтожали химическое оружие. Его привезли из какой-то страны, не помню название. То ли на «С», то ли на «Л».

— Ирак?

— Может быть. Знаете, есть собачьи противогазы, но не для всех пород, скажем,

Дмитрий Стахов — постоянный автор «Дружбы народов». Имеет диплом психолога. Как прозаик публиковался не только в России; романы, рассказы и эссе также печатались в издательствах «Галлимар», «Акте-Сюд», «Сигнатур», «Рэндом хаус» и др. «Свет ночи» его девятый роман. Живет в Москве.

для французских бульдогов нет, а для немецких овчарок есть, и они подходят для дворняжек, но вот для котиков противогазов, как и для бульдогов, не предусмотрели. Котиков — жалко. А где ваши очки?

— Для дали уже не ношу.

— Для чего?

— Чтобы смотреть вдаль, Раечка, мне очки уже не нужны. Возраст. Годы берут свое.

— А вблизи?

— А вблизи все давно кажется одинаковым.

Раечка подхватывает сумку, толкая перед собой волну телесного аромата, утыкается в меня высокой грудью, говорит мне на ухо: «Все вы, мужчины, кокетки!»

Она выходит в коридор, я смотрю ей вслед и слышу голос нашего начальника.

— Ну-ну, хватит! Заходи!

Я так и думал: наш начальник стоял между двумя, внешней и внутренней, дверьми кабинета. Закатанные рукава рубашки. Подтяжки. Ослабленный узел галстука. стакан с виски.

2.

...Мы сидим друг напротив друга за столом для совещаний, отражаясь в его полированной столешнице. Наш начальник не ставит стакан на стол. На рабочем столе только тонкая папка с бумагами. В ней что-то очень важное. Наш начальник стремится к чистым, гладким поверхностям. Его телефоны упрятаны в ящик стола. Если надо позвонить, он его выдвигает. Если надо что-то написать, он выдвигает другой, тот, где лежат блокнот и ручка. В еще одном — ноутбук. Тамковская обозначает это как проявление возвращения вытесненного. Такие ритуалы — в интерпретации Тамковской — позволяют нашему начальнику не пропускать в сознание запретные мысли. Тамковскую волнует, что это за мысли. Меня же — как созданная нашим начальником система работает и каковы результаты ее работы? В этом главные наши противоречия с Тамковской. Помимо прочих. Ее интересует «что?», меня — «как?»

— Как ты себя чувствуешь? — спросил наш начальник.

— Отлично! Я всегда себя чувствую отлично.

Он усмехнулся и отпил из стакана. Причмокнул. Он любит виски со слегка гниловатым привкусом торфа. И презирает меня за то, что я люблю что-то попроще.

— Ты какой-то одутловатый. Дышишь в сторону. Пил?

Мне удобно держаться однажды выбранной легенды: я пьяница, которому стать алкоголиком не дает редкое генетическое заболевание — алкоголь не может включиться в метаболизм клеток, так как его не пропускают мембраны моих митохондрий. Это — очевидная чушь, но когда-то мне удалось правдоподобно ее изложить — психологи, как и все мистики, трепещут перед естественными науками, — и коллеги в нее поверили. Как еще раньше поверили в то, что я человек ранимый и могу сорваться из-за совершеннейших мелочей.

— Что тебя расстроило на этот раз?

— С чего ты взял?

— В среду ты сказался больным, просил два отгула, в четверг и пятницу, в понедельник мы не могли тебя найти целый день, сегодня, во вторник, искали с самого утра. Я подумал — ты решил расслабиться. Кстати, — он сделал еще один, шумный глоток — почему себе не налил? Не желаешь? Предпочитаешь, чтобы я поухаживал?

— Нет... А вообще — давай!

Ранимый должен всегда колебаться. Быть эгоистичным, чуть нагловатым, а нерешительность выставить в качестве защитного механизма. Для того чтобы

избежать болезненных уколов, ему следует осматривать каждую возможность по многу раз. Научиться этому просто. Надо только захотеть.

Он наливает на два пальца, у него пальцы тонкие, нежные, он в жизни ничего тяжелее авторучки в руках не держал.

Я делаю маленький глоток, ставлю стакан на стол. Невротический страх можно уподобить короткому одеялу: как ни укрывайся, какая-то часть тела — наружу. Наш начальник всегда укрыт коротким одеялом. Он толкает папку ко мне.

— Тут вот такое дело, — он привстал, протянул руку, взял папку с рабочего стола. Опыт подсказывает: чем тоньше папка, тем серьезнее ее содержимое и тем тяжелее придется. Я не спешу открывать папку. Чувствую: в этой нечто совершенно особенное. Так и оказывается.

В папке всего несколько листов. По диагонали проглядываю первый, смотрю на второй, возвращаюсь к первому. Потом прочитываю второй, заглядываю в третий. Можно листать и дальше, но уже понятно, что за долгие годы работы в Управлении экстренной психологической помощи при чрезвычайных ситуациях я ни с чем подобным не сталкивался: такого, чтобы жители небольшого старинного городка поверили во встающего из могилы покойника, в то, что он расхаживает по улицам, такого я еще не встречал, но ощущал, что все к этому идет. Это должно было произойти! Мне непросто скрыть тяжелый, на грани ужаса восторг. Я еще раз перелистываю несчастные листочки. От них веет угрозой.

— Ну? — спрашивает наш начальник.

— Тут в нескольких местах обозначено «Приложение». Приложение один, приложение два, три, четыре и так далее. Где приложения?

Наш начальник указывает на стоящий у ножки стола картонный ящик. Приложения — в нем. Оставив папку на столе, я наклоняюсь, снимаю с ящика крышку. Несколько скоросшивателей. Выбираю обозначенный как Приложение 1. Итак, мы имеем: небольшой городок на северо-западе, среди холмов, лесов и озер; сюда из столицы вместе с семьей, жена и двое мальчиков, один — дошкольник, второй — в четвертом классе, некоторое время назад приезжает некий господин под фамилией, так, так, фамилия длинная, и кажется, кажется, Лебе-, Лебеже-, так — Лебеженинов, художник, педагог, решивший, — с какого бодуна, что с ним случилось такое, лавровец-чайковец! — что должен именно тут, в городке, сеять разумное-доброе-вечное; Лебеженинов занимает должность директора художественной школы, а также ее единственного преподавателя по рисунку, живописи, скульптуре, графике, бла-бла-бла, и затевает — так, пропустим — через некоторое время затевает, при поддержке городской администрации, ремонт в этой самой школе, не капитальный, совсем небольшой ремонт, крышу подлатать, стены покрасить — мог бы сам, художник ведь! — и нанимает как директор бригаду, через местного коммерсанта Поворотника Семена Соломоновича, и тут на Лебеженинова обрушивается — нет, не плохо отремонтированная крыша, а небо-небеса: Лебеженинова обвиняют в вымогательстве у Поворотника суммы в размере триста семьдесят тысяч рублей, в угрозах физического насилия и — ну как без этого в наше время, как без этого! — в сексуальных домогательствах к двум ученикам, к мальчику и девочке; следует задержание, полдня, вечер и ночь Лебеженинов сидит в отделении полиции, ждет постановления суда об аресте, суд должен начать заседание утром, но к утру, часов этак в пять, у Лебеженинова возникают проблемы с сердцем, он просит принести лекарства, ему сначала отказывают, потом некий сотрудник полиции по фамилии, так, так — ага! Кунгузов! — вот, Кунгузов едет к нему домой, привозит лекарства, Лебеженинов принимает несколько таблеток, ему становится хуже, он теряет сознание, его пытаются оживить, Кунгузов делает искусственное дыхание, вызывают «скорую», везут, больница находится неподалеку, но когда Лебеженинова выгружают из «скорой», он «перестает подавать признаки жизни», а в приемном покое фиксируется смерть,

так, пропустим, пропустим, так, комиссия, прокурор, начальник ОВД, вот-вот! — черным по белому — Лебеженинова хоронят, а на следующий день после похорон он пытается купить в магазине-ларьке-киоске лимонный пирог, а потом его встречают на автовокзале, потом встречают еще раз, у киоска «Табак»...

А-а-а! Какой класс!

Интересно — продали ли ожившему покойнику пирог с лимонной начинкой? откуда у него деньги? кто-то положил в карман пиджака, в котором его хоронили? или две монетки по десять рублей на навечно закрытые глаза? но раз двадцатки теперь ни на что не хватит, продавщица сказала — потом занесете? он куда-то хотел поехать на автобусе? он купил сигареты или ему их не продали: мы не продаем табачные изделия покойникам!

Но обо всем этом, самом интересном, самом важном — ни слова, но зато бла-бла-бла — теперь в городке крайне напряженная ситуация, жители находятся в состоянии близком к психотическому, существует угроза эпидемии обсессивно-компульсивных состояний. Писавший явно заглядывал в Википедию. В городке может начаться паника. Если только безымянный автор не сгущает краски. А он, видимо, не сгущает. Он, скорее, их разбавляет. Мне же хочется сочных мазков. Я по ним так соскучился.

— Круто! — я закрыл папку. — Однако — бред! Полный бред! И то, что подключаемся мы, этот бред...

— Институционализирует? — наш начальник может правильно выговорить любое слово, у меня с этим всегда сложности. — Да, таким образом мы признаем за ним право на существование. Но не мы принимаем решения. На меня вышли напрямую. Из аппарата премьер-министра. Который, кстати, родом из этого городка. Премьер очень, очень переживает за все, что там происходит... Одним словом, тебе надо ехать. Я бы послал кого-то другого, но...

— Землетрясение. Прорыв плотины. Взрыв.

— Ты все знаешь! Да, как обычно — все вместе и сразу. Тамковскую я pošлю вместе с тобой. Еще — Извекович. Он к нам вернулся. На полставки. Да, оба они кабинетные работники, но ситуация аховая, посылать больше некого. Не Раечку же.

— Сам бы поехал...

— Тамковская — за главного, все-таки она доктор наук, но все в твоих руках. Я на тебя надеюсь. Ты ведь меня никогда не подводил. Не подводил?

— Не подводил, но там нужны медики. Психиатры. Надо обратиться в...

— У них сложная политическая обстановка. В этом городке. И в губернии в целом. Возвращают выборы губернаторов. Недавний глава администрации этого городка будет новым губернатором, а пока трудится вице-губернатором, а на его место должен прийти глава нынешний. Как-то так.

— Подожди, ты сказал — выборы. Откуда ты знаешь, что бывший глава станет новым губернатором, а нынешний придет на его место?

— Я тебя умоляю! Уже принято решение, но покойник с лимонным пирогом портит картину. Ты должен спрямить углы. Успокоить. Кого-нибудь найдете на месте. Сейчас дипломы психолога раздают всем, кому ни лень, но встречаются и толковые молодые специалисты. Посмотри среди выпускников педучилищ. Может кого-то из вояк привлечешь, там на аэродроме какой-то майор занимается предполетным тестированием. Иди готовься, завтра утром за тобой заедут. В половине восьмого утра. Извекович согласился ехать на своей машине. Пришлось выписать деньги на бензин. Ты представляешь? Как измелывали люди! Деньги на бензин! Так что езжай домой, наберись сил, и не пей, пожалуйста... Твои на даче?

Моя жена давно гостила у младшей дочери в Австралии и как-то не собиралась возвращаться, старшая со своим безнадежно женатым банкиром сидела на Кипре, сына от первого брака я не видел и не слышал много лет.

— На даче. Нет-нет, подожди! Ты отправляешь нас троих...

— Да-да, у тебя же за Тучково. Семьдесят километров. Я помню... Там, в городке, и психиатр один имеется, семьдесят четыре года, глух на одно ухо. Он, правда, лицо в некоторой степени заинтересованное, покойник его зятек, но зато большой клинический опыт. Ну, и этот, как его, майор. Ящик с папками заberi. Дома просмотришь. Еще виски?

— Нет, спасибо! Послушай, так нельзя...

— При необходимости скайп. Лучше или утром, или поздно вечером. Письма я смотрю весь день. Звонить не надо, просить помощи тоже не надо, помощи все равно не будет, прислать некого. Некого!

— Ты издеваешься? Ты хочешь выставить меня на посмешище? Плесни еще, давай что-то придумаем...

— У меня сейчас селекторное совещание. На вчерашнем я сказал, что мои специалисты по покойнику уже работают. Покойник на контроле в аппарате правительства. Будь здоров!

Наш начальник протянул мне руку. Рукопожатие крепкое.

Наш начальник расправляет рукава рубашки, подтягивает узел галстука, снимает со спинки стула пиджак.

— Что-то еще?

И мой главный аргумент против отъезда в командировку остался невысказанным: за время отгулов мне удалили кое-что лишнее, но врачу, в целом довольному результатами операции, сделанные экспресс-пробы ткани внушили определенные опасения, и до того, как я смылся из больницы, он отправил ткань на глубокий, комплексный анализ. Завтра, в одиннадцать утра, мне надо с ним увидеться.

Наш начальник надевает пиджак. Я смотрю на стакан с недопитым виски. Оживший покойник суть квинтэссенция, вытяжка времен, пространств и стихий. Он намного интересней результатов анализов. Но времена, пространства и стихии чужие, а анализы мои.

Я вздохнул и влил в себя остатки виски.

3.

...Дома я закидываюсь двойной дозой анальгетика, протираю салфеткой шов, закусываю куском подсохшей пиццы полстакана водки, высасываю банку пива, ложусь. Вспоминаю, что не почистил зубы. Встаю, чищу их долго и тщательно. Пена розовеет. Это — новый симптом. Водой из-под крана запиваю таблетку мощного снотворного, вокруг кровати я расставил сразу несколько будильников. Мне снится банальный сон про то, как мне снится сон, в котором я сплю и не могу проснуться. Когда я вываливаюсь из сна, подушка насквозь мокрая. Перед глазами — синие круги, хочется пить, но я вновь засыпаю и вижу яркий солнечный день, уходящее к горизонту поле, у горизонта — темный лес. Нужно до него добраться, но кто-то держит меня за воротник, перехватывает дыхание, держащий невидим, когда я отмахиваюсь, он чуть меня отпускает, стоит мне попытаться сделать хотя бы шаг, дергает назад. Я просыпаюсь. Горло болит. Смотрю на светящиеся стрелки ближайшего будильника. Скоро утро. Я иду в ванную, открываю воду, наклоняюсь, вода льется мне на спину. Сняв с вешалки полотенце, вытираюсь и смотрю в зеркало: у меня на горле свежий рубец. Рубец саднит. Я брызгаю на него одеколоном, кожу щиплет. Я выхожу на кухню. Варю кофе. Действие снотворного еще не закончилось, вокруг словно туман. Сажусь и открываю папку. Из нее выпадает справка на ожившего покойника. В справке полужирным и курсивом выделено, эти слова еще и подчеркнуты красным, что в отношении Лебеженинова собирались завести уголовное дело — якобы он толкал омовца на каком-то митинге, — ограничились делом об административном

правонарушении, другие задержанные вместе с Лебежениновым до сих пор под следствием, некоторые арестованы до суда, кого-то уже осудили. Я вздыхаю. Туман становится гуще. Кофе кажется горьким. Я засыпаю, сидя за кухонным столом, уронив голову на руки, когда будильники начинают трезвонить, я не могу понять, что происходит, потом встаю, выключаю будильники, отключаю будильник на своем телефоне, отправляюсь в душ. Собранный рабочая сумка стоит в прихожей. Рядом — командировочный чемодан на колесиках и ящик с папками. После душа я выкуриваю сигарету, одеваюсь, выхожу из квартиры. У лифта чувствую, что прокладка лежит косо, что вот-вот соскочит в левую штанину. Я возвращаюсь в квартиру, в темноте прихожей поправляю прокладку, спустившись вниз, вижу машину Извековича. Тамковская сидит на переднем сиденье. Я закидываю чемодан в багажник, сажусь на заднее сиденье, кладу сумку рядом с собой.

— Привет! — сказал я.

Тамковская кивнула.

— Привет! — ответил Извекович. — Можно ехать?

— Трогайте, шеф!..

4.

...Настроение — отвратительное. Тревога и страх оплели меня. Мы едем через город, стоим в утренних пробках, с трудом выбираемся на шоссе, а я думаю, что надо было остаться должным и врачу, и клинике, где меня оперировали, но я оплатил все счета и сунул врачу литровую бутылку «курвуазье». У него наверняка где-то стоит ящик с надаренными напитками. На пенсии откроет небольшой магазин — не все же копаться в чужих задницах! — и избавится от всеохватного цинизма: по моему опыту, его уровень зависит от высоты расположения органа специализации — я никогда не встречал циничного офтальмолога.

Старый темно-бежевый «мерседес» Извековича в идеальном состоянии. Большое рулевое колесо. Извекович плавно закладывает повороты, неторопливо перебирает руль тонкими сильными руками в автомобильных перчатках. Пахнет кожей, гелем после бритья, духами Тамковской. «Мерседес» Извековичу привезли из Австрии. Он купил его на интернет-аукционе. За большие деньги. Извекович любит Австрию и все австрийское. Извекович — бывший шпион, после выхода в отставку он был одним из создателей нашего управления, потом его вернули на службу, какое-то время он жил где-то за границей, потом читал лекции начинающим шпионам. Когда-то Извекович посещал лакановские семинары, наверняка — по заданию «центра» влип в какой-то скандал, был вынужден бросить университет, пошел служить в Иностранный легион, содержал бар в Бангкоке, вернулся во Францию, но провалился в Австрии, где до провала ездил на «мерседесе» той же модели, того же года выпуска, на котором мы едем сейчас. «Мы любим то, что напоминает нам о наших поражениях» — одно из его любимых изречений. Утверждает, будто лично слышал это от самого Лакана. В середине семидесятых. Извекович выглядит очень молодо, но сколько ему лет — конспиративная тайна. Своей богатой на события жизнью Извекович помогает окружающим, он напитывает их эмоциями, утоляет их голод. Его реальное, смыкаясь с воображаемым других, становится символическим. Извековича должны были взять в Линце, но он успел сесть на поезд, который умчал его в Венгрию, где тогда еще правил дядюшка Янош. Для Тамковской Извекович включает музыку. Он предлагает ей выбрать. Выбор — это насилие. Говорил ли это сам Лакан или кто-то другой, сути не меняет. Тамковская выбирает классику. Эта истеричка мечтает о повелителе, которым она могла бы помыкать. Помыкать Извековичем у нее не выйдет.

Сквозь дождь, мимо болот и темных лесов мы едем под квартеты Бетховена. Сворачиваем с федеральной трассы и едем по узкой, петляющей между холмами

дороге. За березками и елями темнеют зеркальца озер. Низко висят облака. Навстречу, по обочине, идут неприбранные, расхристанные грибники. Тамковская и Извекович обсуждают работу, которой нам предстоит заняться. Извекович говорит о коллективном бессознательном, о том, что наши архетипы не допускают возможности того, что покойники встают из могил и покупают колбасу. Это нечто нам чуждое, наносное. Это чужие архетипы.

Я помалкиваю, вопрос о подлинном и наносном — один из самых скользких, хотя и хочется сказать, что архетипы не могут быть ни чужими, ни своими, только позволяю себе вставить — мол, покойник покупал не колбасу, а пирог с лимонной начинкой. Тамковская раскрывает лежащую у нее на коленях папку и говорит, что именно колбасу, а не пирог, что покойник даже устроил скандал из-за того, что у колбасы был просрочен срок годности. У меня нет никакого желания спорить, и я говорю, что колбаса, пирог, сыр или замороженные котлеты «Богатырские» — не суть важно, главное, мы имеем дело со вспышкой галлюцинаторного бреда, который свойствен шизофрении, что такой случай, соединяющий зрительные, слуховые, тактильные галлюцинации, уникален, а его эпидемиологическое распространение уникально вдвойне.

— И бред этот распространился из-за того, что тот первый человек, который якобы увидел расхаживающего по улицам покойника, был значим для прочих заразившихся, — кивает Извекович. — То есть продуцент бреда — не оживший покойник, которого, конечно же, не существует, а тот, кто его первым якобы увидел. Обладая высоким социальным статусом...

Извекович любит объяснять очевидное.

— Однако истоки бреда и даже личность продуцента для нас вопрос второстепенный, — говорю я.

— Вот как? — Тамковская сегодня удивительно агрессивна. — Мне всегда казалось, что, найдя истоки, можно представить себе и русло, по которому все потечет.

— Это далеко не так...

— Да что вы говорите!

— Именно! Ведь тогда нам придется заняться интерпретациями. И даже если мы сможем выделить продуцента, нам придется выслушать его интерпретацию происходившего, на которую тем или иным образом, но с необходимостью будет наложена интерпретация наша собственная. И мы исказим изначальную реальность. Весь спектр ее, от той, что существовала фактически, до той, которая имела у продуцента как результат его...

— Как интересно! — в голосе Тамковской плещется ирония. — Ну и как же нам получить неискаженную реальность?

— Нам не нужна реальность, — я встречаюсь в зеркале со взглядом Извековича: он вообще смотрит на дорогу? так недалеко и до беды! — Нам нужно понять механизм воспроизводства бреда. У продуцентов, а их, несомненно, несколько, он, скорее всего, одинаков. Затем вычленим способ его передачи от человека к человеку. И комплексно разрушить и то, и другое.

— Это что-то новенькое! — фыркает Тамковская.

— Ольга Эдуардовна, сейчас дело не в наших теоретических разногласиях. Главное — зачем этот Лебеженинов восстал из мертвых? Говорил ли он с теми, кто первый его увидел? Что они думают? Эти, пока скрытые, пружины бреда помогут понять — как был запущен весь механизм.

— Вы что, — Тамковская так резко поворачивается ко мне, что ремень безопасности врежется ей в шею, — вы хотите сказать — мы должны отнестись к бреду не как к бреду, а как к яви? Ну, знаете, Антон Романович!

Я, глядя в мутное окно, размышляю о том, что вполне может быть и так, что прочие действительно заразились, но тот первый или первые, продуцент или продуценты,

не бредил, что его собственный или их общий бред не был бредом, что покойник в самом деле ходил по улице, хотел купить пирог, колбасу, котлеты. И мне приходит в голову, что сам покойник запустил машину бреда. И нам надо найти не какого-то продюсента, жителя городка с высоким социальным статусом, а разрушить бред самого ожившего покойника. Да! Такой крутизны мы еще не достигали. Это высшая точка. Апофеоз. Апогей. Зенит...

...И тут я ощутил легкое дуновение, словно кто-то наклонился и подул мне в лицо. Причем — с нарастающей силой. Поток воздуха становился все холоднее и холоднее. Глаза начали слезиться. Я вздохнул полной грудью. Воздух был наполнен каким-то горьким ароматом. Пожухлые цветы, сухая плесень, нотки цитрусовых, немного табака, мелкая пыль, окалина.

— Закройте, пожалуйста, окно! — громко попросил я.

— Оно закрыто, — ответил Извекович, они с Тамковской обменялись взглядом, Тамковская пожала плечами, мимо нас пролетела серебристая машина со знаком «такси» на крыше, и я посмотрел на часы, попросил остановиться.

Черпнув ботинком воды в кювете, по мокрой траве иду в кусты. Прокладка вся в крови. Смотрю на часы и достаю телефон. Врач начинает выговаривать за то, что я уехал, говорит, что если у меня такое наплевательское отношение к собственному здоровью, то ему очень жаль. Я вздыхаю. Он говорит, что мне необходим постельный режим. Я отвечаю, что был вызван на работу, что выполняю важное, очень важное поручение, что моя работа... Врач перебивает, говорит, что я, в конце концов, взрослый человек. С этим нельзя не согласиться. Вокруг меня — мятые пластиковые бутылки, обрывки бумаги, кучки полуразложившегося дерьма, надо мной — блекло-голубое небо, верхушки тонких берез, с одной на другую перелетает маленькая птичка с розовой грудкой. Врач говорит, что результаты повторных анализов еще не готовы, а вот взятые сразу после операции пробы плохие. Плохие — в каком смысле? Во всех, Антон Романович, во всех. Но вы же говорили, что они внушают вам опасения, и не говорили, что они плохие. Вы говорили об опасениях. Опасность не означает, что... А сейчас говорю, что ваши пробы — плохие! И — опасные. Понимаете? Да... Позвоните мне через два дня. И поскорей возвращайтесь. Договорились? Договорились. Вам нужен постельный режим. Понимаете? Понимаю...

...Я пошел к шоссе, внимательно глядя под ноги. Через два дня. Значит — в пятницу. Нет, пятница будет через день. Значит — в субботу. В субботу утром мой врач обычно долго спит, значит — где-то около часа. Главное — не забыть. Не забыть.

Извекович стоял возле открытой правой передней двери, Тамковская сидела положив ногу на ногу. У нее красивые ноги. И красивое тело. Ноги длинные, тело короткое. Модельные пропорции. Высокая шея. Тамковская сказала что-то смешное — Извекович рассмеялся, повернулся и посмотрел на меня.

— Звонил наш начальник, — говорит Тамковская, когда я сажусь в машину и мы отъезжаем. — Спрашивал — ознакомили вы нас с содержимым папок, которые забрали из его кабинета.

— И что вы ответили?

— Что еще нет, но ознакомите обязательно.

— Первая часть вашего ответа верная, вторая — нет.

— То есть?

— Ящик с папками остался на лестничной площадке, возле лифта. Я вышел из квартиры, потом мне понадобилось вернуться, а когда я вновь вызвал лифт, то про ящик забыл.

— Вы понимаете, старина, что это бумаги для служебного пользования? — спрашивает Извекович. — Вы понимаете, что если они попадут к...

— Они попадут к нашей уборщице. Она отнесет ящик в подвал, где живет со своим

мужем, водопроводчиком, и тремя детьми. Никто из них ничего не поймет — они и говорят-то по-русски еле-еле...

— Какая легкомысленность! — Извекович даже краснеет от негодования.

— Но вот их старший очень смывленный мальчик. Он учится в седьмом классе. Ему будет интересно.

Извекович открывает было рот, но Тамковская накрывает изящной ладонью его руку, лежащую на рычаге переключения передач.

— Успокойтесь, Роберт. Антон Романович нам расскажет то, что сумел запомнить. Мы же не можем возвращаться! Антон! Вы все папки посмотрели? Тогда давайте по порядку, с первой папки. Ехать нам еще долго. Не все же нам слушать музыку, нет-нет, Роберт, мне очень нравится, сделайте чуть потише, да, вот так...

— Вы серьезно? — спрашиваю я.

— Ну да, мне всегда нравилась классическая музыка. И нам надо войти в курс дела. Того, что нам дали, недостаточно. К тому же принципиальные разночтения — у вас пирог и кока-кола, у меня и Роберта — пиво и колбаса. Из-за таких несовпадений может произойти что-нибудь трагическое. А вы... У Антона Романовича потрясающая память, — Тамковская вновь накрывает своей ладонью руку Извековича, — он, как все, запоминает все, но в отличие от нас, простых смертных, может воспроизвести запомненное.

— Более двух третей жителей городка считают, что покойник ожил на самом деле, — говорю я. — Хотя родители детей, к которым якобы покойник приставал, уверены, что он не оживал, но вот родители других детей думают, что ожил и среди них высок процент тех, кто считает, будто покойник теперь будет преследовать их детей. Общее число видевших покойника, в процентном выражении...

— Я отказываюсь слушать этот бред, — говорит Извекович. — Это полная дичь. Извините, Антон, это относится не к вам, а к тому, что вы нам транслируете.

— Роберт, успокойтесь! Антон, продолжайте!

— Спасибо, Ольга. Самая интересная категория — так называемые «заразившиеся». Это те, кто видел покойника или соприкасался с ним, например, облокачивался на прилавок киоска «Табак» после того, как на него облокачивался покойник, пытаясь купить пачку сигарет. Эти «заразившиеся»...

— Какие сигареты он собирался купить? — спрашивает Тамковская, доставая блокнот. — Что случилось, Роберт? Зачем вы сюда сворачиваете?

— Туалет. И — кафе. Надо перекусить! Хотя бы выпить чаю.

— Хорошо, — соглашается Тамковская. — Продолжим позже. Антон, запомните то место, на котором вы остановились.

Салат, солянку, тефтели с гречневой кашей, томатный сок и сто пятьдесят. Это я заказал у веселой буфетчицы-официантки. Извекович тактично заметил, что обед ждет нас по прибытии в городок, кисло улыбнулся, когда я сказал, что, как животное, ем, когда хочу, а потом — Тамковская подошла к буфету, — спросил — не много ли, сто пятьдесят, и не рано ли? — но тут мы оба услышали, как Тамковская тоже заказывает солянку и, к моему и Извековича изумлению, сто грамм, и ответил Извековичу, что в самый раз и что время — это иллюзия, самая опасная из всех, на что Извекович сказал, что я могу не стараться — он посещал лекции Пейджа об иллюзорности пространства-времени, сам писал на эту тему работу, а еще сказал, что вопрос об иллюзорности времени тесно связан с вопросом его, времени, зарождения, генезиса, его видов и разновидностей, если же серьезно, то предположение о возникновении времени и само оно, время, во всем его многообразии, отрицает вечное, внепространственное и вневременное существование творца, а если совсем серьезно — его расстраивает мое настроение, он же видит — со мной что-то не так, и я спросил: а с кем — так? Извекович хотел было что-то ответить, но вернулась из туалета Тамковская, заказавшая по пути еще два чая, — «Антон! Вы будете чай? Нет?

Два чая!» — дальнобойщики за одним из столиков даже дернулись — у Тамковской такой интеллигентный голос, кошмар просто, ужас! — и поинтересовалась — мол, о чем мальчишки шепчутся?

— Мы говорим о том, как падшая богиня хаоса Ансорет сошлась с богом мрака Тшэкином и родила близнецов... — начинает Извекович, но Тамковскую так просто не купишь: она садится, закидывает ногу на ногу, просит меня рассказать все, что я знаю про Лебеженинова, я начинаю пересказывать содержимое папки номер пять, но Тамковская замечает, что о содержимом папок мы будем говорить в дороге, а сейчас она просит рассказать о личных впечатлениях от знакомства с Лебежениновым.

— Вы его знали лично? — Извекович изумлен. — Вы общались?

— Антон Романович был консультантом в оппозиционной партии, активистом которой одно время был наш восставший из могилы господин Лебеженинов, Борис Борисович. Антон Романович проводил у них тренинги, учил их, пестовал, а их не зарегистрировали, оказалось — им негде применить навыки, полученные с помощью Антона Романовича, они отказались от его услуг, и Антон Романович потерял одну из статей дохода.

— Я работал на общественных началах... — с обидой начинаю я, но Тамковской приносят солянку, мне — все мной заказанное, чохом, наши водки слиты в один графинчик, я забываю про обиду, разливаю, мы чокаемся, пьем, я погружаю вилку в залитый майонезом салат, Тамковская зачерпывает солянки, Извекович просит буфетчицу-официантку поторопиться с чаем, но тут Тамковская откладывает ложку, вытирает губы салфеткой и говорит, что Лебеженинов был оппозиционером умеренным, всегда говорил, что с властью надо по определенным позициям сотрудничать...

— Давайте не говорить, хотя бы между собой, о нем в прошедшем времени, — предлагаю я.

— Почему? — спрашивает Извекович. — Он, вы считаете, все-таки воскрес? Восстал из мертвых? Ожил?

— Лебеженинов конечно не воскрес. Он не Лазарь и никто ему не говорил — встань и иди, к тому же — его закопали, а не положили в пещеру...

— Антона Романовича понесло, — говорит Тамковская, допивая коротким, птичьим глотком свою водку.

— Есть немного, — соглашается с нею Извекович: принесенный буфетчицей-официанткой чай светел и мутен, налив из чайника в чашку, Извекович переливает его обратно и горестно вздыхает.

Меня пробивает озноб. В придорожном кафе неуютно, дуют сквозняки, причем как-то хаотично, меняя направление. Я доедаю тефтели.

— И тем не менее вы склонны думать, что покойник ожил? — спрашивает Извекович. — Кто же он тогда? Вампир? Вурдалак? Вы в это верите или вы это знаете? Антон, пожалуйста, соберитесь!

— Я не разобрал. Я компактен и боевит. А насчет вурдалаков-вампиров — это никак не связано с нашей работой. Мы работаем в другой плоскости реальности, в другом слое. Между нашим и тем, в котором бродят ожившие покойники, есть лишь мостики, пути взаимоперехода, эти слои между собой не тождественны, наложить их друг на друга можно, но очень аккуратно, в такой момент и тот и другой становятся хрупкими...

— Антон Романович! Вас же просили собраться! — Тамковская наливает себе чаю, отставляет чашку.

— Нет, о наложении реальностей друг на друга и благоприобретенной хрупкости — неплохо, — говорит Извекович и интересуется — сколько мы еще будем прохлаждаться?

5.

Обед в придорожном кафе не проходит безнаказанным: Извекович еще не успевает открыть дверцу Тамковской, а я уже взлетаю по ступеням крыльца, получаю направление от охранника-швейцара, оказавшись в кабинке, лишь успеваю расстегнуться и плюхаюсь на сиденье унитаза. До сухости во рту, до черных точек в глазах, до дрожи хочется курить, а сигареты остались в сумке. Только зажигалка. Я откидываю ее крышку, нюхаю фитиль. Запах бензина немного успокаивает. Тут в туалет кто-то заходит. Я слышу, как стучат по полу крепкие каблуки. Вошедший толкает соседнюю дверь, там ему что-то не нравится, он проводит ногтями по двери моей кабинки, берется за ручку.

— Занято! — говорю я.

Он стоит перед закрытой дверью.

— Послушайте! Дружище! Угостите сигареткой!

Мне видны ботинки стоящего перед дверью человека. Хорошие ботинки. На левом царапина. Владелец ботинок видимо напоролся на проволоку, кончик которой прочертил нечто, похожее на маленькую комету.

— Английские?

Что ему надо? В туалете три кабинки, я сижу в ближайшей к выходу, две свободны. В этом городке и покойники встают из могил, и маньяки шарят по мужским туалетам?

— Я про ботинки. Английские? Жаль, поцарапали, но сразу видно — обувь серьезного человека. Такие ботинки служат годами. Британское качество. Britons never will be slaves! Верно, дружище?

— And was Jerusalem builded here among these dark Satanic mills... — слышу я в ответ.

Я сплю? грежу?

Стоящий по другую сторону продолжает напевать, доходит до слов «Bring me my chariot of fire!», и ботинки исчезают...

...Извекович и Тамковская у стойки администратора любезничают с блеклым молодым человеком в темно-сером костюме: это советник городской администрации Тупин П.Б. Он так и говорит, пожимая мне руку: Тупин Пэ-Бэ. Удастся выяснить, что «Пэ-Бэ» это Петр Борисович. Тупин вручает Тамковской три темно-серые, в тон костюма советника городской администрации, папки. Теперь у каждого из нас по две папки. Я думаю о том, что если свести воедино все в них содержащееся, то оживший покойник приобретет еще более своеобразные черты. С автобусным билетом, с сигаретой в углу рта, он будет шаркающей походкой двигаться по улицам городка, попеременно попивая пиво, кока-колу, поедая колбасу и пироги. Тамковская отдает одну папку Извековичу, другую передает мне, открывает свою и быстро пролистывает ее содержимое. На пальцах Тамковской много колец. Кольца шуршат. Тупин сообщает, что нас ждут в администрации к половине восьмого, а потом к нам, несмотря на вечернюю пору, придут нуждающиеся в помощи. Извекович спрашивает — многих ли таких? Каких таких, переспрашивает Тупин, и Извекович поясняет — нуждающихся. Тупин улыбается. Он недавно отбелил зубы, они матово блестят. Его глаза сидят глубоко, длинные ресницы отбрасывают тени на пухлые щеки. Он воплощенная хитрость и лукавство. Тупин говорит, что для них такие явления не характерны.

— У нас умер так умер, — сказал Тупин. — Это все разные поляки да румыны. От них все это. Никак не могут успокоиться ни они сами, ни их покойники.

Перед тем как уйти, Тупин говорит, что в ресторане гостиницы нас будут обслуживать в любое время за счет городской администрации.

— И алкоголь? — Тамковская улыбается мне, а я думаю, что ей надо бы подумать

о пластической операции: морщинки ей явно вредят. Ноги и фигура — ладно, но морщинки...

— И алкоголь... — Тупин идет к выходу из холла гостиницы. Я ожидаю, пока Извекович с Тамковской начинают подниматься по лестнице, догоняю Тупина.

— Петр Борисович, — я взял его за локоть, — простите, я хотел поблагодарить вас за огромный труд. Ведь это вы собрали те материалы, что прислали нам в управление?

— Можно просто — Петр, — свое имя Тупин произносит с важностью. — Это заслуга моей команды. Мы старались быть беспристрастными. У нас уже есть кое-что новенькое. Я пришлю к вам в номер.

— Вы мне пришлите ссылку. Что бумагу тратить!

— Ни того, что читали вы, ни того, что я вам пришлю, в сети нет. Мы набирали сами, с бумажных экземпляров, или сканировали, работали на компьютере, не подключенном к сети. Мы соблюдаем информационную безопасность. Все это может повлиять...

— Понимаю. Присылайте. Но мне кажется, что для успешной работы было бы полезным встретиться с женой, то есть с вдовой этого...

— ...ожившего покойника, — заканчивает Тупин мою фразу. — Думаю, это можно устроить.

— Нет, Петр, нет. Устраивать ничего не надо. Мне нужен ее телефон. И я бы не хотел...

— Понимаю, — Тупин важно кивает, достает телефон. — Набирайте — восемь, девятьсот...

...Кровать в алькове, прикроватные тумбочки, вазочки со свежими полевыми цветами, покрывало из искусственного плотного красного шелка, новый журнальный столик, о столешницу которого уже гасили сигареты, кресла, буфет с посудой, платяной шкаф. Напротив номер Извековича, рядом номер Тамковской.

Я принял душ, сбросил покрывало на навощенный паркет, лег на большую мягкую кровать, открыл темно-серую папку. Покупал оживший покойник не лимонный пирог и не колбасу, а — ну конечно, конечно же! — пиво, выйдя из магазина-киоска-ларька и открыв бутылку, начал пить, но его спугнули трое местных молодых людей, у всех троих фамилии начинаются на «б»: Бадовская, Боханов и Бузгалин. Они были первыми, кто видел покойника. Никто из них на роль продюцента бреда вроде бы не годится. Социальный статус у всех троих невысокий. Бузгалин год назад, до того, как уехал в областной центр учиться в колледже кулинарных искусств, посещал художественную школу, где преподавал покойный. У Бузгалина мог быть некий мотив, думаю я. Скажем — видел себя художником, а Лебеженинов не разглядел в нем таланта, раскритиковал его работы. Мсть несостоявшегося Ван Гога. Объявить своего педагога оборотнем. Это — красиво. Гитлер отомстил венской академии еще круче. Лиза Бадовская приехала на каникулы, учиться в институте, в Столице, так и написано, — в Столице, с большой буквы, будущий почти коллега, социолог, как и Бузгалин, училась у Лебеженинова, была его любимой ученицей, он писал ей рекомендацию в — ишь ты! — в Строгановку, ну-ну. Так, и Боханов, самый старший, ныне — стажер полиции, мечтает стать инспектором ГИБДД. Этот у Лебеженинова не учился, отслужил в армии, боксер... Недопитая покойником бутылка пива в качестве вещественного доказательства хранится в городском отделе внутренних дел. Содержимое перелито в специальную емкость, отослано на экспертизу, отпечатки же на бутылке предположительно совпадают с отпечатками Лебеженинова, снятыми со стакана, переданного для сравнения его вдовой, в настоящий момент с отпечатками работают в областной криминалистической лаборатории.

Среди бумаг в папке также справка от местного психиатра, человека явно не совсем здорового. Он употребляет словосочетание «индуцированный бред», причиной,

которая могла его вызвать, считает распыление психотропных боевых веществ с целью проверки обороноспособности наших северо-западных рубежей и устойчивости наших граждан к влиянию западной идеологии. Далее психиатр предполагает, что Госдеп Соединенных Штатов мог профинансировать, а покойный Лебеженинов мог согласиться на полевое испытание этого препарата, превращающего людей в нечувствительных к боли и эмоционально глухих монстров. Несомненно, у психиатра с зятем глубокие, серьезные отношения.

В меморандуме Тупина Пэ-Бэ мелькают слова дестабилизация, информационная война, воинствующий либерализм. В таком же ключе дана и его же справка о самом покойном. Умело маскирующийся общественный активист. Смерть Лебеженинова представлена как далеко идущая провокация с целью дискредитировать городские власти и местные правоохранительные органы. Я закрываю папку. За что? За что мне все это?!

Слышно, как скрипит дверь напротив, как открывается дверь рядом. Я встаю с кровати, запикиваю папку в рабочую сумку, выпиваю две таблетки обезболивающего и отправляюсь в бар, куда около семи спускаются Тамковская и Извекович. Глаза у них блестят. У Тамковской румянец заливал скулы, за воротом блузки угадывается след поцелуя. Тамковская заказывает белое вино, Извекович — кофе и рюмку коньяка, я допиваю третью порцию рома, когда сажусь на заднее сиденье «мерседеса», стекла сразу запотевают. Тамковская тяжело вздыхает. Я кидаю в рот кусочек мускатного ореха...

...Мы сидим за большим овальным столом. Присутствуют глава городской администрации, главврач больницы, полицейский начальник, бровастый, широкоплечий главный местный эфэсбэшник, Петя Тупин, дама с широкими скулами, пухлыми губами, Тамковская, Извекович и я. Пухлогубая заведует местным образованием, говорит, что благодаря усилиям городской администрации процент поступивших в высшие учебные заведения выпускников средних школ городка неуклонно растет, но все еще есть дефицит учителей, а школьный учитель — основа здорового общества. Глава администрации, молодой, крепкий, мордатый, с одобрением кивает ее словам, дожидается паузы — пухлогубая сглатывает накопившуюся от возбуждения слюну — и сообщает, что кабинеты нам выделены, что нуждающиеся в помощи уже выстроились в очередь. Глава благодарит нас за то, что мы смогли приехать. В вазоне на столе лилии, тяжелый аромат дурманит, пухлогубая открывает рот, но глава, привстав, накрывает ее руку своей, когда опускается на стул, она вытирает покрытый испариной лоб салфеткой, достает планшет, начинает листать какие-то страницы, у ее губ пролегают глубокие складки. Слово берет главный местный эфэсбэшник. Он обещает нам всемерную поддержку и помощь, говорит, что те, кто верит, будто оживший покойник существует на самом деле, создают угрозу государственным устоям, однако надо разделять тех, кто наивно заблуждается, и тех, кто веря в покойника, наделяют его чертами мученика, придают ему ореол и обвиняют в недоработках органы правопорядка.

Вокруг меня — полупрозрачная завеса, слова эфэсбэшника, как до него — главы городской администрации и заведующей образованием, звучат приглушенно. Главврач берет с тарелочки маленький пирожок и деликатно откусывает кусочек. Он жует медленно, скосив глаза в сторону говорящего. Теперь нам докладывает обстановку начальник полиции. Раскрываемость растет, кадры становятся лучше и профессиональнее, проценты тяжелых правонарушений снижаются. Мне хочется перегнуться через стол, через лилии, схватить главврача за тощую шею, испортить показатели.

Слово берет Тамковская. Она говорит, что перед нами стоит серьезная задача. С этим все соглашаются. Она говорит, что поставленную задачу мы успешно решим в кратчайшие сроки. Глава администрации одобрительно смотрит на Тамковскую. Тамковская говорит о том, что мы — она смотрит сначала на меня, потом на

Извековича — оснащены оригинальными методиками, прошедшими обкатку в самых экстремальных ситуациях, однако важно знать генеральную цель нашей работы, а ее должна поставить перед нами местная власть. Глава администрации, убаюканный ее предыдущими словами, начавший было перелистывать лежащие перед ним бумаги, с тревогой смотрит на Тамковскую.

— Ольга Эдуардовна имеет в виду важность выбора общей стратегии, — вступает Извекович. — Нашей задачей, как всегда, является помощь людям. Снять острые состояния. Купировать тревогу. Но важно то направление, в котором...

Голос Извековича звучит все глуше. Листок с биографической справкой на этого несчастного, ставшего ожившим покойником общественного активиста вдруг начинает дрожать, идет волнами, приподнимается и висит над поверхностью стола. Невысоко. Не больше полутора-двух сантиметров. Мне надо хотя бы прочитать вкладыши к тем лекарствам, которые я купил чохом, по списку врача. Врач что-то говорил об опасности передозировки. Мне хочется петь, я даже прокашливаюсь. Главное не голос, не слух, главное — репертуар. В памяти всплывает песня, которую пел двоюродный дядя после третьей, слова ее, казавшиеся совершенно забытыми, теперь выстраиваются в нужном порядке, остается лишь задать ритм ладонью: «У подъезда, у трамвая, сидит Дуня чумовая...», но листок плавно опускается поверх прочих, только чуть наискосок.

— Вы согласны, Антон Романович? — спрашивает глава.

— Полностью, — киваю я. — Однако должен заметить, что, судя по социальным сетям, смерть вашего Лебеженинова не привела к... — я щелкаю пальцами, — не вызвала еще такого интереса, который она должна была...

— Нашего, — говорит глава администрации.

— Что?

— Лебеженинов — он наш, Антон Романович.

Ишь ты! Наш, значит...

6.

...Тамковской с Извековичем выделили кабинеты в стоящем неподалеку от здания городской администрации флигеле. Мы с главой администрации остаемся одни. Глава вызывается проводить меня до кабинета. Городская администрация, как сообщает глава, расположена в здании бывшего дворянского собрания. Этот городок во все времена выращивал выдающихся деятелей. Великого княжества московского. Русского царства. Российской империи. Советской России. СССР. Новой России. Российской Федерации. Глава называет некоторые фамилии и имена. Как? И он тоже? — изумляюсь я, и глава многозначительно прикрывает глаза. Список впечатляет. В здании дворянского собрания располагалось управление по строительству проходящего неподалеку канала. Канал строили заключенные. В подвале, за заваренной железной дверью, была тюрьма, карцер. Расстреливали тоже там? — спрашиваю я. Глава качает головой: вокруг городка множество удобных для расстрелов мест, овраги, понимаете ли, и говорит, что на массовые захоронения натыкаются время от времени, случайно — об их местоположении узнать нет никакой возможности, запросы остаются без ответа. Ну и как канал? — спрашиваю я и узнаю, что канал получился плохоньким, зарастает, нужны вложения или — новые заключенные. Это вставляю я. Главе моя вставка не нравится.

— Давайте предположим, — меняя тему, говорит глава, — только предположим, что Лебеженинов жив. Разумеется, не воскрес, не стал ожившим мертвецом, а жив.

— Как вы себе это представляете? — спрашиваю я.

— Никак. Никак не представляю, но могу предположить, что вместо него похоронили кого-то другого или... Послушайте, сейчас не об этом. Я хочу спросить — что, по вашему мнению, Лебеженинов может предпринять?

— Почему вы меня об этом спрашиваете?
— Вы были консультантом в этой партии, как ее, неважно, вы с ним общались.
— У вас тут живут люди, общавшиеся с ним намного теснее, чем я. Например — его вдова. Спросите ее.
— Спрошу, обязательно спрошу, — глава вздыхает. — Мне важно ваше мнение.
— Я видел его несколько раз, пару раз мы пили чай с сушками, такая, знаете, у них была партийная традиция, один раз пили водку...
— Вот-вот!
— Я быстро накачался и заснул. Я обычно пью, чтобы опьянеть, опьянев, засыпаю. Становлюсь совершенным бревном. У меня такой организм.

Глава смотрит на меня недоверчиво, я не оправдываю его ожиданий, это плохое начало, и дальше мы молча идем по коридорам, поднимаемся по скрипучим лестницам, спускаемся. В одном из коридоров нам встречается человек в хорошем костюме. Это, указывает на него глава, Поворотник, Семен Соломонович, инвестор, спонсор, владелец недвижимости, член попечительских советов, хозяин птицефабрики. Поворотник оставшийся до выделенного мне кабинета путь проделывает пятясь. Я собираюсь его спросить — в самом ли деле Лебеженинов был вымогателем? — но речевой поток инвестора и спонсора неостановим:

— Начинать с себя! — говорит Поворотник. — Тут я с вами, Антон Романович, согласен. Совершенно согласен! Вы верно подметили, что случившееся у нас есть результат раскола души, раскола общества, и только начав с себя, можно найти то новое, что должно стать цементом для всех нас. Обретя это новое, можно свести к нулю непрерывное повторение смерти. Именно наши победы вершат работу Немезиды! Это так поэтично! Это так верно! Это так образно! И быть может...

Я поворачиваюсь к идущему рядом главе. Я это говорил? Когда? Но даже если я нес эту чушь, как ее услышал Поворотник? Мои слова транслировали по внутренней связи? Их слышали собравшиеся перед зданием бывшего благородного собрания горожане? Глава ободряюще улыбается. Видимо — да, говорил, видимо — транслировали.

На двери кабинета табличка с номером. Тридцать шесть. Три шестерки? Или получающаяся в сумме девятка, число тех, кто готов ко всему и ничего не боится? У двери, слева, три кресла. В одном из них — большая, крепкая молодая женщина. Она с улыбкой смотрит на меня, постукивает указательным пальцем правой руки по стеклу часов на левой — мол, где вы были, люди не дождались, все ушли. Кабинет узкий, письменный стол у самого забранного решеткой окна, напротив стола два стула, шкаф, вешалка. Когда-то здесь сидел один из руководителей строительства канала. Потерпи, — говорю я себе, — потерпи!

...Крепкая и румяная женщина входит в кабинет решительно, с грохотом двигает стул, шумно ставит на пол сумку. В сумке что-то тяжелое.

— У меня там гантеля, — поясняет женщина. — Небольшая, на полтора кило. Для усиления удара.

У нее — несмотря на то что в кабинете прохладно — над верхней губой с намечающимися усиками мелкие капельки пота. Она садится, хрустит пальцами. Пальцы длинные, руки большие, изящные. От женщины идет волна силы, энергии. Голос у нее музыкальный, он играет, заставляет волноваться. Она красива.

— Вы носите с собой гантелю, чтобы отбиваться от живых покойников?

— Покойники не бывают живыми. Вы что, поверили в эту сказку? Поверили, приехали нас спасать? Покойников не надо бояться.

— А кого?

— Бояться вообще не надо.

Женщина легко закидывает ногу на ногу. Предупреждает, что завтра у меня не будет отбоя от пришедших за консультацией, что я буду целый день выслушивать чушь и глупости, но людей с настоящими проблемами сюда, в здание городской

администрации, не заманишь, принимай тут хоть сам Перлз или Райх. Я спрашиваю — знакома ли она с работами тех, чьи фамилии упомянула?

— Читали, — отвечает она.

— А зачем пришли вы?

— Предупредить, — отвечает она. — Предупредить, а понадобится — защитить. Для вас тут все может кончиться плохо.

— Для меня лично или для всей нашей группы?

— И так и так. Тут ведь какое дело... Я встретила его на автобусной станции.

— Кого «его»?

— Лебеженинова. Живого. Совершенно живого, как мы с вами. И было это сразу после того, как его встретили те трое. Я ездила в область. Вышла из автобуса, — она поправила кофточку, повела плечами, и ее большие груди упруго колыхнулись, — и его увидела. Он стоял возле стенда с расписанием. В костюме, без галстука. Бледный такой. Вы поймите — она перешла на шепот — это все провокация. Никаких улик, подтверждающих, что Лебеженинов брал взятку, никаких доказательств того, что он приставал к детям, ничего, понимаете, ни-че-го нет!

Она шепчет жарко. Большой рот, розовые десны, налет на вертком языке.

— Лебеженинова надо было как-то опорочить. Ведь никто не верит, что он педофил. Даже наши борцы с педофилами, геями и лесбиянками. А вот в то, что Лебеженинов стал живым трупом, что он зомби, да называйте как хотите — в это все поверят.

— Вы серьезно?

— Что «серьезно»?

— Что поверят в такую... В такую...

— Именно, как вы говорите, в «такую» и поверят. К нему никто не придет в его художественную школу. Ты у кого учишься? А, у того, кого похоронили, а потом он вылез из могилы! Да ни одна мать не отдаст туда своего ребенка. Чтобы оживший покойник учил рисовать. Акварель. Темпера... Нет, на его художественной школе — крест. Жирный крест! — и она удовлетворенно откинулась на спинку стула. — И я знаю, как желавшие опорочить Лебеженинова провернули эту операцию. Знаю из надежных источников. Знаю, кто за этим стоит. И я разговаривала с Лебежениновым. Там, на автостанции. Я...

Она посмотрела на меня, покачала головой.

— Нет, рано. Вы сами разберитесь, а потом я скажу — что у вас получилось правильно, а что — нет. Идет?

Я смотрю в ее большие, выразительные глаза. В них нет ни капли безумия. Она улыбается. От нее исходит аромат здорового, крепкого тела.

— Идет? — повторила она.

— Идет, — сказал я.

Мы вместе выходим из кабинета, и женщина берет меня под руку. Вернее — притискивает к себе, ведет к выходу из здания администрации.

— Не бойтесь! — жарко шепчет она.

— С чего вы взяли, что я боюсь?

— Чувствую. Не бойтесь!

— Постараюсь. Скажите, а где кладбище, на котором хоронили...

— Инсценировали похороны.

— Хорошо, пусть так. Как до него добраться?

— Хотите посмотреть на могилу? Это можно устроить...

Сонный охранник отпирает тяжелую дверь, на высоком крыльце женщина отпускает мой локоть, чуть подталкивает вперед, сама быстро сбегает по ступеням, после чего растворяется в темноте...

7.

...Я звоню вдове, она путанно объясняет, как дойти до ее дома. Чья-то рука или чья-то неясная тень ведет меня по темным улицам, несколько раз, оказавшись на перекрестке, я останавливаюсь, но потом, каждый раз, выбираю верное направление, наконец — оказываюсь на нужной улице, возле нужного дома, вновь звоню вдове, она просит подождать, пока привяжет собаку.

Сквозь щель в заборе видно, как вдова, в белом платье, в накинутой на плечи куртке, спускается по ступеням крыльца. Из темноты сада к ней выбегает огромная собака с коротким обрубленным хвостом. Собака припадает к ногам хозяйки, отпрыгивает, припадает вновь и начинает хватать голенище резинового сапога. Вдова ловит собаку за ошейник, тянет за дом, потом появляется из темноты, открывает калитку.

Вдова похожа на тощий снопик соломы. У нее кажущиеся жесткими светлорусые волосы. Огромные серые ничего не выражающие глаза. Большой рот. Пугливая. Тревожная. Голос ровный, слова сливаются, короткие фразы неотделимы друг от друга. Тембр высокий, но иногда басит, и тогда чувственные губы чуть растягиваются в невольной улыбке. От нее исходит горький запах. Он смешивается с тяжелым ароматом стоящих на кухонном столе лилий. Лепестки цветков мясисты, пестики эротично изогнуты. Один из цветков кто-то отщипнул, оставив разлохмаченный на конце стебель, кто-то царапал — то ли ножом, то ли острым ногтем — соседние с оторванным цветки.

— Вам нравятся лилии? — спрашивает снопик.

— Меня сегодня уже ими травил. В городской администрации. У вас тут они прямо фирменный знак. На гербе вашего города нет лилий?

— На гербе медведь и три маленьких рыбки, — она выносит банку в прихожую, возвращается и говорит так, словно продолжает прерванную беседу.

— Мне нужна помощь. Нам надо уехать. Вы должны помочь. Отец болеет. Сердце. Его заставили написать заключение про Бориса. Поворотник предлагал помощь. Это уже как-то слишком. Понимаю, он хочет заглядеть. Считает себя виновным. Я отказалась. Нам нельзя оставаться. Из-за мальчиков. Я за себя не боюсь. Про Бориса говорят страшные вещи. Все это неправда. Сначала многие поверили, но теперь уже никто не верит. Бориса подставили. Он ни в чем не виноват. Он ни к кому не приставал. Он умер, заявления забрали. Вы не знали?

Я сижу на шатающейся табуретке у кухонного стола. Стол покрыт старой клеенкой, грязен, заставлен посудой, стоящая рядом плита в толстом слое жира. Я беру из тонких, с вздувшимися венами рук вдовы кружку с жидким чаем. Стенки кружки черны, ее по-настоящему никогда не мыли, только споласкивали. Не спрашивая, она кладет в кружку две больших ложки сахарного песка. Садится напротив. На ее коленях — ссадины. Она поправляет волосы — на ее тонком, с трогательными жилками горле синяки, ее душили, душили в порыве страсти.

— Я подумаю, что смогу сделать, — говорю я и втягиваю в себя сладкую, горячую воду. — Мне надо будет связаться с нашим начальником. Руководителем службы экстренной психологической помощи. У него огромные связи.

— Когда вы позвонили, вы сказали, что поможете сразу...

— Да, сказал. Я имел в виду, что могу помочь преодолеть эту ситуацию на психологическом уровне. Хотя мне и самому в ней надо разобраться. Она по-своему уникальна.

— Что тут уникального?

— Она уникальна по последствиям. Слух, будто ваш муж... э-э-э... восстал из мертвых, создает...

— Нам бы хотя бы машину, — она меня не слушает. — Родители Бориса не отвечают на мои звонки.

— У вас с ними натянутые отношения?

Ее глаза приобретают выражение. В них насмешка. Вдова выпячивает нижнюю губу.

— Мне не нужен психолог. Мне не нужна психологическая помощь. Я в это не верю.

— Не верите? В помощь?

— В психологию. Это ложь. Обман. Бессмысленность. Здесь просто живут плохие люди. Они такими были всегда. И такими умрут.

Снопик оказывается жестким, своевольным. Она смотрит на меня с чувством превосходства, так, словно обладает неким недоступным мне знанием. Так, будто видит меня насквозь, и вдруг, необъяснимым для меня образом, я начинаю ощущать себя ребенком, выслушивающим нотацию от родителя. Родитель — это Змей. Берн все слизал у Блаженного Августина, я всегда так думал. Вдова тянет из пачки сигарету, я шелкаю зажигалкой.

— Они одержимы, — она стряхивает пепел в блюдце со следами варенья. — Всем кажется, что их искушает дьявол. Стремится в них проникнуть. Поселиться. Говорят только о врагах, предателях, изменниках. Все подвержены этому бреду.

— Ну, если это заболевание, оно должно быть процессом. Иметь начало, развиваться.

— Не все, что имеет начало, будет развиваться, — она усмехается. — Вас зря сюда послали. Это не лечится. А мне не убежать. Ни денег, ни возможности. Да и некуда. Мы продали квартиру в Москве. Надо же быть такой дурой!

— А у Бориса кроме родителей еще остались родственники?

— Брат, семья брата. Они не общались.

— В бумагах, которые мне дали, Бориса характеризуют как оппозиционного активиста...

— Слушайте, вы же с ним были знакомы! Я помню вашу фамилию. Борис говорил.

— Ну, мы виделись на семинарах...

— Он — художник, художник-педагог. Хотел учить детей, заниматься делом. Ему за это отомстили. Это раньше Борис хотел перемен. Напевал: «Перемен! Перемен требуют наши сердца!» Ненавижу этот старый фальшивый фильм. Ненавижу! Он сказал: «Поедем в твой город, будем детей учить. Рисовать, лепить, давай двинем искусство в массы, и тогда, может быть, нормальные люди поймут...»

Я чувствую резкую боль. Она пронзает снизу, поднимается выше, заставляет поставить кружку на стол. Я будто бы оказываюсь на раскаленной сковороде. Лоб покрывается испариной, во рту пересыхает.

— Борис взял у Поворотника деньги, — вдова продолжает говорить. — Это было, но деньги должны были пойти на все тот же ремонт. А бюджетных было не дожидаться... Вам не интересно?

— Интересно? Это не совсем то слово... Понимаете, мне важно... Уф! У вас нет просто воды?

Она забирает кружку, выплескивает ее содержимое в забитую посудой раковину, наполняет кружку водой из-под крана. Вода пахнет сероводородом.

Вдова смотрит на меня, ожидая вопросов. И я задаю тот, после которого она должна на меня натравить собаку или просто — выгнать.

— Скажите, а ваш муж, Борис, он, после того как умер, не появлялся?

— Появлялся, — просто и буднично отвечает она.

— Простите, но вы сказали — Борис мертв, мы говорили про массовый психоз, а теперь... К вам приходил мертвец? — сердце у меня почему-то колотится так, что его удары отдают в ушах.

На губах снопика играет легкая улыбка. Ее щеки розовеют.

— Я слышала, как собака скулит от радости. Так она радуется, если только мой папа выходит из дома. Но это был Борис.

— Вы его видели? Разговаривали?

— Не видела и не разговаривала. Собака перестала скулить, и я заснула.

— И это все?

— Я проснулась. От того, что Борис меня обнимал. Он ласкал меня. Было абсолютно темно, я его не видела, но его руки, его тело... Он лег сзади, обнял, откинул — вот так — волосы, поцеловал в ложбинку под затылком, провел рукой по бедрам, положил руку между ног, а потом... — она прикуривает новую сигарету от докуренной почти до фильтра старой, на ее щеках играет румянец.

— Так-так... А синяки? Вот, следы у вас на горле...

— У нас так уже случалось. Не один раз. Он, перед тем как кончить, сдавливал мне горло. Я просила его этого не делать.

— Вам это не нравилось? Становилось страшно?

— Вовсе нет! Нравилось. Следы остаются. Их видят родители. Мальчики. Они очень смысленные. Все подмечают. Увидели эти синяки — спросили: папа вернулся?

— Вернулся? Вы им сказали, что Борис куда-то уехал?

— Они думают, что умереть — это почти то же самое, что уехать. Они еще не понимают, что такое смерть...

— Простите — а ссадины на коленях? У вас жесткий матрас?

— У меня нежная кожа.

— Так, и сколько времени это продолжалось? Ваша близость?

— Не знаю, у нас всегда это было не быстро.

— И потом?

Она внимательно смотрит на меня. В ее глазах — тоска, печаль, горе.

— Он исчез. Ушел. Пропал.

— Понятно. А собака...

— Ничего вам не понятно. Борис жив! Вы думаете — у меня была галлюцинация? Эротическое сновидение, приведшее к оргазму? Я собрала его сперму. Она в баночке с притертой крышкой, лежит в холодильнике. Хотите посмотреть?

Она подходит к холодильнику. Дверца вся в магнетиках, в записках, посередине дверцы — фотография, снопик, мужчина с маленькой бородкой, двое мальчиков, один такой же брюнет, как и мужчина, другой — блондин, как стоящая у раскрытого холодильника женщина.

— Вот! Смотрите! — говорит она.

Я поднимаюсь с табуретки, делаю пару шагов. В холодильнике несколько пакетов молока, пакет с сосисками, баночки с йогуртом, пластиковые коробки с чем-то недоеденным. На средней полке — баночка для анализов, на дне ее — что-то серое.

— Это? — спрашиваю я.

— Да, и этим я смогу доказать, что он — жив.

— Конечно, можете, конечно, но никто вам не поверит, что он был с вами близок уже после своей смерти. Что он пришел сюда после того, как его похоронили. Никто! Никто не поверит!

— Он не умер. Неизвестно, кого они там похоронили. Я не была на опознании, не была на похоронах. Хоронили в закрытом гробу. Говорят — гроб был очень легкий.

— Почему? Почему вы не пошли на похороны?

Она не отвечает. Я безуспешно пытаюсь поймать ее взгляд и говорю, что уже поздно, что ей надо отдохнуть, прошу прощения, что отнял столько времени.

— Вы заходите, — говорит снопик. — Да-да, заходите, только позвоните сначала, а то собака вам что-нибудь оторвет...

...Мы выходим на крыльцо. Вокруг тишина, слышно только, как за домом гремит цепью почуявшая чужого собака. Она не лает, не подвывает. Это очень опасная

собака. Такие не размениваются на прыжки к горлу, рвут бедра, артерии, собаки-убийцы.

Цепь протянута так, что собака может пробежать почти до забора. Это она и делает — бежит из темноты к тусклому свету далекого уличного фонаря. Мы со снопиком идем к калитке. Останавливаемся и обнаруживаем, что калитка полуоткрыта. Собака мечется, безмолвно рвется с цепи, у нее взгляд умный, сосредоточенный. От ее клыков до меня какие-то полметра.

— Я же ее закрывала, верно? — спрашивает вдова.

— Всего вам доброго, — говорю я, и она протягивает мне руку.

Я выхожу за калитку, скрытый ветвями деревьев тротуар совершенно темен, идущая между кустов к проезжей части тропинка блестит от росы. Где-то играет музыка. Непроницаемое небо. Далекий фонарь качается на ветру. Вокруг меня ни дуновения. Все это останется таким же, когда меня не станет. Я делаю шаг к тропинке и боковым зрением вижу, что по тротуару прочь от дома вдовы кто-то быстро уходит. Первое побуждение — закричать, но потом я понимаю — идущий не остановится, а мне никого в моем нынешнем состоянии не догнать...

8.

...Мне снится кто-то, идущий навстречу по краю тускло освещенной улицы. В куртке с капюшоном. Из-под капюшона блеснула оправа очков. Встреченный предлагает что-то купить, но я не могу разобрать — что именно? Переспрашиваю. Вновь не разбираю, лишь бы меня оставили в покое, соглашаюсь, но названная цена кажется мне очень высокой. «Вы не прогадаете, — слышу я ровный, бесстрастный голос, — это стоит таких денег!» «Очень дорого, — возражаю я. — И потом что я буду с этим делать?» — «То же, что и все, — он сует руку в карман, что-то достает. — Смотрите!» — и раскрывает ладонь: на ней что-то лежит, что-то маленькое и тяжелое. «Дорого! — говорю я. — У меня совсем мало наличности, банкомат только в гостинице... Нет, извините!» — «Хорошо, сколько у вас?» Я достаю бумажник, вынимаю деньги. «Посмотрите еще! Этого мало!» Я выгребаю из бумажника всю наличность, открываю отделение для мелочи. «Ладно!» — он забирает все купюры, все монеты, маленькое и тяжелое оказывается на моей ладони. Я подношу ладонь к глазам. Что это? Что? Кажется — какая-то коробочка. Как она открывается? Что в ней?

Я просыпаюсь. У меня несколько сообщений. Нашему начальнику нужен отчет. Местное начальство уже на нас настучало: мы капризны и ленивы. Я проспал, хотя давно должен сидеть в городской администрации и вести прием. За стеной плещется вода и слышны глухие удары: ванна маловата, мои коллеги бьются коленями и локтями о ее стенки. Утро, а я уже так устал! Я поворачиваюсь лицом вниз. Мне хочется увидеть продолжение сна, узнать, за что я отдал всю свою наличность, но вместо этого мне снится большое дерево, в дереве дупло, я просовываю в дупло руку, нащупываю что-то мягкое, но за спиной слышно жужжание — я вынимаю руку, на ней дикий, горьковатый мед, а на меня налетают пчелы. Я отмахиваюсь, бегу, пчелы жалят меня в промежность. Я просыпаюсь. Надо подмыться, почистить зубы, позавтракать...

...Я только успеваю натянуть брюки, а в дверь деликатно стучатся. Так может стучаться только Извекович. Я открываю дверь — точно, это он: костюм, галстук, розовый платочек в кармашке пиджака, розовая рубашка, узкое лицо, улыбка. Возраст выдают зубы. Зубам Извековича, длинным, чуть желтоватым, тесно во рту. Они с Тамковской уже позавтракали: маковая росинка застряла между верхними резцами, крохотная веточка укропа нежно обхватывает левый нижний клык. Этот клык чуть белее других зубов.

— Я вас побеспокоил? — Извекович, пройдя в дверь, оглядывается, садится в кресло.

— Нет, что вы! Я буду, с вашего разрешения, одеваться. Я еще не завтракал. Что там?

— Могли бы класть побольше мака в булочки, а зеленый салат не заливать майонезом. Мне пришлось попросить без того. Кофе средний. Сметана.

Взгляд Извековича приковывает пустая упаковка из-под прокладок. Он смотрит на нее, потом на меня, скашивает глаза в сторону закрытой двери в ванную. Прислушивается. Вновь смотрит на меня. Я беру упаковку, комкаю, кидаю в мусорное ведро. В ведре она распрямляется, из ведра вылезает. Я забиваю ее в ведро ногой. Моя нога застревает. Я сажусь на кровать, стаскиваю ведро с ноги, ставлю ведро под журнальный столик, ведро заваливается набок, упаковка вываливается на пол.

— Вы в номере курите? Не возражаете? — Извекович вытаскивает из кармана портсигар. Не иначе, как с самолично набитыми сигаретками. — Спасибо...

Я встаю, заправляю в брюки рубашку, застегиваю молнию. Мое лицо в зеркале кажется бледным, под глазами круги. Меня мучает жажда.

— Сок там есть? — спрашиваю я.

— Сок? Есть, конечно есть... Я тут подумал, что мы имеем дело с чем-то, лежащим в основе всего.

— Позвольте я отгадаю. Это...

— Это то, что начинается на «с» и на чем все держится.

— Так-так... Суп-салат-соус. Соус? Я угадал?

— Я имел в виду страх, Антон! Страх и вырастающие из него фобии... И то и другое — самое важное, и то и другое — фикция, фантазия, химера. Если и было нечто, объективно могущее стать его продуцентом, сам страх и все из него вырастающее имеет такое же отношение к реальности, какое к ней имеют наши беспомощные методики. В лучшем случае мы можем увидеть параллелизм между плоскостью, где присутствует причина, и плоскостями, где обитают страхи, фобии и комплексы. Вы следите?

— Конечно! — я сажусь в кресло напротив Извековича. От самокрутки Извековича исходит пряный аромат. Мне хочется такую же, но натошак я не курю. Это вредно. Курение может сократить мою жизнь. Я наливаю в стакан воду из кувшина и пью маленькими глотками.

— Я вас задерживаю? — Извекович ищет пепельницу, стряхивает пепел на блюдце, на котором стоял стакан.

— Ничуть, продолжайте, пожалуйста.

— Важно, как подобные проблемы живут в голове наших клиентов. Важны не их тараканы, а поступки и действия, которые они предпринимают, пытаясь страх победить. Если суметь заставить таких клиентов изменить стратегию и тактику борьбы с фобиями, изменить реакции на страх, то фобии, как функциональные расстройства, исчезают.

Я поднимаюсь из кресла.

— Пойдемте, мне надо что-то ввести в организм, — говорю я.

— Но вы со мной согласны? — Извекович гасит сигарету, двигает блюдце, задевает им что-то лежащее на столике.

— Конечно! — я надеваю пиджак. — Не далее как по дороге в этот прекраснейший городок я говорил о том же. Вы с Ольгой Эдуардовной мне оппонировали. Теперь встали на мою позицию. Что... Что вы там рассматриваете?

У Извековича в руках маленькая коробочка. Темный, тускло бликующий металл. Извекович взвешивает коробочку на ладони. Смотрит на меня.

— Что это? — спрашивает он.

— Понятия не имею. Это, кажется, было в номере. У вас такой нет?

— Нет. Я бы заметил. Из чего это сделано? Такая тяжелая. Вы открывали? Интересно — что там внутри?

— Запасные батарейки для пульта. Жвачка или шоколадная конфетка.

Презервативы. Что-нибудь от головной боли. Одним словом — сюрприз от администратора гостиницы.

— Как она открывается? — Извекович крутит коробочку и так, и этак.

— Нам сейчас не нужны презервативы, Роберт. Пойдемте, я что-нибудь съем, вы выпьете еще чашку кофе.

Извекович кладет коробочку на столик, мы выходим из номера, идем по коридору, спускаемся по лестнице, заходим в ресторан. Большой стол с большим блюдом. На блюде — остатки того, что принято называть «нарезкой». Миска с остатками салата. На краю стола баночки с йогуртом, стаканчики со сметаной. Пахнет вареными сосисками и убежавшим молоком. Я накладываю на тарелку несколько кусочков колбасы, беру хлеб, баночку йогурта. Кувшин, в котором был сок, пуст. Извекович решает за мной поухаживать. Он идет с кувшином на кухню, возвращается с соком, наливает мне большую чашку кофе, приносит сливки, сахар, садится напротив.

— Так о чем вы хотели поговорить? — спрашиваю я. — Выкладывайте, Роберт, колитесь — что вам надо?

— Вам не кажется все это странным? — задав вопрос, Извекович встает, приносит себе кофе, морщась отпивает глоток. — Здесь же собственно ничего не произошло. Ну, кто-то спяну или под воздействием какого-нибудь наркотика увидел того, кто должен мирно лежать в могиле. Ну, тот, кого якобы увидели, был человек непростой. Политика, коррупция. Но зачем здесь мы? Вчера я обсуждал это с Ольгой Эдуардовной. Она тоже не может понять. К нам вчера вечером пришла масса людей, но никто не говорил о своих личных проблемах, даже — о самом покойнике как человеке. Только о местных властях, о будущих выборах, о том, что якобы оживший покойник мешал местной власти... Знаете, — Извекович ставит чашку на блюдце, причмокивает, смотрит по сторонам, чуть наклоняется вперед, — мне кажется — мы здесь для прикрытия. Пока не знаю — чего именно, но нас прислали сюда не для оказания психологической помощи. Я заговорил о терапии фобий просто потому, что меня давно интересует эта тема. Помню, мы обсуждали еще в Париже, что в нашей голове принципы бытия и возможности познания составляют сложную сеть, у каждого свою, вне зависимости от интеллектуального уровня, и эта сеть превращается в некие предпосылки будущих действий. Не важно — верны ли они в конечном счете или ложны, но они важны для нас как возможность самоподтверждения. Понимаете?

— В общих чертах.

Я жую колбасу. Она соленая и жесткая. Вот сок прекрасен — холодный, свежий, с мякотью.

— Наши страхи — плод придаваемых событиям значений. Здесь же, — Извекович делает широкий жест, — что-то произошло со значениями. Они несут в себе страдание. Я помню... Вы слушаете?

— Да, конечно. Только меня волнует не конспирология, а то, когда и как я вернусь домой. Мне важно выполнить порученную работу, а потом...

— ...травы не расти. Я знаю, вы так часто говорите, это у вас такой камуфляж, я вас понимаю — вы не хотите, чтобы кто-то увидел ваше подлинное «я», а оно...

— Роберт, пожалуйста...

— Хорошо, хорошо... Но страх все-таки не всегда появляется как результат пережитого события или ожидания такого события в будущем. Впрочем, возможно, все гораздо проще, чем можно подумать, и гораздо сложнее, чем можно понять.

— Лакан?

Извекович не отвечает, он допивает кофе.

— У меня нехорошее предчувствие, — говорит он и ставит чашку на блюдце. — Нечто подобное я ощущал перед тем, как мне пришлось срочно ликвидировать бар в Бангкоке...

— Роберт?

— К вам пришли, — Извекович встает, поправляет галстук. — Увидимся...

...У столика стоит майор, полевая форма, «крылышки», кепи под мышкой.

— Антон Романович? — майор худ, невысок. Залысины. Высокие шнурованные ботинки вычищены до зеркального блеска. Я отодвигаю стул, поднимаюсь.

— Да, это я. А! Вы тот самый майор!

— Кламм, — говорит майор и протягивает руку. Двойное «м» он произносит глухо, в нос, но со значением. С гордостью. Кривится при словах «Вы тот самый...», еще больше — после того как я спрашиваю: «Кламм? В каком смысле?» — и отвечает: «Моя фамилия — Кламм».

— Мне звонила Анна. Сказала, что вы хотите посмотреть на могилу. Я был как раз в городе, сейчас возвращаюсь в часть. Могу вас подбросить. Это по пути. Едем?

— Анна? Какая Анна?

— Подробности по дороге. Жду вас на улице...

...У майора замызганный «уазик» с брезентовым верхом. Практически закрывая майора широкими плечами, перед ним стояла вчерашняя посетительница, проникновенно говорившая «Не бойтесь!». Ее мощная рука рубила воздух перед майорским носом. Посетительница была на голову выше майора. Собранные в толстый хвост волосы двигались в такт руке.

— Здравствуйте, Антон Романович, — она повернулась ко мне. — Как встреча с вдовой? Вам показали баночку? Как она собрала так много? Не задумывались? Сделала покойнику минет?

— Аня! — сказал майор.

— Мне пора, — Анна протянула мне руку. Тыльной стороной — вверх. Я наклонился, поцеловал. Аляповато накрашенные ногти. Обветренная кожа.

— Мы будем настаивать на эксгумации. Нас поддержит областная прокуратура. Мы добьемся своего, — Анна горячо дышит на мою лысеющую макушку. — И вы все пожалеете!

Она, решительно ставя ноги, пошла прочь. Майор вздохнул.

— Поздышев, заводи. Садитесь, Антон Романович!..

Поздышев оказывается лихим водителем и отчаянным спорщиком.

— Поздышев, давай-ка внимательнее, — говорит майор. — Знак был «школа», девочка подговорила мальчика с уроков убежать, а ты летишь как оглашенный.

— Товарищ майор, я еду шестьдесят, — отвечает Поздышев. — Сейчас каникулы, так что мальчики и девочки сейчас в кустах пивасик пьют.

— Что ты такое говоришь, Поздышев! Пивасик! Это ты в Турьинске пивасик с младых ногтей хлебал, а тут места духоподъемные, тут пивасик до достижения положенного возраста не пьют. И если б они не бегали, то знак бы убрали, а раз не убрали, то... — он замолчал, вздохнул, шумно потянул носом, повернулся ко мне.

— Как вам у нас, Роман Антонович?

— Хорошо, — ответил я. — Хороший город. Душевные люди. Все прекрасно.

— Справитесь? — майор поднял бровь.

— Это даже не обсуждается, э-э...

— Геннадий Самсонович, но можно без церемоний — Геннадий. Можете на меня рассчитывать. С командованием согласовано. Имею устный приказ.

— Вы что заканчивали, Геннадий?

— Училище летное. Я же пилот. Самый невезучий пилот в наших Вэ-Вэ-эС. Поздышев, на дорогу смотри, что zenки вылупил, чуть на бордюр не наехал.

— Ну хороша же, товарищ майор! Смотрите, какие...

— Почему невезучий? — спросил я.

— А меня сбивали шесть раз. Вы такое можете представить? Родина не воевала, ну, официально не воевала, а ее пилота шесть раз сбивали. Это же...

— Пять, товарищ майор, пять, — сказал Поздышев и я заметил, что он проехал перекресток, не остановившись и даже не притормозив перед знаком «стоп».

— Что — «пять»? — майор зевнул.

— Вас сбивали пять раз.

— Да? — майор начал загибать пальцы. — Да, пять. Почему я сказал шесть? Сам не пойму!

— Но мне говорили — вы психолог, проводите тестирование по сложным методикам. Говорили — используете Роршаха...

— Я в госпитале лежал, после второго, нет, после третьего раза, меня там записали в группу, сидели кружком, обсуждали — как кто с женой там или девушкой ладит. Я что-то такое сказал, даже не помню сейчас, и меня после группы ее ведущий остановил, говорит — можно пойти на курсы, специальные курсы ускоренной психологии. Я два года ходил на курсы. За это время меня раз сбили. А потом, после окончания курсов, еще раз...

— Я все-таки не пойму — вы говорите «сбивали», а где вас сбивали?

— Антон Романович! Ну как же! Первый раз в первую чеченскую, второй раз — в Африке, меня туда направили натаскать местных летчиков, полетели на поршневом, я за штурвалом, вместо еще одного члена экипажа было аж трое, как они на одном кресле уместились, а в нас с земли — хуяк!

— Вы говорили — гранатой, — сказал Поздышев.

— А знаешь, Поздышев, — не исключено. Не ис-клю-че-но! Какой-нибудь здоровенный негр зашвырнул вверх гранату, ее осколки перебили маслопровод...

— Или из рогатки. У них рогатки, вдвоем резину растягивают.

— Да! И это не исключено... Так, значит четвертый раз...

— Геннадий, — попросил я, — давайте по порядку. Первый раз — Чечня, второй — Африка, третий...

— Третий... Поздышев, тормози! Не видишь — переход! Задавишь эту дуру с коляской, министерству обороны платить придется...

— Оно не обеднеет, — сказал Поздышев.

— Не обеднеет, но ты-то в тюрьме будешь сидеть, Поздышев. Третий... Нет, подождите, четвертый — это точно вторая чеченская, на штурмовике было дело... Поехали, Поздышев, поехали, что ты на эту дуру уставился, ну, согласен, фигура хорошая, согласен... Пятый, пятый уже Грузия, нас сбили свои, да, а вот третий раз...

— Третий раз вас сбили в Судане, — подсказал Поздышев.

— В Судане? А, да-да, в Судане! Это, кстати, Поздышев тоже в Африке. Но тогда я не был за штурвалом. Тогда я просто сидел в кабине пилотов, ла-ла-ла, а тут... Была жесткая посадка. Весь груз разворовали. А потом выяснилось, что все подстроили. Договоренность с местным царьком. Ему груз, а он разрешает следующим самолетам летать через его пустыню. Ужас там вообще был, ужас... Но все это меркнет в сравнении с нашей теперешней ситуацией. Она, Роман Антонович, просто аховая. Штопор. И катапульта не работает...

Мы выехали из городка, проехали мимо окруженного темными елями памятника солдату с автоматом на груди, повернули направо, объехали вокруг памятника, вновь въехали в городок. Поздышев переключал передачи со скрежетом, ожесточенно топтал педали.

— Ты опять поворот промахнул, да, Поздышев? — сказал майор. — С тех пор как тебя поповна отшила, ты даже мимо едешь, как будто ты... Эх, не знаю, что тебе сказать! Тебе надо лечиться, Поздышев. Лечиться!

— А я лечусь уже. — Поздышев набычился, уши его покраснели. — Вот пойду в клуб сегодня, окончательно вылечусь.

— В клуб ты пойдешь? В какой? Ты что, солдат? Ты на службе! Вот, понимаешь... Вот здесь поворачивай, вот здесь. Ну, наконец-то!

9.

На стоянке перед воротами кладбища полицейский «уазик». Поздышев сделал круг, остановился.

— Ну, приехали, Антон Романович, — сказал майор. — Мы вас ждать не будем, меня командир вызывал ... До свиданья, Антон Романович, до свиданья!.. — он ловко просунул руку между своим сиденьем и задней дверцей, повернул ручку, дверца открылась. Я вытащился из машины, захлопнул дверцу, Поздышев со скрежетом воткнул передачу, и они уехали...

...Накрапывает дождь. Ворота кладбища затворены. В полицейском «уазике» открыта правая задняя дверь, оттуда торчит тонкая нога в мятой штанине. Покачивая ею, полицейский в бронежилете накручивает на пластмассовую вилку лапшу быстрого приготовления, двое других сидят впереди, курят и смотрят на меня сквозь сизый табачный дым.

— Вы не скажете, — я делаю пару шагов по направлению к «уазiku». — Добрый день! Мне надо... Я хотел пройти...

Поедающий лапшу начинает быстрее работать вилкой. Двое других отворачиваются.

— Там, — лапшеед указывает вилкой мне за спину, — там калитка. Заперта на засов. Войдете, запирайте за собой. Священник должен уйти минут через сорок, тогда и на калитку повесят замок. Постарайтесь не задерживаться. Но если что — кричите. Мы откроем, или — улыбка обнажает десны — пристрелим.

— Пристрелите? Это что, шутка?

— У нас тут не шутят. Прошлой ночью наряд палил из двух стволов. Оказалось — собака. Разнесли в клочья. Если задержитесь, придется перелезть через забор, идти до шоссе, ехать на автобусе, а он ходит редко. Мы сейчас уезжаем. Никто возле кладбища не останавливается. Да и не ездит — выбирают дорогу в объезд. А если пойдете со священником, тогда может кто-то и подхватит...

Я никак не могу нащупать засов калитки, когда, далеко просунув руку сквозь прутья решетки, все-таки его нахожу, то не могу его выдвинуть. Никак не могу. Никак!

— Давайте я, — ко мне подходит доевший лапшу полицейский. — Он закисает.

Полицейский задирает рукав куртки, просовывает руку сквозь прутья, и его лицо приобретает характерное выражение, как у всех, кто делает что-то, что не может контролировать взглядом. Он смотрит на низко висящие облака. На кусты черемухи. Водянистые, выпуклые глаза. Закусывает губу. Учащенно дышит. Потом смотрит на меня, его взгляд приобретает осмысленность.

— Вы нам нужны, — тихо говорит он. — Без вас совсем тут все накроется.

Он открывает засов, распахивает калитку.

— Спасибо! — говорю я. — Вы его видели?

— Покойника? Ну конечно! — полицейский говорит еще тише, смотрит в сторону, губы его еле шевелятся. — Я первый тогда к ларьку подошел, увидел — стоят, разговаривают...

— Кто разговаривает?

— Ну эта, Бадовская. И, как их...

— Боханов и Бузгалин.

— Да, они. Они втроем и Лебеженинов. Меня увидели, встали так, стеной и дали ему убежать.

— Убежать? Он бежит?

— А что? Мужик молодой, здоровый. Припустил как заяц. В одной руке пакет, в другой банка пива. Мне Боханов, он в школе полиции учится в области, говорит: что, мол, тебе нужно?

— А кто вас вызвал?

— Продавщица. Позвонила, голос дрожит, а-а-а, у меня покойник пиво покупает!

— Вы в это верите?

— Ну как не верить, если я своими глазами видел? Начальство — не верит. Перевело на патрульно-постовую, а раньше я с оперативниками был. Они считают, что я — он щелкает по горлу — из-за этого Лебеженинова и увидел. А я в тот день только баклажку пива. Под сериал. Ну, ладно, извините, заболтался...

...От калитки к церкви ведет обсаженная шиповником тропинка. Пахнет прелой листвой, чем-то сладким и пряным. Под ногами влажно хрустит гравий. По боковому ответвлению от тропинки я дохожу до идущей от ворот аллеи, останавливаюсь почти у самой паперти. Могилы справа от нее совсем старые. Некоторые надгробия покосились. На одном, из темно-красного гранита, читается золотом «рал-майо ироти». Я подхожу ближе. Теперь видны и те буквы, с которых позолота сошла. Генерал-майор Сиротинский умер 13 января 1887 года. Дата рождения поросла мхом. Могилы слева поновее. Бетонные плиты. Фотографии. Несколько увенчанных звездами пирамид. Тропинка петляет меж ними, уводит к высокому берегу реки, с аллеи видно, что на берегу могилы совсем новые, над ними уже не нависают тяжелые ветви лип, разве что буйно растет все тот же шиповник. Мне кажется, что за мной наблюдают, но я не оглядываюсь, иду к берегу реки.

Дождь прекращается, выглядывает солнце. Оно освещает мраморные черные надгробия новых могил, на которых выгравированы портреты молодых людей, а даты смерти почти всех близки друг к другу. Я останавливаюсь и слышу за спиной чьи-то шаги.

— Это все наши...

Священник выглядит молодо, редкая бородка еле прикрывает узкий своевольный подбородок, высокий лоб, бледная кожа, тонкогубый широкий рот, чуть впалые щеки. Скуфейка сдвинута к затылку.

— Ваши?

— Да, — священник кивает. — Их поубивали во время второй войны. Первая была в девяностых. Они лежат там, — он поворачивается так, словно страдает радикулитом, тяжело, всем плотным, мускулистым телом. — За церковью. Их отпевал отец Паисий. До того как впал в детство. Для этих места уже не хватило.

— Их отпевали вы?

— Да.

— Кто с кем воевал?

— Те, которые за церковью, между собой. Эти — он кивает на новые могилы — с теми, кто решил поделить то, что было уже поделено. Или — хотели отнять. Значения это не имеет. Никакого. Смерть прибрала всех.

— Кто победил?

— Эти проиграли.

— А у победителей совсем не было потерь? Или победители и побежденные лежат вместе?

— Вместе. Здесь все равны.

Могил здесь около двадцати—двадцати пяти. Большие потери для маленького городка. На черном могильном камне ближайшей ко мне могилы выгравирован в полный рост молодой человек в костюме, в расстегнутой почти до пупа рубашке, с сигаретой в правой руке, опирающийся левой на капот «мерседеса». Можно прочитать даже регистрационный номер. На соседней ни имени, ни даты смерти, ни даты рождения. Черный камень и только надпись — Смелян.

— Это фамилия?

— Это кличка. Здесь таких много.

— Никто не знает его настоящего имени?

— Я знаю. Его друзья поставили такой камень. Потом они погибли тоже.

— А их могила?

— Там, дальше, среди свежих.

— У вас большое кладбище.

— Люди умирают. Так уж заведено.

— Некоторые с этим не согласны. Или пытаются что-то сделать.

— Это ничего не меняет. Бог дает, Бог забирает.

— Получается, не всех. Точнее, забирает, но не полностью.

— Есть такая ложная, вредная теория, будто существуют покойники, которые не знают о том, что они умерли. Будто они думают, что продолжают жить, что не умерли, а их жизнь просто вступила в некую новую фазу. Но есть и такие, которые начинают понимать, что умерли, но этому противятся. С этим не согласны. Бунтуют.

— И тот, чья могила там, среди свежих...

— По этой теории живыми покойниками люди становятся тогда, когда Бог теряет к ним интерес. А те, кто бунтует, хотят интерес к себе вернуть.

— Да, вредная теория.

— Что ж, я иду запирать церковь. Через десять минут буду у калитки. Если хотите продолжить разговор, жду вас возле нее. Провожу до автобусной остановки.

Священник идет к церкви. Выгравированные на мраморе павшие смотрят ему вслед. Вместе со мной. Он доходит до высоких лип, растворяется меж ними. Я иду к берегу реки. Доллар, Шука и Мамура покоятся у самого обрыва. У последнего широкая улыбка, толстая цепь на шее, он сидит за столом, на столе — бутылка, рюмки, тарелка, на тарелке — большая рыба, ее хвост свешивается на скатерть. Следующей весной их гробы могут оказаться в реке. Могила Лебеженинова решили уберечь от талых вод, выкопали подальше от оврага, по которому они весной несутся в реку. Могильный холм привален бетонной плитой. Так вот как тебя! Плитой! Мне становится смешно — будто тяжесть плиты сможет удержать того, кто вроде бы уже не имеет веса, кто бестелесен, чье появление — мираж, обманка. Я разглядываю плиту. Ее, судя по следам, притащили сюда несколько человек, и сделали они это совсем недавно. У одной из сторон плиты присыпан влажным крупным песком уходящий в глубь могилы неширокий ход. Вряд ли сквозь него может пролезть взрослый человек. Я присаживаюсь на корточки, ощупываю песок, запускаю в ход руку. Думаю о том, что тот, кто сейчас в полудреме находится внизу, может меня схватить. Что мне тогда делать? Звать на помощь открывшего засов калитки полицейского? Упереться другой рукой в плиту, пытаться пересилить ожившего мертвеца? Сильнее ли мертвые живых? Есть ли у живого шанс победить мертвого? Неподалеку, вихляясь и поглядывая на меня, ходит ворона. Посланник врага человеческого. Вороне не нравится мой взгляд. Она отпрыгивает в сторону, каркает, взлетает, быстро набирает высоту, закладывает вираж, уходит в сторону реки. Мне кажется, что снизу кто-то тянется навстречу моей руке. Я ощущаю вибрирующую теплоту. Мне хочется засунуть руку глубже, но я чувствую, как затекают ноги. К тому же мне просто больно сидеть на корточках. Я же не выпил утреннюю порцию лекарств. Я поднимаюсь, стряхиваю с руки влажный песок. Он пахнет чем-то горьким, он жирный и почти красный. Меня передергивает. К горлу подкатывает тошнота.

Я подхожу к краю оврага. Внизу ржавеет кузов «жигулей», разбросаны пластиковые бутылки. Солнце начинает зависать в центре неба, лес на противоположном берегу реки темнеет. По дну оврага пробегают две крупные собаки. Одна из них поднимает морду, показывает большие белые клыки...

...Священник стоит у калитки, по другую ее сторону полицейский сержант, любитель быстрорастворимой лапши, поправляет ремень короткоствольного автомата.

Мы выходим, полицейский навешивает замок. Священник оборачивается, выпростав из рукава рясы крепкую руку, осеняет и полицейского и калитку двумя широкими крестами.

— Я имел неосторожность сказать в вашей городской администрации, что не исключаю возможности того, что покойник и в самом деле восстал из гроба. Не как, конечно, — я скашиваю взгляд на висящий на груди священника крест, и тот быстро закрывает его рукой, — ну, вы понимаете, а восстал по совершенно другому, так сказать, поводу. Он как бы пробный шар тех сил, которые хотят проверить наш мир, пощупать его, проверить устойчивость. Он ожил, чтобы была обкатана на практике идея, будто прошедший через смерть, опаленный, так сказать, краешком адского огня, выступает в качестве посланника, несущего весть.

— Вы так все и сказали в администрации?

— Нет, что вы! Конечно, нет. Я сказал только, что мы имеем дело с поразительным явлением и нельзя исключать реальность всего происходящего. А судить кого-либо мы не вправе.

— Ну, слова, что судить мы не вправе, для них елей... — Священник хмыкает. — Вам лучше поскорее закончить свои консультации и ехать домой, — говорит он.

Мы идем по обочине дороги.

— Мне все говорят, что надо уехать, — говорю я. — Что здесь во всем разберутся сами. Вы тоже так считаете?

— Я никак не считаю, — говорит священник. — Раз вас позвали, значит сделано это не зря. Вот только мы с вами как бы по разные стороны. Не противники, нет, но то, что делаете вы, для меня невозможно.

— Вы, значит, не занимаетесь психокоррекцией? Терапией?

Он крестится.

— Вы считаете, — голос священника становится жестким, — что люди, которые приходят к вам на консультацию или которых к вам приводят, стремятся к независимости, к спонтанности, к творчеству. Даже если не знают, что такое независимость, спонтанность, творчество. Ведь вы ими манипулируете, вы им вкладываете эти стремления, приписываете их. Вы заражаете их гордыней, подбиваете на борьбу, — он вновь крестится. — А моя задача помочь людям быть теми, кто они на самом деле. И принять вещи такими, какими они являются на самом деле.

— И грехи тоже принять?

Он смотрит на меня с улыбкой.

— Людям надо быть благодарными за то, что они не способны к творчеству, что они зависимы, что не могут быть спонтанными и импульсивными. Люди не творцы, а творение. Они должны бояться самих себя, молиться и благодарить.

— Насчет того, чтобы бояться самих себя, я у кого-то читал, давным-давно, — говорю я. Последние шаги даются мне с огромным трудом. Священник смотрит на меня уже с настороженностью.

— Вам нездоровится?

— Да, мне нехорошо, — я тяжело вздыхаю. — И я забыл в гостинице лекарства.

Священник достает из-под рясы дорогой смартфон, подносит смартфон к уху.

— Это я... — говорит он. — Автобусы еще ходят? А, отменили... Нет, со мной тут психолог из Москвы, надо в гостиницу...

— И в аптеку! — подсказываю я.

— И в аптеку, — говорит священник. — Что? И тебе нужно в аптеку? Хорошо, мы пока пойдем тебе навстречу. Хорошо...

Он прячет смартфон.

— Сейчас одно из моих чад поедет. Подхватит вас. Отвезет...

— Чадо духовное?

— Моя дочь... — и он улыбается так, что его суровое лицо становится мягким и добрым.

10.

...Дочь священника выходит из маленькой машины, целует отца, здоровается со мной. Машина забрызгана грязью, поверх старой — новые разводы, только стекла и зеркала недавно протерты. Священник о чем-то тихо говорит с дочерью, потом поворачивается ко мне.

— Наталья вас отвезет. Потом довезет до гостиницы. Мне тут пешком...

Внутри машины пахнет сухими цветами, молоком. Когда Наталья садится за руль, я чувствую, как запах цветов и молока дополняется ее естественным, плотным, живым ароматом. Ее обутое в высокие ботинки ноги уверенно стоят на педалях, узкая белая рука с синими жилками ловко переключает передачи.

— Вы из Москвы? — спрашивает Наталья.

— Да, из Москвы, — отвечаю я.

— Вас все время об этом спрашивают?

— О чем «об этом»?

— О том, что вы из Москвы. Все знают, что вы приехали из Москвы, вы и ваши коллеги, что вы будете нас консультировать, как нам вести себя с ожившим покойником, но все равно спрашивают. Смешно? Да?

Наталья смеется, громко, звонко. У нее мелкие, один к одному зубки. Тонкий, приподнятый нос придает ей хитрое, лукавое выражение. Смех у нее заразительный и я тоже начинаю смеяться.

— И зачем спрашиваете вы? Раз уже знаете, что я из Москвы?

— Чтобы вы ответили. Вам ведь приятно отвечать, так, солидно: «Да, из Москвы!»

Она забавно басит, снова начинает смеяться.

— Вас, кажется, больше веселит оживший покойник.

— Ну конечно! — Наталья выскакивает на шоссе прямо под носом большого грузовика, прибавляет газ, ее машина летит.

— Ну конечно! — повторяет Наталья, когда мы съезжаем с шоссе на узкую улицу. По одной стороне кирпичные пятиэтажные дома, по другую — за заборами — одноэтажные деревянные.

— С этим покойником все так смешно получилось. Все забегали. Власти не допустили ни одной публикации в нашей газете, ни слова на радиостанции, местное телевидение тоже молчит. А все все знают. Блогеры вывешивают видео с покойником, обсуждают его в соцсетях. Инсценировка, но тысячи просмотров за день! В обсуждении участвуют сотни и сотни человек! Скоро сюда понаедут со всей страны. И из-за границы, конечно! Будут его ловить. Искать. А пока плитой придавили могильный холм. Может бетонная плита остановить ожившего покойника? Можно бетоном что-то изменить, если... — она подыскивает нужные слова, бросает руль, щелкает пальцами двух рук сразу.

— Раз уж изменился естественный ход вещей?

— Да, примерно так. — Она кивает в знак благодарности за помощь, хватает руль, и мы, как мне кажется, мчимся дальше.

— Чем вы занимаетесь? — спрашиваю я.

— Учусь.

— Кем вы будете?

— Медсестрой.

Она смотрит на меня.

— Это прекрасно! — говорю я.

— Я тоже так считаю!

Мы останавливаемся у аптеки. Наталья выходит из машины. Я, выйдя и собираясь закрыть дверцу, замечаю, что на сиденье осталось небольшое пятно. Мы заходим в аптеку. Других покупателей нет. Наталья здоровается с провизоршей.

— Мне нужны прокладки, — говорю я, подходя к прилавку.

— Простите? — провизорша смотрит на меня, переводит взгляд на Наталью, снова смотрит на меня. — Вы хотели сказать — памперсы?

— Нет-нет, именно прокладки. Такие, с тремя капельками...

— Хорошо... Что-нибудь еще?

— Да, — и я протягиваю рецепт.

— Ух ты! — взглядевшись в рецепт, говорит провизорша. — Вам надо будет предъявить паспорт. Такие препараты...

Провизорша переписывает данные моего паспорта в большую тетрадь, кладет на прилавок упаковки лекарств.

Я достаю кошелек и обнаруживаю, что в нем нет денег. Ни бумажных, ни монет. Неужели они остались во сне?

— Вы принимаете карточки? — спрашиваю я.

— Нет! — провизорша уязвлена до глубины души.

— Вы довезете меня до банкомата? — спрашиваю я Наталью.

— Конечно, — отвечает она.

— Хорошо, я жду вас на улице.

Я выхожу из аптеки. По небу бегут рваные жалкие облака, небо светло-голубое, кажется, что это материя, натянутая на непрочный, легкий каркас.

Появляется Наталья с большим пакетом. Достает из него пакет поменьше. В нем — прокладки и мои лекарства. Мы садимся в машину. Я вдруг вспоминаю про Поздышева, искоса смотрю на Наталью, потом мне приходит мысль, что у священника может быть не одна дочь, что Наталья не та поповна, о которой говорил майор, представить, что Наталья встречается с майорским водилой, я не могу. Мы молча доезжаем до гостиницы. Меня знобит. Я иду к гостиничному крыльцу, начинаю подниматься по ступеням.

— Антон Романович! — Наталья выходит из машины. — У вас кровь, кровь сзади.

— Извините, я испачкал вам сиденье...

— Ничего страшного. Хотите, я привезу вам врача?

— Нет, не надо. Просто мне делали операцию, а тут ваш покойник... Подождите, я сейчас возьму деньги в банкомате. Подождете? Я быстро!

— Да, хорошо, — кивает Наталья. На банкомате в холле гостиницы висит объявление, что банкомат временно отключен. Я спрашиваю у администратора, где находится ближайший, и получаю ответ, что снять деньги с карточки я смогу только в центральном отделении банка.

Я выхожу на крыльцо гостиницы, спускаюсь по ступеням, прошу Наталью отвезти меня в центральное отделение банка. Она качает головой:

— Отдадите потом. Вам надо лечь, Антон Романович, и поскорее!

На моем этаже пахнет тушеной капустой. Я захожу в номер. Снимаю брюки, бросаю их в ванну. Туда же летят трусы. Я звоню администратору и прошу принести мне стиральный порошок. Администратор интересуется, какой.

— Да какая разница! — кричу я. — Любой! Вы понимаете? Любой!..

11.

...В дверь стучат. Звонит городской телефон, стоящий на маленьком овальном столике. Я снимаю трубку и слышу голос нашего начальника.

— Слушай, что ты там творишь?

— Подожди, пожалуйста!

Я кладу трубку рядом с аппаратом, открываю дверь. Мне принесли порошок. Я закрываю дверь, вскрываю пачку с порошком, сыплю его в ванну, затыкаю слив, пускаю воду.

— Я послал вас для чего? — слышу я, взяв трубку. — Чтобы вы купировали истерику. Чтобы вы сгладили углы. А ты, вместо того, чтобы вести прием, чтобы гладить по головке, ходишь и расспрашиваешь, откуда, почему, зачем... Слушай! Это никого не интересует! Откуда он появился, куда исчезнет и как — не твое дело. Этим занимаются специальные люди. Поверь — уже занимаются. И занимались до вашего приезда.

— Кто тебе настучал?

— Ну что за слова! «Настучал»! Я получил сигнал.

— Тамковская?

— Тамковская? Ну что ты! Она все еще в тебя влюблена.

— Извекович?

— Ну, начинается. Я получил сигнал. Обязан отреагировать. Ты вчера ходил к вдове. Я все про тебя знаю. Значит так, сегодня отдыхай, завтра — за работу. Ты меня слышишь?..

...Извековича и Тамковскую я замечаю сразу, они сидят в глубине зала. Извекович — спиной ко входу. Судя по резким движениям локтя, Извекович воюет с отбивной. Тамковская смотрит на меня поверх плеча Извековича, поднимает руку. Я подхожу, сажусь на свободный стул.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает Извекович, кладет в рот кусочек мяса.

— Мы пытались вас найти, — говорит Тамковская. — Администратор сказал, что вы просили не беспокоить.

— Да, я немного устал. Задремал, а у меня наполнялась ванна, вода перелилась, если бы не проснулся, устроил бы потоп...

— Закажете что-нибудь? — спрашивает Тамковская.

— Нет. Здесь душно. Хочу пройтись. Мне надо в банк, снять деньги с карточки. Ни копейки наличности.

Извекович откладывает нож и вилку, достает бумажник.

— Трех тысяч хватит? Берите, берите, пусть будет запас. И никуда не ходите. На улицах патрули. Опять видели вашего покойника.

— Моего?

— Ведь это вы полагаете, что он ожил на самом деле? — Извекович прячет бумажник, отрезает еще кусочек мяса. — Если во что-то верить, то это, даже нечто совершенно фантастическое, вполне может воплотиться в жизнь. Надо всего лишь достичь критического порога, после которого возможен переход из воображаемого в реальное. Ваше предположение о том, что Лебеженинов вылез из гроба, повышает вероятность такого перехода.

— Хватит издеваться, Роберт, — говорит Тамковская.

— Я не издеваюсь. Это физика в ее современном понимании.

— Значит, вы издеваетесь над самим собой. Антон, вы согласны?

— Все негативное ходит парами, тройками, четверками, — говорю я. — Позитивное всегда длится недолго, оно единично. Оживший покойник — это только начало. За ним, не важно — существующем, мифическим — последует нечто другое. Более удивительное, более страшное.

— Значит, мы должны ожидать манифестации еще одного мифа? — спрашивает Извекович.

— Да, и он будет покруче, чем этот, — говорю я. — Надо быть готовым к манифестации мелких, для начала, чертей, а потом и самого князя тьмы. Но он появится не для того, чтобы собирать души грешников или подписывать кровавые договоры с теми, кто решит ему продаться. Он явится в огне и пламени, с мечом и будет сечь: налево, направо, налево, направо, налево...

— Вы знаете, что отец Лебеженинова был генерал-лейтенантом КГБ, — сообщает нам Тамковская, — прадеда, настоятеля собора, вместе со многими

другими священнослужителями в девятнадцатом году расстреляли, а дед был инженером, японо-норвежским шпионом, собирався прорыть туннели от Мурманская до Осло и от Владивостока до Токио, получил двадцать пять и в шарашке разрабатывал что-то ракетное. В той же, что и Солженицын, который вывел деда Лебеженинова под именем...

— Какая литературщина! — Извекович морщится.

— Пойду все-таки пройдуся, — я отодвигаю стул, беру со стола три банкноты. — Счастливо оставаться!..

12.

...Вечер темен и влажен. Облака у горизонта чуть розоваты, за спиной — черны, клубятся и словно пытаются полностью укрыть и меня, и весь городок. В маленьком просвете несколько ярких звезд, часть какого-то созвездия. Улица пуста. Узкий тротуар ведет к мостику через бурлящую в овраге речушку. В овраге заметно темнее, чем на его краю, свет наступающей ночи туда не проникает. Внизу словно притаился кто-то, ждущий момента для нападения. Оттуда, снизу, веет холодом, сыростью. Мостик узкий, тротуар вливается в проезжую часть, и мне приходится идти по ней. Я начинаю подниматься на холм и, дойдя до его вершины, вижу чуть в стороне от дороги прикрытое высокими деревьями приземистое строение с надписью «Кафе». Возле — стоянка, заставленная машинами. Дверь открывается, в сумерки вырывается полоса яркого света, прорезанная тенями. Я пересекаю автостоянку и вижу двоих, только что вышедших из кафе. Парень коротко стрижен, вокруг рта девушки тускло поблескивают бусинки пирсинга, губы кажутся черными, сигарета зажата в самом уголке, девушка обута в высокие шнурованные ботинки, на ней широкая юбка с множеством складок и короткий тесный пиджачок. Они стоят в круге света от висящего на козырьке над входом в кафе фонаря. Свет от фонаря — неживой, голубоватый, мерцающий. Я прохожу мимо них, они смотрят на меня.

— Здравствуйте, — говорит девушка. — Я Лиза. Лиза Бадовская.

— Простите? А, да-да, я о вас слышал, — остановившись, я изображаю задумчивость, поддерживая левой рукой локоть правой, пальцами правой руки обхватываю подбородок. — Вы хотите прийти на консультацию?

— Я? — Лиза Бадовская хихикает.

Ее спутник цыкает слюной сквозь зубы и тоже хихикает.

— Нет, мне консультация не нужна, — говорит Бадовская, у нее темный взгляд, ее глаза маленькие, недобрые, в них пляшут крохотные золотые искорки. — Вас небось проинструктировали. В администрации. Рассказали, какой Лебеженинов был педофил. Что его в Москве якобы держали под следствием из-за беспорядков во время митинга, что он получал деньги из-за границы, что специально приехал к нам, чтобы устроить здесь переворот...

— Меня из-за всей этой бодяги уволили, — перебивает Бадовскую ее спутник. — А я хотел в юридический поступать. Ну, не сразу, послужил бы как положено пять лет. Мне говорят — ты с педофилами и растратчиками якшаешься. То есть — якшался. Они к тебе из могилы приходят. Пиши-ка ты по собственному. По семейным обстоятельствам...

— А! — говорю я. — Вас зовут...

— Это — Боханов, Боханов Иннокентий Мелетьевич. Да, так его зовут, но можно просто — Кеша, — говорит Лиза Бадовская. — Кеша у нас очень активный. Он предлагал сделать эту, как ее...

— Эксгумацию, — подсказывает Иннокентий Мелетьевич, вытирая уголки губ, — это называется эксгумация.

— Да, ее, гумацию всех последних захоронений.

— Зачем? — удивляюсь я.

— А чтобы понять — не эпидемия ли это? Наша, местная. Ходят слухи, что еще какие-то мертвяки ходят, — гордо дает пояснения Боханов.

— Но ведь кроме Лебеженинова никто не... не вставал из могил, — говорю я и пытаюсь понять, что такое этот Боханов, не издевается ли он? — Да и Лебеженинов...

— А другие тихо, ночью, вдоль забора, они по ларькам не ходят, — перебивает меня Боханов. — Их могут прятать родственники. Друзья, знакомые. Вот Сиганову хоронили на прошлой неделе. Скоропостижно умерла. Инфаркт. А я уверен — она тоже где-то ходит. Чтобы Сиганова умерла! Да такого быть не может! Я еще совсем пацаном был, мы к ней ходили опыт получать половой. Она такая вежливая была — мол, присаживайтесь, молодые люди, чай-кофе, может — воды?

Бадовская смеется, закрывая рот ладошкой. На внешней стороне ее ладони узорная татуировка, цветы, меж которых извивается тело змеи.

— Да что Сиганова! — Боханов придвигается ко мне. — Вот мой дед. Он недавно умер, еще и полгода не прошло. Старый был, очень старый, моего отца родил, когда с должности начальника лагеря освободился, а еще командовал строительством железной дороги. На Ямал. Или на Таймыр. Я точно не помню. Вот он говорил — пока кости в тундре белеют, я никуда не уйду. Вы, говорил, меня похороните, а я буду по улицам шастать, вас щипать и толкать, чтобы вы, суки, про кости помнили, и я вот уверен — он шастает. Он эти кости там оставил, а считал, что мы виноваты, потомки, так сказать. И мы его, может, просто не видим. А он тут. — Боханов указывает в сгущающиеся сумерки. — Где-то рядом. Вместе со своим начальником. И с начальником начальника.

— Они тебя охраняют, — говорит Бадовская.

— Ну, у них это херово выходит. Если б мой дед меня охранял, он бы нашего начальника ОВД за яйца бы его — цап!

— Еще не вечер, — говорит Бадовская. — Он, знаешь, еще может все повернуть. Он такое может повернуть...

Оба они становятся серьезными. От прежней веселости, смешков не осталось и следа. Они смотрят в темноту с задумчивостью, словно оттуда придет ответ, что может повернуть покойный дед Боханова, что и куда. Я тоже смотрю в темноту, и мне кажется, что за ближайшими кустами кто-то есть, тот же таинственный, что сидел в овражке у речки.

— Тут пиво хорошее, — говорит Бадовская. — Они сами варят. У них на заднем дворе пивоварня. Поворотник поставил. Его пиво, его сосиски.

— Они вообще все уже прихватили. — Боханов изучающе смотрит на меня. — Продыху от них нет...

...В кафе свободен только один, заставленный грязной посудой столик. К нему подходит официантка и начинает собирать посуду на поднос. Я подхожу, официантка искоса смотрит на меня.

— Что вам принести? — спрашивает она. — Сосиски? Есть с горошком, есть с рисом.

— С горошком. Пиво. Водку.

Официантка понуро идет прочь. На пятках высоких полосатых носков — дырки. Худые ноги. Я сажусь за стол, поправляю держатель для солонки и перечницы. На столе разводы от тряпки. Стол качается: из-под одной из ножек выскочила подложенная салфетка. Я нагибаюсь, собираясь запихнуть салфетку на место, и узнаю ботинки подошедшего — на левом похожая на маленькую комету царапина, но их обладатель успел подпортить еще и правый — рант на мыске сбит, словно хозяин ботинок со всей силы вмазал ногой по камню. Я распрямляюсь: мятый темно-серый костюм, черная рубашка с глубоко расстегнутым воротом, бледное, бесстрастное лицо, прямой нос, большие светло-серые глаза, очки в тонкой оправе.

— Найдется место? — голос такой же серый, человек-пустота, серая неприметность.

Он садится, отодвигаемый стул отвратительно скребет ножками по полу. Я пытаюсь поймать его взгляд, мне хочется сказать, что мы с ним почти знакомы. Или лучше промолчать? Лучше подождать — что скажет он? Но будет ли вообще он что-либо говорить? Пока я размышляю, официантка ставит передо мной тарелку, кружку, графинчик, рюмку. Две сосиски, горошек, клочковатая пена, следы пальцев на стекле графинчика. Я собираюсь сказать официантке, что она забыла принести хлеб и вилку с ножом, но она уже идет прочь. Я беру кружку, отпиваю глоток и чувствую, что мне в лицо дует легкий ветерок. Такой же, что дул в машине Извековича, с тем же набором оттенков, только нотки окалины становятся ярче, явственнее.

— Здесь приличное пиво, пивоварня во дворе, — говорит сидящий напротив. — Я пива не пью. — Он придвигается ближе. — Оно отупляет. Обычно предпочитаю что-нибудь покрепче. Но от водки хочется драться. Мне нравятся умиротворяющие напитки. От которых хочется петь.

Пиво ударяет в нос, я икаю, потом — еще, потом уже не могу остановиться. Я ставлю кружку на стол, пытаюсь сделать глубокий вдох, мне становится страшно — я всегда боялся подавиться, умереть от удушья — я кашляю.

— Успокойтесь, ничего особенного не происходит. Дышите глубже. Вот так. И еще раз!

Тыльной стороной ладони я провожу по глазам. Он, чуть наклонившись вперед, смотрит на меня с холодным интересом. У него поразительно правильные черты лица. Его лицо словно отштампованная маска. Перед ним, хотя я не видел, чтобы к нам еще раз подходила официантка, стоит стакан: в стакане что-то светло-коричневое.

— Нам надо было познакомиться пораньше, — говорит он. — Сразу. Но вы сидели в кабинке туалета и были, ха-ха, немного заняты. Теперь вы — он щелкает пальцами — суетитесь, вместо того чтобы заниматься своей работой, играете то ли в следователя, то ли в журналиста.

— Я сам знаю, что мне надо делать.

— Все, что вы сделали, вы делали плохо, а временем распорядились бестолково. И давайте договоримся — вы не лезете в бутылку. Я не ваш начальник, не Тамковская, не ваша жена. Кстати, вы уже сами верите в эту сказку? Какая-то Австралия! Вас выставили за порог, живете вы в однушке дочери, которая действительно на Кипре, но не с банкиром, она официантка, сожитель, бармен, ее поколачивает: турки-киприоты люди патриархальные, ваша дочь выпивает, и ему это не нравится... Вы догадываетесь — кто я? Догадываетесь?

— Догадываюсь, но ведь вы не существуете!

— И это самое лучшее доказательство моего существования.

— Как мне к вам обращаться?

— Да как угодно! Душегубец, злодей, топчун, быстроскок. Шучу! Как не обратитесь, всегда найдете отклик. Догадка посетила вас очень быстро. Пожалуй, даже слишком. И вы не опускаете глаза. Это удавалось немногим. Если перечислю, кому именно, вы можете возгордиться. Впрочем, большинство было все-таки самыми обыкновенными, никому не известными людьми. Когда-то я пытался уловить закономерность, но потом понял: ее не существует. Вы ухитряетесь.... — Он делает широкий жест, все вокруг скрыты легкой, серебристой дымкой, словно отделены полупрозрачным занавесом, вокруг нас непроницаемая тишина. — Вы ухитряетесь опровергать фундаментальные законы. Установленные, прошу отметить, не вами. Ладно, о таких вещах у нас будет возможность поговорить потом.

— Потом? Оно будет? Потом?

Графинчик в моих руках ходит ходуном, он забирает его, наполняет мою рюмку, ставит графинчик на стол.

— Пессимистом могу быть только я, ведь мне, как бы я ни старался, не удалось

и, думаю, не удастся сделать людей хуже, чем они есть. И уж тем более — лучше. Вы боитесь, что я пришел вас забрать? Такое случается лишь в исключительных обстоятельствах. Или — за вашей душой? А зачем мне ваши души? К тому же я, не поверите, до сих пор не понял — есть ли они у вас?

— Так зачем...

— Я тут чтобы — как у вас говорят? — перетереть одну тему. Еще есть популярное выражение — «говно вопрос». Я сделаю вам предложение. Если вы ответите — говно вопрос! — у вас будет «потом». Понимаете?

Я опрокидываю в себя содержимое рюмки, пытаюсь поднести к губам кружку. Ее край больно задевает десну. Ставлю кружку на стол, нагибаюсь к ней, привстаю, почти опускаю нос в кружку, всасываю в себя немного пива. Сажусь. Откидываюсь на спинку стула.

Он проводит пальцами по кончику носа, и я смахиваю со своего клочок пены.

— То есть вы знали о моем существовании раньше? Все обо мне...

— Все о вас. В отличие от некоторых, я знаю все обо всех. Это иногда наполняет меня таким воодушевлением, что я чувствую себя всевластным. Ха-ха. Неудобство только в том, что мне приходится всегда присутствовать лично. Я не использую порученцев, хотя в тех, кто готов услужить, недостатка нет. Бывает, что я прибегаю к их услугам. Самые надежные — те, кто клянется будто помогать мне не будет ни при каких условиях. Кто проклинает, пытается накликать на меня всевозможные кары. Это мой золотой фонд.

— Значит, вам нужна моя помощь, да?

— Помощь! Какое самомнение! Впрочем, нам будет проще договориться.

— О чем?

— Вы куда-то спешите? Пейте пиво, пейте водку, ешьте сосиски. Всеу свое время.

— Вы... Вы тоже в командировке?

— Ха! Ха-ха! Отличный вопрос! Отличный! Я — в командировке. Ха-ха! Выписал командировочное предписание — он сует руку во внутренний карман пиджака, вытаскивает оттуда мятый листок бумаги, разворачивает, поправляет очки, проглядывает, что написано на листке, прячет его — прибыл, отметился, поселился, ну и так далее. Вы же сами знаете, зачем ездят в командировки.

— Зачем?

— Сделать что-то хорошее. Привнести толику добра. Признаю — на выходе у меня обычно получается нечто прямо противоположное. Таков уж мой удел — желая добра, творить зло. В этом мое отличие от вас.

— То есть?

— Людям свойственно иногда совершать добрые поступки и этого не замечать, но зло всегда творится сознательно. У меня все наоборот.

— Сочувствую...

Он внимательно смотрит на меня, потом улыбается.

— Давайте договоримся — вы постараетесь обойтись без подьбоек. В противном случае наш разговор потеряет смысл, я вас покину, а вам, кроме как на меня, больше не на кого положиться. Точнее — только я могу помочь вам выйти из сложившейся ситуации. И мой уход будет означать... Будет означать... Ну, вы меня поняли? Еще вопросы?

— Нет... Хотя — да! Вы всегда в таком виде? Костюмчик, рубашечка. Вы всегда разговариваете так запросто?

— Нет, разумеется. Бывает, что я издаю страшные звуки. Останавливаю или ускоряю время. Искрюсь или пламенею. Являюсь в виде метеора, потока лавы. Сейчас все реже, что вполне объяснимо, — с мечом, как Валааму и его ослице. Оказавшейся умнее, чем хозяин. Но что возьмешь с этих моавитян или кем он там был. Не помните?

Одно совершенно точно — вы не бредите. Это не галлюцинация. Я могу прикоснуться к вам, и вы ощутите мое прикосновение — он протягивает руку и дотрагивается до моего запястья.

Его холодные пальцы оставляют на моем запястье маленькие красные отметины. Я ощущаю легкое жжение. Я подцепляю пальцами сосиску, тыкаю ее в горчичный холмик на краю тарелки. Откусываю. Поворотник делает хорошие сосиски. Пиво у Поворотника не очень, но сосиски просто класс.

— Но все же я хотел бы спросить...

— Почему я разговариваю именно с вами? Так вы давно на примете. Забыли?

— Нет-нет, вы упомянули Валаама. Там ему встретился ангел.

— Я и есть ангел, ваш старший брат, и появился через три дня и три ночи после того, как кончилась вечность. Мне не дано творить чудеса, воскресить Лебеженинова я не способен, но кого-то убить или отсрочить чью-то смерть могу. Когда-то я был послан разобраться с вашей завистью, но ничего с нею поделать не смог, и с тех пор застрял тут, в ваших дрызгах, хотя главной моей задачей всегда было напоминать о долге, заставлять ему следовать, отвечать своему предназначению, выполнять завет и тому подобная хрень.

Он отхлебывает из стакана. Оглядывается по сторонам. Его лицо-маска искажается гримасой, словно он съел что-то горькое.

— Теперь я могу признать, что совет убить Валаама был не самым лучшим. Во всяком случае, сейчас я бы так не поступил.

Он делает еще глоток и отодвигает стакан.

— Ладно! Давайте к делу. Вы единственный, кто пока понял, что здесь происходит. И это никуда не годится. Поэтому...

— Никуда не годится то, что я понял?

— Оживший мертвец! Вот что никуда не годится! Этот несчастный преподаватель рисунка, пошедший в народ оппозиционер, с которым вы разбирали смысл гимна *Till we have built Jerusalem*, ну и так далее и тому подобное, представляет собой угрозу установленному порядку. А мне предписано еще и поддерживать порядок. Понимаете? Должен же кто-то этим заниматься! — Он вновь отрывисто смеется, резко выдохнув несколько раз «ха-ха-ха-ха!» — У меня, кстати, для вас две новости. Хорошая и, как можно догадаться, плохая. Хорошая — это то, что нет жизни после смерти. Понятно?

— Понятно. А плохая?

— Есть невезучие, что живут вечно. Этих трогать не будем, то, как их вечная жизнь согласуется с отсутствием вечности, не моя проблема, но вот от тех, кто после смерти живет некоторое время, иногда — длительное, исходит угроза порядку. От вашего Лебеженинова, например.

— Но все-таки — бессмертие?! Вера в него? — Мне хочется оттянуть момент, когда он скажет нечто определенное. Конкретное. — Может быть, все не так трагично, может быть...

— С верой я не имею дела. Я работаю с иллюзиями, а между иллюзиями и верой существует разница, которую мы сейчас обсуждать не будем. Скажу только, что вера — это другое ведомство. И потом — прошу вас не умничать и не лезть туда, где вы не компетентны.

— Но вы пришли, чтобы я что-то сделал?

Он кивает, берет стакан и подносит к губам.

— И что же?!

— Вы должны Лебеженинова остановить, — говорит он в стакан и делает большой глоток.

— Боже!

— Я вас умоляю! Вы сделали для него больше, чем он для вас, я знаю, что говорю,

и он не придет к вам на помощь, как бы вы его ни звали. Сделаете о чем я прошу, и все будет хорошо.

— Как?

— Это ваше дело. Я лишь могу кое-что посоветовать.

— А если не получится?

— Если вы согласитесь, получится все. Гарантирую.

— Но почему — я?!

— А вы хотели, чтобы его остановили дежурящие возле кладбища менты? Или какой-нибудь идиот с дробовиком? Я действую по ситуации. У вас имеются глубинные, подлинные мотивы. Вы подходите. К тому же вы его знали. Хоть немного. Вряд ли у вас будет возможность с ним поговорить, но все-таки...

— А если я откажусь?

— Не откажетесь. Анализы, операция, скорее всего потребуются еще, и не одна. Вам предстоит разговор с врачом. Только не подумайте, что я предлагаю сделку. Сделки со мной — пошлятина. Тем более — я не существую. Меня нет. И я не заключаю сделок. И мне не отказывают.

Я слышу, как в абсолютной, гремящей тишине тикают часы на моей руке.

— Что произойдет, если его не остановить? Иллюзия иллюзией, но что произойдет фактически?

— Вам этого лучше не знать. Если мы — не дергайтесь, не дергайтесь, — если мы сохраним те правила, по которым идет игра, вы в накладе не окажетесь. И не тяните время! Не стоит докучать ангелам, они могут улететь. Не помните, кто это сказал?

— Если я сделаю то, о чем вы просите, вы меня оставите?

— Во-первых, я не прошу. Во-вторых, я не могу вас оставить.

Тут из глубины зала, сквозь пелену, появляется официантка. Она двигается как сомнамбула, ставит на стол блюдо с двумя кусками черного хлеба, кладет на стол вилку и нож.

— Доедайте, — говорит он, обхватывает бедра официантки. — Так я могу на вас рассчитывать?

— Говно вопрос! Только отпустите ее. Пожалуйста!

— Я ее не держу, — он смотрит на официантку снизу вверх, у официантки текут размывающие тушь слезы. — Я никого не держу.

— У вас хорошие ботинки. Вы их совсем не бережете.

— Могу себе позволить, — он закидывает ногу на ногу, — но пнул эту дурацкую плиту. Ее положили несмотря на протесты священника. Он говорил вам про покойников, которые не знают, что умерли, которые ведут себя как живые? Интересная мысль. Очень человеческая. Пошли?

— Вы пойдете со мной?

— У меня машина. Подброшу до гостиницы. Вы и так нарушаете все врачебные предписания, — он вынимает из кармана несколько смятых купюр, подсовывает их под солонку, жестом дает мне понять, что я должен спрятать взятые у Извековича деньги.

— Не забудьте отдать деньги за лекарства и прокладки. Что вы так на меня смотрите? Я не ловлю вас на еще один крючок, — говорит он.

— А я у вас на крючке?

— Да. И постарайтесь не сорваться...

Окружающая нас пелена тает, официантка утирает слезы, вынимает из-под солонки деньги.

— Приходите еще, — говорит она, зал наполняется звуками, запахами, вокруг теплеет, из колонок под потолком звучит музыка, аккордеон и скрипка, гитара и контрабас, «чарлики» отмеривают ритм.

...В зеркале напротив поста охранника мы отражаемся вместе, на крыльце я

смотрю на полосу света из открытой за нашими спинами двери и вижу две тени, его и свою.

— Вам все-таки хочется увидеть нечто, сопровождаемое запахом серы и громоподобным хохотом? Постараюсь вас не разочаровать, — говорит мой спутник, мы выходим на стоянку, где выясняется, что его машина — он, нажав кнопку на брелоке, заставляет откликнуться серебристую машину с «шашечками» на дверях и нелепо торчащими антеннами на крыше — заперла замызганную «ниву». К нам направляются двое. У «нивы» остается женщина. Невысокая, с широкими плечами. Женщина сильно пьяна. Оставленная без поддержки, она начинает сначала медленно, потом все быстрее и быстрее раскачиваться из стороны в сторону.

— Слушай, таксист, — говорит один из подошедших, — мы уже полчаса отъехать не можем. В кафе тебя искали, а ты... — он пытается поймать ангела за локоть, но захватывает пустоту.

Мне, чтобы сесть в машину, надо пройти практически вплотную с пьяной. Ее тошнит. Тяжелые массы рвоты вырываются из широко раскрытого черного рта. Меня самого вот-вот тошнит. Пытавшийся схватить за локоть замахивается, и, против ожидания, кулак с чмоканьем вляется в ангельскую скулу. Отброшенный ударом, ангел перелетает через капот и падает к моим ногам. В такой сцене есть что-то восхитительное: блюющая пьяная женщина, лежащий на заплеванной земле ошеломленный ударом всевластный и всемогущий падший ангел, у которого на скуле набухает шишка, а сквозь тонкие губы течет что-то темное.

Я помогаю ему встать. Он совсем легкий. Вытекающая из него жидкость пахнет сладко, и ее запах пьянит. На земле лежит мятый кусок металлической трубы. Труба плотно ложится в ладонь. Еще мгновение, и ударивший моего ангела получит по лбу. Я весь, без остатка вложу в удар.

— Нет, — говорит он, останавливает мою руку, забирает у меня трубу. — Никакого насилия. Садитесь в машину!

— Зассал? — яростно шипит ударивший. — Ты не мужик! Я тебя порву! Ты понял?

— Садитесь в машину! — повторяет ангел. — Нам надо ехать.

Он проходит сквозь шипящего, открывает дверцу. Я сажусь на пассажирское сиденье. Рядом с ним. В машине густо пахнет отдушками.

— Насилие — это грязь, — говорит ангел, вырываясь со стоянки. — Когда-то меня даже называли чистюлей. В широком смысле слова.

Мы едем очень быстро. Фары его машины прорубают туннель света в сгустившейся темноте.

Впереди видна машина ДПС, возле нее со светящимся жезлом стоит инспектор. Мы пролетаем мимо. Инспектор должен был нас остановить.

— Он нас не заметил?

— Не заметил, — кивает он. — Иногда я расходуясь на такие мелочи. Это унижительно, но еще более унижительно дышать в трубочку, совать деньги. Но я люблю пошалить. Вы и представить не можете лица тех, к кому я приезжаю на встречу на скрипучей старой «фиесте». Паркуешься рядом с «бентли», выходишь... Так, вот гостиница... Я высажу вас здесь, лучше чтобы нас не видели вместе. Отдыхайте, я с вами свяжусь...

...Он разворачивается, и его машина исчезает. Пахнет горелой травой. Мне трудно сделать первый шаг, ноги передвигаются с трудом. Из-за растущего возле, покрытого маленькими, кажущимися синими цветами куста появляется чья-то фигура.

— Добрый вечер, Антон Романович, — слышу я проникновенный женский голос: это Анна. — Вы припозднились. Важные встречи? Как вам могила? Поговорили со священником? Вечером приходила на прием, кабинет был закрыт. Сказали — вы сегодня прием не вели, а вот ваши коллеги... Впрочем, не о них разговор. О вас.

— Обо мне? Я уже о себе самом наговорился.

— Как хотите, но ваша ситуация не самая лучшая. Над вами стучатся тучи.

Я поднимаю голову. Звезды висят низко, они яркие, некоторые мигают, некоторые медленно перемещаются из одного созвездия в другое. В дальнем конце неба движется комета, очертаниями напоминающая след на ботинке моего ангела.

— Откуда вам известна моя ситуация? — спрашиваю я.

— О вас сегодня говорили в городской администрации. У меня там связи. Все высказались в том смысле, что вы прекрасный специалист.

— Но?

— Но слишком большое внимание уделяете деталям. А здесь нужно выделить главное.

— Знаете, — я чувствую себя утомленным, нетрезвым, несвежим, — мне все это неинтересно. Передайте через ваши связи в администрации, что я приношу извинения за пропущенный день, но мне было необходимо собрать кое-какие данные. А теперь...

— Ну что вы, Антон! Зачем так официально? Я просто хотела... Антон! Что у вас на руке?

Я смотрю на запястье и вижу красные пятна.

— У меня аллергия, — говорю я, поднимаюсь по ступеням крыльца, открываю дверь и оказываюсь в темном холле гостиницы: только над стойкой администратора горит дежурное освещение, двери ресторана закрыты, я смотрю на часы — глубокая ночь, время ангела пролетело очень быстро.

Я захожу в лифт, нажимаю кнопку своего этажа, Анна, поднявшись по лестнице, уже ждет возле номера.

— Я не уйду! — заявляет она. — Не уйду, пока не выслушаете и не простите!

— Простить могу, — говорю я, открывая дверь.

— Тогда простите меня! — Она с удивительной грацией просачивается вслед за мной, бросает сумочку на журнальный столик, поворачивается ко мне. Шторы раздвинуты, ее силуэт чернеет на фоне темно-синего неба, комета кажется больше и ближе. — Простите скорей!

Я ногой захлопываю дверь, сбрасываю туфли, кидаю на стул пиджак и натыкаюсь на ее торчащую крепкую грудь. Ее руки обхватывают меня за плечи, большой рот прижимается к моему рту, гладкий верткий язык раскрывает мои губы, проникает глубже, начинает вращаться у меня во рту, заставляя учащенно дышать.

— Не думаю, что у нас получится, — говорю я, с трудом вытолкнув ее язык.

— Получится! Ни о чем не беспокойся!

13.

...Меня будит чье-то покашливание: в кресле, широко расставив колени, сидит некто: это городской полицейский начальник, белоснежная рубашка, на рубашке — полковничьи погоны с золотым шитьем.

— Доброе утро, Антон Романович! — говорит он. — Извините, дверь была не закрыта. У меня к вам неотложное дело. Требуется ваше присутствие.

— Сколько... Сколько сейчас времени?

— Половина восьмого. Вы, как видно, беспокойно провели ночь. Вставайте, пожалуйста. Машина у подъезда.

Простыни скомканы. В пепельнице длинный окуроч со следами губной помады. На простынях — кровь.

— Это моя, — говорю я, указывая на простыни, — мне делали операцию, я должен был еще находиться в больнице, но меня вызвали, послали в ваш город, у меня швы...

— Антон Романович! Дорогой мой человек! Я все знаю. Тут только кто-то у вашего столика столешницу подпортил. — Он указывает на журнальный столик, на

который швырнули сумочку с гантелями: на столешнице глубокая вмятина. — Умойтесь, оденьтесь и спускайтесь. Дело на пару минут!

В ванной, на полочке под зеркалом, обнаруживаю пенал с красной помадой и вспоминаю крепкие объятия ночной настойчивой гостьи. От ее поцелуев болят губы, ее язык намял мне десны, на плечах — синяки, отметины от пальцев ангела потемнели. Выйдя из ванной, я выпиваю пару стаканов теплой воды из графина, одеваюсь и выхожу в коридор. При моем появлении дежурящий там полицейский вздрагивает. Мы идем к лифтам. Полицейский горячо дышит мне в шею. У лифтов — Извекович и Тамковская.

— Что случилось, Антон? — спрашивает Извекович.

Тамковская смотрит на меня широко открытыми глазами: у нее такое выражение лица, будто она видит перед собой государственного преступника, которого ведут к месту публичной казни.

— Понятия не имею, Роберт!

Раздвигаются двери лифта, мы вчетвером втискиваемся в узкую кабину.

— Учтите, я должна буду обо всем сообщить нашему руководству, — говорит Тамковская, строго сжимает губы, складки прорезают ее подбородок. — Я уже сообщила, что вчера вы...

— Идите в жопу, Ольга! — говорю я. — Не стройте из себя начальницу. Завтракайте и приступайте к работе, я скоро вернусь, осуществлю над вами методологическое руководство. Проверю ваши дневники приема!

Полицейский открывает дверцу машины, я жду, что он придержит мою голову, но полицейский невнимательно смотрит американские фильмы, дверцей прищемляет мне ногу.

— Легче, Кунгузов, легче! — говорит полицейскому его начальник с переднего сиденья. — Антону Романовичу нога еще пригодится. Верно, Антон Романович? Дед рассказывал, — дешевле было заказать один сапог сапожнику, чем два. Знаете частушку — «Хорошо тому живется, у кого одна нога»? Вот, теперь закрывай, Кунгузов. Поехали!

Машина трогается. Кунгузов — вот, значит, кто ездил за таблетками для умирающего Лебеженинова — остается у крыльца гостиницы, обернувшись, я вижу, как к нему подходят Тамковская и Извекович. Кунгузов козыряет — не иначе Извекович назвал свое воинское звание.

— Частушки — наше народное достояние, — говорит полицейский. — Обожаю их и классику. Толстой, Достоевский. Перечитываю. И лучше начинаешь понимать людей. Согласны? Преступление и наказание. Только сейчас не найти преступника, который бы страдал, хотел бы открыться, признаться, покаяться. Все себя выгораживают, оправдывают, никто никогда не скажет: «Да, я убил. Судите меня!» Нет! Смотрит на тебя, морда наглая, жизнью доволен, наказания не боится. А страх должен быть. Он держать должен. Без страха никак! А теперь кто кого боится? Да никто никого не боится! Согласны?

— Конечно! Без страха жить невозможно.

— Это вы как психолог говорите?

— Не только. — Меня вот-вот стошнит. — Как гражданин. Как человек.

За длинным столом в кабинете полицейского начальника сидит главный местный эфэсбэшник, широкоплечий и бровастый. Он читает газету, которую отшвыривает при нашем появлении.

— Михаил Юрьевич! — говорит эфэсбэшник, устало и с укоризной.

— Иван Суренович! — в тон ему отвечает полицейский начальник.

— Наше дело на контроле, Михаил Юрьевич. — Эфэсбэшник кивает на потолок.

— В курсе, Иван Суренович, в курсе.

— Ну, так как?

— Одно следственное действие.

— В моем присутствии.

— Не вопрос.

Оба смотрят на меня, и одновременно произносят:

— Антон Романович!

— Да! — отвечаю я.

— Присаживайтесь. — Полицейский начальник отодвигает стул, обходит стол, встает рядом с эфэсбэшником. — Прошу!

Мы садимся. Они сидят напротив. Рядышком. Потом полицейский начальник встает, открывает стоящий в углу кабинета холодильник.

— Иван Суренович? С газом? Антон Романович? — Он ставит на стол большую бутылку воды, три стакана, наливает воду в стаканы, мы с ним начинаем пить воду, а эфэсбэшник, подняв с пола газету, тщательно складывает ее.

— Так, — полицейский начальник ставит стакан на стол, — так, Антон Романович, так-так...

Я думаю о том, что мой начальник беспрерывно звонит на забытый в номере гостиницы телефон, о женщине, которая была со мной этой ночью. Думаю об ангеле. Сегодня мне надо позвонить врачу. У меня будут хорошие анализы, надо начинать жить.

— Антон Романович! — Полицейский начальник чуть наклоняется вперед. — Где вы были вчера от половины одиннадцатого вечера до одиннадцати?

Эфэсбэшник вздыхает, кривит физиономию, подмигивает.

— Антон Романович, — говорит он, — Михаил Юрьевич спрашивает неофициально. Вы ни свидетель, ни подозреваемый. Это не допрос, это даже не разговор. Это — беседа.

— А в чем, по-вашему, разница между беседой и разговором? — спрашиваю я, свинчиваю крышку с бутылки и наливаю себе еще воды.

— Антон Романович, — полицейский начальник говорит, продолжая смотреть на меня, — Иван Суренович — и я с ним в этом согласен — считает, что за слова, сказанные во время разговора, надо отвечать, ведь разговор может быть серьезный, очень серьезный, а беседа — это что-то вроде встречи друзей. Кто-то что-то сказал, но разве друзья друг на друга обижаются? Правда, мы, Иван Суренович и я, надеемся, что вы ответите нам честно. Ведь вам нечего скрывать?

— Ну, как сказать, — говорю я. — Каждому есть что скрывать.

— Тут я соглашусь, — говорит эфэсбэшник. — У нас у всех скелеты в шкафах.

— У меня — нет, — говорит полицейский начальник.

— Да ладно, Михаил Юрьевич!

— Мои скелеты в открытом доступе, Иван Суренович. — Полицейский начальник буравит меня взглядом. — И у меня шкафов нет. Антон Романович! Так вы скажете — где вы...

— Тут замешана женщина, — говорю я.

— Кламм, — говорит эфэсбэшник.

— Простите?

— А, Кламм! — говорит полицейский начальник. — Я так и подумал!

Они оба смотрят на меня.

— Антон Романович, — говорит полицейский начальник, — дама, с которой вы были вчера, подтвердит, что была с вами именно с половины одиннадцатого до одиннадцати вечера?

— Не знаю, — качаю я головой, наливаю еще стакан воды. — Признаюсь, я не смотрел на часы. Но мне было бы неудобно... Это как-то не по-джентельменски... Она, э-э-э, жена майора Кламма?

— Именно! — Иван Суренович делает вид, что поправляет обручальное кольцо. — Верная супруга доблестного защитника воздушных рубежей.

— Я думал — сестра. Или — просто давний товарищ...

— Жена, но мы с Иваном Суреновичем вполне вас понимаем. — Полицейский начальник пододвигает к себе блокнот, делает в нем пометку маленьким обгрызенным карандашом. — Трудно устоять. Мы с Иваном Суреновичем вас не осуждаем. И гарантируем, что сказанное вами и вашей дамой дальше этого кабинета не пойдет. Но вот еще что...

— У вас ведь нет адвоката? — спрашивает эфэсбэшник.

— Адвокат? У нас есть адвокаты, в нашем управлении по чрезвычайным ситуациям. Они работают с нами, если... Да в чем дело?!

Я ставлю стакан на стол так, что вода выплескивается и заливает блокнот полицейского начальника. Полицейский начальник вздрагивает, эфэсбэшник поспешно отодвигается от стола.

— Не волнуйтесь, Антон Романович! — говорит эфэсбэшник.

— Никаких поводов для волнения нет, — кивает полицейский начальник и стряхивает с блокнота капли воды. — Мы просим вас поучаствовать в опознании. Вы сядете вместе еще с четырьмя мужчинами, на вас посмотрит один человек...

— Через зеркало? Как в кино?

— Нет, у нас такого зеркала нет. Пока нет. Скоро поставят. Бюджет подняли, но зеркала еще нет. Мы так вас посадим, а потом...

— Вы можете отказаться, — говорит эфэсбэшник. — Пока не определен ваш статус, можете вообще сейчас встать и уйти.

Меня разбирает любопытство.

— А что случилось?

— Случилась неприятная история. Драка на стоянке. Возле кафе «Кафе». Как раз в то время, когда вы, как говорите, были с женщиной...

— С Кламм, — вставляет эфэсбэшник.

— Это не столь сейчас важно, Иван Суренович, — говорит полицейский начальник.

— И тем не менее, Михаил Юрьевич.

— Хорошо, Иван Суренович. — Полицейский начальник вновь смотрит на меня. — Неприятно, что это случилось...

— Да, — кивает эфэсбэшник. — Вы можете отказаться.

— Можете, но лучше согласиться. Можете настаивать на присутствии адвоката, мы предоставим нашего. Правда, процедура опознания затянется, нам надо будет пойти к нашему судье, получить санкцию, в прокуратуру... Морока, одним словом. У нас сейчас официантка, говорит, что видела вас в кафе «Кафе».

— А я этого не отрицаю, — говорю я, и мне становится смешно: неужели ангел, этот серый, выглядящий как неприметный человек ангел, сатана, поехал, высадив меня возле гостиницы, в больницу, зафиксировал шишку на скуле, написал заявление, и теперь идет следствие, неужели меня посадят в ряд еще с четырьмя людьми и он, ангел, будет нас опознавать, неужели они привезли меня сюда потому, что на меня указала официантка, подумавшая, что я подрался со своим соседом по столу?

— Давайте, давайте опознавайте, а то у меня уже там очередь пришедших на прием. Я готов!

Я встаю. От резкого движения перед глазами появляются темные круги.

Меня заводят в комнату без окон, где полицейский с жиденьким чубчиком указывает на свободный стул у стены, на четырех других сидят совершенно непохожие на меня люди: один очень молод, он уса́тый брюнет, другой в очках, с козлиной бородкой, третий — крепкий, обветренный, похожий на оставившего профессиональный спорт лыжника, четвертый — бледный, рыжий и конопатый. Я сажусь, слышу голос полицейского начальника: «Начинайте, Кузов, начинайте!»

Кузов встает перед нами и тихо говорит, что сейчас войдет тот, кто будет смотреть на нас, но мы не должны смотреть на этого человека, а должны смотреть на

него, на Кузова, который будет стоять у противоположной от нас стены. Кузов встает к стене, и в комнату входит женщина со стоянки, женщина-блевун. От нее пахнет несвежим телом, она шмыгает носом. Женщина проходит мимо нас, потом разворачивается и проходит еще раз, медленнее. Она останавливается, Кузов подходит к ней, берет за локоть, выводит из комнаты.

— Так, — в комнату входит полицейский начальник, — все свободны. Спасибо! Извините за доставленные неудобства!

Все встают, создают в дверях небольшую давку: в комнату пытается войти эфэсбэшник, который наконец просто отталкивает участвовавших в опознании, оказывается возле меня и полицейского начальника.

— Я вам говорил, Михаил Юрьевич! — говорит эфэсбэшник.

— Говорили, — вздыхает полицейский начальник.

— Михаил Юрьевич! — Я поворачиваюсь к полицейскому начальнику. — Теперь вы должны сказать — в чем дело? Почему меня привезли?

— Я уже говорил — была драка. Свидетель — женщина, которая никого не опознала. Муж ее — в коме, а брата мужа, Кунгузова Владимира, убили, а сама она — в девичестве Кунгузова, сестра нашего с вами, Антон Романович, Кунгузова, что вам ногу чуть не оттяпал дверцей. Ничего! У нас есть орудие убийства, железная труба, на ней эксперты ищут пальчики и, уверяю вас, Антон Романович, найдут. Обязательно найдут! Что ж...

— Думаю, Антона Романовича можно отпустить, — говорит эфэсбэшник.

— Конечно, конечно. Вы довезете Антона Романовича до администрации, Иван Суренович? Нет? Ладно, сейчас ему вызовут такси. За наш счет, Антон Романович, за наш счет!..

— Я провожу, — говорит Иван Суренович. — Пойдемте, Антон Романович.

Мы с ним идем по коридору.

— Я вас стыдить буду, Антон Романович, стыдить, — говорит эфэсбэшник. — Вы же его знали, Лебеженинова, вы были у них консультантом. Понимаю, это была халтура, приработок, вам не хотелось, чтобы в вашем управлении об этом знали, налогов вы не заплатили, но мне-то, мне сказать могли, а, Антон Романович? Нехорошо, не по-товарищески, мы же с вами в одной команде, в одной лодке, а вы... Стыдно, Антон Романович, вам должно быть стыдно!

— Мне стыдно, я виноват, я хотел сказать, но забыл, запомнил...

— Не верю я вам, Антон Романович, не верю! Вы сразу должны были его вспомнить, сразу, он у вас в гостях был, вы с ним чай пили, коньяк, обсуждали неофициальные гимны, Лебеженинов пел «Иерусалим», на языке оригинала, в переводе Маршака, в своем собственном, вы вели разные разговоры, вы его провожали, так что не надо — «забыл!» — ничего вы не забыли, Антон Романович, и вам должно быть стыдно. Ладно, вон та машина, вызвали вам, мы же гостеприимные, открытые люди, а вы...

...Надо мной бесконечное небо, в небе белые облака, они бегут быстро, внизу — полнейший штиль, безветрие. У входа в управление внутренних дел стоит серебристая машина. Я открываю заднюю правую дверцу, сажусь, закрываю дверцу.

— До городской администрации, — говорю я.

— Конечно, дорогой мой, конечно, — отвечает водитель и оборачивается ко мне: на скуле у него приличный синяк.

— Вы держались молодцом, — говорит он. — Просто блестяще! Я вами доволен.

— О, боже! — говорю я, он, уже привычно, выдает свою порцию «ха-ха-ха!»

— Будем реалистами. Тот, кого вы призываете или хотите призвать, к нашим делам не имеет никакого отношения. Вы просто не представляете, насколько он от них далек. Он вообще далек от всего, хотя нет ничего, в чем бы он не присутствовал. Все идет своим, от него не зависящим чередом. Он, как бы это понятнее для вас

обрисовать, внутри всего, а я — вовне, и поэтому коррективы вносятся только мною, от него уже ничего не зависит. Поэтому вам надеяться нужно только на себя и на то, что я что-то сделаю. Или наоборот — и это иногда бывает важнее — не сделаю.

Я чувствую, что у меня по щекам текут слезы. Они горячие. Я шмыгаю носом.

— Ну что вы разнюнились? Неужели вы могли предположить, что я оставлю безнаказанным то безобразие? Конечно, я бы мог не отвечать. Я и не отвечаю, если сталкиваюсь просто с насилием. Я вас не обманывал, я был искренен, когда говорил, что насилие — это грязь, но когда люди убивают ради денег, ради своего собственного выживания, оно по эту сторону добра и зла, это насилие смертных. Однако есть такие, кто решают — кому жить, кому нет. Для них главное, скажем, не чужие деньги, а чужая жизнь. Это зло по ту сторону добра и зла. Понимаете?

— Нет.

— Они претендуют на бессмертие. — Он поворачивается ко мне, смотрит с сочувствием, с жалостью. Впереди через улицу по пешеходному переходу идет мальчишка с рюкзаком за плечами. Сейчас мы его собьем. Я зажмуриваюсь. Меня бросает вперед: машина останавливается, я открываю глаза, мальчишка проходит, а он продолжает смотреть на меня.

— В мои функции входит подобное определить и пресечь. А претендующих все больше и больше. Лебеженинов, например. Он хуже убивающих, он угрожает порядку. Мы же вчера об этом говорили. Помните?

— Нет, — говорю я. — Чьи отпечатки на железной трубе исследуют сейчас криминалисты? Ваши?

— Обижаете! Они ваши. Мне же нужны гарантии. Врач, анализы — хорошо, вы ему позвоните, позвоните сегодня, он ждет, он сразу ответит, но я боюсь. Дважды, трижды. Запас прочности. Вот ваша гостиница, с вас восемьдесят рублей.

— Что? — Последние его слова потрясают меня даже больше, чем все предыдущие. — Восемьдесят рублей?

— Ну да! Двадцать процентов диспетчеру. У меня путевой лист. Поездки по городу. Это для вас дорого? У вас нет денег? Я за вас платил в кафе!

Моя голова сейчас лопнет.

— Но в полиции сказали, что поездка за их счет! Они должны были вам заплатить!

— Но ведь не заплатили! И в листе отметку не сделали. А я не могу терять шестьдесят четыре рубля. У меня сменщик. Прекрасный, между прочим, человек. Двое детей. Старшая дочь — подросток-переросток. Жена больна. Он сегодня в ночь. А из-за нашего с вами покойника ночной жизни практически нет, никто никуда не ездит, значит — сменщик будет почти пустой. Я должен ему оставить задел. Он на меня полагается. Мне чувство товарищества, чувство локтя вовсе не чуждо.

— Вот, возьмите тысячу! У меня мельче нет! Вы таксист? Это прикрытие?

— Тысяча! У меня нет сдачи! Вы считаете, что работа таксиста непрестижна? Не все заканчивают университеты!

— Сдачи не надо! Вот вам еще тысяча, для сменщика!

— Антон Романович! Оставьте купеческие замашки! Откуда это в вас? Ваш прадедушка был фармацевтом, дед — врач, отец пошел по той же стезе, а вы зачем-то занялись — признаю, довольно успешно — лженаукой. Были бы гинекологом и горя бы не знали. Помните, что вам говорил старший товарищ вашего отца, когда вы поступили в университет? Помните? Вы его встретили на тогдашней улице Герцена, ныне — Большой Никитской? Врач — это профессия, а психолог — глупость какая-то. Тысячу для сменщика дайте! Это же надо!

Я кидаю деньги на переднее сиденье, выскакиваю из машины, захлопываю дверцу и делаю пару шагов к крыльцу гостиницы.

— Антон Романович! — слышу я за спиной голос ангела, обернувшись вижу его бледную физиономию и с красными прожилками синяк. — Я могу вас подождать.

Отвезу потом в администрацию. Сейчас свяжусь с диспетчером, скажу, что я с вами до конца дня. Антон Романович!...

— Вы... Вам нельзя верить! Вы подстроили с трубой, вы...

— Антон, дорогой мой человек! Трубу вы взяли сами. Кто вас заставлял? Отдохните, успокойтесь. Все будет хорошо.

Я поднимаюсь по ступеням крыльца, вхожу в холл гостиницы, поднимаюсь на свой этаж, открываю дверь номера, валюсь на гостиничную прибранную и заправленную кровать. Бессмертие! Окровавленные простыни убрали. Люди, мнящие себя бессмертными! Как убрали и использованную прокладку, а упаковку со свежими положили на испорченный столик. Зло по ту сторону добра и зла! Рядом с упаковкой лежит принесенная из сна, тускло поблескивающая коробочка. Восемьдесят рублей!..

14.

...На мой звонок отвечает Раечка, говорит тихо, торжественно, с придыханием:

— Здравствуйте! У нас визит высших должностных лиц. Алексей Алексеевич дает пояснения у карты, у себя в кабинете. Просил, если позвоните вы, передать... Они выходят!

Слышно, как Раечка кладет трубку на стол, как говорит: «Алексей Алексеевич! Это Антон Романович Шаффей! Вы просили вас немедленно соединить...» Голос нашего начальника строг и проникнут ответственностью:

— Да, Антон Романович, слушаю!

— Привет, — говорю я, стараясь придать голосу нотки усталости, и сразу начинаю убеждать: — Тамковская строит из себя невесту что. Извекович еще туда-сюда, но...

— Понимаю, Антон Романович, понимаю. Да, я получил ваш отчет. Очень хорошая работа, очень.

— Я отчета не посылал. Это Тамковская прислала кляузу. Слушай, тут странная ситуация, я в некотором затруднении...

— Согласен, Антон Романович. Меня уполномочили передать вам, что губернатор, совет министров и лично премьер-министр оценивают работу вашей группы и вашу лично очень высоко.

Слышно, как кто-то что-то говорит, наш начальник выслушивает говорящего и произносит в трубку:

— Антон Романович, председатель правительства передает вам благодарность и желает дальнейших успехов. До связи!

Я обессилено опускаю руку с зажатой в ней трубкой. Председатель правительства? Или — ангел, в другой ипостаси, появившийся в приемной в окружении ведьм, вурдалаков и василисков, в глазах Раечки и нашего начальника сошедших за помощников, охрану и секретарей? Может, наш начальник тоже должен выполнить какое-то поручение, остановить кого-то еще, другого Лебеженинова?

Мне хочется выпить. Чего-нибудь продирающего до кишок. Я набираю на гостиничном телефоне номер администратора и после первого же гудка слышу нежный голосок:

— Да, Антон Романович! Что желаете? Меня зовут Татьяной.

В этом мире, по эту сторону добра и зла, администратор говорит с такой интонацией, что пожелаю я сейчас выпить ее саму, она попросит пару минут — охладиться и взболтаться.

— Скажите, Таня, я могу попросить принести немного коньяка? Граммов сто пятьдесят и бутербродик. Я немного устал, мне надо...

— Уже несут, Антон Романович, уже несут!..

...Но каков! Он все, все знает про меня, а вот с прадедом ошибочка: он был фармакологом, не фармацевтом, он изобретал лекарства, а не торговал ими, но в

какой-то момент поменял направление, плюс на минус, минус на плюс, занялся ядами, ядовитыми газами, боевыми отравляющими веществами. Его лаборатория выпустила столько смертоносных рецептов, что мало какая другая могла бы с нею сравниться. Порошки и растворы моего прадеда испытывались — уже в двадцатые годы — на приговоренных к высшей мереЮ и прадеду повезло умереть в начале тридцатых.

В дверь робко стучат, и входит вчерашняя женщина. Кламм. Ее грудь еще выше, талия тоньше, глаза накрашены еще более броско.

— Я несколько раз звонила, дважды заходила, — говорит она, — сейчас наудачу. Просто была рядом. Я у тебя забыла помаду. Она моя любимая. Купила шесть пенальчиков в Париже. Ты был в Париже? Прекрасный город! Этот пенальчик — последний. Использовала в особых случаях. Вчера был как раз такой. Ты согласен? Ну что ты лежишь?!

— Я так лежу с тех пор, как вы меня покинули. Лежу и думаю о вас.

— Обманщик! Лстец! Вчера я почувствовала себя свободной. Вставай, поцелуй меня или я на тебя обрушусь. Обрушиться? Ты этого хочешь?

Она вплотную придвигается к кровати. Темные полукружья у подмышек. Вырез ноздрей.

В дверь стучат.

— Ты кого-то ждешь?

— Да, — отвечаю я. — Жду, очень жду. А этот майор, он...

— Он тебя смущает? Не бойся, он не прилетит тебя бомбить. Его давно не допускают к полетам. Бояться надо только самих себя! Неужели ты этого до сих пор не понял?

— Я об этом читал. Войдите!

Входит официантка, поднос заставлен посудой, на нем возвышается вазочка с блекло-красной розой. В обесцвеченные волосы официантки криво вколот маленький кокошник, черное, очень короткое платье, белый передник, голубые глаза, круглое лицо, пунцовые губы.

— Поставьте сюда, — командует Кламм, указывая на журнальный столик. — Цветок — мой. Я стояла возле администратора, когда ты просил коньяку, я шла к тебе с розой... Вы свободны, — кивает она официантке, уходя, та делает попытку изобразить книксен, потом прыскает, прикрывает рот ладошкой. — Ну, что тут у нас?

Кламм стоит ко мне спиной, изучает то, что принесли на подносе.

— Могли бы и черной икры принести. У меня аллергия от красной. Сыпь. Врач сказала, что...

Врач! Мне надо позвонить врачу! Я беру телефон, выбираю номер врача, нажимаю «вызов». Автоответчик! Ангел обещал, что врач ответит сразу. Ангел плохо знает его расписание — в это время мой врач обычно оперирует. Зеленоватый халат. Маска. Перчатки. Очки: у него кровавая работа. Я думаю о крови — сначала своей, потом о крови того, кто остался лежать на автостоянке возле кафе «Кафе», думаю о своих отпечатках на железной трубе. Есть ли у Михаила Юрьевича, у Ивана Суреновича другие мои отпечатки? Они уже изъяли чашку из ресторана, стакан из номера? Или теперь я, неопознанный женщиной-блевуном, вне подозрений? Это — тщетная надежда, мой ангел что-нибудь им подкинет.

— ...это следствие вирусной инфекции, — говорит Кламм. — Вирусы! От них невозможно спастись! — Она нагибается к подносу, ее тугой зад сейчас порвет платье.

— Вы не могли бы забрать свою помаду и немного погулять? — говорю я, вызывая врача еще раз. — Мне надо сделать еще несколько важных звонков.

Она обижено вздыхает. Разворачивается на одной ноге, идет в туалет, возвращается.

— Там нет помады! — сообщает она.

Я слышу голос врача и машу рукой на женщину, обида просто захлестывает ее, грудь ее опадает, она становится ниже ростом, понуро идет к двери.

— Я буду ждать тебя внизу! — говорит она. — В холле. Хорошо? Договорились?

— Да! — повторяет врач. У него голос бодрый, он весел, оптимистичен, я так и вижу перед собой его розовые щечки, тонкие усики, крепкую шею.

— Добрый день, Анатолий Николаевич! Это Шаффей.

— Кто?

— Шаффей, Антон Романович Шаффей, внук профессора Шаффеля, который гонял вас по полевой хирургии. Помните? Я хотел узнать, как мои анализы.

— А, Антон Романович! Антон Романович...

Пауза, которую выдерживает врач, мала, ничтожна, но мне она кажется почти бесконечной, намеренной, призванной раздавить меня, уничтожить.

— ...результаты еще не готовы. Я говорил вам — в конце недели, обычно в течение десяти дней, но у нас сейчас лаборатория не работает, мы посылаю все в другую... Вы слушаете, Антон Романович?

— Слушаю, но вы говорили позвонить, и мне странно, что столько времени...

— Я говорил только одно, Антон Романович, что вам нужен постельный режим. Вам надо было остаться в нашей клинике. Как вы себя сейчас чувствуете? Как швы?

— Не разошлись. Не гноятся.

— Понимаете, Антон Романович, вас должен наблюдать специалист. А вы...

— Но я себя хорошо чувствую...

— Тогда позвоните в понедельник. Результаты будут. А когда приедете, я вас посмотрю. Бесплатно! — Он отключается, и на дисплее я вижу вызов: это наш начальник.

— Привет! — говорит он. — Ты где?

— В гостинице. Лежу на кровати. Мне принесли коньяк, бутерброды, минеральную воду, — я поднимаюсь на локте, оглядываю поднос, — лимон.

— Подожди! — Слышно, как наш начальник наливает что-то в стакан. — Давай, чокнемся через расстояния!

— За что пьем? — Я беру коньячный бокал.

— Нам увеличили финансирование, штаты, дадут помещение в самом центре, своя стоянка. На прорыве плотины, на землетрясении все сработало прекрасно, но ваша работа оказалась последней, последней в хорошем смысле, каплей. Мне звонил губернатор, сказал, дословно сказал — ваш Шаффей просто... — слышно, как наш начальник делает хороший глоток, — просто гений. И к нам, совершенно неожиданно, приехал премьер! Ну, конечно, с утра тут появились люди из ФСО, но от них узнать — кто, когда, зачем? — невозможно. И тут — звонок. К вам едет! Я ему все показал. Премьер обещал: мы вас поддержим, мы вас продвинем. Слушай, чем ты так очаровал всех в этом Задрищинске?

— Не знаю, — говорю я. — Честное слово — не знаю. Мы работаем, Извекович и Тамковская...

— Если бы ты не был таким скромнягой, ты бы давно сам продвинулся... Ладно! Ты выпил?

Я вливаю в себя коньяк, закусываю бутербродом. Икринки лопаются во рту.

— Ну, давай! — Слышно, как он делает еще несколько глотков. — Тамковская мне звонила. Вчера. Жаловалась на тебя. Даже не буду повторять, что она говорила. Бред какой-то несла. Обижена, что ты в присутствии третьих лиц назвал ее жопой. Или послал в жопу. Ты это зря. Хотя она, конечно же, жопа... Ну, я попросил успокоиться. А еще она сказала, — наш начальник фыркает, — сказала, что ты считаешь, будто покойник воскрес на самом деле. Даже заикалась от возмущения... Говорят, нас будут награждать. Медаль. Или орден.

— Мне — орден, — говорю я. — Чтобы звезда на ленте, на шее — крестик. И

пансион. Дворянство. Деревенку на кормление. Буду целковые пейзажам дочкам выдавать.

— Хорошо, напишу. Долго ты будешь лежать на кровати и пить коньяк?

— Я так устал... И я не посылал тебе отчета.

— Ну, ясен пень — не посылал! Но теперь придется отчет подготовить. Завтра пришли. Сколько принято, какие проблемы, рекомендации, тенденции, оценка ситуации. Премьер в личной, очень личной беседе упомянул, что в Сети ходит версия, будто оживший покойник — операция спецслужб для прикрытия какой-то другой, общегосударственного масштаба, в которой будут задействованы другие ожившие покойники...

— Ты веришь в то, что говоришь? Другие ожившие покойники! Это бред!

— Нет такого бреда, который не мог бы стать явью. Так сказал премьер. Ты записываешь? Еще напишешь обо мне воспоминания. Все, жду отчета. Пока!..

15.

В холле администратор Татьяна, у нее скорбное выражение лица.

— Госпожа Кламм... она...

Сейчас, сейчас она скажет, что пышущая здоровьем Кламм скоропостижно умерла, упала перед стойкой и — умерла.

— Она вас не дождалась, — и Татьяна протягивает узкий, неподписанный конверт.

В конверте — лепестки розы, сложенный пополам листок тонкой бумаги, почерк крупный, промежутков между словами почти нет: «Администратор Татьяна прислана за вами следить. Никому не доверяйте! До встречи! P.S. Помаду я так и не нашла».

Последние строки записки я дочитываю уже на крыльце гостиницы. Обернувшись, сквозь стеклянные двери, я вижу, что Татьяна подносит к уху телефон, слушает, что ей говорят, смотрит на меня, и наши взгляды встречаются. Кто ее прислал? Иван Суренович? Михаил Юрьевич? Ангел-таксист, дьявол-обманщик?

Меня окликают: это Петя Тупин, он стоит возле темно-синей «волги», блистающей чистотой и хромом. Солнце отражается от гладких петиных щечек.

— Антон Романович! Я за вами! Вас ждет наш глава, но если у вас какие-то дела, если вы хотите сначала куда-то заехать...

— Едем, Петя, — говорю я, и мы мчимся по улицам городка, на перекрестках — патрульные машины, на упирающемся в памятник Ленину бульваре — трое в папах, с нагайками: Петя сообщает, что здесь свои казаки и атаман, обещавший с покойниками разобраться.

— Сегодня будет эксгумация, приедет тьма начальников, — говорит Петя. — Жмура нашего вытащат, удостоверятся, что он как лежал, так и лежит, и зароят навсегда...

...Глава идет навстречу с протянутой для рукопожатия рукой, глаза покраснели от бессонницы, губы обветрены, на щеках двухдневная щетина, усаживает в кресло, садится напротив, на столике между кресел — ваза с фруктами, минеральная вода, что-то темное в графине. Он молча указывает на графин, понимающе кивает, когда я отказываюсь, кивает, когда я говорю, что обедать с ним отказываюсь не потому, что пренебрегаю, и даже не потому, что меня ждут пришедшие на прием, а потому, что должен быть на жесткой диете, которую я по прибытии в его прекрасный город уже нарушил не раз и не два. Глава говорит, что он в курсе — к ним я приехал практически с больничной койки, — они это ценят, для них это очень важно, они мне обязаны, — но теперь, как ему опять же таки сообщили, с моим здоровьем все хорошо, я иду на поправку, и тут дело, наверное, в том, что настоящие люди здоровье свое могут сберечь

и преумножить только по-настоящему, тяжело работая, и в том, что атмосфера их города сама по себе благотворна, она — лечит, какие б события, пусть самые фантастические, самые несуразные, странные и даже ужасные, в нем ни происходили. Он говорит связно и красиво, я беру из вазы персик и надкусываю, сок течет по подбородку, глава подает салфетку и говорит о том, что мы должны ценить простые человеческие радости, что жизнь так коротка и надо ловить каждый момент, жить здесь и сейчас, но помнить о вечном, стремиться в будущее. Мне становится скучно. Я чувствую каждый удар сердца. Оно временами замирает, потом начинает идти словно нехотя, будто его заставляют.

Я киваю, обсасываю персиковую косточку, а глава говорит, что часто встречался с таким явлением, как столичный снобизм, а мы, Тамковская, Извекович и я, люди простые, свойские, с нами хорошо говорить, нас хорошо слушать. Я киваю и отщипываю от большой виноградной кисти маленькую веточку. Мне хочется сказать, что ни я, ни Тамковская с Извековичем никакие не простые, никакие не свойские, что мы себе на уме, но молча ем виноград.

Глава сообщает, что после предстоящей эксгумации операцию «Покойник» скорее всего придется свернуть. Я делаю вид, что удивлен.

— Но мы еще ее не закончили, — говорю я и тянусь к еще одной виноградной кисти. — Мои коллеги лишь приступили к поиску причины, из-за которой столь экстравагантная в наши дни история началась именно в вашем городе. Я, со своей стороны, занят тем, что пытаюсь понять механизмы распространения этой фантазии. И могу со всей ответственностью заявить, что свертывание операции приведет к рецидиву, к последствиям, быть может, более фантастическим, более несуразным, странным и даже ужасным, чем они были до сих пор. Это может распространиться на другие губернии, регионы и даже — стать явлением общегосударственного масштаба. И поэтому нет ничего глупее, чем свертывать нашу работу.

Глава молчит. Буравит меня взглядом. Неприятный временами у него взгляд. И я заканчиваю:

— Именно тем, что существует опасность пандемии, и можно объяснить сегодняшний визит председателя правительства в наше управление.

— Из-за визита премьер-министра я и пригласил вас, потому что... — произносит глава. Ему трудно. Он мучается. Он подбирает слова. Уверенный в себе человек, обладатель презрительного, острого взгляда сидит напротив и мямлит словно школьник. Но не про ночные страхи, властного отца, проблемы с женой. Глава раскрывается с неожиданной стороны: он просит помочь вывезти из города семью Лебеженинова — его вдову, детей, ее родителей; если бы речь шла только о вдове, глава решил бы все сам, но состояние отца вдовы ухудшилось, его надо перевозить специальным транспортом, под постоянным врачебным надзором, и глава обращается ко мне — наше управление, как ему сказали, таким транспортом располагает, и можно ли, в условиях полной конфиденциальности...

— Микроавтобус стоит в гараже. — Мне нравится конфиденциальность, я люблю секреты, тайны, загадки. — Но куда их везти? Они же продали свою жилплощадь...

Глава говорит, что все подготовлено — куплена большая квартира, в которой вдова Лебеженинова сможет жить вместе с детьми и родителями, все оформлено, проставлены нужные штампы, внесены обязательные записи.

— Это гуманно, — говорю я. — Вы так о них заботитесь! А когда вы купили квартиру?

— Квартиру приобрели на средства Фонда гуманитарных инициатив. Спонсоры внесли в Фонд деньги, Фонд связался с риелторами, они предложили несколько вариантов. Мы выбрали между Садовым и Третьим кольцами, в тихом районе, все рядом, садик, школа, поликлиника, магазины. Не ждать же, пока этот шатун что-нибудь еще учудит. Надо действовать!

Я прошу главу уточнить — что он имеет в виду под «учудит»? — и глава, к моему глубочайшему изумлению, говорит, что оживший Лебеженинов или нападет на кого-нибудь, или укусит, или захочет вернуться в семью, или будет требовать правосудия, заявившись в прокуратуру с жалобой, а скорее всего — Лебеженинов сделает все и сразу, да еще раздует вокруг себя скандал.

— Ведь, — продолжает глава, — от Лебеженинова, когда он был еще жив, всего можно было ожидать, а уж теперь, когда он переродился, он представляет самую настоящую угрозу, угрозу порядку, устоявшемуся порядку.

Мне нравятся слова про угрозу порядку. Где-то, от кого-то я их уже слышал, причем совсем недавно, а глава продолжает — он говорит, что внимание к происходящему в городке привлечено еще и потому, что отсюда вышли многие знаменитые люди, и теперешний вице-губернатор, который для главы все равно что старший друг, и премьер-министр, который — глава придвигается ко мне, лицо его каменеет, глаза голубеют еще больше, щеки бледнеют — который будет президентом, и в этом сомнений нет и быть не может, а наш премьер-министр для главы — старший брат, который, став президентом, перевоплотится в отца.

Некоторое время мы молчим. Я впечатлен пронизанной подлинным, натуральным психоаналитическим духом конструкцией. Старший брат, перевоплощающийся в отца! Это очень интересно, Иосиф, его старшие братья, Иаков, сын Исаака, сам младший брат, державший старшего за пятку, тут, если постараться, многое можно притянуть для интерпретации происходящего в городке, даже Эдипа, сфинкса, Иокасту, здесь есть где развернуться, надо подкинуть это Тамковской, она обложится книгами, сядет с ногами в кресло, нацепит на кончик носа очки, будет делать выписки; Ольга, мы прожили вместе полторы недели, больше я выдержать не мог, а она предупреждала. У меня перед глазами картина «Иаков узнает одежды Иосифа». Академизм и лживость. А еще я вспоминаю бесконечные споры с Тамковской. Ее обьятия. Ее стеснительность. Она всегда просила выключить свет, поплотнее задернуть шторы, не смотреть.

— Скажите, — спрашиваю я, — когда она уехала, вышла замуж за художника по фамилии Лебеженинов, родила ему детей, вы сильно переживали?

Глава некоторое время смотрит в пол. Играет желваками. Вдруг, совершенно по-детски, шмыгает носом и говорит, что да, да, переживал, даже — страдал, ведь она была у него первой, и он был первым у нее, но потом смирился, и жизнь пошла своим чередом, и сейчас он не может уехать с ней вместе — ему предначертано стать членом команды будущего губернатора, он пойдет дальше, и не бросит жену и детей, да и вдова Лебеженинова против, она считает, что безнравственно строить счастье на несчастье других.

Я перебиваю, спрашиваю — виделся ли глава с Лебежениновой, когда она с мужем приехала в город, и глава отвечает, что, конечно, виделся, на открытии художественной школы, и сразу по их прибытии, а о том, что Лебеженинов с семьей переезжает в городок, он знал от ее отца, но я уточняю вопрос — виделся ли, так сказать, в интимном смысле слова, возобновил ли старое знакомство? — и глава повторяет: она была у него первой, а он первым у нее — и вообще превращается в студень, рассуждает о первой любви, о том следе, который она оставляет в нашей душе, и признается, что — да, виделся и в интимном смысле, у Лебеженинова был сложный характер, он проявлял черты деспотизма, он был излишне принципиален, он качал права, изводил жену придирками, но не бытовыми, это-то ладно, а теми, что можно назвать идейными, требовал, чтобы она высказалась по поводу какой-то правительственной инициативы или по поводу очередного преследования очередного бездельника, который, вместо того чтобы заниматься делом, стоял с плакатом, протестуя против того, в чем он ничего не понимает, и поэтому она, тогда — жена,

теперь — вдова Лебеженинова, искала успокоения, и глава не мог остаться в стороне. Он дал ей искомое.

— Лебеженинов, значит, во всем виноват? — спрашиваю я. — И в том, что умер в вашей ментовке, и в том, что теперь бродит по вашим улицам, и в том, что...

...Я говорю даже, что он виноват и в том, что меня отправили в этот городок, хотя мне надо было лежать в постели, менять прокладки, пить лекарства, я говорю даже, что Лебеженинов виноват в том, что мои лекарства так дороги, что так дорог один день пребывания, один-единственный день в клинике, где работает мой врач. Своими словами, всем своим видом я раздражаю главу администрации, но он терпит, и я вознаграждаю его терпение — прямо из его кабинета звоню нашему начальнику, — но прямой не отвечает, личный вне зоны, а Раечка сообщает, что наш начальник на радостях поехал к семье, спрашивает про здоровье, про то, как я лажу с Тамковской. Я говорю, что здоровье как масло коровье, что ладим мы великолепно, что мне может срочно понадобиться наш специальный транспорт.

— Механик его посмотрит, — говорит Раечка. — Завтра транспорт будет у вас.

Когда я прячу телефон, в кабинет входит Петя.

— Приехали, — говорит Петя. — Сразу — на кладбище. Прокурор. Губернатор. Делает вид, будто бы просто так заехал. Ждут вас.

Глава снимает со спинки кресла пиджак, мы спускаемся вниз, выходим из здания городской администрации и выясняется, что отлучился водитель — обеденное время, Петя отправляется за ним в буфет, а пока мы стоим с главой в тени деревьев. Трещат сороки. На одном из деревьев сидит белка. По асфальту прыгают воробьи. От большой бетонной урны пахнет гнилью.

— У вас тут хорошая экология, — говорю я.

— Хорошая, — кивает глава. — Но нет инвестиций. И людей нет. За последнее время к нам приехал только Лебеженинов.

— А вы его взяли и убили!

Сороки рассаживаются на ветках вокруг белки и собираются белку заклевать. Глава смотрит на сорок и белку, он говорит устало, с тоской в голосе:

— Он умер в камере, от сердечного приступа.

— Но в камеру-то он попал по вашему негласному, а быть может — гласному распоряжению. Вы были заинтересованы в его смерти. Вы ее желали. В вас вызрело то, что воплотилось в камере вашего городского «допра».

— Все не так, — говорит глава. — Вы ничего не знаете. Вы — чужой...Мы для вас тараканы.

Мне хочется ответить, что уж глава-то для меня не таракан, но появляются Петя и водитель, картинно вытирающий рот тыльной стороной руки, Петя виновато красен, мы садимся в «волгу» и едем на кладбище.

16.

У могилы Лебеженинова полный сбор. Мои знакомцы — Михаил Юрьевич и Иван Суренович, прокурор в темно-синем с серебром мундире, несколько человек в хороших костюмах, рабочие в новеньких комбинезонах. Губернатор выглядит как вышедший пройтись обеспеченный пенсионер — твидовый пиджак, рубашка без галстука с расстегнутым воротом, у него короткие ноги, сухая голова, седые, вставшие от ветра вокруг лысины волосы, он держит руки в карманах брюк, на сгибе правой руки — светло-серый плащ. Возле могильного камня с надписью «Сазон», стоят Тамковская и Извекович. У Тамковской скорбное выражение лица. Извекович мне кивает, Тамковская поджимает губы и смотрит куда-то в сторону.

Я прослеживаю направление ее взгляда: глава подходит к губернатору, который, вынув правую руку из кармана, подает ее главе. Уши главы пунцовеют. Он что-то

шепчет в маленькое, плотно вылепленное, будто восковое губернаторское ухо. Губернатор кивает. Я делаю несколько шагов и оказываюсь рядом с коллегами.

— Манкируете, Антон? — вместо приветствия говорит Тамковская. — На приеме вас нет, утром на стук в дверь не отвечаетесь. Куда-то вас увозят на полицейской машине, сюда привозит глава города. Признайтесь — вам поручили что-то очень важное? Рассказывайте!

— Молчите. — Извекович крепко жмет мне руку. — Молчите! Никогда ни в чем не признавайтесь! Как вы себя сегодня чувствуете?

От Извековича пахнет сигарным табаком, хорошим одеколоном. Морщинки у глаз собираются в причудливый узор.

— Спасибо, неплохо, — отвечаю я. — Вы уже знаете?

— Про визит премьера? — Извекович глубокомысленно кивает. — Мне позвонили старые знакомые из его аппарата. Спросили — какой на мне галстук. Я ответил, что я без галстука. Они посоветовали съездить домой и переодеться — мол, наш премьер любит официальность. Они думали, что я в офисе. Я перезвонил Алексей Алексеевичу, чтобы его подготовить, но его уже предупредили. Думаю, Алексей Алексеевич пойдет на повышение. Премьер возьмет его к себе.

— Ну что вы такое говорите! — Тамковская пожимает худыми плечами. — Кто же займет его место?

Мы с Извековичем переглядываемся. И он, и я хотим ответить Тамковской — «Вы!».

— На такие посты сейчас назначаются новые кадры, — с видом знатока говорю я. — Скажем, из провинции взяли нового замминистра, у него жена работала директором детского сада, в педучилище факультативно изучала работы Бенджамина Спока, приобрела репутацию...

— Вам бы такой руководитель в самый раз, — кивает Тамковская.

Рабочие цепляют плиту к тросам и ждут команды губернатора. Тот смотрит на прокурора.

— Поднимай, — командует прокурор и машет рукой. Плита отрывается от земли, поднимается все выше и выше, застывает высоко-высоко, рабочие хватают лопаты и начинают разрывать могилу.

— Как вы думаете — что там? — спрашивает Извекович.

— Ну, пожалуйста — прекратите! — Тамковская вытягивает шею, стараясь заглянуть за спины рабочих. — Там в гробу лежит Лебеженинов.

— Как у вас все просто. — Извекович поворачивается ко мне. — Предлагаю пари. Ставлю тысячу, что его там нет.

— Согласен! — киваю я. — Тысяча на то, что он там.

— Если он там, ему вобьют в грудь осиновый кол. Вон, смотрите, вон, с краю.

Мы с Тамковской смотрим туда, куда указывает Извекович. Действительно, рядом с копающими рабочими стоит еще один, тоже в комбинезоне. И у него в руках здоровенный заточенный кол.

— Какой кошмар! — вскрикивает Тамковская. — Я не верю своим глазам! Сейчас двадцать первый век! Осиновый кол! Я... Я сейчас позвоню Алексей Алексеевичу! Попрошу связаться с аппаратом премьера! Это необходимо предотвратить!

— Прекратите, Ольга! — шипит Извекович. — Отнеситесь к этому как к эксперименту. У вас должна быть позиция исследователя. Вы не должны...

— Я сама знаю, что я должна, что — не должна, Роберт. Не указывайте мне!

Тамковская с Извековичем переходят на шепот. На шее Тамковской вздуваются жилы. Я оглядываюсь. В отдалении стоит священник. Он держится двумя руками за висящий на шее крест. Мне кажется, что он смотрит прямо на меня. Священник крестится и быстро уходит, приподняв полы рясы, по высокой траве доходит до аллеи, поворачивает в сторону церкви, теряется среди высоких стволов старых лип. Тут я

замечаю опознававшую меня женщину, сестру убитого, жену находящегося в коме. На ней строгий деловой костюмчик, приталенный пиджачок, юбка чуть ниже колен, шелковая блузка, на сгибе руки — белая сумочка. Женщина смотрит на меня, криво улыбается.

— Простите, — говорю я Тамковской и Извековичу — им до меня все равно дела нет, они шепчутся-шипят друг на друга, — и подхожу к женщине.

— Мы знакомы? — спрашиваю я.

— А то! Еще как знакомы, дорогой мой, — от нее пахнет горькими духами и сладкими леденцами. — Еще как!

— Да? Не могли бы вы напомнить...

— Кончай трендеть!

— Простите?

— У меня дети, — говорит женщина. — Танька в седьмом. Он такое обещал с ней сделать, сказал — ты ему нужен. Сказал — если я тебя опознаю, муж станет овощем, а не опознаю — у мужа будет шанс. Не вылечить обещал, а шанс, сука, обещал. Вот я тебя и не опознала!

У нее красные глаза, она не знает, куда девать руки, они мелко дрожат.

— Простите, но я не понимаю — о чем вы говорите. И о ком. Кто вас запугал?

— Если бы не он, я бы тебя ушатила прямо здесь, дядя, — она придвигается ко мне, сглатывает слюну. — Детей жалко, а то бы тебе мало не показалось. Пока с тебя на лечение. Ты мой должник. Он так сказал. Понял?

— Вы хотите денег? Я правильно понимаю? Денег? За что?

До нас доносится звук лопаты, ударившейся о крышку гроба. Она молчит, смотрит на меня, ее взгляд ничего не выражает, слегка смуглая кожа, темные, с проседью волосы.

— Деньги-то есть, но мне все-таки непонятно — кто вас запугал? Кто обещал дать вам шанс?

— Тот, кто был с тобой на стоянке.

— Но меня там не было, у меня алиби, я был в гостинице. Это могут подтвердить как минимум двое человек. Это зафиксировано в подписанном мной протоколе. Это понятно?

— Он сказал, чтобы я взяла с тебя деньги. У него с собой не было. Он обещал тебе вернуть. Сказал, чтобы я взяла тысяч пять-шесть, на первый раз.

— Очень мило! Может, и вам и тому, кто сказал взять у меня деньги, пойти на хер?

Я произношу последние слова и чувствую, как по спине бежит струйка пота. Мне страшно, и я ревную. Как же так! — думаю я. — Как же так! Он же обратился с просьбой ко мне, он выбрал меня, меня одного. Так я, во всяком случае, подумал в кафе «Кафе», и, признаюсь, мое тщеславие было удовлетворено, я предчувствовал, предощущал свою с ним встречу, это предощущение возникло давно, и вот оно воплотилось, я оказался избранным, отмеченным. Теперь же получается, что им выбрана и эта мерзкая баба. Мне надо с ним встретиться вновь, попросить, чтобы он полагался только на меня, чтобы отказался от других, кем бы они ни были, какой бы властью ни обладали: я сделаю все, все возможное, я обещаю, клянусь, я докажу свою преданность и покорность.

— Что же делать? — спрашивает Кунгузова.

Что ей делать?! Она меня спрашивает? Меня? Мне становится стыдно за свое хамство.

— Простите, — говорю я. — Мне очень жаль. Правда.

Она всхлипывает и начинает плакать. Слезы текут по одутловатым щекам, промывают дорожки в слое наспех наложенного тонкрема.

— Что же делать? — повторяет она за моей спиной рабочие, расширив стенки могилы и подкопав гроб, заводят под него стропы, выкладывают их на краю могилы,

вылезают наружу, подхватывают стропы, широко расставив ноги, чуть приседают, начинают их выбирать.

У Лебеженинова гроб дешевенький. Синяя обивка, местами сбита, открывшая плохо обструганные доски. Рабочие переносят гроб через холм вынутой из могилы земли, ставят на заранее подготовленные козлы. Губернатор что-то говорит главе, глава манит к себе Петю, и Петя, спотыкаясь, оскальзываясь, лавируя между могильными плитами и оградами, направляется к Тамковской, говорит, что губернатор и областной прокурор хотели бы, чтобы руководитель группы службы экстренной психологической помощи присутствовал при поднятии крышки гроба. Тамковская бледнеет, цепляется за Извековича так, будто ее сейчас столкнут в лебежениновскую могилу и заживо засыпят землей.

— Пожалуйста, Антон, — Тамковская еле-еле, с трудом выталкивает из себя слова.

Я иду за Петей и оказываюсь рядом с губернатором. Слева от меня — прокурор, он дает рабочим команду, они, вооружившись фомками, поддевают крышку гроба. Ноют гвозди. Во рту становится сухо. Крышку поднимают, прислоняют к гробу. В гробу лежит русоволосый человек, у него высокий лоб, нос с горбинкой, руки сложены на груди.

— А он у вас был красавцем, — говорит губернатор.

Забежавший в гроб ветерок приподнимает прядь волос лежащего, порыв стихает, прядь опускается на лоб.

— Это точно он? — губернатор обращается к главе. — Надо было позвать вдову. Вдруг — подменили? А? Она бы опознала...

Глава не отвечает, переминается с ноги на ногу.

— Вы считаете — такое возможно? — спрашиваю я.

— У нас все возможно! — губернатор преисполнен гордости.

— Это он, — тихо говорит глава. — Никого звать не нужно.

— Ну, тебе виднее, — губернатор привстает на цыпочки, заглядывает в гроб. — А вы, Антон Романович, не хотите заглянуть? Вам право первого взгляда. Как гостю. По законам гостеприимства. Ты не возражаешь, прокурор? Нет? Прошу вас, Антон Романович, прошу!

Я делаю шаг вперед. Потом — еще полшага. Передо мной чуть тронутый тлением, со сложенными на груди руками и начавшими расползаться губами художник и учитель, педофил и взяточник, несчастливый муж, нашедший последний приют, отправившийся в плаванье, убиенный, погибший, умерший. Была надежда, что все прошедшее, в том числе и в первую очередь — встреченный мной ангел-таксист, все будет забыто как сон, все вернется к началу, впавшие в кому из нее выйдут, погибшие от удара металлической трубой воскреснут, а вся история с Лебежениновым раскрутится в обратном направлении, и он не умрет в камере, а, в обратной перемотке, уедет из городка, и мы сюда не приедем, Тамковская будет сидеть в своем кабинете, Извекович — в своем, я — в больничной палате, в трубочках-проводочках, в ожидании судна. Надежда не сбылась: меж пальцев Лебеженинова зажат оторванный цветок лилии, точно такие же стояли в трехлитровой банке на столе у его вдовы, другие цветы, лежащие в гробу, пожухли, сморщились, этот — свеж, ярк, его аромат примешивается к запаху тления, от смеси запахов начинает мутить.

Меня теснит эксперт, он в сером халате, перчатках, бахилах, шапочке. На нем защитные очки, на поясе — сумка для сбора вещественных доказательств, другая, с инструментами, висит через плечо. За ним следует фотограф, его камера шелкает, ловящий фокус объектив жужжит.

Оглянувшись, я вижу, что Тамковская с Извековичем идут к кладбищенским воротам. Издалека они похожи на родителей, навещавших могилу сына. Их спины горестны и безутешны. Каблуки Тамковской проваливаются в сырой гравий, Извекович

поддерживает ее за локоть. Глава администрации и местные начальники составили группу вокруг прокурора. Прокурор сдержано жестикулирует. Видимо дает пояснения о правовых аспектах существования оживших покойников, об их правах и обязанностях, о надзоре над соблюдением оных.

Человек с осиновым колом подходит ближе к гробу, его куртка подпоясана узким кожаным ремешком, за ремешок заткнут деревянный молоток. Я обращаю внимание на то, что у этого человека рыжая всклокоченная борода, он сдергивает с головы плотную шапочку, и на плечи ему падают длинные темно-русые волосы. Этаким былинный герой. Я оборачиваюсь к губернатору: этого безумца надо остановить, распоряжение вбить кол в Лебеженинова надо отменить, пересмотреть!

— Не волнуйтесь вы так, Антон Романович. — Губернатор широко улыбается. — Все под контролем!

Он обходит меня, подходит к рыжебородому, забирает у него кол и молоток, берет кол на изготовку, встает вплотную к гробу.

— Что вы... Что вы собираетесь делать? — Я облизываю пересохшие губы.

— Я же сказал — не волнуйтесь. — Губернатор улыбается чуть в сторону от меня, я слышу, как за моей спиной срабатывает спуск фотоаппарата, а рыжебородый, достав из кармана куртки телефон, начинает снимать губернатора.

— Вы что подумали, Антон Романович? Мы же современные люди! Это я для дочек, одной в Швейцарию, другой в Штаты. Они просили. Да и из аппарата премьера просили, для прикола. Антон Романович! Куда вы? Куда?

...Я смотрю на облака. Мне нравится, что облака снизу окрашены сильно разбавленной лазурью, выше они начинают кучерявиться, светлеть, становятся совершенно, невыносимо белыми. Мне кажется, что на облаке, словно неподвижно висающем над невидимой мне, изгибающейся, обтекающей город, кладбище, могилу Лебеженинова рекой, что среди облачных лазоревых отсветов, между серых клубов, поднимающихся вверх, что там, на облаке, кто-то есть, и мне кажется, что чья-то опрокинутая тень пробегает по исподу облака, застывает на одном месте, потом вновь начинает свой бег. Кто это? Чья это тень? Я закрываю глаза и думаю, что когда я их открою, исчезнет и губернатор с осиновым колом в руках, позирующий для своих дочек, и лазоревое снизу, белое сверху облако с пробегающей по нему тенью, исчезнет и этот город с семьей Кунгузовых, могучей женщиной, так желающей уберечь меня и сохранить, Лебежениновым — ожившем покойником, сейчас притаившимся, уверенным, что его не раскроют, лежащим во гробе, и Лебежениновой — его вдовой, предавшей покойника еще при его жизни.

Никто и ничто не исчезает. Исчезает только надежда, что все происходящее — галлюцинация после наркоза, все приобретает четкость, резкость, все наполнено звуками полноценной жизни. Трещат сороки. Скрипит гравий. Слышны голоса. Далеко-далеко стучат на стыках колеса длинного железнодорожного состава. Губернаторская свита вышла на широкую кладбищенскую аллею, а сам губернатор стискивает мой локоть.

— Антон Романович! У меня к вам небольшой разговор, совсем небольшой. Давайте будем двигаться неспешно. Вон мои шакалы, пока до них дойдем, я скажу все, что хотел. Не против?

— Валяйте! — говорю я.

— Вот, правильно! Вы без церемоний. От них уже колотит. Так вот, ваш начальник переходит на работу в правительство. Его троюродный брат учился на одном курсе с премьером. Знали? Нет? Да? А жили они все здесь, в этом долбаном городке. В этой гребаной губернии, куда меня прислали латать дыры и поднимать упавших. В те времена, когда наш премьер был президентом. Которым он вскоре станет вновь. Мы движемся по кругу. Знаете это? По кругу, только по кругу и обладающие более высокой скоростью видят перед собой спины тех, кто стартовал

раньше. Спираль придумали жидомасоны. У нас — надежный, проверенный круг. Я бы даже сказал — кольцо. Нам недостает решимости, но мы на верном пути.

— Но если мы движемся по кругу, то есть, простите, по кольцу, то должны вернуться в исходную точку. Какой же это верный путь? Путь ведет к чему-то...

— Новому, неизведанному? Антон Романович, не повторяйте вы эти благоглупости. Круг, только круг! Ну, иногда вытянутый, эллипс, но редко, в особых случаях. У нас сейчас такой случай. Случилась некая растяжка круга. Мы его подрежем. Вернем ему...

— Подождите! Но люди не могут ходить по кругу! Люди...

— Антон Романович! Даже странно, что это говорю вам я, а не вы — мне. Во-первых, люди-то как раз всегда ходят по кругу, как лошаки. Люди на дух не выносят всякие там спирали, тем более — что-то, устремляющее ввысь. Во-вторых, какие такие люди? Это которые народ? Антон Романович, а вы когда-нибудь видели народ? Ну, скажем, выходя на улицу? Не люди лавируют меж выбоинами на тротуаре, а Клавдия Петровна, пенсионер, бывший работник образования, Вовчик, наркоша и мелкий вор, да Танюшка, спешащая к детям мать-одиночка, которую только-только отжарили двое, пока Танюшкина мать сидела с внучками и думала, что Танюшка получит работу в таможне или где-то еще, где будет грести деньги лопатой и...

— Простите, я вас не понимаю. Вы сразу о многом, я...

— Все вы понимаете, Антон Романович, все отлично понимаете! Ваш начальник займет очень, очень-очень важный и ответственный пост. А в его кресло сядет... Сядет... Ну, Антон Романович, ну же!

— Тамковская? У нее отец был в Госплане. Брат в аппарате Госдумы.

— Какая еще Тамковская, Антон Романович! Это вон та усталая женщина, которая висит на руке вашего коллеги, фамилия на «ич»...

— Извекович.

— Да, он. Подполковник в отставке. А я — генерал-майор. Ну, так кто?

— Что «кто»?

— На место Алексей Алексеича назначают вас, Антон Романович! Вас! Какой вы недогадливый, а еще экстремальный психолог. Да, Антон Романович, вас! Пока «врио», но вскоре ваше «врио» станет «ио». А потом исчезнет это «ио»...

— Но с чего это переделывать мое «врио» в «ио»? С чего ему вообще меня двигать?

— Да я об этом только что сказал. Такова реальность кольца. Вам предстоит ее ощутить. Меня выдернули с хорошей должности в Брюсселе, посадили в Совет Федерации, потом сделали губернатором. Почему? Кольцо!

— Но я-то не здесь родился. Несколько дней назад я и знать не знал об этом городке.

— Нашему премьеру лучше других известно, кто где родился.

— Что вы хотите этим сказать?

— Не обязательно здесь родиться в буквальном смысле слова. Понимаете? А я вот доработаю до президентских выборов, поздравлю нового президента с возвращением и буду сидеть на даче. Внуков нянчить. Надеюсь, они скоро у меня будут. Дочь моя старшая в этом году заканчивает. Психолог. В соответствии с жанром я должен был бы просить вас взять ее к себе, но делать этого не буду: она нашла место где-то в Лангедоке, в школе для дебиличиков. Она у меня очень чувствительная. С воображением. У меня же воображения почти не осталось, а чем меньше в человеке воображения, тем более он жесток. С годами я становлюсь все более жестоким. Это не я заметил, это давно известно. Но сегодня я отменил распоряжение сжечь тело этого Лезе...

— Лебеженинова.

— Да, его. Я отменил распоряжение, когда подняли крышку. И думаю, что отменил правильно. Мертвое тело принимает очертания судьбы, которая вела еще живого. У нашего... да-да, я помню — Лебеженинова, судьба была жалкой, незавидной.

Пусть и дальше лежит. Оставим судьбу в неприкосновенности, хоть он на нас клеветал. Мы, мол, все художественные школы закрыли. Не закрыли, а перепрофилировали, и не школы, а рассадники непотребства. Если бы там рисовали пейзажи акварелью, а там — манду в разрезе, маслом. Да, Антон Романович, именно так, но у вас вид уставший. Много с нами работы? Да, много! Но ведь интересно! Скажите — интересно?

— Еще как, еще как! Но зачем убили Лебеженинова?

— Если вы думаете, что его убили, значит у вас есть и версия — кто?

— Хотите скажу?

— Ну да. Мне это нравится: приезжает весь в белом, на белом, блядь, коне, и все нам тут объясняет. Как нам хлеб сеять, как дома строить, как убийства раскрывать, которые вовсе не убийства, а еще как...

— Ловить оживших покойников... Да, я знаю, что он встанет из гроба. И вы это знаете. И отменили распоряжение кремировать тело не потому, что его мертвое тело приняло очертания судьбы и вас это растрогало.

— И почему?

— Вам нужно, чтобы он вставал из гроба.

— Да вы политик, Антон Романович! Вам бы куда-нибудь советником. Если бы не мои перспективы, я взял бы вас к себе... Езжайте-ка домой, дорогой мой, занимайте кресло начальника, а мы тут разберемся во всем, кого надо накажем, и все станет на свои места. Вы меня услышали?

Губернатор сдавливает мой локоть.

— Я вас услышал, — говорю я.

— Ну и славно! Ну и прекрасно!

17.

Я лежу, укрытый до подбородка шелковым красным покрывалом. В кресле сидит Тамковская, ломает пальцы, ее светлые глаза потемнели, она поджимает чувственную нижнюю губу. Тамковская делится последними новостями нашего управления: меня назначили временным исполняющим — губернатор оказался прав, — мне надо торопиться — работающие на землетрясении, на обрушении, на сходе и наводнении, на последствиях теракта, на автокатастрофе с автобусом, перевозившим детей на какой-то фестиваль, на пожаре в доме престарелых — словом, все экстремальные психологи работают без координации, без методологической поддержки, ведь наш начальник переведен заместителем министра и убыл по новому месту работы, где будет носить погоны, ему присвоили генеральское звание, ему шьют форму, подбирают фуражку.

— Генерал? Сразу? — спросил я. — Он же лейтенант запаса. Хотя если ему присвоили звание генерал-лейтенанта

— Я не разбираюсь в воинских званиях, — Тамковская зябко повела плечами и сообщила, что Раечка передала содержание последнего приказа нашего начальника: в городок приедут работавшие на землетрясении, на катастрофе с автобусом, на наводнении, а мы трое отбываем, причем передавать дела не обязательно — смена из молодой поросли, все знают сами, все читали, во всем разбираются.

— Ну и отлично! — сказал я. — Только у меня здесь одно дело. Вы езжайте без меня. Я догоню. И все-таки введу их в курс. Определю им задачи.

— Что за дело? Может я им займусь? Вместе с Робертом. Мы и смену примем. Вы поезжайте. Мне так не хочется возвращаться. Возвращаться в свой кабинет, в свой дом...

— У вас прекрасный дом и... — начал я: Тамковская жила в небольшом, стильном особняке, с сухим умницей мужем, дети, сын со своими странностями и маленькой

женой с красными волосами, и пухлая дочь с тощим приятелем, давно съехали, то ли Америка, то ли Европа, то ли Бали, Гоа, кто их всех поймет, у всех — одно и то же.

— И? — Тамковская посмотрела на меня.

— Все так плохо, Оля? — спросил я.

— Да, — Тамковская покачала головой. — Еще хуже, чем ты можешь представить. Плохо. Очень плохо. Ладно, я же не могу заставить тебя уехать. Надо остаться — оставайся, мне все равно — хоть поселись здесь, женись на этой бой-бабе, как ее...

— Кламм. По мужу. Она замужем. Муж — майор. Очень интересный человек. Да и я тоже женат. Забыла?

— О, да! Ты же у нас не свободен! Что ж! Мы с Извековичем поедem сегодня вечером. Если, конечно, у тебя как у исполняющего обязанности начальника нет возражений.

— Зачем такая спешка? — спросил я, но Тамковская не ответила: она смотрела на сумерки за окном.

— У тебя всегда в окно светит солнце. Ты обращал внимание? Сейчас я вижу закат, а утром...

— Ты разве была в моем номере утром?

— Нет, но была в соседнем. Ты сам не замечал?

— Замечал. Поэтому я опускаю шторы.

— И тебя это не удивляет?

— Меня ничто не удивляет.

— Ты не знал, что солнце всходит на востоке и заходит на западе? Если утром в окно светит солнце, то оно не может светить в него вечером. Мы можем проверить — зайдем в номер Извековича и увидим, что там солнца нет. А в твоём номере...

— У меня нет объяснения.

— ...я заметила в ведре окровавленные прокладки.

— У меня перманентная менструация. Собираешься со мной поработать? Терапия неврозов? Техника нападения врасплох? А потом расскажешь, какой пирожок я ел на завтрак?

— Не обижайся.

— На тебя?

— На меня. Я тебя не любила. А я не могла быть с теми, кого не любила.

— А теперь?

— Что теперь?

— Теперь можешь?

— Теперь могу. Я уже старая.

— Что у тебя за навязчивая идея! Я таких сексуальных среди двадцатилетних не встречал.

— Нет ничего ужаснее, чем сексуальная старая мочалка.

— Я чувствую — ты хочешь поговорить об этом. О своём будущем.

— Мое будущее в прошлом.

— Не хочешь о будущем, давай о твоей сексуальности.

— Хочу, но не с тобой. Что у тебя?

— Скорее всего, рак. Может быть, пронесет, но поразительно долго готовят результаты анализов. У тех, кто лежал со мной в палате, анализы были готовы через полтора часа. У меня — почти неделя. Наверное, если у меня рак, то он какой-то особенный, изысканный, долгоиграющий. Но если нет метастазов, еще поживем. Говорят, будут все равно проблемы с пиписькой. И стоять не будет, и недержание. Нестояние, думаю, переживу, а вот непроизвольное мочеиспускание...

— Мочеприемник. Нестояние можно обмануть имплантантом.

— Какие познания! Откуда?

— У него имплантант. У Роберта.

— И как это? Работает?

— Он нажимает на что-то, на какую-то кнопочку у себя в паху, и у него разворачивается. Ну, буквально — разворачивается, как детская игрушка. Знаешь, в которую дуешь, а она пищит и раскручивается, как длинный язык.

— Тещин язык.

— Что «тещин язык»?

— Игрушка. Называется «тещин язык». В его игрушку тоже надо дуть?

— Я не знала. Насчет «тещиного языка». А в его игрушку дуть не надо. Хотя что подразумевать под «дуть».

— Ты не обязана все знать. У него тоже пищит?

— Тебе завидно?

— Конечно!

— У него не пищит. Он старался, чтобы я не заметила. Маскировался.

— А ты заметила.

— Заметила и сделала вид, что не заметила. Это нехорошо?

— Это часть манипуляции. Субъект-объектные отношения. Обычное дело. Ты сама все знаешь.

— Он очень хороший.

— Раскручивающийся член?

— Скотина! Роберт...

— А если он был чистильщиком? Катался по Европе, в перерывах между лакановскими семинарами устранял переметнувшихся. Я читал в одной книжке, что в кагэбэ была такая служба, в нее набирали особо одаренных, с прекрасной легендой. Он вполне подходит. И такой спортивный. Подходил сзади, душил рояльной струной. Или подбрасывал какого-нибудь яда. Да, скорее всего. Яд! Один из тех ядов, что разрабатывал мой дед. И бывший второй советник, объявивший, что возвращаться не будет, пил чай, в который Извекович добавлял...

— Полоний?

— Нет, тогда бы Роберт работал не у нас, а был бы парламентарием, предлагал новые законы. Чем замысловатее яд, тем выше и успешнее дальнейшая карьера. Но все равно — свои не оставят. Поддержат. Мне вот опереться не на кого. Я совершенно, абсолютно одинок. Только эта Кламм, но и она замужем. Какой-то майор! Меня все бросили, я никому не нужен...

— Ты ему завидуешь!

— Кому? Роберту? Да, завидую! Так вот, он добавлял такое средство, что человек как бы умирал, его хоронили, а потом, в гробу, переметнувшийся просыпался. Это была такая казнь. Месть невозвращенцам. Я читал, что одного, деятеля то ли НТС, то ли просто бывшего торгового представителя, открывшего на государственные деньги магазин готового платья, скоропостижно скончавшегося и похороненного где-то под Мюнхеном, эксгумировали, потому что поступило заявление от жены — ох, мужа убили чекисты! — а он там, в гробу, весь перекрученный, лицо синее, ногти сорваны...

— Хватит!

— Кстати, нашего Лебеженинова почему-то не вскрывали, не отправляли на экспертизу, сразу похоронили, а он возьми...

— Ты хочешь сказать, что Роберт отравил твоего Лебеженинова? Съездил сюда в командировку от прежней, оставшейся основной работы, подсыпал ему кое-чего, потом Лебеженинова арестовали, Роберт вернулся и на голубом глазу...

— У тебя с фантазией все хорошо. Но меня интересует не это. Те, кто убили, если убили, рано или поздно ответят. Так или иначе. Мотивы, ими двигавшие, меня не интересуют. Меня интересует: почему Лебеженинов и почему...

— Тут все просто, — Тамковская берет со столика металлическую коробочку и начинает вертеть ее в руках. — Его задержали несправедливо, его ложно обвинили, его

держали в камере тогда, когда была нужна помощь врача, он — умер. Он пострадал! Такие-то и могут обратиться. Чтобы отомстить обидчикам. Они возвращаются. Ты просто не знаком с вампирологией. Не знаешь элементарного. Про оборотней.

— То есть главе города и вдовушке надо поостеречься?

— Они-то здесь при чем?

— Они давно знают друг друга, с юности, с молодости, и когда Лебежениновы сюда приехали, глава и жена Лебеженинова возобновили отношения.

— Так! И ты молчал? Ничего не сказал?

— Не успел. Сам узнал недавно.

— Господи!

— А вот этого...

— Мотив значит, был?

— Да.

— И ты поэтому хочешь еще остаться? Поэтому? Собираешься разбираться во всем этом дерьме? Думаю, это дерьмо не твое. Я уж не говорю, что это не касается нашего управления. Ты должен ехать с нами. Я настаиваю. Что ты хочешь сделать? И что ты сможешь?

Коробочка в руках Тамковской издает мелодичный звук, словно кто-то ловкими и искусными пальцами перебирает струны арфы, и с легким щелчком открывается. Из коробочки исходит мерцающий свет, в котором кружатся крохотные, переливающиеся, перламутровые мушки.

— Какая красота, — говорит Тамковская, разглядывая содержимое коробочки. — Ты это здесь купил? Кому? — Она смотрит на меня. — Дочери? Она должна приехать? Твоя младшая?

— Да, обещала... к середине осени. Я купил... в небольшом магазине, «Сувениры» называется. Было в единственном экземпляре. Там больше этого нет.

Тамковская подносит коробочку ближе к глазам, вглядывается в ее содержимое. Кружащиеся мушки садятся ей на лицо, проникают сквозь кожу, жесткие черты лица Тамковской разглаживаются. Губы приобретают полноту.

— Это местная работа? Да? Не думала, что в провинции могут делать такие вещи.

— Значит — могут, — говорю я, борясь с желанием спросить Тамковскую — что там, в коробочке, что? — Ты же не думала, что мы здесь попадем в такую историю. А мы попали...

Тут в дверь стучат. «Заходите!» — кричу я, и в номере появляется Извекович, в легком кожаном пиджачке, брючках в дудочку, с шейным платочком, свежий и бодрый, держащий под локоть монументальную госпожу Кламм, всю — в синем ореоле, синие туфли на высоком каблуке блестят лаком, огромные глаза подведены синей тушью, лишь желтый цветок на высокой груди вместе с румянцем разрушают синюю доминанту, тугие бедра вот-вот разорвут ткань синего, с глубоким вырезом платья, в руке у Кламм синий платочек, она улыбается уголками полных губ, вся — сила, мощь и соблазн.

— С вами, Ольга Эдуардовна, я давно мечтала познакомиться, — говорит Кламм, садится в кресло рядом с Тамковской, они начинают шушукаться, Извекович перелистывает взятый со стола рекламный журнал.

— ...крайне сложно оценить сроки! — доносился до меня голос Кламм.

— Но она беременна, да? — перебила ее Тамковская. — Это уже заметно? Несчастный ребенок! Родиться уже после смерти отца...

— Кто знает! — произнесла Кламм задумчиво. — Может быть, отец на момент его рождения окажется живее всех живых. Я думаю, что это не его ребенок...

— Антон! — слышу я голос Извековича. — Антон Романович! Телефон!

Я заворачиваюсь в покрывало, спускаю ноги на пол, тянусь к телефону, снимаю трубку и слышу:

— Антон Романович? Говорит администратор. Вы заказывали такси? Машина пришла.

— Такси? Нет... А! Да-да! Оно, он... Да!

— Антон Романович, машина стоит у крыльца, номер машины...

— Я знаю, знаю! Сейчас спущусь!

— А ужин? Ужин! Я хотела заказать ужин! Прощальный ужин! — Кламм вскакивает, но я, подхватив одежду, теряя покрывало, сверкнув голой задницей, скрываюсь в ванной.

Наступает пора действий. Хватит мямлить! Я смотрю на свое отражение — мне нравится моя решимость. Она отражается в зеркале. У меня решительная линия рта. Мои носогубные складки стали глубже. Это мужественно. Мне плевать на будущее. Мое будущее в вечном.

В дверь стучат, я слышу голос Извековича и открываю дверь: Извекович принес ботинки с всунутыми в них носками.

— Спасибо, Роберт, вы настоящий друг! — говорю я.

Извекович смотрит, как я, сидя на крышке унитаза, обуваюсь.

— Мы с Ольгой уедем сегодня вечером, — говорит он. — Поужинаем и вперед. Вы с нами?

— Нет.

— Понимаю.

— Боюсь, что не понимаете. Без обид, Роберт.

— Какие обиды! Что вы! Я хотел бы вам кое-что сообщить, чтобы вы были предупреждены. Первое. Эксперт обнаружил неоспоримые доказательства, что Лебеженинов покидал гроб. Притом, что в настоящий момент его тело мертво и процесс тления идет. На подошвах — земля, цемент, он где-то ходил по стройке, наверное, смотрел, как его школу ремонтируют. След от варенья на костюме, покойник где-то пил чай с вареньем, варенье вишневое. Под ногтями — био-остатки. Список можно продолжать. Этой информацией эксперт делиться с губернатором, его командой и главой администрации не будет: если они узнают, что покойник пил чай с вишневым вареньем, они от страха перемрут.

— А вы, а вы, Роберт, как такую информацию перевариваете?

— Бесстрастно. Как и то, о чем собираюсь сообщить в пункте два. Итак, второе. Мне позвонили в номер. Я собирался зайти за Ольгой. Мы хотели выпить кофе, этого отвратительного местного кофе, съесть булочку, эту сладкую, отвратительную непропеченную булочку. Я одевался, звонок меня отвлек, Ольга меня не дождалась, она одна выпила кофе, а потом пришла к вам, я ее искал, но потом подумал, что она могла зайти к вам, что она в вашем номере, и встретил эту женщину с такой интересной фамилией...

— Соберитесь, Роберт, соберитесь! — обувшись, я встаю, кладу руку на плечо Извековичу, у него хороший пиджак, из очень качественной кожи. — Вам позвонили. Кто вам позвонил?

— Не знаю. Я никогда не слышал этого голоса, а у меня прекрасная память на голоса. Я помню даже те из них...

— Роберт!

— Звонивший сказал, чтобы я не смел уезжать. Что у него ко мне вопросы. Что он встретится со мной завтра утром, за завтраком, что будет ждать меня в ресторане, в этом отвратительном ресторане. И он упомянул об обстоятельствах одного дела, напомнил мне кое-какие детали, о которых не мог знать никто. Он описал, как выглядела одна женщина. Мы были вместе в Нормандии. На ней был светло-кофейный плащ и шелковая косынка, поясok плаща был так завязан, что, когда я хотел его развязать, он сильнее затянулся, и она сняла плащ через голову, вместе со свитером,

а он... он сказал, какими духами от нее пахло. Можно допустить, что кто-то смог реконструировать, что я делал в тот вечер, но запах духов, но цвет ее белья!

Извекович достает бумажную салфетку и громко сморкается.

— Так вы не едете? — спрашиваю я.

Извекович не слышит моего вопроса.

— Это какая-то тотальная информированность, — говорит он. — Невообразимая. Невозможная.

— Так когда вы поедете? Сегодня? Завтра? После встречи?

— Сегодня. После ужина. Этот человек ошибся номером. Не было никакой Нормандии. Часов за пять доедем. Я люблю ездить ночью. Вещи собраны. Осталось положить все в машину.

В дверь ванной стучат.

— Мальчики! — Кламм стоит за дверью, царапает по ней ногтями. — Что вы там делаете? Мальчики! Ай-ай-ай! Прекратите! Мы уходим, Антон Романович, уходим с Ольгой Эдуардовной, хотим забрать с собой Роберта Ивановича. Отдайте нам его, отдайте! Вас же ждет такси? Я права? Возвращайтесь скорее, мы будем в ресторане или... Вы слышите? Мальчики!

Они уходят, я щиплю себя за руку — боли нет, я еще не вышел из наркоза. Вот сейчас меня откатят в палату, туда придут мои жена, дочери, даже сын придет, неизвестно где и как живущий, по щеке моей будут скатываться слезы умиления, потом придет врач, скажет, что результаты анализов вселяют оптимизм, что операция проведена вовремя, я выхожу из ванной, беру коробочку, которую удалось открыть Тамковской, в которой она увидела что-то красивое, что-то купленное в подарок моей младшей дочери, она, моя дочь, только что приходила ко мне в палату, у нее на скуле припухлость, этот подонок ее бьет, дай только мне выздороветь, приеду и ему покажу, но открыть коробочку не получается, никак не получается, я ищу потайную кнопку, зацепку, рычажок, безуспешно, меня ждет такси...

18.

В машине пахнет ванилью и мятой. У водителя пушистые брови, маленький подбородок, большие затемненные очки.

— Едем на кладбище? — спрашивает он. — Мне сменщик передал заказ. Может ошибка?

— Он не ошибается. Поехали!

— Вы моего сменщика знаете?

— Да. Хороший парень.

— Ну, как сказать! — тронув с места, хмыкает водитель. — Куркуль! Надо было датчик топлива поменять, я ему — давай пополам, а он — датчик сдох на твоей смене...

— Местный?

— Сменщик? Не, недавно нарисовался. Квартиру купил.

— Квартиру? А откуда приехал?

— Говорит — с Ростова. Служил там, год за два, вредное производство, уничтожение химического оружия...

— Семья?

— Жена-дети в Ростове остались ...

— Откажитесь с ним работать, — говорю я.

— Вы тут нас к забастовкам не призывайте, — говорит водитель. — Мне диспетчер сказал — вот твой сменщик, и точка. Это у вас там... Мы тут сами, — водитель почему-то обижен, сопит, сжимает губы, — сами знаем...

...Я пожимаю плечами. Что толку разговаривать с каким-то идиотом, когда мне дарована милость пожить во сне, приобщиться к вечности перед тем, как обнаружить,

что вечности не существует, вечности нет, никогда не было и никогда не будет, что она плод фантазии, туман обмана, туман надежды, в котором легко напороться глазом на ветку, споткнуться, слететь с тропинки, расшибиться о камень. И мне становится страшно, это новый ужас страшного сна, это кошмар в кошмаре, появляющийся из мягкой, почти осязаемой темноты, из черного морока, и в этом ужасе мы въезжаем на площадку перед кладбищенскими воротами.

— Подождете? — спрашиваю я.

— Ожидание в ночное время — сто двадцать за полчаса, — отвечает он. — Я бы подождал, но по военной волне объявили общую готовность, впервые такое слышу... Нет, не буду ждать! Вызовете через диспетчера, я за вами приеду.

Ему не терпится от меня избавиться. Я выхожу из машины, он резко берет с места, мой крик — «Деньги! Стой! Эй!» — разносится по площадке перед кладбищенскими воротами...

...Фонарь освещает центральную аллею, заставляя боковые быть еще темнее. Я сворачиваю во вторую, и свет ночи проникает в ноздри, липнет к рукам, словно плывешь в ином, теплом, обволакивающем пространстве, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Я чувствую, что справа плотная стена могильных оград, среди них вдруг высвечивается надгробие из кажущегося в свете ночи темно-сиреневым камня, женщина, уронившая голову на руки, непроницаемая темнота начинает излучать мягкий, еле видимый свет, и кажется, что укутанная этим светом женщина вот сейчас вздохнет, заголосит.

За моей спиной кто-то определенно есть, кто-то, появившийся почти сразу, как я свернул в боковую аллею, медленно догоняет, почти неслышно бормоча, фыркая, тяжело ступая, у догоняющего не две ноги, он — я это слышу — на четырех крепких, сильных ногах, вот он уже совсем рядом, он высок, тяжел, бегемот, монстр, ужасный, с горячим дыханием зверь, я боюсь обернуться, поначалу решив спрятаться от преследователя возле рыдающей каменной женщины, я все же ускоряю шаг, мелко семеню, дышу глубже, стараюсь не выдать страх.

Догоняющий совсем рядом, я принимаю чуть влево, ветки кустов накалывают ладонь, но я терплю, ничем не выдаю боль, останавливаюсь, оборачиваюсь: черный силуэт возвышается надо мной на фоне черных куп деревьев, сквозь которые проходят тонкие лучи лунного света, смешавшегося со светом далеких фонарей, и догоняющий приближается вплотную, его толстые губы почти касаются моего лба — это лошадь, лошадь с сидящим на ней всадником, черная лошадь и всадник на ней весь в черном, рыцарь ночи, всадник кошмара.

— Антон Романович, — всадник наклоняется ко мне. — Заблудись? Садитесь сзади, я вас вывезу.

— Лиза! Лиза — это вы?

— Садитесь за мной, — отвечает Лиза Бадовская. — Я дам вам руку, вставляйте ногу в стремя...

— Что вы здесь делаете? Как вы здесь оказались?

— Вас ищут. Мама сказала — вы тут.

— Мама? Кто ваша мама?

— Диспетчер городского такси. Садитесь!

Черная лошадь прядает ушами, чуть приседает, я хватаюсь за Лизину коленку, она сухими пальцами жестко убирает мою руку, кладет ее на переднюю, низкую луку седла, я прыгаю на одной ноге, ловлю в темноте звякающее стремя и оказываюсь, губами ударившись о Лизино плечо, позади нее, сразу чуть съезжаю вперед, ударяюсь носом о Лизин затылок. Ее волосы давно не мыты, они влажные и плотно облегают круглый затылок.

— Какая у вас смиренная лошадка, — отстраняясь, говорю я. — Кобылка? Такая смиренная!

— Это Мальчик, мой любимый. — Лиза отпускает поводья, я чуть не падаю — ее любимый идет, переваливаясь, по уходящей к оврагу тропинке, каждый его шаг причиняет мне боль, я вижу непроницаемую темноту внизу, проплывающие надо мной в прозрачной темноте толстые ветви.

— Вы ловкий, — говорит Лиза. — Занимались конным спортом?

Мальчик насмешливо фыркает, жметесь к кустам так, чтобы колючки оцарапали мою ногу. Лиза, съезжая назад по седлу, чуть нагибается вперед, хлопает Мальчика ладонью по шее, ее тугие ягодицы прижимаются ко мне.

— Первый раз, — отвечаю я.

— Да что вы! А не скажешь.

— Он и к вам приходил?

— Лебеженинов? Нет, я его встретила, когда он шел от жены.

— Еще до ларька?

— Конечно! Ларек-то был утром, я ребят позвала, рассказать о ночной встрече. Всю ночь не спала, тряслась. Я от сестры шла. Она там неподалеку живет. Он мне навстречу. Я как встала, так и стою, а он, мол, Лиза, Лиза, давай посидим, покурим, поговорим. Я — бежать. Утром я подумала — ну, он к жене сходил, в могилу вернулся, а он тут как тут — пиво, бутерброд попросил продавщицу в микроволновке разогреть. Мертвый, но замороженный бутерброд съесть не захотел. Я бы, если бы умерла, и такой съела, а он... Мальчик! Ну что ты творишь?! — Лиза натягивает поводья, слышно, как каблучки ее коротких сапожек ударяют под ребра Мальчику, потом поводья она отпускает, и мы легкой рысцой выезжаем из темной аллеи, впереди виден оставленный экспертами шатер, под ним, на козлах — закрытый гроб Лебеженинова.

— Странно! Нет охраны! Почему гроб не вернули в могилу?

— Губернатор уехал, эксперт уехал вместе с ним, они забрали ОМОН, — отвечает Лиза. — Наша охрана сбежала. Слухи разнеслись. Про грязь у него на ботинках... Вы бы не испугались?

— Конечно, — признаюсь я. — Испугался бы. Я и сейчас боюсь.

— Нет, вы не боитесь. Вы бы не приехали на кладбище, если б боялись.

— Вы меня захвалите, Лиза. То я ловкий, то смелый. Смотрите, загоржусь, подумаю, что вы ко мне равнодушны, начну за вами ухаживать.

— То, что вы не боитесь, не означает, что смелый. Многие не боятся потому, что не знают последствий. Или причин. Вы сами это можете расписать, а если захотите ухаживать, то я бы не отказалась, я уж точно лучше, чем эта ваша Кламм.

— Откуда вы...

— У меня мама — диспетчер. Забыли? А Кламм ваша — сисястая, жирная, потная. Неужели вам такие нравятся? Или она вас трахнула? Она хотела и Бориса трахнуть, когда он только приехал, ее тянет на новенькое, не местное, она за майора своего вышла только потому, что его сюда перевели, а она...

— Лиза, я вам в отцы гоюсь. А то и в деды...

— Мы же об ухаживании говорим. Я с вами спать не собираюсь. Морщины, обвислость, вялость, бр-р-р! Вы хоть следите за собой? Зарядка? Холодный душ по утрам. Кашка, глазунья.

— У вас большой опыт, Лиза?

— Без опыта не проживешь. Мне морщины нравились, но в опыте они оказались другими. Когда я отсюда уехала, мыкалась без крыши над головой, и один морщинистый приютил.

Лиза натягивает поводья. Мальчик останавливается. Недовольно фыркает.

— Кто опустит гроб? — спрашиваю я. — Нам вдвоем его не поднять.

— А я думала — вы сильный! — Лиза толкает меня локтем. — Слезайте! Не обходите Мальчика сзади, может лягнуть. Он пугливый.

Нас, оказывается, ждут: в синей тени разлапистого куста видны огоньки сигарет, Боханов и Бугалин, Кеша и Миша, они выходят на освещенное место.

— Зачем ты его притащила? — Бугалин придерживает Мальчика.

— Мы бы сами справились. — Боханов встает рядом со мной.

— Он сам по себе, я его никуда не тащила. Не нравится — прогоним.

Они говорят обо мне так, словно я ничто, пустое место.

— Прогоним? Он нас заложит! — Боханов бросает на меня быстрый взгляд, я успеваю его поймать, его тусклые глаза — в темных провалах глазниц, узкие виски, черные губы, он придвигается вплотную, дышит жареным и пивом. — У вас же с начальником полиции дружба. Он должен был посадить вас. Единственный подозреваемый. В убийстве! А с вас даже подписку не взяли. Отпустили. Да, вы теперь большой начальник. Да-да. Все об этом знают. Кто ж вас тронет, вам можно теперь убивать, ночами по кладбищам шастать...

— Отстань от него, Кеша! — Лиза привязывает Мальчика к ограде могилы. На темном памятнике — две овальные фотографии, тускло светится золотое «Помним...»

— Лиза права. Отстань от него! — Бугалин, отбрасывая тонкую серую тень, наклоняется, вытаскивает из высокой травы лопату, протягивает ее Боханову.

— А че я? Пусть вон психолог, — говорит Боханов, но лопату берет.

Бугалин, высоко поднимая ноги, проходит по траве, останавливается возле меня.

— Он у нас чувствительный, — кивает Бугалин на Боханова. — Как его к мусорам занесло — непонятка. Кровь увидит — сразу в обморок. Так что нам придется вдвоем. Идемте.

— Куда?

— Перевернем Бориса. Всего-то! Они же, мертвяки, когда пробуждаются, ничего не соображают, им нужно время, чтобы разобраться — что? кто? где? — и если их повернуть лицом вниз, они копают вглубь, а не вверх, устают и оставляют попытки. Это давний метод. А еще надо в ладони положить камни — они не догадываются разжать кулаки.

— Я думал они хитрые. Хитрее живых.

— Наоборот! Они — простодушные, разве что нюх обретают особенный и легкость движений. Это в ужастиках они... — Бугалин открывает рот, чуть поднимает руки, делает пару шагов, изображая персонажа фильма про оживших покойников, получается у него плохо, но он явно наслаждается своей нынешней ролью знатока, просветителя, командира. — ...в ужастиках они вот такие, а-а-а! А на самом деле, когда они входят во вкус, они бегают, прыгают...

— Трахаются, — вставляет Боханов. — Да, Лиз? Он тебя собирался... — Боханов несколько раз хлопает ладонью правой руки по сжатой в кулак левой, получается гулко и похабно. — Холодного Шурика под кожу загнать — это они могут. Это они любят...

— Заткнись!

Боханов рассматривает край лопаты, пробует рукой — острый ли, удовлетворенно качает головой.

— А я че? Ты сама говорила: у него, когда с тобой разговаривал, был стояк, аж штаны трещали.

— Заткнись!

— У вас значит это не первый случай? — спрашиваю я Бугалина.

— С чего вы взяли?

— Ну, вы изучали, как себя вести с ожившими покойниками, как сделать так, чтобы они не вылезали из могил. Даже если вы фанат фильмов про вампиров и прочую нечисть, все равно вы не будете...

— Мы готовились, — говорит Лиза. — Это должно было рано или поздно случиться.

— Почему?! Почему это должно было случиться? — я почти теряю дар речи, мне душно.

— Был тут один, смотрящий за городом. — Боханов кладет лопату на плечо. — Запустил руку в общак. Его свои же перекрестили двумя очередями и контрольный — в голову, а он ночью, после похорон, позвонил своим друзьям, которые его и грохнули. Они приехали, могилу раскопали, а этот...

— Хватит, — шипит Бузгалин. — Ты что-то сегодня разговаривался. Тебе сказали — заткнись!

— И ты туда же! Ладно. — Боханов втыкает лопату в землю. — Молчу. — Он проводит пальцами по губам так, словно застегивает застежку-молнию, — Берите лопату, Антон Романович!

— Мы перевернем. — Бузгалин цепко берет меня за плечо, поворачивает к стоящему на козлах гробу Лебеженинова. — Закапывать будешь ты!

Моя уверенность в том, что Боханов рубанет мне лопатой по шее, крепнет. Сделать это ему будет особенно удобно, когда я наклонюсь, чтобы взяться за крышку гроба. Бузгалин недаром так крепко меня придерживает: в нужный момент он обхватит меня сзади, сам отклонится назад, отвернется, чтобы моя кровь не брызнула ему на лицо, крикнет: «Давай!» Я дрожу от предчувствия.

Бузгалин замечает эту дрожь. Он удивлен, но потом улыбается, показывая крепкие желтые зубы.

— Мы должны его остановить, — говорит Бузгалин, подводя меня к гробу Лебеженинова. — Жаль, конечно, Бориса. Он был хороший, честный. Приехал не за деньгами, не за славой или почетом, короче, приехал ради нас, ради детей там маленьких, а его вот так...

— Да что ты распинаешься! — Боханов задевает лопатой по ограде одной из могил, лопата ударяет по прутьям, прутья проигрывают «там-там-та-ам!», гулко вибрируют. — Хороший! Все они хорошие, когда лежат в своих могилах. Не хера по улицам таскаться. Согласны? — Он смотрит на меня, ожидая одобрения.

— От тебя, Кеша, тошнит. — Бадовская выбрасывает недокуренную сигарету. — Тебе в ментовской школе совсем мозги задолбали. Ты и прежде был долдон, а теперь...

— Мне никто ничего не задалбливал, я сам до всего своим умом дойти могу. — Боханов обижен, он втыкает лопату в холм вынутой из могилы Лебеженинова земли. — Я тебя не глупей, Лизка. Это тебе мозг вынесли, пока ты ходила на митинги да подписи собирала. Это у тебя...

— Хватит! — вдруг говорю я. — Мне надоело вас слушать. Вы все — идиоты. Вы все мне неинтересны. Мне скучно со всеми вами. Давайте сделаем дело, а потом я поеду в гостиницу, лягу спать, а вы тут разбирайтесь. Хорошо? Только ответьте на один вопрос, только на один...

— Идиоты? — Бадовская смеется. — Это нам Поворотник говорил, и глава наш, и все прочие. Когда мы им про ожившего Лебеженинова рассказывали. Вы, дядечки, наверное, сговорились...

— Вы знаете одного таксиста? — спрашиваю я, жестом прошу Бадовскую замолчать. — Он ходит в сером костюме, в черной рубашке, ботинки у него...

Они переглядываются.

— Таксиста? Какого еще таксиста? — спрашивает Боханов.

— Это не он сказал вам, что надо готовиться? — спрашиваю я, понимая, что вопрос звучит нелепо, что это я — идиот, скучный идиот, с кашей в голове.

— Таксист? — Бадовская пожимает плечами. — Который недавно приехал? Я его не видела, но мама говорила — приехал то ли с Крыма, то ли из Харькова. У него жена операции ждет, ему деньги нужны, а там с ними не очень, он хотел в столицу, но что-то с бумагами, он официально получал разрешение, его сюда, к нам, направили...

Я чувствую — они что-то темнят. Их словам — и про смотрящего, и про ангела-

таксиста — верить нельзя. Чтобы три современных молодых человека готовились к тому, что из могил будут вставать ожившие покойники — нет, это невозможно, это обман, они что-то задумали, что-то скрывают, я игрушка в их руках, мало мне того, что меня использует ангел, мало мне...

— Давайте начинать! — говорит Бузгалин.

Мы с ним встаем у гроба. Он — в ногах, я — там, где должна быть голова Лебеженинова.

— Теперь давайте постараемся соблюдать тишину, — говорит Бузгалин. — Мы тут так орали, что слышно нас было... Хорошо еще, что сторожа в церкви нет.

Мы поднимаем крышку. Сразу до меня доносится исходящий из гроба сладкий аромат. Я заглядываю под крышку и вижу лицо Лебеженинова. Оно темное, расплывшиеся бледные губы, втянувшиеся щеки. Его глаза чуть приоткрыты, мне кажется — он следит за мной, пытается предугадать — что я буду делать.

— Давайте, берите его за плечи, — говорит Бузгалин. — Не бойтесь. Он не кусается. Приподнимайте и...

Я хватаюсь за пиджак Лебеженинова. Хорошая ткань. Костюм совсем новый. Мои все заношенные, по возвращении надо купить пару костюмов, кто знает, сколько я буду исполнять обязанности, но костюмы нужны, интересно, полагается ли исполняющему обязанности возмещение представительских и подъемных — кажется, это так называется? — расходов.

— Вы так его не перевернете, — говорит Бузгалин, он обхватил бедра Лебеженинова — откуда он знает, как надо переворачивать трупы в гробах? — Глубже, глубже просуньте правую руку и поднимайте ее, а левой...

Я следую указаниям Бузгалина. Сквозь ткань костюма я чувствую идущий от тела Лебеженинова холод. Когда мне удастся приподнять правое плечо Лебеженинова, внутри его тела что-то булькает, но я уже не обращаю на это внимания, мне уже не страшно, все усиливающийся тяжелый запах уже не кажется мне тошнотворным, я толкаю тело вверх, оно кособоко поднимается, нам удастся положить Лебеженинова на левый бок, потом мы сдвигаем его, толкаем, тело опускается ничком, но левая рука оказывается внизу, и тогда Бузгалин приподнимает тело за плечи, а я вытаскиваю руку, теперь они протянуты вдоль тела, ладони раскрыты. У Лебеженинова аккуратно пострижен затылок. На макушке намечалась лысина. Бузгалин отпускает плечи Лебеженинова, голова ударяется о дно гроба, слышен хруст.

— Вы ему сломали нос! — почти кричит Бадовская.

— Извини. — Бузгалин отступает от гроба, он держит руки так, словно ему скомандовали «руки вверх!». — Не удержали, извини...

— Теперь камни! — Бадовская кладет в ладони камни, в правую — белый, в левую — черный.

— Сожмите ему пальцы! — командует она. — Так, чтобы он зажал камни.

Это сделать непросто. Пальцы трупа не хотят складываться в кулак, распрямляются, я сжимаю их и сжимаю, его суставы трещат.

— Все! — говорю я. — Можно закрывать!

Крышку Бадовская прибавляет особенными гвоздями: их выковал знакомый кузнец, они из серебра, на них пошли три серебряных столовых ложки, за гвоздями пришлось ездить километров за сорок от городка, пришлось брать такси, мать прислала хорошего водителя, не лихача, как раз того, приехавшего недавно в их город, оказавшегося молчаливым, предупредительным. Ну да, ну да! Так я им и поверил!

Я вошел во вкус, я держу гроб и готов сам, в одиночку, опустить его в могилу.

— Не горячись! — Боханов отстраняет меня плечом. — Ты давай с того конца. Вместе с Кешей. Раз-два-взяли!..

19.

...Мы идем по кладбищу к воротам, молча. Того, что мы сделали, явно недостаточно, ангел хотел чего-то большего, он будет недоволен, интересно — что он пообещал этой троице, но мне он не поможет. Боханов несет на плече лопату. Бузгалин идет впереди, его мосластая фигура чернеет в обтекающем ее свете ночи. Бадовская ведет под уздцы Мальчика, Мальчик дрожит, фыркает, он напуган. Бадовская открывает калитку, выводит Мальчика.

— Ну, было очень приятно. — Боханов поворачивается ко мне, лопатой ударяя Мальчика по шее, Мальчик хрипит, приседает на задние ноги, встает на дыбы. Бадовская повисает на поводьях, но, перебирая передними ногами в воздухе, Мальчик на задних идет вперед и, точно боксер, встречающий наступающего соперника, копытом бьет повернувшегося узнать — что за шум? — Бузгалина в середину лба. Бузгалин падает навзничь, да еще ударяется затылком.

— Ах ты, гад! — Бадовская лупит Мальчика длинным концом повода, я встаю на колени рядом с Бузгалиным, достаю из наполненного слюнями рта толстый, скользкий язык.

Мы с Бохановым делаем Бузгалину искусственное дыхание. Накрыв его рот платком, я вдуваю в него воздух, Бузгалин открывает глаза, начинает дышать, его лоб разбит, затылок тоже, под ним лужица крови. Мы кладем Бузгалина на бок, Боханов снимает рубашку, рвет на лоскуты, начинает перевязку, а Бадовская, выпустив из рук повод Мальчика, звонит в «скорую». Выясняется, что одна машина только что уехала на дорожную аварию, случившуюся при выезде из городка, возле кладбища, а другая приехать не может из-за неполадок с тормозами. Бадовская вызывает мать-диспетчера, просит прислать такси, та говорит, что этой ночью на линии было лишь одно такси, именно оно и попало в аварию...

...Лиза прячет телефон, говорит, что если она все правильно поняла, от кладбища до места аварии каких-то полтора километра, и если мы поторопимся, то сможем отправить Бузгалина в больницу на той же «скорой», что поехала на вызов.

Мы усаживаем бесчувственного Бузгалина на холку Мальчика. Бадовская запрыгивает в седло, придерживая одной рукой Бузгалина, скачет вперед, они растворяются в темноте, и только перевязанная голова Бузгалина мотается из стороны в сторону.

Мы с Бохановым быстрым шагом идем следом, доходим до перекрестка с основным, ведущим от городка шоссе. Далеко-далеко видны мигающие огни «скорой» и машины ДПС. Мимо нас проносится тупорылый армейский фургон с большим красным крестом на боку. Фургон тормозит, его заносит, он чуть не сваливается в кювет, потом лихо сдает назад.

— Добрый вечер, Антон Романович! — открыв дверцу, говорит майор Кламм, из-за его плеча выглядывает Поздышев, он подносит руку к козырьку надвинутой на лоб фуражки. — Поздышев! Сидя честь не отдают!

— Я просто приветствую Антона Романовича, — Поздышев обижен. — Его начальник теперь наш командир, ребята в гараже сказали — может к нам приехать, с проверкой, он уж разгребет то, что прежние навалили, правда, Антон Романович?

— Добрый вечер, Геннадий Самсонович! — говорю я, кивнув Поздышеву — мол, да, разгребет, еще как разгребет. — Вы нас не подбросите? Нам вот...

— Так и мы туда, Антон Романович! У штатских одна «скорая» на ходу, а другая сломана. Бардак! Нам Михал Юрич позвонил, говорит — авария, помогите транспортом, Иван Суреныч уже в госпитале договорился, пострадавших туда повезем, трое пострадавших, а машина — одна, ну согласитесь — ведь бардак, да?

— Гена, заткнись! — раздается женский голос из глубины фургона, и крепкая рука

сдвигает боковую дверь. — Антон Романович! — Анна Кламм — сама энергия. — Я так давно вас не видела! Что вы узнали? С кем говорили?

— Э! Короче! — Боханов залезает в фургон, я — вслед за ним.

— Я расскажу, — говорю я, боком усевшись на жесткое сиденье. — Ничего нет тайного, чтобы...

— ...это не стало явным! — заканчивает Поздышев, трогая фургон с места.

— Антон Романович хотел сказать совсем другое! — Анна возмущена, ее ноздри раздуваются. — Гена, скажи своему солдату...

Майор треплет Поздышева по плечу.

— Мне кажется, Антон Романович хотел сказать именно это, — говорит майор. — Когда я имел честь общаться с Антоном Романовичем первый раз, я почувствовал — Антон Романович человек прямой, искренний, и он обходится без кривотолков.

— Гена, я после первой встречи почувствовала — ты тупой зануда!

— Но, милая...

— И мне потребовалось столько лет, чтобы убедиться — первые чувства всегда самые верные! Антон Романович! Вы знаете, что у Лебеженинова, того, что лежит в гробу, на подошвах свежее собачье дерьмо? Соскоблили, отправили на анализ. Выяснили — это дерьмо собаки, что сидит на цепи у дома родителей его вдовы. Современные методы исследования точны и занимают так мало времени! Вот только проводятся они на импортном оборудовании, по зарубежным методикам, а выдающиеся открытия, сделанные нашими учеными, не находят воплощения! Только пушки и самолеты, на которых летают такие неумехи, как...

— Милая, а что еще обнаружила комиссия? — почти шепчет майор.

— Изъяла баночку со спермой, которую его вдова держала в холодильнике! У них было соответствующее решение суда!

— Решение суда на изъятие спермы?

— Решение на изъятие всего, что имеет отношение к бродящему по нашему городу ожившему покойнику, зануда!

— То есть таким образом суд признал, что наш покойник ожил?

— Да! Если угодно! Признал! Но что есть суд? Послушное орудие в руках власти!

— И получается, наш Лебеженинов — официально признанный судом оживший покойник?

— Да! Да! Пусть официально признанный, только отстань! Ведь эксперты выяснили, что...

Кламм говорит очень громко, Боханов смотрит на нее с восхищением и ужасом. Майор, продолжая похлопывать Поздышева по плечу, кивает в такт ее словам, улыбается, его глаза полузакрыты.

— ...что сперма эта — действительно сперма Лебеженинова!

— У них были образцы?

— Зачем им образцы?

— Ну надо же было сравнить сперму покойника со спермой живого!

— Сравнивают не сперму, а образцы ДНК! Тупой! У тебя две извилины!

— Ты раньше говорила — одна.

— Вы не могли бы повременить с выяснением отношений? — обращаюсь я к Кламм. — Спасибо! Скажите, Анна, разве анализ ДНК можно провести так быстро? У меня есть знакомый, у него брали пробы ткани для разных тестов, так эти тесты длятся уже почти неделю, а тут...

— Это экспресс-тест! Новейшая технология! Бабушка ученого, со стороны отца, того ученого, который разработал этот тест, родом из нашего города, между прочим, когда все тут развалили, они уехали, а теперь он, и бабушка его, и отец — граждане другой страны! Это несправедливо! Обидно, что наши покойники...

Узнать, почему Кламм обидно за наших покойников, не удастся: Поздышев тормозит, объезжает почти перегородивший дорогу тягач с длинным прицепом, съезжает на обочину, впереди, уткнувшись в дерево, с торчащим кверху гнутым капотом стоит «мерседес» Извековича, сам Извекович сидит, привалившись к заднему левому крылу «мерседеса», правая штанина его белых брюк в чем-то темном. Носилки с лежащей на них Тамковской впикивают в «скорую», рука Тамковской свисает, ударяется о порожек «скорой», мне кажется, что Тамковская мертва.

— Что случилось, Роберт? — кричу я.

— Хороший вопрос! — У Извековича дрожат губы. — Обгонял какой-то идиот, по встречной — фура, идиот не успевал, спихнул меня, мы врезались в дерево, фура ударила идиота, его перевернуло, лежит кверху колесами, в кювете напротив.

— Ольга?

— Головой. О ветровое. Не была пристегнута. На заднем сиденье лежала бутылка кваса, бутылку бросило вперед, ударило о приборную доску, бутылка лопнула. Представляете? Какой был удар! Брюки вот испортил, все квасом залило. Помогите встать.

Санитар закрепляет носилки. Закрывает дверцы.

— Тут еще какая-то сумасшедшая девка на лошади прискакала. С каким-то в тряпки забинтованным придурком. Визжала. Возьмите! Он ранен! Он выполнял задание! Какое еще задание? Бред!

— Где они? — Я ставлю Извековича на ноги. Он легкий, качается, волосы стоят дыбом, у него узкий, острый череп, рассыпавшаяся прическа открыла лысину.

— Придурка закинули в «скорую», девка ускакала прочь. В поля. В далекие поля. В далекие ночные поля.

— А вы?

— Тоже головой. В глазах до сих пор то темнеет, то что-то вспыхивает.

Силы оставляют Извековича. Он заваливается на меня. Теперь он неожиданно оказывается тяжелым. Пытаясь его удержать, я оступаю, мы вместе с ним летим в глубокую, бесконечно глубокую придорожную канаву. Последнее, что я вижу после того, как потерял равновесие, и до того, как ударяюсь головой о что-то шершаво-твердое, — стоящий на краю обочины ангел, все тот же серый костюм, полуоторванный рукав, косо сидящие на носу очки, одно стекло в мелких трещинках, в конец испорченные свежими царапинами ботинки, левая рука свисает плетью, ангел курит, пускает упругими кольцами дым в безветренную, замершую, светлую ночь, и за время моего падения успевает выпустить целую серию колец, идеально круглых, набегающих друг на друга, друг друга пожирающих, сливающихся в одно огромное кольцо, крутящееся в безветрии, искрящееся, улетающее ввысь.

— Антон Романович! И вы тут! — говорит ангел. — Как наши дела? От вас никаких вестей. Вы хоть что-то собираетесь делать? Получается как-то неаккуратно. Вы что, вместе с коллегами собирались уехать? Бежать? Дезертировать? Антон Романович, так не пойдет, мы договаривались, и вы обещали... Что? Вы — сделали? Я ведь ничего не знаю, мне не докладывают, нет помощников, референтов, я не глава города, не губернатор, хорошо, хорошо, Антон Романович дорогой, но я все же проверю, если вы не возражаете, надеюсь, что не возражаете, еще бы вы возражали — возражения ничего не меняют, как, впрочем, и слова поддержки, если кто-то рискнет поддержать, а у меня ведь многочисленные травмы мягких тканей, рука вот, кажется, сломана, возможно, сотрясение, нога вот плохо сгибается, машина совсем новая... Сменщик жаловался — вы за поездку не заплатили, можете мне заплатить, я передам ...

20.

...Я прихожу в себя на кровати в гостиничном номере. Лицо мое приклеилось к подушке, я несвеж и потен. Возле кровати сидит Петя Тупин, левой рукой перебирает бумаги в открытой папке, пальцами правой тычет в раскрытый на столе ноутбук, кривит плотно сжатые губы, его лицо, прежде казавшееся широким, исполненным достоинства и значимости, теперь кажется узким, резко очерченные скулы чуть ли не рвут кожу, приглаженные рыжие волосы стали почти русыми, глаза поблекли, посерели.

За окном светило спокойное неподвижное солнце. Оно отражалось в зеркале, луч аксельбантом лежал на Петинем плече. В номере было чисто, прибрано, свежо. На низкой тумбочке стоял поднос, на подносе — высокий стакан апельсинового сока, дымилась чашка с кофе, благоухал свежеспеченный рогалик. Мои пиджак, брюки висели на вешалке вычищенные, выглаженная рубашка — на спинке стула. Я перевел взгляд на другую тумбочку. На ней лежало то, что было у меня в карманах — телефон, бумажник, пластиковый пенал с лекарствами.

— Ничего не пропало? — спросил Петя.

— Кажется — нет, — ответил я, голос мой был скрипуч. — Что со мной случилось?

— Вы ударились головой и потеряли сознание. — Петя закрыл папку. — Антон Романович! Вчерашний день — день головных травм. Ваши коллеги, вы сами, этот, как его...

— Бугалин. Как он?

— В горбольнице. Полностью обеспечен уходом.

— А Ольга? Ольга Эдуардовна?

— На вертолете, пилотируемом майором Кламмом, по распоряжению заместителя министра обороны Тамковская Ольга Эдуардовна отправлена в столичный госпиталь. На этом же борту вылетел и другой ваш коллега, Извекович Роберт Иванович. Его раритетный автомобиль марки «мерседес» отправлен на эвакуаторе. Состояние автомобиля и Роберта Ивановича удовлетворительное, Ольга Эдуардовна находится в состоянии искусственной комы, по прибытии ей будет сделана, то есть уже сделана операция.

В санузле спустили воду.

— Кто там? — спросил я.

— Полиция, — ответил Тупин и в комнату вошел Кунгузов.

— Здравствуйте! — сказал он. — Вот тут что вспомнилось. Закон из Гаити.

— А? — Тупин закрыл ноутбук. — Что?

— Гаити. Остров в Карибском море. Там есть закон о защите рабочих мест и о помощи безработным. Очень старый закон. Принят был еще в прошлом веке. То есть — в позапрошлом. То есть давно. И тут его хотели отменить, но народ проголосовал против, и закон оставили. Любопытный закон. Нам стоит изучить гаитянский опыт. И применить его на практике. У нас.

— Короче, Кунгузов! — сказал Тупин. — Ну, и что там на Таити?

— На Гаити, Таити — это другая страна, она в Тихом океане, Гаити — в Карибском море...

— Короче, Кунгузов, короче!

— Да, да-да... Так вот, гаитянским фермерам по закону запрещено откапывать мертвецов и заставлять их работать на полях.

— Почему?

— Ну, как же! Откопанные-то покойники работают бесплатно, а правительство хочет, чтобы фермеры брали к себе на работу безработных. С биржи труда. Живых! Это же социальная проблема, Петр Борисович!

— Ну и?

— И нам надо принять закон. О мертвецах. Если Антон Романович посоветует, куда обратиться, мы проявим инициативу...

— Когда и кому проявлять инициативу, без нас разберутся, — сказал Петя. — У нас есть депутат, вместе с губернатором приезжал на эксгумацию. Это его дело, не наше. Ты, Кунгузов, голову включи и дуру не валяй. — Петя закинул ногу на ногу, расправил плечи. — Мы не Таити и не Гаити, у нас собственный путь, нам откопать Лебеженинова без проблем, но этих преподавателей рисунка и так как грязи. Возьмем нового... Эй, Кунгузов!..

В раскрытую балконную дверь что-то влетело, ударилось в зеркало, зеркало покрылось паутиной трещин, Кунгузов отскочил в сторону.

— Вот те! — Кунгузов наклоняется и поднимает с пола небольшой блестящий черный камень. — В окно! Это же... Вандализм! Хулиганство! Я им сейчас!

Кунгузов выскочил из номера. Я не успел сказать ему, чтобы он дал камень мне. Но что это за камень, где был он и чья рука зашвырнула его, было ясно. Полнейшее бесчувствие овладело мной.

— У меня кое-что пропало, — сказал я. — В кармане пиджака лежала...

— Антон Романович! Вы допускаете, что кто-то мог украсть принадлежавшую вам вещь? Вы кого-то подозреваете конкретно? Антон Романович!

— Петя, я никого не подозреваю. Просто в кармане была металлическая коробочка, ее нет вот тут, на тумбочке...

— Что за коробочка, Антон Романович? Из какого металла? Содержимое? Что-то ценное? Мы сейчас подключим, — Тупин достал телефон, — подключим Михал Юрича, а лучше сразу Иван Суменович, так, — Тупин начал водить по телефону подушечкой указательного пальца, — так... — он поднес телефон к уху. — Иван Суменович, Тупин. Да. Конечно. Нет. Иван Суменович, коробочка пропала. Металлическая. Сейчас... Что в ней было? — Тупин отставил руку с телефоном.

— Не знаю. Не открывал.

— Антон Романович не знает. Он ее не открывал. Да, странно... Иван Суменович... А, вы все слышите... Да... Сейчас... Иван Суменович спрашивает — как вы предпочитаете ехать — на машине, на поезде, на... Да, Иван Суменович, да. Он спрашивает — хотите на самолете, с военного аэродрома? А коробочкой сейчас займутся.

— На самолете. Скажите ему, чтобы забыл про коробочку. Забыл. И передайте благодарность, благодарность за заботу.

— Иван Суменович... Да-да, вы слышали. Да. Нет. Что вы, что вы. Хорошо!

— А что с тем водителем? — спросил я, когда Тупин положил телефон на стол. — С таксистом. Который выехал на встречу? И кто он такой? Выяснили?

— Как «кто»? Безответственный нарушитель правил дорожного движения. Вот он кто! Говорит, спешил домой, жена приехала. Лишат прав как минимум на полгода. Будет знать!

— Как это лишат? Это же его хлеб!

— Антон Романович! Извините — ну что за мягкотелость? Он виноват, хорошо еще обойдется лишением, а если вы и ваши коллеги напишете заявление? Если, скажем, Роберт Иванович потребует компенсации за автомобиль?

— Но у него дети! Из Ростова. Он...

— Вы не волнуйтесь! Михаил Юрьевич взял подписку о невыезде. Проверили на алкоголь. На наркотики. Все по закону. А откуда вы его знаете? Таксиста?

Я не ответил. Я подумал, что меня подло, нагло обманули. Что я наивно, доверчиво обманулся. От этой мысли мне стало легко и светло. Мне не делали никаких проб. Я безнадежен. Я скоро умру, а Лебеженинов будет ходить по улицам со сломанным носом, с белым камнем в руке, и еще я вспомнил, что перед отъездом все-таки должен отдать дочери священника деньги за лекарства.

С улицы доносились громкие голоса. Заливисто, заразительно смеялась женщина.

— Кто там? — спросил я.

— Только что прибывшие ваши подчиненные. Старший проведет переключку, распределит их по местам. Потом поднимется для доклада. Или вы хотите спуститься сейчас? Дать указания?

— Нет. — Я накрылся простыней с головой и тут же ее отбросил. — Хотя может сказать им пару слов отсюда? Сверху? А? Как вы думаете, Петя?

— Хорошая идея! Помочь встать? Сами? Помочь одеться? Да! Так в самый раз!

Я выхожу на балкон. Петя тактично держится чуть сзади. Углы простыни завязаны на моем плече игривым бантом. Босым ногам колко от скопившихся на балконе сухих сосновых игл. Говорить я собираюсь о соотношении большого и малого, значимого и ничтожного, смысла и бессмыслицы, о том, как это изменчивое соотношение влияет на принятие важнейших, судьбоносных решений. Прокашливаюсь. Потом еще раз. Петя, услышав предательскую хрипотцу, приносит стакан воды. Поблагодарив, я делаю несколько маленьких глотков. Необходимо сконцентрироваться, подобрать точные слова, приличествующую теме интонацию, тем более что придется импровизировать, но главное — ввязаться, в голове крутятся слова «все» и «ничто», начать я собираюсь с них.

Я отдаю Пете стакан, подхожу к ограждению балкона. Передо мной стоянка гостиницы, перспектива главной улицы города, деревья, на деревьях — буйство птиц, какие-то красногрудые птички, тренькая, перелетают с ветки на ветку, какие-то темно-синие расправляют крылья. Пахнет пылью, свежеспеченным хлебом, пожелтыми цветами. На стоянке — движение: из большого автобуса с торчащими в стороны зеркалами и затененными выпуклыми ветровыми стеклами, похожего на странное пучеглазое насекомое, выходят люди, в их лица всматривается Раечка, делает пометки в блокноте.

— Рая! Раечка! — крикнул я.

Раечка подняла голову, помахала рукой с блокнотом.

— Как ваше здоровье, Антон Романович?

— Отлично! Как доехали?

— С приключениями! Двоих потеряли! Вам привет от Алексей Алексеича!

— Спасибо! Как он на новом месте?

— Разгребает завалы. Вы же его знаете!

— О да! Конечно!

— Ух ты! — говорит Петя, я прослеживаю направление Петиного взгляда и забываю про большое, ничтожное, бессмысленное, про все и ничто, даже про Раечку: ладонью прикрыв глаза от вечно слепящего солнца, вижу, что чуть в стороне от автобуса стоит наш спецфургон, к нему подъезжает ржаво-серая старая «волга», из нее выскакивают два светловолосых мальчика, один чуть повыше, другой чуть пониже, они начинают бегать вокруг фургона, тот, что пониже, ловок, бежит быстрее, шустро уворачивается от догоняющего, их бег безуспешно пытается пресечь вдова Лебеженинова, худая и ломкая, потом она, вместе с водителем, выгружают высокого старика, поддерживаемый с двух сторон, он шаркает к фургону, но не это, не это главное — я вижу Кунгузова, преследующего худого человека в костюме, Кунгузов бежит, но никак не может догнать уходящего со стоянки, который только что потрепал мальчиков по головам, а Лебеженинову похлопал по плоскому задку, причем расстояние между Кунгузовым и человеком в костюме увеличивается с каждым мгновением, до тех пор пока человек в костюме, шагая, не исчезает за углом, а бегущий Кунгузов остается практически на одном месте и лишь беспомощно размахивает руками...

...Петя ненавязчиво помог сложить вещи. Тактично передал мне упаковку с прокладками, в ванной я привел себя в порядок. Мы присели на дорожку, я достал плоскую фляжку, маленькие стальные стаканчики, мы выпили на посошок, вышли из

номера, спустились в холл гостиницы. Из-за стойки, показывая десны, широко улыбалась администратор Татьяна. Облокотившись на стойку, Кламм мяла в большой руке маленький платочек, собираясь вот-вот заплакать. Коллеги приветствовали меня вразнобой, я приобнял за талию Раечку, прижал ее к себе, ощутил твердые, возбужденные сосцы и пленительный запах пота, но сказать что-либо ни ей, ни всем прочим не успел: в холл, чуть замешкавшись в дверях — Иван Суренович пропускал Михаила Юрьевича, Михаил Юрьевич пропускал Ивана Суреновича, — вошли с улицы начальник полиции и главный по федеральной безопасности.

— Время! — сказал Михаил Юрьевич.

— Пора! — сказал Иван Суренович.

Иван Суренович забрал у Пети чемодан, Михаил Юрьевич — сумку, Петя сказал, что для него было честью со мной познакомиться, что полученный опыт бесценен, мы обменялись рукопожатием, и я, между Иваном Суреновичем и Михаил Юрьевичем, вышел на улицу, где выяснилось, что Иван Суренович свою машину отпустил, так как думал, что на аэродром мы поедем на машине Михаила Юрьевича, а машина Михаила Юрьевича, рассчитывавшего на машину Ивана Суреновича, была направлена для поддержки морального духа патрулей на улицах города.

— Кстати, — Иван Суренович опустил руку в карман пиджака, — вашу коробочку нашли на месте аварии. Вы обронили ее, когда упали. Любопытная вещь.

Он вытащил руку из кармана и внимательно оглядел подушечки пальцев.

— Понимаете, Антон Романович, — Михаил Юрьевич взял меня под локоть, — мы хотим ненадолго ее задержать. Идет следствие о трагическом происшествии у кафе «Кафе». Как-никак погиб человек, член общества, другой находится не в самом лучшем состоянии. Вы, просто в силу того, что были посетителем кафе «Кафе», входите в круг не подозреваемых, нет, никак нет, в круг гипотетически причастных...

— Пространственно и временно, — вставил Иван Суренович. — Причастных пространственно и временно.

— Да, так будет точнее, — согласился Михаил Юрьевич.

— Временно с ударением на «о». Не врЕменно, а врЕменноО. — Иван Суренович выразительно посмотрел на меня из-под густых бровей.

— Мне нужна моя коробочка! — Мне пришлось с усилием отцепить его пальцы. — Вы отпечатки сняли? Сняли! С чьими они совпадают и что из этого следует, меня не волнует. У меня алиби! Потерпевшая меня не опознала! Верните коробочку или предоставьте письменный акт об изъятии. Я протестую!

— Ну вот, — разочарованно протянул Михаил Юрьевич. — Мы по-дружески, по-товарищески, а вы протесты заявляете!

Михаил Юрьевич одернул белоснежную рубашку с короткими рукавами и золотыми полковничьими погонами.

— Не ожидал такого от вас, — сказал Иван Суренович и вдруг, незаметно для Михаила Юрьевича, подмигнул.

— Что ж! Желаю приятного полета! — сказал Михаил Юрьевич, опустил мою сумку на асфальт, кивнул, щелкнул каблуками, развернулся на месте и быстро пошел прочь.

— Миша! — Иван Суренович посмотрел на меня с укоризной, положил на чемодан полиэтиленовый пакетик и бросился догонять Михаила Юрьевича. — Миша, подожди!

На пакетике имелась наклейка — «Шаффей А.Р.», дата и неразборчивая подпись. Коробочка была тяжела, как никогда. Она оттягивала руку. На стоянку вылетел армейский «уазик». Поздышев сидел за рулем. Затормозив, он открыл пассажирскую дверь.

— Антон Романович! Двигатели прогреты, взлетная полоса свободна. Меня послали за вами!

Он выскочил из машины, забросил чемодан и сумку в багажный отсек за задним сиденьем.

— Садитесь, Антон Романович! — крикнул Поздышев, запрыгивая на место водителя. — Садитесь скорей!

Я залез на переднее сиденье. Сзади, в самом уголке, за Поздышевым, сидела поповна.

— Вы?

— Да, мы решили...

— Увольняюсь я, — сказал Поздышев. — Хватит! Контракт этот! Надоело! Летим с вами. Рапорт я подал, а там...

— Мы решили пожениться, — сказала Наталья.

— Поздравляю! А как же... А ваш... Вы же учились...

— Нас благословили, — сказала Наталья. — Я переведусь. Спасибо за поздравление!

Мы объехали идущего к гостинице Кунгузова. Он возвращался, прижав локтем фуражку, вытирая со лба пот, и был очень бледен. Надо было попросить остановиться, расспросить Кунгузова, но долго ли будет свободна взлетная полоса, да и двигатели могли остыть. Мне уже хотелось домой. Я зубами разорвал пакетик, достал коробочку.

— Это вам, — я протянул коробочку Наталье. — На свадьбу. Подарок.

— Спасибо! — она легко открыла коробочку. — Ух ты!

— Что там? — спросил Поздышев.

Наталья не ответила.

— Что там? — повторил Поздышев...

...Нас пропустили под полосатым, красно-белым шлагбаумом на летное поле. Поздышев проехал мимо стоявших рядом тихих, усталых пузатых транспортных самолетов. Один из них, зеленый, с большой красной звездой на боку, стоял в начале взлетной полосы, вяло вращал винтами. По опущенной аппарели Поздышев, практически не сбавляя скорости, въехал в его чрево. Поздышев вылез, крикнул «Готово!», аппарель начала подниматься, двигатели прибавили оборотов. Поднявшись по ненадежной узкой лесенке в кабину пилотов, я увидел майора Кламма. Он щелкал тумблерами, прижимая к кадыку микрофоны, повторял «Хризантема! Я — Флокс! Прием!», большой белый облезлый шлем с поднятым желтым забралом делал его лицо маленьким и беззащитным, через ветровые стекла были видны облака.

— Вы же улетели на вертолете! — прокричал я. — Повезли моих коллег, Ольгу Эдуардовну и Роберта Ивановича. Вы уже вернулись?

— А? Что? Антон Романович! Какой вертолет? Мне нужны крылья, я на вертушках летать не могу. Чувствую себя ошипанным. Замкомполка полетел, ему ваш бывший начальник позвонил, распорядился. Садитесь, а то коридор закроют, придется через Ермолино, с подскоком...

— Куда садиться?

— Да на место второго. Он сегодня не может, теща приехала.

— Как же, Геннадий Самсонович! Я же не умею! И не видно отсюда ничего! Это же...

— Что тут уметь! Надевайте шлем, пристегивайтесь. И видеть ничего не нужно. Мы по приборам летаем, по приборам...

Кламм прижал микрофоны.

— Хризантема! Я — Флокс! Разрешите взлет! Прием! Я — Флокс! Вас понял! Вас понял! — Он толкнул меня в кресло. — Антон Романович! Небо ждет! Небо!..

...Небо! Только оно видно мне. Шлем влажно стягивает голову, в наушниках несмолкаемое шипение, вдруг прерываемое далекими непонятными фразами — «Второй, по двадцать четыре шестнадцать на шесть к востоку! Как понял?» Обращенный к Кламму вопрос: «Сколько нам лететь?» — оставлен без ответа. Он не услышал? Быть может, надо было нажать какую-то кнопку, повернуть переключатель? Не знаю.

Кламм указывает на ряд приборов передо мной, я щелкаю тумблерами под каждым, Кламм удовлетворенно кивает, самолет трясется, напрягается, меня слегка вдавливают в спинку кресла, потом появляется ощущение легкости и свободы, я закрываю глаза, засыпаю на какие-то несколько минут, а когда просыпаюсь, то вижу вверху нежную лазурь, вокруг — кажущиеся прочными, упругими, твердыми белые облака, приподнимаюсь из кресла — внизу, в редких разрывах — темно-зеленые леса, рыжие поля, зеркальца озер.

В командирском кресле Кламм, сняв шлем и расстелив на коленях салфетку, закусывает: на салфетке помидор, разрезанный вдоль огурец, два вареных яйца, черный хлеб и розоватое сало. Он очищает от скорлупы яйцо, протягивает мне, я отказываюсь, Кламм откусывает половину яйца и указывает на панель приборов. По черным циферблатам приборов крутятся стрелки, мигают зеленые и желтые лампочки, а под одним из приборов, чья стрелка дрожит возле цифры «ноль», вспыхнула лампочка красная, похожая на глаз наблюдающего за мной потустороннего существа, уставшего от царящей по сторону эту неразберихи. Это сравнение кажется мне натянутым, исполненным самомнения — кто я такой, чтобы представлять интерес, даже наполняющий бывшую жену холодной спермой. Лебеженинов ангелу не интересен, ему нужно общее, тенденция, правила, закон, мне — исключения, выпадения из ряда, произвол. Что мне с того, что порядок будет сохранен? Я-то распадусь, исчезну, стану кучкой пепла. Даже Лебежениновым мне не стать.

Кламм доедает яйцо, что-то кричит, желтые крошки летят у него изо рта. Я бью кулаком по прибору, стрелка оживает, красная лампочка гаснет, вспыхивает зеленая и самолет ныряет. Выравнивается. Ныряет вновь. К горлу подкатывает тошнота. Иллюминаторы залепают клочья облаков. Через редкие просветы впереди видно темнеющее восточное небо, оттуда наползает ночь. Кламм пожимает плечами, смотрит на меня с укоризной, в наушниках слышен хриплый голос:

— Флокс! Флокс! Я — Хризантема! Как слышишь? Как слышишь? Прием!

Слышно хорошо, но земля становится все ближе и ближе. Я хватаю штурвал, нащупываю на нем кнопку, жму на нее, голос Хризантемы смолкает, я кричу: «Я — Флокс! Мы падаем! Падаем! Хризантема! Прием!». — Отпустив кнопку, слышу совсем другой голос, и это не Хризантема:

— Флокс! Флокс... Антон Романович! Где первый пилот? Закусывает? Ничего, справитесь сами. Главное — отставить панику! Слева от вас, на центральной панели, черный рычажок. Двигайте от себя до упора, потом на два деления к себе, другой, от черного слева, серебристый, выдвиньте, но не до конца...

Я выполняю указания, самолет выравнивается.

Кламм запихивает в рот кусок сала. Надкусывает помидор, сок брызжет на приборную панель, мне на брюки.

— Солью, Антон Романович! Посыпьте солью! — слышно в наушниках. — Помните — умереть легко, трудно остаться в живых. Повторите! Флокс! Я — Хризантема! Как слышишь? Прием! Флокс! По двадцать четыре шестнадцать на шесть к востоку! Как понял? Прием!

Содрав шлем, я выбираюсь из кабины пилотов. В кабине «уазика», на заднем сиденье, обняв тяжелой рукой невесту, спит Поздышев, прядь тонких волос закрывает нежное белое девичье лицо. Моторы гудят. В иллюминаторы светит ночь. Пахнет сыростью, машинным маслом, чесноком. Даже если с подскоком, через Ермолино, мы скоро будем на месте. Взять такси. Добраться до дома. Лечь спать. Забыть обо всем.

Вера Зубарева

Если ты в этот миг одинок

Стихи о Саде и Садовнике

1.

Памяти Беллы Ахмадулиной

Мне сказали, что Садовник
Обошёл свои владенья
И пошёл по той дороге,
Что уводит в пред-рассвет.
Мне сказали, это было
Ровно в полночь, в воскресенье,
И об этом точно знает
Всякий сведущий сосед.
— А какое было небо? —
У соседа я спросила.
— Небо было, как на полночь, —
Отвечал, сердясь, сосед.
— Что он взял с собой в дорогу?
За плечами что-то было?
— Ничего... — Сосед подумал
И, смутясь, добавил: — Свет.
Поняла, что в воскресенье
Разлилась луна по саду
И Садовника манила
Той, обратной, стороной.
Ждать его навряд ли надо —
Он пошёл искать рассаду
И раскланиваться станет
Только с ночью и луной.

Зубарева Вера Кимовна — поэт, прозаик, доктор филологических наук. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Живет в г.Филадельфия (США).

2

Ну что ещё сказать?
Всё сказано навеки.
По досточке строки
Идти не вдаль, но вглубь.
Так попадают в сад
Из комнаты по ветке,
Чтоб зажигать луну,
Слетающую с губ.
Всё кончено. Окно
Глядит в другое небо.
Туда не подсмотреть.
И заколочен сад,
И в скважине ночной
Ключ к Дому заповедный,
И обнаружен код,
И нет пути назад.

* * *

Голос голубя утренний гулок,
Будто кто-то грустит изнутри —
После ночи очнувшийся узник,
Что чувствителен к свету зари.
Никаких больше звуков на свете,
Только этот прерывистый звук.
Позолота на стёртом паркете
В том углу, где хранится паук.
Тихо солнце играет в роскошь,
Стонет голубь, чуть выставив бок.
И проникнуться связью их сможешь,
Если ты в этот миг одинок.

* * *

Ветвей изломанная плоскость
И гамаки из паутин.
К дуплу медовый запах воска
С пчелою царственной летит.
Накатывает плавность ветра,
Как медленный переполох,
И капли радужного спектра
Усеивают тусклый мох.
Лучей мальки резвятся в розах,
И небо в перистых мечтах.
Блуждает ум, как сон и воздух,
Как протяжённость без начал.
Всё — непрерывность. Только эхо,
Придав дискретность тишине, —
Как заблудившееся эго
Той жизни, что течёт извне.

Океан

Марине Кудимовой

...лично я бы предпочла океан.
(из больничной переписки)

Четырнадцать это двадцать два.
У океана мерцательная аритмия,
Ему вредны эмоции, а слова
Без них, что раковины пустые.
Может, скалою безмолвной стать,
Может, свернуться в створках моллюском
И сторожить океана кровать,
Слушать, как бродит в ней его музыка...
И перекачивается луна,
Цепенеют рыбы в её свете,
И, словно ангел из небесного сна,
Простыни волн поправляет ветер.

* * *

Из внутренних глубин взойти, в который раз,
Чтоб посмотреть, как отцветает лето,
Как времени сгорающий запас
Готовит к взлёту сердцевину ветра,
Как жизнь идёт, чтоб кончиться впотьмах
И за окном оставить скрип скамейки,
Как вечности блуждающий размах
Споткнётся на случайном человеке.
Летит звезда в пробоину тепла,
Оттуда сумерки нещадно хлещут.
Ночных жуков горящая зола
Палит траву, срисованную с трещин.
Приливы ночи сносят небосвод,
Сооружённый всеу смертным богом.
И высота приветствует полёт,
И глубина болит его итогом.

* * *

Настежь окна. В комнате прохлада.
По ту сторону большого дома —
Пекло, раскаленный блок фасада
И травы горелая солома.
За окном блуждает сад по стенам
Крохотного дачного квадрата,
По зелёно-золотистым венам
Льётся магма солнечного яда.
Слепо разбегаясь, с долгим соло
Хлещет муха по оконной раме.
Будто дети, разыгрались пчелы
Возле чашки и горшков с цветами.
Полумрак в зашторенной гостиной,
Чуть скрипят разошедшие стулья,
И на полке бог с лозою винной
Пролил кубок на венок июля.

Дмитрий Верещагин

Заманиловка-2

Рассказы Сергея Иванова

Белла

1

Я тогда учился в Пензенском художественном училище и читал с упоением Михаила Юрьевича Лермонтова. И поскольку его имение — Тарханы — совсем недалеко от нашего города Пензы, однажды я туда поехал не на экскурсию, а просто для того, чтобы посмотреть Тарханы своими глазами. Приехал, смотрю на ту местность: великолепно! Кругом все до того здорово Господом сотворено, что тут мне стало понятно его, Лермонтова, вдохновение, которое он почему-то перенес на Кавказ. Ведь вот здесь, в Тарханах, красота такая, что надо было и ее воспеть, русскую красоту, а не только Кавказ. И когда я пришел в его колыбель детства, экскурсовод в том музее представилась мне так:

— Я Белла.

— Да, — удивился я, — вы Белла? А как вы мне это докажете, что вы Белла?

— Да меня и взяли сюда на работу за то, что я Белла.

— Вы и в паспорте Белла?

— И в паспорте я Белла, — отвечает она мне.

Надо хотя бы в двух словах описать ее портрет. Она чеченка; я не знаю, как она попала в Пензенскую область, в Тарханы, но догадываюсь, что, когда Сталин выселял чеченцев с их родины, то родители не нашли ничего лучшего, как поселиться на родине Лермонтова. Ведь он, Михаил-то Юрьевич, так любил Кавказ, что они стали молиться и просить его, Лермонтова, чтобы он благословил их на жительство в Тарханах.

Мне очень понравился этот благодатный уголок земли. Я ходил по музейным комнатам думая так: «Вот тут — да, тут действительно рождались гениальные мысли о том, как стать человеком свободным, человеком, который должен жить с мыслью о демоне, о демоне, который будет плакать о грешной земле так, что слеза его прожгла камень насквозь». Вот эти свои мысли я высказал Белле. Она сказала:

Верещагин Дмитрий Иванович — прозаик. Родился в 1941 г. в Пензенской области, с. Ильмино. Окончил Пензенское художественное училище и Литературный институт. В 1970—1980-х гг. публиковался в периодической печати, преимущественно детской. В 2004, 2005 и 2007 гг. в журнале «Крещатик» печатался его роман «Больница». Лауреат конкурса национальной литературной премии «Заветная мечта» (2008 г.), финалист премии им. А.П.Белкина (2012 г., повесть «Заманиловка», опубликованная в «ДН»). Живет в Москве.

— Серёжа, вы очень похожи на Печорина, идемте, я вам покажу прекрасную реку.

— Как называется эта река?

— Сура.

Мы стояли на возвышенной местности, с которой была видна вся прекрасная окрестность их, Тарханов. Я был в таком восторженном состоянии, что воскликнул:

— Ах, вот он почему так полюбил Божий мир! Который действительно так прекрасен, что я расплакался, совершенно не в силах сдержать своего восторга.

2

Река Сура — я смотрел на нее, и так мне захотелось в ней искупаться, что я даже стал снимать с себя рубашку. И я говорю Белле:

— Белла, я вижу перед глазами своими, как в этой нашей замечательной реке купались декабристы, когда их гнали в Сибирь. Понимаете Белла, сколько радости дала декабристам тогда наша река.

— У вас довольно наивные мысли, Серёжа.

— Почему?

— Потому что их этапировали в кандалах как государственных преступников, и им никак нельзя было искупаться в нашей реке.

— Правильно, видимо, все так оно и было. Они, будучи закованы в кандалы, могли только смотреть на то, как хорошо было бы сейчас вот здесь искупаться, в этой реке. Но зато, я так думаю, что в ней купались Радищев, Огарев, Белинский, Ключевский, Куприн. Я уж не говорю про самого Михаила Юрьевича Лермонтова. В этой нашей славной реке купались еще и такие гениальные художники, как Максимов. Автор известной картины «Видение отроку Варфоломею». Ну, конечно, в этой реке купался наш гениальный писатель Аксаков, когда он ехал в свою родную Уфу, — путь его лежал через Тарханы, и он переплывал ее, нашу красавицу реку, на пароме.

Говоря все это, я снял уже с себя рубашку и поиграл своими крепкими мускулами:

— Ох, я сейчас с большим удовольствием нырну в нашу реку!

— Серёжа, — кричала она мне, когда я уже вынырнул наружу, — осторожно, здесь воронки, они могут втянуть вас в глубину, и вы утонете.

— Как бы не так, я очень хорошо ныряю и плаваю. Идите ко мне Белла, мы будем вместе купаться.

Она, недолго думая, разделась, зашла в воду и поплыла ко мне. Уж как мы хорошо купались, что этого и словами не передать. И я при этом думал про Лермонтова, что и он ведь купался так же, как мы теперь купаемся с Беллой. Вот поэтому у него в романе «Герой нашего времени» Белла жадно стремится к реке Кура, чтобы посмотреть на ее шумные воды и помолиться. Вот и мы тоже, находясь в таком же экстазе, стали молиться:

— Господи, — сказала со слезами на глазах Белла, — спасибо Тебе за такую реку, лучше которой нет во всем свете!

3

— Белла, — говорю я, — а вы, когда ведете экскурсию, рассказываете, что такое заманиловка?

— Нет. А что такое заманиловка? Что вы этим, Серёжа, хотите сказать?

— Заманиловка — это сети миродержца.

— А что такое сети миродержца?

— Наш преподаватель по композиции обычно говорит, приложив палец к губам: «Только чтобы ни гу-гу про это, иначе вы и меня и себя подведете под монастырь». Вот

и я вам сейчас говорю, Белла, вы не обращайте на это внимания. Иначе вы и себя и меня подведете. Впрочем, об этом, как говорил наш преподаватель, вы можете прочитать у святителя Игнатия Брянчанинова. Вы, Белла, не читали его?

— Нет, я не читала святителя Игнатия Брянчанинова. Кто он такой?

— Белла, ну как же вы, работая экскурсоводом, не знаете, кто такой Игнатий Брянчанинов?

— Ну вот, Серёжа, не знаю.

— Игнатий Брянчанинов был как раз в то время, когда Лермонтов служил на Кавказе, а весь русский Кавказ — это была территория, на которой служил епископом наш русский святитель Игнатий Брянчанинов. Вот он как раз и исследовал сети миродержца. У него есть гениальный очерк, который так и называется — «Сети миродержца». Вы его непременно должны прочитать. И вот, когда вы его прочитаете, вы, Белла, поймете, что такое есть заманиловка.

— Ну, вы все-таки, Серёжа, в нескольких словах мне скажите, что значит заманиловка?

— Вы ведь, надеюсь, читали Пушкина?

— Конечно.

— И вы, надеюсь, ставили себе такой вопрос: почему наш великий поэт оказался в плену у политических французов. Ведь Дантес — это не просто француз, он является именно политической интригой против России. Понимаете, почему наш великий поэт оказался в этой такой мерзкой заманиловке?

Она прищурилась, потеряла висок и говорит мне:

— Ах, вот оно что такое есть заманиловка!

— Да, дорогая моя Белла, именно в такой заманиловке и оказался Михаил Юрьевич Лермонтов. Но вы, когда проводите экскурсию, говорите об этом своим слушателям?

— Да вы что, — вдруг сверкнув на меня кавказскими глазами, говорит она мне, — да меня за это с работы уволят.

— И пусть. И хорошо, что вы попадете в такие сети миродержца — тогда и вы поймете наконец, каким образом Михаил Юрьевич оказался в сетях миродержца.

4

Весь этот наш разговор с Беллой происходил во время ее обеденного перерыва, и когда она повела новую экскурсию, мне было интересно, как она поступит. Да, представьте себе, она начала свой рассказ именно вопросом:

— А известно ли вам, дорогие товарищи, как наш гениальный поэт попал в заманиловку?

— А что это такое? — спросили у нее.

— Их в жизни нашей очень много, всяких заманиловок.

— Например? Назовите нам хотя бы одну.

— В наше время все мужчины спиваются, а почему? Да потому что пьянство — это и есть такая заманиловка, которая увлекает своими спиртными напитками и, пожалуй, вы со мною согласитесь, что эту заманиловку насылает на людей сам сатана. И вы, пожалуй, согласитесь со мной, что сам сатана принимает в заманиловке свое каверзное участие. Так что, можно сказать, Россию спаивает не Запад. У нас любят все валить на Запад, но кто не хочет употреблять горячительные напитки, тот их и не употребляет.

— А проституция? — задал вопрос молодой человек. — Это тоже заманиловка?

Она отвечает:

— О, да, она, конечно, есть заманиловка.

— Но ведь это профессия, — заметили ей ее слушатели, — очень древняя профессия. Она существовала решительно во все века и во всех странах мира.

— Но вот это как раз и говорит о том, что это такая заманиловка, которая была на земле всегда.

— А теперь она особенно на земле процветает, согласитесь, — сказал молодой человек.

— Я согласна с вами. Ныне она, конечно, особенно процветает в мире.

— А это всё какое отношение имеет к Лермонтову? — раздался голос пожилого мужчины.

— Самое прямое имеет отношение к поэту.

— Что, — спросил все тот же пожилой мужчина, — Михаил Юрьевич интересовался ими?

— Кем ими? — спросил молодой человек. — Интересовался ли он проститутками?

— А то нет, — отвечал ему пожилой мужчина, — это же видно хотя бы из его романа «Герой нашего времени».

— Да где они там, проститутки, в его романе?

— Смотрите, как Печорин заманил Беллу, — она сама, как будто желала попасть в такую заманиловку.

Тут начался разговор, который интересовал уже всех решительно, так что тот же пожилой мужчина сказал:

— Да, Белла отдается ему без всяких строгостей, которые, однако, на Кавказе всегда соблюдались.

— А княжна Мери? — задал вопрос пожилой мужчина. — Ведь и она ведет себя так, как будто готова ему отдаться.

— А Вера, она хотя и находится замужем за почтенным супругом княжеского рода, но ведет себя так легкомысленно, что я, помнится, когда читал этот блудный роман, то с моих губ срывалось: «Проститутки, ах, проститутки!» Вы со мной согласны? — обратился он к Белле.

— Да, но вот это и есть как раз то, что называется заманиловкой.

— Ясно, — сказал пожилой мужчина, что это, конечно, заманиловка. Теперь вы нам скажите, пожалуй, как и почему Михаил Юрьевич оказался в заманиловке?

— Как и почему он оказался в заманиловке — это очень интересный вопрос, и я вам сейчас об этом расскажу.

Она посмотрела на меня — я кивнул ей, как бы говоря давайте, Белла, расскажите об этой заманиловке поподробнее.

5

— Вы неправильно понимаете, — обратилась она к пожилому мужчине, — как и почему Лермонтов оказался в заманиловке.

Этот пожилой мужчина даже на нее обиделся. Он ответил:

— Я учитель русского языка и веду литературу в старших классах. Выходит, что я ученикам своим говорю свои мысли, которые у меня ложные?

— Да, ложные, потому что истинная причина, как и почему Лермонтов оказался в заманиловке, — она вот такая, дорогие товарищи. Наш всякий советский человек непременно оказывается в заманиловке потому, что нет у нас, советских людей, понятия, а что есть Евангелие. Но Лермонтов хотя и изучал в школе, что значит жить по евангельским заповедям, однако же жил как неверующий в Бога мирянин. Печорин — это, можно сказать, портрет самого Лермонтова, вот поэтому и надо прийти к такой мысли, что с женщинами он обращается далеко не так, как должен поступать христианин. В Евангелии сказано: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. Ну и конечно, он именно так

смотрел на женщин. Так что Беллу — неправильно будет, если вы станете ее считать несерьезной девушкой. Она была влюблена в русского офицера, влюблена так, что вспылала к нему чувством пылкой любви, но он, как вы помните, не только не понял и не ответил на ее любовь, напротив, он в это время как раз охладел к ней. Он говорит Максим Максимычу, что он герой нашего времени, и выходит, что все русское светское общество было таким же, как Печорин. И выходит, что причина — она в другом. А именно: наше русское светское общество жило не по евангельским заповедям. Вот это, дорогие товарищи, нам непременно нужно понять, но для этого надо прочесть Евангелие. Если вы думаете, а где взять нам Его, в какой такой библиотеке, хотя, пожалуй, в Ленинской, но для этого надо иметь высшее образование и специально для этого поехать, скажем, из Пензы — в Москву, столицу нашей родины. Ну, я надеюсь, вы теперь понимаете, почему наше советское общество — оно тоже такое же безбожное, и почему советские люди так жадно читают роман «Герой нашего времени».

— Э, да вы, видно, не любите советскую власть? Поэтому и пропагандируете теперь нам Евангелие. — сказал пожилой мужчина. — Я сообщу об этом куда следует. — проговорил он шепотом.

— Сообщайте, — ответила она ему.

А мне она сказала, когда закончила экскурсию:

— Старый стучач! Ведь сообщит, непременно сообщит.

И точно, он сообщил куда следует. Я когда через некоторое время приехал, она в музее уже не работала. Я спросил, за что ее уволили.

— Да она, — ответила мне экскурсовод, занявшая ее место, — начала очень странно говорить про советских людей, что они все в какой-то заманиловке. Она сейчас лечится в психиатрической больнице. — Я спросил, в какой именно, и поехал к ней, чтобы навестить.

6

— Белла, здравствуй.

— Здравствуй, но кто ты такой?

— Я заманиловка, помнишь ли ты меня?

— А, Серёжа, здравствуй, я вспомнила тебя.

А я подумал, что она какая-то странная стала, даже внешне стала худой, точно на треть усохла. Да и как могло случиться, чтобы буквально через два месяца она уже не помнила меня. Но, тем не менее, я заставил рассказать ее о себе, как именно она попала в эту больницу. И она мне рассказала следующее: что на нее какой-то учитель русского языка и литературы донес в дирекцию, дескать, ваш экскурсовод по имени Белла имеет весьма отдаленные понятия о том, кем был наш великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот меня, Серёжа, и вызвали в дирекцию музея и начали распекать за то, что я будто бы не имею никакого понятия, кем был наш великий поэт Лермонтов. Что будто бы к нему никакого отношения не имеет понятие «сети миродержца». «Ну уж, нет, — отвечала я Екатерине Николаевне, — я имею понятие, каким был наш великий поэт. Но я уверена и в том, что сети миродержца — они тоже имеют к нему прямое отношение. Вот посудите сами, это так писал святитель Игнатий Брянчанинов, который у нас на Кавказе был епископом: "Погружаюсь задумчиво в рассматривание сетей дьявола. Они расставлены вне и внутри человека. Одна сеть близко присоединена к другой; в иных местах сети стоят в несколько рядов; в других сделаны широкие отверстия, но которые ведут к самым многочисленным изгибам сети, избавление из которых кажется уже невозможным". Это мне так говорил про сети миродержца мой Ангел-хранитель».

— Когда он вам это говорил, — спросила директриса нашего музея.

— Он мне это говорил в легком сне... сейчас уже не помню, когда это было, вчера или позавчера. Но так как у меня память хорошая на сны, я даже записываю все разговоры свои с моим Ангелом-хранителем.

И тут мне при разговоре с директрисой захотелось в туалет. А они без меня, как рассказала мне потом одна очень преданная мне служительница музея, начали обсуждать мои поступки и мои странные речи. «Как вы считаете, — спросила директриса, обращаясь к своим сослуживцам, — она в своем разуме? Может, нам надо ее отправить в больницу, чтобы там ее полечили?» Они вызвали «скорую помощь», которая и привезла меня вот в эту больницу.

7

— Вот так, Серёжа, я оказалась здесь, в психиатрической больнице.

Когда я поинтересовался, как с нею здесь обращались, она мне ответила:

— Здесь, поскольку я вела себя достойно, ко мне отношение было хорошее. Меня не били, не связывали. Так что через две недели меня пригласили на медицинскую комиссию. Я, конечно, присутствовала на ней, но что меня удивило: вся эта медицинская комиссия, состоящая из заслуженных врачей, которые были кандидатами медицинских наук и даже профессорами, не имеет никакого понятия о заманиловке и «сетях миродержца». Я им все это объяснила, сказав, что все советские люди, потеряв веру в Бога, находятся в сетях миродержца. «Значит и мы тоже все, — спросил генерал, — находимся в сетях миродержца?» — «Конечно, — отвечала я им, — вы все находитесь в сетях миродержца». — «Вы свободны», — сказал повелительным голосом генерал. Услышав такое решение медицинской комиссии, которое исходило от лица самого генерала, я вышла. И как я ждала, Господи, как я ждала решения комиссии относительно меня! И вот по сей день, Серёжа, хотя уже прошло больше месяца, я все еще жду этого решения. — Господи, — воскликнула она, — избавь меня! Сделай так, чтобы я оказалась на свободе!

Увы, она так и не оказалась на свободе. Я потом приезжал к ней еще через месяц, когда увидел ее еще на треть похудевшую, подумал: «Нет, Белла, ты, видно, никогда не выйдешь на свободу!»

Владимир Семенович

1

Конечно, Владимир Семенович оказался в сетях миродержца. Почему это видно? Да по всему: все его песни, все его роли, сыгранные в театре на Таганке — это и есть как раз сети миродержца. Сеть, да какая сеть, из нее совершенно никак нельзя выбраться, благо, весь его успех, колоссальный успех, который он имел, когда его записывали на магнитофоны, вся страна записывала от Калининграда до Камчатки, вы представьте себе, этот такой успех и, пожалуй, объясните, откуда на него упал этот такой сумасшедший успех? Ну и, конечно, это никак нельзя объяснить иначе, как только пониманием, что это вот и есть сети миродержца.

Я знал Владимира Семеновича хорошо, был его телохранителем. Помню, он меня проверил: подал мне подкову и сказал: «Сможешь вот эту подкову разогнуть?» Я взял и, ни слова не говоря, разогнул подкову и подал ему. — «Да, мужик, ты силен, хочешь служить у меня моим телохранителем?» — «Хочу!» — отвечал я ему. Конечно, ему нужен был телохранитель, потому что, к примеру, когда он поехал на БАМ и выступал там, исполняя своим хриплым голосом свои гениальные песни, он приводил

всех в такое состояние, что люди орали ему восторженно: «Володя! Володя! Ты потрясный человек!» Я при этом снимал с головы своей шапку и, бывало, гляжу, как они все бросают в нее денег столько, что она, гляжу, уже полная. Я высыпал их в мешок и шел дальше, держа шапку в руке. И снова она полная. Я не успевал подставлять ее под протянутые руки с деньгами. Ну, понятно, что были и такие орлы, которые желали бы воспользоваться этими его деньгами. Сколько раз в гостинице они желали ограбить его. И что делал я в такие минуты? Он спит, как всегда изрядно покушавши вина и водки с пивом, а я иду открывать дверь гостям, говоря им: заходите по одному. Самый смелый из них, бывало, говорит: «Где Семеныч, я хочу его видеть». А что делаю я при этом? Я делаю удар ему по печени такой болявой, что он валится на пол, как труп. Но что делать, такая у меня должность, на то я и телохранитель, чтобы сделать все для спокойствия своего хозяина.

— Следующий! — кричу я около входной двери, но по эту сторону.

Входит следующий. Он спрашивает:

— Где Колька?

Я показываю ему.

— Это Колька?

— Колька, — отвечает Колькин приятель.

— А че он тут лежит?

— Он выпил бутылку водки из горла.

— А кто дал ему эту бутылку?

— Я вот смотрю на тебя и вижу, что ты тоже хочешь выпить бутылку водки из горла и лечь вот так же рядом с ним.

— Хочу, — говорит он.

— Хорошо, — отвечаю я ему, и поскольку водки у нас всегда было достаточно, я беру бутылку водки из ящика и подаю ему: — На, пей.

И вы представьте, он выпивает всю бутылку до дна из горла. И потом ложится рядом с Колькой. А я иду к двери и кричу:

— Следующий!

Заходит следующий и, увидав своих приятелей в лежащем положении, говорит:

— Чего это они тут разлеглись?

— Вот так они хорошо похмелились. Ты, приятель, пожалуй, тоже желаешь выпить?

— Очень даже желаю!

— На, приятель, пей!

И он пьет тоже из горла до дна, да еще и спрашивает:

— А нельзя ли чем-нибудь закусить?

— Нет, друг, у нас нет никакой закуски. Мы с Владимиром Семеновичем пьем и не закусываем.

А он вдруг как заголосит: «Протопи мне баньку по белому, я от белого света отвык». На эту песню отзывается сам Владимир Семенович. Он выходит из другой комнаты, спрашивает:

— Кто сейчас исполнял мою песню? Дай ему за это выпить.

— Я ему уже дал. Видишь, Володя, он уже улегся рядом со своими приятелями и похрапывает.

— Давай их как-нибудь выпроводим отсюда, — говорит он мне.

Я соглашаюсь, но с условием, что мы их сбросим вниз с балкона на березу.

Что мы и делаем. Береза их опускает нежно на землю, но так, что они все-таки просыпаются и кричат нам:

— Жулики!

А я им отвечаю:

— А вы мазурики!

И они уходят в темноту.

2

У Владимира Семеновича все стихи, которые он писал исключительно для своих песен, конечно, они у него не имеют никакого религиозного смысла, они очень далеки евангельских заповедей, но зато они настолько близки пониманию народному, что ни один советский поэт или певец не имели, не имеют и, пожалуй, никогда не будут иметь такого взаимопонимания с народом. Я очень внимательно наблюдал, как к нему относились все творческие работники, и сейчас я вам расскажу, к примеру, как его принял Валентин Григорьевич Распутин, к которому мы приехали на Байкал — в Братск и еще и потому, конечно, чтобы полететь на самолете в Москву. Валентин Григорьевич, слава Тебе Господи, был дома. И вот что удивительно: раньше они никогда не встречались, но теперь в каком-то дружеском порыве устремились друг к другу, обнялись и даже поцеловались. Так что я подумал: «Вот как встречаются родственные души, которым дал Бог талант незаурядный!» И его стали просить все домочадцы, чтобы он спел. Владимир Семенович не заставил себя упрашивать, он взял гитару в руки и запел свою песню, свою коронку: «Истопа мне баньку по-белому, я от белого свету отвык». Все домочадцы Валентина Григорьевича расплакались от восхищения и куда-то вдруг исчезли, а вместо них предстал человек, у которого на Байкале стоит свой катер. Кто ему сказал, что к Распутину приехал Владимир Высоцкий, — вот это я уж не знаю. Он всех нас пригласил поплавать на катере по озеру Байкал.

— Хорошо, — сказал Владимир Семенович, — мы с большим удовольствием принимаем приглашение. Но, пожалуй, надо что-то купить для этого нам в магазине?

— У меня все есть, — сказал Нефедьев.

— А именно, что у тебя есть? — спросил Валентин Григорьевич.

— Ведро свежей рыбы.

— Омуля? — уточнил Валентин Григорьевич.

— И омуль имеется: в копченом и в свежем виде.

— А запить омуля есть чем-нибудь? — спросил Владимир Семенович.

— Да, есть. Две бутылки водки есть у меня на катере и несколько бутылок пива.

— Две бутылки? — уточнил Владимир Семенович. — Но это же очень мало. Давайте еще возьмем ящик коньяка, ящик водки и пива пару ящиков.

— Извините, но у меня нет таких денег, — сказал Нефедьев.

— Ничего. Мы тебе сейчас дадим денег. — И, посмотрев на меня, говорит: — Дай ему денег.

— Слушаюсь, — отвечаю. — Сколько тебе, браток, надо денег на ящик водки, на ящик коньяка и на два ящика пива? Ну, и на закусь?

— Я сразу никак не могу сообразить, сколько на все это нужно денег, — признался Нефедьев, почесывая свой затылок.

— Возьми деньги и иди с ним, — распорядился Владимир Семенович.

Я взял мешок с деньгами высыпал из него в полиэтиленовый пакет аж до самого верха, и мы с Нефедьевым пошли в магазин. Там набрали всего: икру красную, жалко, что не было черной, батон докторской колбасы, батон колбасного сыра (другого в магазине не было), и я спрашиваю Нефедьева:

— У тебя, если мы будем варить уху, имеется картошка, лук, пшено, лаврушка?

— Нет у меня ничего, я на такую уху не готовился.

— Ну, хорошо, — говорю, — давай все это мы купим и отвезем на твой катер.

И слышу:

— Эй, гаврики, ко мне, все это возьмите и отнесите в мою машину.

Его гаврики тут же все это исполнили с таким старанием, что я хотел им заплатить, но Нефедьев сказал мне:

— Нет, нет, не надо их баловать! Я им плачу зарплату. Спасибо, голубчик, — говорит он мне.

И мы все, что приобрели в магазине, привезли на его катер, а потом поехали за Владимиром Семеновичем и за Валентином Григорьевичем. Привезли их, перекрестились и пошли садиться на катер. Отплыли от берега, и вдруг, откуда ни возьмись, пошел дождь, да такой сильный, прямо как из ведра льет. Так что мы, забежав на катер, устремились в каюту.

— Очень хорошо, — сказал Нефедьев, — сейчас мы приготовим уху, а пока — глядит он на Валентина Григорьевича, который уже открывал бутылку с пивом, — вот вам наш знаменитый копченый омуль.

Черт возьми, какая вкусная вещь этот байкальский омуль! Я никогда не ел ничего вкуснее. Пока мы пили пиво с омулем, Володя Нефедьев сготовил уху из свежей рыбы. Вот это уха, так уж это действительно уха! Знаете, да еще и выпили по рюмочке водочки, вот это был действительно наш праздник на озере Байкал.

3

Но удивительно еще и то, какая чистая вода в Байкале. Мало сказать, что она как слеза чистая. Вы представьте себе, многокилометровая глубина показывает все: и рыб, и всяких других животных вплоть до медуз и водорослей. Ученые говорят, что это единственное озеро на земле, которое охраняют инопланетяне. И последние наблюдения именно говорят об этом. Инопланетные тарелки, летая над озером, вдруг опускаются в воду и исчезают где-то в глубине. Вот, по мнению ученых, именно потому и находится Байкал в таком исключительно чистом состоянии. Там, на Байкале, находятся целлюлозно-бумажные комбинаты, которые могли бы его, Байкал, загрязнить настолько, что он превратился бы в грязную помойку. Но, однако, на деле этого не происходит: Байкал как был самым чистым озером в мире, таким он остается и ныне. Вот это и интересно: интересно в том плане, что, выходит, это чудное, великолепное озеро охраняют инопланетяне. Нетрудно догадаться, что это все происходит под присмотром самого Бога. Теперь мы можем говорить еще и так: вся наша планета, которая отдана людям, конечно, могла бы быть загрязненной так, что на ней невозможно было бы жить. Но почему-то этого не происходит. Наша планета чиста настолько, что и моря, и леса, и реки, все они радуют человека, — и если где-то случается какое-то значительное загрязнение, то через некоторое время это значительное загрязнение очищается. В этих местах как раз и наблюдают люди летающие тарелки инопланетян. Понимаете, дорогие мои читатели, мы всячески, как только можем, засоряем нашу планету, однако же она каким-то образом очищается. Ну как тут не допустить такую мысль? Инопланетяне — это, во-первых, инопланетяне — они есть никто, как Богом посланные оберегатели нашей планеты. Впрочем, пожалуй, не все так радостно, как можно подумать: археологи находят во многих местах нашей планеты скелеты людей-великанов, есть, уже найдены такие скелеты, по которым можно установить возраст тех людей-великанов: они были двухметровые и выше, они были трехметровые и выше, они были даже пятиметровые и выше. Вы представьте такое, что даже были великаны десятиметровые и выше! А почему мы такие маленькие, незначительного росточка люди? Ученые говорят, что вот почему: двести миллионов лет назад нашу планету населяли добрые великаны и злые. Между ними будто бы случались войны. Они применяли ядерное оружие, случалось, что между ними происходили войны, которые совершенно уничтожали на земле все, а именно: планета была настолько цветущей, что на ней были даже такие создания, как динозавры. Но однажды между ними случилась такая ядерная война, что всё на поверхности планеты было уничтожено, и земная ось покосилась на тридцать с лишним градусов, и планета на полюсах своих оказалась во мраке и жесточайшем

холоде. Все это можно объяснить только одним: те великаны впали в безбожие, и Господь их наказал, и они все исчезли с лица земли. Вот так и с нами может быть, с безбожниками, Господь накажет нас, как тех великанов, и мы окажемся в таком положении, что всё потеряем, — не только прекрасный чистый Байкал, но и всю землю.

4

Но вы, читатель, пожалуй, не задумывались, почему люди умирают так: кто-то в двадцать восемь лет, кто-то в тридцать восемь, кто-то в семьдесят восемь, а кто-то даже в девяносто восемь лет. Ну, как пример, — режиссер театра драмы и комедии на Таганке Юрий Петрович Любимов. Недавно праздновали его девяностолетие. Почему он так долго и творчески удачно жил? Потому что за ним наблюдали ангелы (инопланетяне) и видели, что он в своем творчестве так прекрасно замысли свои осуществлял, ведь одно его начало — спектакль «Добрый человек из Сезуана» — уже говорит о многом. Если посмотреть на репертуар театра и на те работы, которые он сделал, — там были для советских времен совершенно необычные авторы: Кафка, Булгаков, Пастернак. Эти авторы были для советских людей неизвестны, и пропагандировать их было запрещено. Но когда в театре на Таганке (раньше он назывался театром драмы и комедии, который совершенно был непосещаемым) стал главным режиссером Юрий Петрович Любимов, театральной публике он так понравился, что на спектакли устремилась вся театральная Москва, и далеко на подходе к театру спрашивали: «Нет ли у вас лишнего билетика?»

Кто руководил его судьбой? Уж наверняка можно сказать, что Ангел-хранитель. Ну, а что можно сказать в этой связи о Владимире Высоцком? Конечно, он пришелся по душе режиссеру Любимову настолько, что тот ему стал давать главные роли в спектаклях — потому что Высоцкий умел отвечать его задачам. Ну, скажем, как он сыграл Гамлета? Гамлет в его трактовке — это советский правитель, знаете, такой, как Ленин, такой, как Сталин, но который, однако же, решал эти сложные вопросы — быть или не быть — совершенно не так, как их решали наши правители. Он хотя и рисовал наших великих вождей, но показывал их совестливыми, такими совестливыми, что они решали проблемы России не так, чтобы кулаков отправлять в Сибирь. Нет, у Высоцкого в голосе Гамлета звучало доброе понимание всех людей, которые жили в послевоенное время. Вот именно за это его любила театральная публика и вся страна.

5

Конечно, кто-то за нами наблюдает. Вели наблюдения за озером Байкал и видели, что взлетают из него летающие тарелки. Ученые установили, что на нашей планете столько глубоких нор, в которых могли схорониться не десятки, а сотни человеческих кораблей и вертолетов. И вот из этих нор и появляются инопланетяне, которые наблюдают за всеми нами, людьми, которые ныне живут на планете. И как раз интересно проследить, как они наблюдают за такими людьми, как Владимир Высоцкий, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Любимов. Они словно устанавливают срок жизни: одному человеку, как Юрий Любимов, дают прожить девяносто лет и больше, а другим, как Владимир Высоцкий, они отпускают совсем небольшой срок — сорок два года. А Лермонтову они отпустили еще меньше — всего двадцать семь лет. Но в этом рассказе мы ведем разговор не о Лермонтове, а о Высоцком: интересно, конечно, как ангелы (или инопланетяне) установили такой срок ему жизни. Я думаю, что тут влияет много факторов — ну, скажем, женитьба, которая была у него такая, что он, я полагаю, женился не раз и не два и даже не три, хотя — вот ведь что интересно — только когда он женился в третий раз, на Марине Влади, он по-

настоящему влюбился. Боже мой, как он меня просил позвонить ей! Но я никогда не соглашался, я говорил: «Это, Володя, твое дело. Вот, на тебе телефон и звони сам ей». Но я, конечно, слушал с большим удовольствием, как он звонил: «Девушка, дайте мне Париж». И называл ее домашний телефон. И он совершенно вдруг преобразался, когда слышал голос Марины Влади. Он говорил ей: «Марина, я тебя очень люблю». И она ему всегда отвечала: «Володя, и я тебя всегда очень люблю». — «Марина, голубка ты моя, ты можешь срочно прилететь в Москву, я тебе все оплачу?» — «У тебя деньги появились?» — «Марина, у меня два полных мешка денег». — «Хорошо, я завтра прилечу к тебе в Москву». И вот тут он мне дает задание: надо к ее прилету найти вагон прекрасных грузинских вин и всяких других деликатесов. Я с этими его заданиями всегда справлялся так добросовестно, что на мне не было ни одной соринки. Помню один случай, о котором я расскажу в следующей главе.

6

— Друг мой, — говорит мне Володя, — ты сними ресторан первого разряда, конечно, где-нибудь в центре.

— На сколько персон? — спрашиваю.

— Ну, человек на двести. Мало?

— Да вы что, Владимир Семенович, это ведь какие деньги. Надо их всех накормить, напоить.

— Конечно, — отвечал он мне, — на это надо потратить целый мешок денег. Ну и что, что мешок, ну второй-то мешок у нас останется?

Я не стал с ним спорить: мне-то что? Я человек маленький. Мне что сказано, то я и делаю. И он мне велит, чтобы я звонил всем и говорил им, чтоб приходили во фраках.

— Да зачем во фраках, Володя? Пусть приходят хотя бы и в джинсах.

— Ну, вот так им и скажи: если у вас нет фраков, то приходите, господа, хотя бы в джинсах.

И вот я начинаю звонить и приглашать в гости.

— Леонид Ильич, здравствуйте. Мы вас приглашаем в ресторан «Метрополь».

— Кто это мы? — спросил Брежнев довольно участливо и заинтересовано по части погулять и выпить.

— Мы, — отвечал я ему, не моргнув глазом. — Это Владимир Семенович Высоцкий и его супруга Марина Влади.

— Хорошо, — отвечает он. — К которому часу надо подъехать?

— К шести часам вечера. Вас это, Леонид Ильич, устраивает?

— Вполне.

Он положил трубку, а я приглашаю следующего гостя. Суслова Михаила Андреевича. Он сам не подошел к телефону, а подошла его секретарша.

— Екатерина Алексеевна? Здравствуйте.

— Здравствуйте. Это я с кем говорю?

— С Владимиром Высоцким.

— Володя, я очень рада слышать ваш голос. Вы нас, надеюсь, хотите пригласить на свой творческий вечер?

— Да, Екатерина Алексеевна, вы почти угадали. Но наш вечер будет посвящен несколько другой дате. У нас с моей супругой, Мариной Влади, исполнилось уже десять лет, как мы поженились. Вы со своим супругом будете на нашем вечере?

— Извините, но Михаил Андреевич не сможет приехать. Но, Володя, вы скажите, будете ли вы исполнять свои гениальные песни?

— Буду.

— Тогда я с радостью приеду.

Следующему я звоню Иосифу Кобзону.

— Иосиф Давыдович?

— Я.

— Здравствуйте. Вас приглашает на свой творческий вечер Владимир Семенович Высоцкий. Этот вечер будет в ресторане «Метрополь» в шесть часов вечера. Вы сможете приехать?

— Буду. Большой привет моему другу Володе.

Потом я еще сидел и обзванивал всех самых знатных людей в России. Они проживали не только в Москве, но и других городах Советского Союза. И все они выразили свое желание присутствовать на таком вечере. Один только Иннокентий Михайлович Смоктуновский сказал, что и рад бы, но занят вечером в спектакле «Иванов». Зато Юрий Петрович Любимов и Олег Николаевич Ефремов с большим удовольствием дали свое согласие. Ну, и так далее.

7

Марина Влади прилетела в Москву в шестнадцать часов по Московскому времени, а в восемнадцать часов нам уже надо было присутствовать на вечере в ресторане «Метрополь». Вот поэтому я водителя такси все время подгонял: прибавь газку, мы тебе за это отстегнем денежку. От Шереметьева до «Метрополя» проехать не так-то просто за это время, но мы приехали как раз к самому началу. Уже Леонид Ильич начал свою речь, в этом отношении он был молодец: он всегда приезжал вовремя, минута в минуту, и тут же начинал свое выступление, благо он думал, что все этого ждут. Я помню дословно его речь:

— Дорогие Владимир и Марина, я поздравляю вас с этим вашим радостным событием: вы прожили уже десять лет в любви и согласии. Я желаю вам и в дальнейшем прожить ваши годы в любви и согласии.

Больше он ничего не стал говорить, но тут же схватил бокал с шампанским и выпил его одним духом, добавив:

— Налейте мне сюда еще водочки. Я люблю запивать шампанское нашей русской водкой.

А Любимов на это ему говорит:

— Леонид Ильич, я тоже люблю запивать шампанское нашей русской водкой.

И тут подал свой голос Владимир Семенович:

— Друзья мои, а уж как я люблю запивать шампанское нашей русской водкой!

— Ты, Володя, выходит, член нашей партии? — вдруг задал вопрос ему Леонид Ильич, совершенно ни к селу, ни к городу.

— Нет, Леонид Ильич, — отвечал ему Владимир Семенович, — я не член вашей партии.

— Как, — удивился Леонид Ильич, — как же это выходит, что такой талантливый человек и не член партии, а?

И он посмотрел на Юрия Петровича Любимова, как бы спрашивая его, как же это так получилось, что он не член нашей партии?

— Леонид Ильич, у нас даже и разговора никогда не было. Наш Володя и никогда не просил, чтобы его приняли в ряды нашей партии.

— Ну, ты сам-то, — говорит Леонид Ильич Юрию Петровичу Любимову, — я надеюсь, ты член нашей коммунистической партии?

— Да, конечно, Леонид Ильич. Я член коммунистической партии с 1952 года.

— Вот это хорошо, — отвечал Леонид Ильич. — Но почему же ты не поставил вопрос, чтобы и Владимир Семенович стал членом нашей партии? Вы со мной согласны? — обратился он к министру культуры.

А она ему отвечала:

— Просто, Леонид Ильич, у меня слов нету, как я с вами согласен.

Хмель начинал на него действовать. Он даже обратился с вопросом к Кобзону, имени которого сейчас он уже не помнил. Поэтому он к нему обратился так:

— А вы, маэстро, как считаете?

— Я, Леонид Ильич, с вами совершенно согласен: такой человек, как наш Владимир Семенович Высоцкий, конечно же должен быть членом нашей партии.

— Значит и вы тоже член нашей партии, раз так говорите?

— Конечно, Леонид Ильич.

— А вы согласны дать рекомендацию Владимиру?

— Да, Леонид Ильич.

— А вы, — говорит он Юрию Петровичу Любимову, — согласны?

— Да, конечно, Леонид Ильич, — отвечал ему Любимов совершенно искренне. Он поднял глаза на своего любимчика Владимира Высоцкого и говорит ему: — Вот слышишь, мой друг, и до тебя дошла эта повинность.

— Нет, — сказал Владимир Семенович, — я не буду вступать в вашу партию.

— Почему? — спросил удивленно Леонид Ильич.

— Леонид Ильич, я не достоин.

И вот тут началось.

— Тогда и я не достоин, — кричит какой-то много раз заслуженный деятель искусств.

И всех их примирил Иосиф Кобзон своей песней «Хотят ли русские войны». А Людмила Гурченко, вдруг запрыгнув на стол, закричала:

— Хотят! Русские хотят войны! С американскими империалистами!

Почему она так говорила? Потому что прекрасно помнила, как Никита Сергеевич настаивал на том, чтобы Советский Союз построил на Кубе военную базу. С которой в случае необходимости можно было бы уничтожить многие американские города. Но тут начался такой шум среди гостей, что они, выпив по стакану виски, а кто и стакан водки, стали кричать:

— Людмила, мы с вами согласны! Мы всегда готовы дать отпор нашим заморским агрессорам. И тут Владимир Семенович, взяв гитару в руки, запел песню: «Он не вернулся из боя».

Почему всё не так? Вроде — всё как всегда:

То же небо — опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух и та же вода...

Только — он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас

В наших спорах без сна и покоя.

Мне не стало хватать его только сейчас —

Когда он не вернулся из боя.

В зале ресторана стало тихо, так тихо, что все услышали голос Марины Влади:

— Дорогой мой муж! Дорогой ты мой Володя! Как я люблю тебя слушать, когда ты общаешься со своими близкими! Ведь все они, погибшие на фронте солдаты, все они тебе близкие! Слышишь ли ты меня, Володя?

— Слышу, Марина, слышу. Да, они все близкие мне родственники.

Я не буду далее описывать тот торжественный вечер. Я скажу только, что личность Владимира Семеновича выросла настолько высоко, что даже оркестр, под который танцевали гости, вдруг неожиданно заиграл гимн Советского Союза. И все запели:

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь.

Да здравствует созданный волей народов

Единый могучий Советский Союз!

8

Этот творческий вечер Владимира Семеновича происходил, когда шла Олимпиада в Москве. Леонид Ильич именно поэтому был на подъеме: он был совершенно уверен, что всё мировое сообщество отнесется к открытию Олимпиады, с его напутственной речью, на самом высоком уровне. Однако я помню, как приветствовал Олимпиаду Владимир Семенович. Он сказал в тот вечер: «Леонид Ильич, это твоя кончина. И моя, кстати говоря. Я умру как раз в эти дни, когда будет проходить Олимпиада в Москве». Странное дело, но все именно так и случилось. Да, он умер, когда в Москве все торжествовали по случаю грандиозного открытия Олимпиады. Поэтому, когда он умер, мне показалось, что на это никто не обратит внимание. И действительно, ни по радио, ни в газетах, ни по телевидению не было сказано ни одного слова. Откуда просочилась эта страшная весть о смерти Владимира Высоцкого? Ведь только около кассы театра на Таганке было сообщено, что умер актер Владимир Высоцкий. И вы представьте себе: вокруг театра стояли тысячи людей, и даже по крышам близлежащих домов ходили люди в черных траурных рубашках. А в день похорон толпа людей, которые хотели его проводить в последний путь, выстроилась от московского Кремля до театра на Таганке. Мне помнится, что сказала Марина Влади: «Я видела похороны многих королей и принцев, но таких похорон, какие ныне здесь в Москве, я в своей жизни не видела».

Да, Олимпиада в этой связи померкла. Потому что все говорили только о смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Синий халат

1

Ее звали все Сонечка, при этом прибавляя слова «милая ты наша», «хорошая наша» и «ненаглядная». Она действительно была милая, хорошая и ненаглядная. У нее была очень хорошая фигура и большие шикарные бедра, которые ничем было нельзя скрыть, — никакие широкие платья не могли скрыть эти ее бедра. Но вот когда однажды случилось, что она стала подрабатывать уборщицей и ей выдали синий халат, она подумала, что этот халат ее освободит от блудливых взглядов, которые ее сопровождали везде. Увы, вот этот как раз синий халат и выставил ее на всеобщее обозрение начальников. Даже замминистра стал ей говорить комплименты: «Сонечка, как вы хорошо выглядите в своем синем халате!» И вот теперь они стали к ней все подходить и просить у нее ручку для поцелуя. Отказать ей, конечно, никак было нельзя — скажем, замминистру, который ей уже в своем кабинете признавался в любви. Пожалуй, попробуйте отказать замминистру, когда он признается в любви. Да и ей это очень нравилось: так она работала в своем отделе и к ней ни один замминистр не подходил и не признавался горячо в своей любви. Ну, было один раз, подходил к ней начальник ее отдела и у них была близость. Но теперь, когда она надела свой синий халат, в котором она хорошо работала — она убирала кабинет замминистра, который конечно, должен быть в идеальном порядке и чистоте. Она без особых усилий все это делала: протирала паркет, выносила мусор, протирала столы и подоконники от пыли и выполняла разные обычные для уборщицы работы. Она была старательной женщиной, которая хорошо выполняла свою работу. Ей прибавили зарплату, а это было в девяностые годы, когда управлял страной Борис Ельцин. Прибавка была очень кстати, потому что денег в семье не хватало. Но тут она почувствовала, что, когда она надевала

этот синий халат, на нее все мужчины как-то особенно жадно стали смотреть. Один министр даже силком затащил ее в кабинет и, хрипя каким-то своим паскудным голосом, сказал:

— Сколько ты, Сонечка, хочешь?

Она промолчала. Он вытащил свое портмоне и достал несколько крупных купюр.

Что было далее, я расскажу в следующей главе.

2

Она, говорил мне про нее ее муж Сергей, всегда была вертихвостка. Если она пошьет себе новое платье, то это мне всегда причиняло большую душевную боль. И вот почему я так говорю. Скажем, все девушки покупают новые платья и, казалось бы, ничего в этом нет особенного. Но когда моя жена надевала новое платье и мы шли, ну, в какой-нибудь ближайший магазин, ее бедра, которые выпирали из любого ее платья, они действовали так на мужчин, что те прямо-таки не давали нам ходу. Я злился и говорил им: «Отстаньте от моей жены!» Однако я всегда слышал возражения:

— Тебе, замухрышка, не только не надо водить такую красивую женщину, у тебя вон, — показывали они на собаку, на сучку, — вон такая у тебя должна быть жена.

Господи, Боже мой, как у меня в душе в это время все переворачивалось! Ну конечно, когда однажды она пришла в синем халате, крутанулась перед зеркалом и спросила: «Как тебе нравится мой новый халатик?» — «Проститутка!» — сказал я и заплакал. Потому что я все видел: она там, работая в министерстве, всех очаровывала этим своим синим халатиком, который красиво облегал ее бедра. И, конечно, при этих таких больных моих мыслях я дошел до больницы, которая называется... психушкой.

3

Но в психушке работают не такие глупые люди, как можно было бы подумать. Нет, они почти сразу увидели, что я умственно нормальный человек. Но, правда, я работал там две с лишним недели, чтобы они убедились в том, что я человек вовсе не сошедший с ума. Как я это сделал? Я начал помогать медсестре, которая жаловалась, что ей не удастся сделать укол некоторым странным больным.

— Ничего, Лариса, я сделаю все, что нужно делать в таких случаях.

А именно, что я сделал.

— Встать, — говорил я больному, который не мог подниматься, — я тебе так сейчас ударю по печени, что ты сразу издохнешь.

И он, представьте себе, встает и, сняв трусы, ожидает, когда ему сделают укол. Медсестра, конечно, от всего этого была в восхищении. Она была настолько довольна, что это свое мнение она передала всем следующим медсестрам, и мне, поскольку больничная кормежка была слабая, они стали приносить свои домашние изготвления. Я их, конечно, благодарил, благодарил так, что они при этом тоже меня благодарили, восклицая:

— Серёжа, какой ты хороший помощник, можно сказать, просто одно наслаждение!

А в это время моя супруга, Сонечка, в синем своем халате мыла кабинет, а я, хотя и находился в психиатрической больнице, но я видел ясно в своем воображении, как министр начинает удовлетворять мою жену. Это настолько, настолько подействовало на мое психическое воображение, что я решил как можно скорее выйти из больницы и начать такую жизнь, чтобы она увидела, что я человек интересный.

4

Вот тогда, когда я вышел из больницы, я сделал все, чтобы она увидела, какой я неординарный человек. Я поступил на работу в Большой театр курьером, потому что я учился в Литературном институте, а им требовался именно такой человек, который имеет некоторое отношение и к литературе, и к культуре. И тут получилось так, что я поехал на три месяца работать в строительном отряде. А далее получилось еще интереснее: я так понравился райкому как сообразительный работник, что меня первый секретарь райкома партии попросил возглавить строительство всех комплексных зерносушилок (КЗС), что я и сделал. Вот поэтому я вернулся осенью в Москву и там, в Большом театре, теперь уже смотрели на меня с восхищением, потому что я за лето поздоровел, загорел, можно сказать, даже возмужал, да к тому же пошил новый костюм (в те годы мы, советские люди, хорошие вещи шили в ателье). И тут, конечно, все стали обращать на меня внимание и обращаться ко мне ласково: «Серёжа, Серёженька, милый наш Серёжа». И вот в это время я познакомился с женщиной, которая жила, ФРГ, то есть в капиталистической стране. Но которой предоставлялось почему-то такое право, что она запросто могла посещать все страны социалистического лагеря. Мы с ней познакомились в метро, потому что ей было интересно, как в Советском Союзе работает метро. Помню, вагон качнуло, тряхнуло — и мы полетели друг к другу, так что она оказалась у меня в руках, и я ее держал так твердо, что она хохотала от удовольствия. Ну что можно было показать такой женщине у нас в Москве? Конечно, у нас такое место есть в Москве, оно называется ВДНХ. Вот туда я ее и повез, на выставку народного хозяйства, но я совершенно забыл, что у меня с собой просто не было почему-то денег, и я, недолго думая, потащил ее несколько подальше от входа, и жестами показал, что нам надо залезть вверх и спуститься вниз, с другой стороны. Когда она полезла, я ее руками подталкивал в ее мягкое место, приговаривая: «Давай, давай лезь скорее, пока нас не увидели!» — она также смеялась над всем происходящим. И вот, когда мы перебрались через чугунную изгородь и пошли созерцать выставку, как я тогда думал, самую красивую в мире, благо нашим глазам открылись великолепные виды: фонтаны, скульптуры, цветники, и все это освещено было ярким электрическим светом. Конечно, ей это все понравилось, очень понравилось. Так что она сказала: «Вот он какой, коммунизм!». Странное дело, у меня хотя и не было с собой денег, но я ее потащил в ресторан. Причем, замечу, я в ресторане заказал праздничный пирог на десять персон, черную икру, люля-кебабы, салаты и другие праздничные закуски, да еще и вина дорогого — армянского пятизвездочного коньяка и грузинского вина Киндзмараули. Но теперь я сижу и думаю: «А где у тебя деньги, чтобы расплатиться за все это? Сейчас ты опозоришься не только сам, но и опозоришь всю нашу советскую страну на всю Европу!» Я взял ее руку, которая у нее вдруг вздрогнула, и она сказала: «Серёжа, у меня есть очень много советских денег, которые мне совершенно не нужны».

— Давай их сюда, дорогая моя.

Она вытащила из своей сумочки целую пачку наших советских сторублевых ассигнаций. Ясно, что честь моя была спасена.

5

Конечно, я стал ее приводить в Большой театр, где меня видели всегда хорошо одетым, и все артисты оркестра относились ко мне очень хорошо. Даже знаменитый гениальный дирижер Евгений Федорович Светланов. Дирижерская комната их, дирижеров, находилась тоже в подвальном помещении, и она сообщалась с оркестровой ямой. Туда никак, никому нельзя было проникнуть, это было очень строго запрещено, но я, поскольку был курьер, которого посылают ко всем великим мастерам искусства, конечно, имел возможность заходить и в такие комнаты, понятно, что за это меня все уважали как человека, который заходит запросто к таким великим дирижерам и который докладывает: меня послали к вам с тем-то и с тем-то. Я же, понимаете, очень хорошо знал Майю Михайловну Плисецкую, благо я для нее вызывал такси и провожал на выход. Понятно, что я был не просто лицом, а личностью в Большом театре. Так что мне ничего не стоило привести в театр эту буржуазную немку.

— Ах, — воскликнула Майя Михайловна, когда я привел ее на спектакль «Анна Каренина», — какая красивая девушка.

— Не девушка, — поправил я ее, — она женщина.

Короче сказать, я тогда, работая в Большом театре, поднялся на большую высоту. И мне хотелось, чтобы это увидела моя супруга, которая в это время блистала у себя в министерстве, в своем синем халате.

Но вот ведь что странно: когда я, бывало, провожал ее, свою немку, в гостиницу «Метрополь», то непременно, когда дело касалось уже нашей близости, она, Сонечка, жена моя, виделась мне в синем своем халате так ясно, что я восклицал сердито:

— Что ты ко мне пристала?! Отстань от меня, зараза!

Александр Зорин

Глубже земных красот

Весть

С кем сердечно общались, дружили,
С кем сроднились давно на земле,
Вы, навеки ушедшие, живы.
Где, не знаю, но точно — во мне.

Безутешною смутной порою,
Вдруг услышится внятная весть.
На молитве глаза лишь закрою,
Все вы рядом, воочию, здесь.

Каждый самое важное что-то
От себя в мою душу вложил.
Чтоб готова была для полёта.
Уж и я на земле старожил.

Мама, брат мой, отец... В самом деле
Ваш светящийся след всякий раз
Не восполнит бесценной потери
Но, затеплясь, надежды придаст.

* * *

Без паники, милый, без паники,
Уж если терпеть суждено.
Ты замкнут в каюте, в Титанике,
Который ложится на дно.
Рассыпались крики невнятные.
Обрушился грохот и треск.
Всё стихло. В иллюминаторе
Качается взвихренный лес.

Зорин Александр Иванович — поэт, прозаик, публицист. Родился в 1941 г. в Москве. Окончил геологический техникум и Литинститут (1978). Участник объединения духовных поэтов «Имени Твоему» (с 1988 г.). Автор 9 книг стихов и мемуаров об отце Александре Мене «Ангел-чернорабочий» (М., 1993, 2004) и др. Живет в Москве.

В повальной стихии карательной
Кому-то и впрямь повезло.
Они уже в шлюпке спасательной,
Они уже крепят весло.
Придавлены толщей туманною,
Сгибаясь, сплотилась семья.
И встретит их обетованная,
В слезах материнских земля.
А ты... Пробивается быстрая
угроза из щели в стене.
А ты... Будто силой нечистой
Повязан... Замкнутый извне,
Ты видишь: небесные воины
Из омута ринулись ввысь...
Сквозь трещины, рвы, сквозь пробоины
Последним усилием рванись
За ними...
Да будет решающий
Тот миг в непостижной судьбе.
Решайся. Господь побеждающий
Во всём, да поможет тебе.

* * *

Показательно суров	Смертоносны холода
Климат наш. Угрюмы лица.	В крайние больные годы.
Жаль детей и стариков,	И тем более, когда
Неспособных защититься	Жертвы — круглые сироты.
От бушующего зла,	Беззащитен стар и млад.
От блуждающего мрака.	То-то сердце изнывает
Всё же силушка нужна,	В нашем логове, где ад
действующая во благо.	Слабого одолевает.

* * *

Получим мы все по заслугам	На нищих валить, на богатых —
С тобою, родная, страна.	Бессмысленно: очи горе!
Как будто безумным недугом	Что толку искать виноватых,
Ты издавна поражена.	Когда уж на смертном одре.

* * *

У вечности на пороге
Я мельком порой оглянусь
На детство. В какой же берлоге
Мы жили — в затмение, в тревоге...
Увы, не в святилище муз
Оно поднялось — благодарным
Росточком грядущего дня.
И след его прочный отдавлен,
Как чья-то во времени давнем,
В застывшем цементе ступня.

* * *

Внукам

Детям читаю сказки
Пушкинские. Вокруг
Первозданные краски:
Озеро. Облако. Луг.

В будущем не теряясь,
Будущего залог,
Видимую реальность
Одушевляет слог

Пушкинский. Свыше заказан,
Преображаясь на дне
Полусознания — связан
С облаком в голубизне.

Старость с младенчеством рядом
Ритмом, целительным ладом
Дышат — закат и восход.
Видимостью не захватан
Лад... Ибо в сердце впечатан
Глубже земных красот.

* * *

Сквозь ветви в синеве раскосой
Краса и нега... В лес войти...
От осени златоволосой
Горячих глаз не отвести.

Она же, взоры простирая
К непостижимой высоте,
Как грешница полунагая
У Тициана на холсте.

Природа не грешна, не свята.
Плотским желанием объята,
Телесной влагой налита.
Пьянит в расщелине куста
Томительная прохлада,
Пленительная полнота.

Плод осязаемый — плотный воздух
Доступен, руку протянуть.
В кружащихся одеждах пёстрых
Томится пышущая грудь.

Оставь душевную хворобу.
Дня принудительную злобу —
Пусть их растащит вороньё.
Летам своим не ведать счёту...
Войти в отрадную чашобу,
В трепещущую — войти в неё...

Анна Аркатова

Я знаю пять имен девочек

Рассказ

Алла

Моя соседка с первого этажа. Символ недостижимой буржуазной жизни среди югославских чашек, румынских кресел, темно-красных кастрюль и дезодорантов «Fa».

Алла была из породы еврейских холеных красавиц с мягкими губами и бархатной запрудой декольте. Про таких моя более поздняя знакомая скажет «смотришь и смотреть хочется». На Алку действительно хотелось смотреть и главное — хотелось жить, как она — во всем новом с неоторванными бирками.

Правда, посреди Алкиной крохотной квартиры нерушимо сидела ее необъятная мать-сердечница с сиреневыми, как у Мальвины, волосами и ругала Алку весь день с остановкой на сон. Алка на маму не реагировала, но этой волной незаметно снесло Алкиного мужа — не помню, как звали и даже как выглядел, не помню — есть такие мужчины с едва обозначенными стрелками на брюках. Может быть, это на фоне породистой Алки все они терялись — но его преемников различить тоже было невозможно. Выступали они уже, конечно, не в роли мужей, а в сугубо противоположной роли, чем поддерживали незатухающий костер мамашиного сидячего протеста. Я застала еще Алкиного отца Семёна Львовича, красивого мужчину, занимавшего в пространстве места ровно в четыре раза меньше, чем его жена. Прав в этом доме он имел соответственно. Как-то при мне разыгралась драматическая сцена возвращения Сёмы из магазина. Сёма с поникшей головой стоял на кухне, где у окна за столом сидела Мальвина и орала — в том смысле, что за мясо он принес говно. Сёма не спорил, хотя понять, почему говно, было сложно. Перед Мальвиной лежала приличная замороженная лопатка кило на три. Вдруг наступила пауза. Видимо, Мальвина рассчитывала получить какие-то аргументы в пользу лопатки. Но Сёма, продолжая молчать, позволил себе неверный жест в сторону сигаретной пачки. Тогда Мальвина взяла мяско и швырнула его кирпичом в открытое окно. При мне Сёма прожил года два. Его легкое тело неслышно переместилось с первого этажа на еврейское кладбище Шмерли.

Анна Аркатова родилась в Риге. Окончила филологический факультет Латвийского государственного университета и Литературный институт им. А.М.Горького. Автор четырех поэтических книг. Обозреватель журнала «Psychologies». Последние время работает как эссеист и автор коротких рассказов. Проза выходила в альманахе «Кольцо А», «Новом мире», глянцевого журналах. В «Дружбе народов» как прозаик публикуется впервые.

Алка работала в пункте приема макулатуры, где за принятую на вес макулатуру выдавала бесценные талоны на собрания сочинений классиков и даже на импортные сапоги. Так что Алкино место в тогдашней иерархии трудно переоценить. Её дружбы искали все. Но это неправильная формулировка. Импульс поиска тут неуместен. Валентности вокруг таких женщин заполнялись без их участия и согласия, и даже как бы заходя, как воинские чины у потомственных дворян. Приблизиться к этому институту без обменного фонда было немыслимо. Я — исключение, я — соседка. У меня можно отсидеться, перекурить, иногда мне даже можно кое-что сбыть. В общем, не бесполезный гриб. Это незрелое предпринимательство более-менее компенсировало Алкин треснувший семейный сюжет, оболтуса сына и невыветриваемую Мальвину в проходной комнате. Природа баланс выдерживает.

Питалась Алка мужчинами. Они ела их целиком, и они гибли у нее внутри. Но нам, юным и безграмотным, тогда это казалось неочевидным. Очевидным была не Алкина частная неразбериха и нарушенный метаболизм, а непреходящий Алкин успех. Рецепт его не был загадкой — на такую красоту дурак не слетится. Но иногда ротация зашкаливала, и мы настороженно следили за Алкиным настроением. Где сбой? Где? Какого черта она до сих пор с мамой? И только однажды Алка обронила свое выстраданное золотое правило, которое явно нарушала. Никогда, — тихо сказала она, — не бери в рот на первом свидании. Никогда!

Гита

Вообще-то она Лигита. Гита — это сокращенно и никак не индийское кино. Хотя вполне могло бы им стать.

Гита жила в моем доме и преподавала домоводство в школе, где я работала. Кабинеты у нас располагались напротив. Вот так мой русский язык, а вот так — ее домоводство.

После ее уроков я уходила с банкой творожного крема или фасолевого салата, а то и половинкой штруделя. Это Гита умела. Еще Гита умела выходить замуж. Тихо и наглядно. После этой фразы желательно было бы вам на Гиту посмотреть, потому что тогда бы вы вытащили тетради и ручки и принялись списывать слова. Ибо одно дело выглядеть, как Алла, а другое... Короче говоря, ни запомнить Гиту, ни отличить ее в толпе, если таковую вдруг представить на рижской улице, — невозможно, нет. У Гиты длинное утяжеленное зубами лицо, длинные бесцветные волосы, длиннобудылое тело и зачаточная мимика. Когда Гита говорила, подбородок ее как бы выкатывался вперед. Впрочем, говорила она предельно экономно. Поэтому неудивительно, что я не помню ее голоса, я не помню, как Гита ходит, как она ест, как открывает дверь. Я помню, как она лежит на кровати, а разновозрастные члены Гитиной семьи занимаются вокруг полезным трудом. Включая годовалого младенца по имени Лина. Лина и мой сын — ровесники. Но мой сын в год сидел пупс пупсом с бутылкой жидкой каши или бессмысленно ползал взад-вперед, в то время как дочка Гиты являла образец самостоятельного жизнеобеспечения. Я уже не удивлялась тому, что эта Лина ползком приталкивала табуретку, чтобы включить свет в туалете и бухнуться там на свой горшок, или тому, что она сама ложкой ест шоколадный сырок, выковыривая его из бумажной обертки. Но когда ребенок залез на кухонный стол и потянулся к подвесному шкафу, я все-таки напряглась. Что она делает? Гита оторвалась от своего чая с единственной целью — ответить мне. Таблетку ищет, у нее живот болит, — спокойно расшифровала она этот апогей дрессуры. Тогда я, кстати, впервые задумалась о продуктивности лени.

Гитину семью я застала в таком составе: Гита, Гитина бессловесная мама, Гитин муж, студент консерватории, и Лина. Был еще отец Гиты, какой-то известный

латышский кинематографист, но тот жил отдельно. В квартире у них было безукоризненно чисто и пустынно, как в протестантской церкви. Я не без удивления узнала, что муж у Гиты по счету второй. Первым был хирург. Этот — музыкант. Иногда я видела, как музыкант возвращается домой. Через двор, пошатываясь, помахивая белой хризантемой. Лабал на похоронах, значит. Что-то в их отношениях даже со стороны было неравновесное. Такое, что я даже спросила Гиту — Лиана-то его дочь? Имея в виду в анамнезе хирурга, разумеется. Гитин темперамент не подразумевал никаких ответов кроме да и нет, но тут я услышала нечто античное.

— Пусть думает, что его, — произнесла Гита, далеко расставляя слова, с такой улыбкой, что я тут же почувствовала себя падчерицей у матушки-природы.

Примерно через полгода муж, тупо мнящий себя отцом, исчез, и его место занял Андрис. Скульптор. Алка — как сейчас помню, после очередного аборта — в связи с этим срочно вызвала меня к себе, чтобы хором задать богу справедливый вопрос — чем намазана Гита? Скажите, чем? Скульптор был могуч, бородат, хорош собой и обеспечен натуральным мрамором. Гита никак не праздновала перемены — она выходила из подъезда с тем же лицом, теми же волосами, в одной и той же юбке, той же утиной походкой, только слегка беременная. «Мне неудобно перед соседями», — шепнула как-то ее мама мне на лестнице. (Знала бы она Алку!) Родилась еще одна девочка. Уже определенно похожая на скульптора. Я зашла поздравить молодых родителей. Гита лежала под льняной простыней в льняной сорочке с домоткаными кружевами. Скульптор на кухне уверенными движениями взбивал пюре. Над колыбелью склонилась бабушка. Все в порядке.

Однажды Гита пригласила меня с сыном на хутор. Хутор принадлежал ее отцу-кинематографисту. Мне показалось, что там было не просто красиво, а этнически и художественно безупречно. В землю вращались витражные окна. Утром выпекался ржаной хлеб, а вечерами варился сыр с тмином. Мы проводили время у клетки с кроликами. Гита, как в фильмах, встретила нас на крыльце, поздоровалась и на следующие пять дней замолчала. Я решила: она на что-то обиделась. Оказывается, нет — просто составляла следующую фразу. Звучала она так: «Что им не нравится? Я самая честная женщина. Я никому не изменяю. Я всегда выхожу замуж».

Еще Гита очень хотела жить в старом доме, а не в хрущевке, как все мы. Хрущевку она ненавидела, если в случае Гиты применимы такие радикальные эмоции. Сначала Гита побелила свою квартиру вместе с мебелью и телевизором. Получилось эффектно. Потом выкинула все это и привезла с хутора древний буфет и полотняные занавески. В конце концов она поменяла свою несчастную двушку на нечто в центре с ванной в кухне и туалетом на лестнице. Я пришла ее поздравить с новосельем. Ее дети как раз сидели в ванной и на глазах у гостей мыли друг друга. Очень удобно.

Потом я из Риги уехала. А в один из приездов встретила Гиту на улице с подростками. Гита сменила юбку-универсал на узкие джинсы, тусклые патлы на легкое подсвеченное каре — я слегка обалдела. И хотя по-прежнему ни духов, ни косметики — на меня смотрел вполне себе скандинавский стандарт дозированной привлекательности. Кстати, она как раз только что из Швеции — там у скульптора выставка. Ну, не порадоваться ли за девушку? Ну, не выпытать ли наконец секрет такого адресного счастья? Ах, жалко, Алка уже в Америке! И тут Гита сама открыла рот и неожиданно одарила: «Если бы мне сразу сказали, что все так одинаково, я бы и с первым не разводилась». Ха! А то мы не знали!

А еще через год я точно так же встретила ее шикарного скульптора. Прямо посреди пешеходного перехода! Мы радостно обнялись. Он за плечи перевел меня через дорогу на мою сторону. Ну, что выставка? Девочки? Гита?

— А ты разве не знаешь? — удивился он. — Лигита (он звал ее Лигита)... скончалась. Он так и сказал торжественно — не умерла, а скончалась. Я онемела.

— Встретила мужчину. Собралась замуж. Вдруг заболела чем-то странным — и

так быстро... Вот. Я говорил ей — не надо уходить. Не надо уходить. Не надо уходить. Не надо уходить!

Он непрерывно повторял это высоко поверх моей головы и все запускал огромную пятерню в пружинистую начинающую сидеть бороду.

Лида

Лида мне практически никто. Какая-то там четвероюродная сестра по папиной линии. Дальняя родственница, с которой мы видимся исключительно на семейных сборах у общей тетушки-патриарха, то есть два-три раза в год. Но поскольку на моей березе по части родни один-единственный родной брат привит — я как-то бережно держу в уме это скромное ответвление в виде Лиды. Лида живет жизнью, совершенно не похожей на мою, но это мне как раз нравится. Например, Лида никогда никуда не выезжает из Москвы. Никогда. Даже летом. Кроме дачи. И то не своей. И у нее даже желания такого нет — что-то там изменить в оконной раме. И рама-то не бог весть, прямо скажем. Лида проживает с мамой, дочерью, маминой незамужней сестрой и ротвейлером Бэлой. Первого и последнего мужчину, Лидиногo мужа, с этой клумбы сдуло лет пятнадцать назад, и с тех пор в их трехкомнатном монастыре воцарилась гендерная монохромность. Лида работает на каком-то производстве — всю жизнь на одном. Инженером. Или бухгалтером. Или менеджером — в зависимости от того, какой строй на дворе обозначен. Лида работает даже по субботам. А три раза в неделю посещает спортзал, что позволило ей похудеть килограммов на пятнадцать и стать стройнее меня, а это уже кое-что.

Отец Лиды (его никто никогда не видел и не знал, включая Лиду) в семейной мифологии мелькнул, как еврейский коммивояжер — оставил Лиде перспективу некрасивой, но пикантной француженки, с условием если забудешь на булочки и потратишься на тренажер. Это была именно что перспектива, ничего, как говорится, не предвещало, пока Лида действительно не обзавелась абонементом в недорогой фитнес. То есть вы понимаете — сила воли, реальные цели, жизнь — союзник, а не враг — ну и подобная непосильная иным персонажам программа.

Лида справилась. И результат теперь налицо. В буквальном смысле. Я смотрю на это лицо не то чтобы с завистью — но да, с безмерным уважением и сложной неловкостью за свою матримониальную карусель, концептуальное безделье и водительские права. Слава богу, Лиде зависть как раз не свойственна. Подозреваю, что она мне даже сочувствует по некоторым пунктам. Вообще природа ее аскезы для меня непостижима. Вот Лида не первый год проводит летний отпуск в пеших экскурсиях по Москве. То есть, каждый день — новый поход. В одиночку. Ну, то есть, с группой таких же любознательных гражданок. Денег нет на поездки? Фобии? Перед пожилой мамой неудобно? Ну не может же столичная молодая женщина ваще ни разу не помышлять о пляже или там Париже? Или вот. Самозабвенно дружит с одноклассниками. Исключительно. Этакая герметизация жизненного пространства по всем статьям. С чем это связано — не знаю, но так и тянет открыть форточку в этой лаборатории.

Мы с Лидой — как же, как же — пару раз навестили друг друга в удобное для обеих время. Взаимно обогатились кулинарными рецептами и советами по борьбе с древесным жучком. Договорились повторить — но, как это обычно бывает, не случилось. Только у тетушки. Зато со взаимной приязнью. Что-то очевидно нас влекло друг к другу, какая-то видовая принадлежность, как у круга и квадрата. Может, нас выталкивает наш семейный геронтологический кордебалет, а может... ну, какие-никакие сестры.

Я фотографии показываю из поездок — Лида вопросы задает. Интересуется. Есть, есть у меня малоумное ощущение, что скудость Лидиногo сценария вынужденная, что был бы шанс — ах, рванула бы Лида, хлопнув крышкой ноутбука, на Галапагосские,

чо уж там, острова или — на худой конец — на Апеннинский ётить полуостров — ну не дровичь же на третье кольцо до пенсии?

Но маневренность у Лиды так себе, денег всегда в обрез, рабочий день с девяти до семи, в воскресенье — долбаный фитнес или родне помочь. А со Щелковского шоссе поди выберись, если что. Хорошо еще, дочь выращена на примере практически трех вегетарианских поколений — никуда не рвется, в институте исправно учится, замуж не собирается, спит в одной комнате с бабушкой. И ладно.

Короче говоря, образовался у меня тут случайно лишний билет на лучший спектакль года в театр «Современник». Пьеса «Враги. История любви» по роману Башевиса Зингера. Евреи в послевоенной Америке с соответствующим бэкграундом, все переплетено. Страсть! Чулпан Хаматова, все такое. Кому, думаю, предложить? Кого осчастливить? И как-то по цепочке добралась искра моя до Лиды. Вот! Остальные как-нибудь попадут, сами с усами, а Лида ввек не доберется до «Современника», режиссера Арье и «Золотой маски». Потому что ей не до суеты, занята она насущным, не позволяет себе того-сего лишнего и есть у нее стержень, какого у нас нет.

И вот я звоню Лиде на работу ее многотрудную. А это буквально, ну может, второй раз в жизни, чтоб среди дня рабочего. А может, и первый — чтобы просто так, ни к какому родственному юбилею не привязка. И задыхаясь от ниспосылаемой на сестру благодати, сообщаю о нечаянной радости.

Лида молчит секунд тридцать. Видимо, ушам своим не верит.

— А что за спектакль? — вдумчиво так спрашивает. Серьезная девушка.

— Лучший, — говорю, — спектакль года, «Золотой маской» признан недавно. Играют такие-то такие-то, Чулпан Хаматова, — как заклинание, прям, твержу.

— Круто, круто, — пробивает наконец на том конце мою Лиду. — Спасибо тебе большое!

А я думаю — господи, ну зачти мне это ничтожное донорство! Не мужика повела с собой, не подругу дорогую, не коллегу, перед которой в долгу третий месяц, — Лиду! Дальнюю родственницу по папиной линии со Щелковского шоссе. Зачел, зачел Господь-то, это очевидно, потому что сама я сию счастливая и мысленно уже шампанское в буфете «Современника» для нас с Лидой заказываю.

Через час договорились перезвониться — и вот светится моя Лидия на мобильном экранчике. Я как раз перед шкафом-купе озадаченно притоптываю. Обдумываю наряд — эффектный, но не обидный для скромной спутницы. Вот эта блузка в самый раз. Если без каблучков.

— Ну, — говорю, — к половине седьмого успеешь?

— Нет, — говорит вдруг Лида невозможное, — не пойду, извини.

— Что такое?

— Я почитала в интернете, там тема Холокоста (пауза), так вот это не для меня (пауза). Спасибо тебе (пауза).

— То есть? — Я просто делаю ласточку, натянув колготку на одну ногу. В интернете она почитала. Лида, так только курсистки на pin up реагируют в моем представлении! Какой Холокост? Какая тема? Там про любовь несчастную на все времена! Чулпанхаматова, Лида!

— Нет, прости, — жестко так.

И дальше пошла себе работать. До семи ноль ноль.

Анжела

В жизни каждого человека должна быть Анжела. У меня была в четвертом подъезде. Анжела закончила политех, но уже два года работала в торговле. Два, а не двадцать — поэтому вид у нее был еще вполне интеллигентный. Вид и муж Гера, инженер, дежуривший ночами в пожарной охране. Ничего страшного. Просто базово семья эта не собиралась мириться со всеобщим равенством, ассортиментом соседней галантереи и меню кафе «Синяя птица» на Домской площади. Анжела и Гера — это буквально вызов системе. Они ходили обнявшись — он кудрявый блондин с полнозубой улыбкой, она — на американский манер подстриженная брюнетка. Вдвоем, в сцепке так сказать, чтобы наверняка таранить силикатную тоску совка. Гера небрежно заворачивал по щиколотку штанины холщовых брюк, Анжела тонким пестиком колыхалась внутри трикотажного сарафана — расцветка «в мелкий шезлонг» — из чекового магазина. На подступах к своему замужеству я этот сарафан у Анжелы одолжила для решающей поездки на юг. Сарафан обеспечил успех. Я вышла замуж. В честь этого события Анжела оставила сарафан мне. Я десять лет носила его в сезон, а потом десять лет спала в нем как в ночной рубашке. Он ни на тон не поблек, не утратил формы, не выпустил ни одной ниточки из шва. Сейчас на мне майка из его верхней части, нижнюю я собираюсь увековечить в стеклянной витрине.

Анжела с Герой, временно отдыхающим от пожаров, приглашали нас вечерами на мини-пищцу. Разрезалась вдоль трехкопеечная булочка, слегка трамбовалась мягкость, и туда укладывалась начинка — ветчина, помидор, сыр. Все это запекалось в духовке и поедалось под цепеллиновскую «Whole Lotta Love», шуршащую в магнитофоне Sony из чекового же магазина. Я сказала «разрезалось»? Нет, на самом деле булочка разрезалась и фаршировалась на брудершафт в четыре руки, как и все, что делалось в этой семье. Наевшись булочек, мы перекочевывали к нам. Где Анжелу с Герой ждал наш фирменный десерт под названием друг-грейпфрут. Грейпфрут в то время был единственным представленным широкой публике цитрусовым. Я лично наподобие шимпанзе из популярного фильма даже пекла с ним пирожки. Грейпфрут в свою очередь заранее разрезался мной поперек, из него аккуратно вынималась внутренность. Дно образовавшейся площадки засыпалось сахаром и площадка снова заполнялась грейпфрутом. Все это пускало сок и становилось съедобным. Потому что просто так грейпфруты, как известно, можно есть только по медицинским показаниям. На магнитофоне «Маяк» шуршала бобина «Машины времени». Пока не гаснет свет, пока горит свечаааа... Все были в тот момент счастливы.

В иное время суток, то есть пока взаимная нежность Анжелы и Геры закономерно укреплялась малодоступными простым гражданам благами, я хоронила молодость на съемной даче и рассматривала свой выбор как однозначное поражение. А как еще это рассматривать? Анжела проводит лето в семейных байдарочных походах, а зиму на закарпатской лыжне. Справа от нее загорелый Гера — слева поспевающий сын в люминисцирующем комбинезоне. Надежно укорененная в бухгалтерии свекровь исправно поставляет демисезонную обувь. Книжек нет, но все равно как-то веселее, чем у нас, получается.

Анжела нравилась мне тем, что была начисто лишена материального снобизма. Но не из великодушия, а из контекста. На сегодняшний день все ее желания были более-менее удовлетворены или стояли в живой очереди на рассмотрение. Поэтому Анжела искренне радовалась сдвигу в чужом благосостоянии, просила немедленно ей продемонстрировать новый лифчик, или отвоеванный в жестокой очереди набор кастрюль, или польский плафон, а когда мы купили в рассрочку книжные стеллажи, Анжела пришла с бутылкой шампанского и со словами: «Не по средствАм, не по

средствАм», растягивая «а-а-а», ритуальным жестом смахнула первые пылинки с дешевого дэ-эс-пэ.

Короче говоря, несмотря на легкое промтоварное помешательство (а может, благодаря ему), Гера с Анжелой выглядели рекламой идеальной семьи, причем какой-то не совсем даже советской. Улыбчивый Гера пересекал наш двор то с теннисной ракеткой, то с брутальным походным рюкзаком, то на велосипеде. Анжела, даже в дикий мороз не носившая шапок, утыкалась замерзшим личиком в плечо его невероятно ладной куртки, и на этом месте практически все стандарты гармонии в моем мозгу зашкаливали — было ясно, что тебя просто дразнят. Они разговаривали друг с другом вполголоса, никого не обсуждали, по очереди забирали ребенка из детсада. Вроде ничего особенного — но было ощущение, что эти люди, твои в принципе одноклассники, дрейфуют на какой-то параллельной платформе, запасном старте, о котором остальные ни бумбум.

Как-то раз после очередного поедания фальшивой пиццы под настоящий «Gettin' Tighter» 1976 года Анжела задерживает меня в своем крошечном коридоре. Собственно, у нас с ней одинаковые коридоры — двоим в них разойтись нельзя. Они созданы для того, чтобы или целоваться взад или на худой конец сообщать на ухо пароль.

— Можешь, — говорит Анжела, выбрав второе, — ключ завтра дать на час? С двух до трех.

Я офигела. Не то чтобы второе мое имя было ханжа, но такого от стопроцентно счастливой Анжелы я не ожидала. Видимо, всё-таки моя модель счастья выглядела плосковатой по сравнению с чужой. А главное, в этом чертовом коридоре невозможно даже повертеть головой, чтобы сказать «нет»!

— Могу, — говорю и тут же начинаю тормозить, — только у нас с диваном проблемы. Ты же видела. Книжки надо подкладывать.

— Книжки? Ты серьезно?

— Абсолютно, — мне вдруг стало очень неудобно перед Анжелой

— То есть ты серьезно думаешь, что это проблема?

— Ну да, то есть нет, конечно, проблема не в книжках, — я не знала как остановить поезд, — еще вода. Вода может быть только холодная.

— А стекла в окнах есть? Короче — можешь?

— Да, — капитулировала я

— Значит в два.

Гера за стенкой мирно молот кофе. Ужас.

До полудня я так и не определилась, как к этому относиться. А главное, кто может сравниться с голливудским Герой? Только настоящий артист, или музыкант, или скульптор, как у Гиты. Впрочем, и так понятно, что такое полнокровная жизнь, нечего из себя строить учительницу младших классов.

Без десяти два, как и договаривались, Анжела позвонила в дверь — я уже стояла одетая. Анжела примчалась с работы — это был ее обеденный перерыв. Она чмокнула меня в щеку ароматными по случаю губками и многозначительно зажмурилась. «Потом расскажу, — выдохнула она наконец, — ты меня поймешь». Сбросила плащик и по-своейски пошла ставить чайник, нарочито гремя его крышкой. Я выложила на видное место стопкой «Бойню номер пять» Курта Воннегута, Ивлиева Во и первый том Гончарова, идеально, если что, заменяющих ножку дивана. Дико, просто дико неудобно.

Мне казалось, что, ничего не спрашивая, я выгляжу очень тактичной. Я так и спустилась со своего пятого этажа с запечатанным ртом, чтобы гулкий подъезд не дай бог не разнес этот позор по бдительным отсекам.

У подъезда сидела обширная Алкина мама по прозвищу Мальвина и, раскачиваясь, доказывала какому-то лысеющему стручку с портфелем, судя по всему из жэка, необходимость еще одной скамейки перед каждым подъездом. Перед каждым! Вы

понимаете? А то все, буквально все, сидят у нашего. Действительно, стручок все порывался пристроить свой обвислый портфель на скамейку, но места не находил. По бокам от Мальвины на скамейке оставалось сантиметров по десять. Портфель оттягивал ему руку, и от этого одно плечо его казалось в два раза выше другого. Через пять минут он зажал портфель между ног, откопал в рукаве часы, развернул от солнца, чтоб не бликовали, и зашел в мой подъезд. Было ровно два.

Катя

Катина жизненная программа до сих пор поражает этнической логикой. Первый муж Кати был еврей, второй араб, третий негр. Из этой тональной эскалации видно, как Катя бежала банальности и рутины, как презирала стереотипы и как переживала даже гипотетическое присутствие обывателя в личном пространстве. Строго говоря, полноправным супругом был только первый, Марик, пятидесятилетний счастливый владелец лесопилки где-то под Крустпилсом, отец очаровательной Катиной Дины и еще пяти дочерей от предыдущих жен. Юная Катя, выпускница Академии художеств, расписалась с ним в разгар токсикоза, не снимая плаща и никогда не романтизируя этих отношений. Она была искренне благодарна Марику за то, что он кормил всю семью фаршированными кабачками, солил грибы и закатывал помидоры. Еще он уместно шутил. Чувство юмора для Кати было на первом месте.

Впоследствии, однако, выяснилось, что эта позиция не универсальна. Например, выбрать иностранца по этому признаку гораздо сложнее. Пришлось пересмотреть критерий. Доподлинно известно, например, что преемник Марика Сулейман хорошо готовил. То есть он готовил не просто хорошо. Он возил с собою плиту размером с маленькую кухню и чемодан специй. Так что, разведясь с веселым Мариком, Катя интуитивно вывела в фавориты другой мужской навык, способствующий выживанию вернее, чем остроумие.

Сулейман был изловлен в виртуальном заповеднике. Материализовавшись из интернета, он переехал к Кате из Лондона с контейнером мебели. В контейнере были редкого дерева кровать, ковер ручной работы и еще несколько предметов непонятного назначения — то ли книжку раскладывать, то ли позвоночник выпрямлять. Плюс плита. В Лондоне Сулейман преподавал. Он был буквально живым английским профессором. Вел кружок юного террориста, как шутила Катя. И даже написал об этом книгу. Книгу он посвятил непосредственно Кате. В Риге с такой узкой специализацией было трудно найти работу. Собственно, поэтому он у Кати и осел. Соразмерная плите, в Сулеймановом контейнере перемещалась гигантская плазма. Царь-телевизор. Сулейман увлекался кино. Жизнь с ним была довольно экстравагантной, с бесконечными кинопросмотрами и застольями, которые традиционно проходили на ковре. Была одна неприятность. Религия не позволяла Сулейману пить. Поэтому на ковре между Катиными подружками и подушками стояло подозрительное множество чайников и кофейников, а невинный профессор, глядя на разомлевший гарем, свято верил в пьянящую силу кускуса.

Пардон, забыла, неприятностей было две. Был еще Катин спаниель Ника, не прошедший теологической экспертизы. Он смертельно раздражал Сулеймана, очевидно, на уровне догматов. Сулейман мучился, запирали Нику втайне от Кати на балконе. Но плиту с плазмой хранить было совершенно негде, и он, приумножая смертные грехи, шел на компромисс.

Сулейман мечтал жениться и продолжить род. Катя мечтала жить на хуторе. Это были параллельные мечты. Они не пересекались. В конце концов Катя нашла выход и, глядя в кофейные Сулеймановы глаза, предложила ему сочетаться шариатским браком. Сулейман прослезился. Мустафа, узбек с центрального рынка, в сквере за

рыбным павильоном прочитал над ними что-то из Корана, из чего Кате становилось ясно, что жизнь её с этой минуты полна опасностей как никогда. На этот случай Катя уговорила Сулеймана купить в качестве свадебного подарка пару гектаров недалеко от русской границы, чтобы было куда ретироваться. На самом же деле Катя уже внутренне эмигрировала в сельское хозяйство. От травы, бездорожья и рукомойника Катя тащилась, как иные от лазурных берегов. Сулейман ничего не имел против местной природы, но хутором откровенно тяготился. Главным образом он не понимал непосредственной связи природы с сухим туалетом. Поэтому в скором времени Катя задалась целью найти мужчину не просто как эффектный аксессуар, а понятливого настоящего единомышленника. Отъехавший на побывку в Лондон профессор даже не подозревал о таком цинизме. Закрыв за экзотическим мужем дверь, Катя вынесла царь-телевизор на балкон и без труда обновила аккаунты на надежных сайтах. Почуввав неладное, Сулейман дистанционно вложил оставшиеся деньги в самостоятельный надел, читай еще один хутор, одновременно продемонстрировав лояльность Катиному курсу. Но было поздно. Цвета спящего экрана появился Бобби.

Бобби был родом из Мали, проживал в Стокгольме и еженедельно курсировал в Ригу на пароме. Боб. Постепенно Катина квартира наполнялась костылями и инвалидными креслами — Боб беззастенчиво приторговывал гуманитарной помощью. Спали они на ортопедической послеоперационной кровати с пультом в руках. Что само по себе казалось Кате гораздо более остроумным, чем какой-то там резной альков. Почему нет?

Естественно, Бобу тоже пришлось купить хутор, чтобы доказать Кате свою любовь. На этот раз вложение было искренним — в душе Бобби давно чувствовал себя крестьянином.

Вот они едут в латгальскую глубинку — заливная блондинка Катя за рулем и эбонитовый Бобби с серпом наперевес. Некоторые люди на джипах, знаю, специально прокладывали маршрут по проселочной, чтобы посмотреть, как в контражуре идет за бледным плугом трудолюбивый сын Сахары.

Что говорили, а тем более думали о Кате эти люди — другие люди, включая родителей и друзей — Кате было глубоко безразлично. Со временем все как-то свыклись. Расстояния между хуторами в Латвии приличные. Несколько гектаров. Но в вечерней тишине эхо может запросто принести чей-то голос. Сидим мы как-то у костра — я, Катя, Бобби — жарим рыбу, а издали от такого же, видно, костра слышно: «А у негров картошку сооодют...»

Владимир Ермаков

Нелюдимые русские веси

Медитация I *настроение индиго*

* * *

Странное настроение. В серебряном поднебесье
сумерки — и норд-оста не отличить от зюйд-веста.
В сети ресниц улова не разобрать... Не здесь ли
дом, что оставлен втуне в поисках лучшего места?
Взгляни другими глазами на то, что видишь. Итожа
мир чертой горизонта, взгляни другими глазами:
место, куда ты шёл, и место, которое занял:
то и это — одно, но не одно и то же.
И ты родился в Аркадии. Не здесь ли? — благодаренье
ларам, пенатам и музам, идущим из мрака по звуку
флейты пастушьей. Руины храма в кавычках деревьев,
словно цитаты из Тацита, навевают высокую скуку.
Место, где тени минувшего ложатся на постаменты
перелицованных идолов, это порожнее место надежды;
разве что... нет, пустое, померещилось: где ж ты
видишь нечто иное, чем старые сантименты?
Здесь пустота тяжела, здесь тишина невесома,
а вместо мысли — печаль о себе и густая истома;
тихий внутренний голос нашёптывает невнятно:
дезертиру из рая уже не вернуться обратно.
Нет, не Аркадия. Это... это просто иное
место, где дух изгнания, всхлипывая и ноя,
кружит над старым домом, логовом ностальгии,
и загоняет под сердце блудному сыну иглы.
Возможно, это Аид — отхожее место смерти.
Сумерки. Время сомненья. Для безнадёжности сверьте
ваши часы с античностью. Видите: *время вышло*,
и не имеет значения всё, что сказано выше.

Владимир Александрович Ермаков — поэт, эссеист. Родился в 1949 г. близ станции Петушки Московской области. В 1971 г. окончил исторический факультет Орловского пединститута. Печатается с 1974 г. Автор 10 книг стихотворений и эссе, заслуженный работник культуры РФ. Лауреат Горьковской литературной премии (2011). Живет в г. Орле.

* * *

Свет иной, отделяясь от мрака, тихо сеется, словно в решёта
сквозь недвижные тучи, кучи воздуха цвета маренго.
Больше здесь нет ничего. Потому что, наверно,
это лишнее место истории. Вот хорошо-то
жить, ни о чем не жалея и ничего не желая,
там, где всё уже было и больше больно не будет,
там, где все нищие духом насыщены жвачкой буден,
там, где в осенних лужах стынет вода живая.
Верить ли? — Нет, не верю... Помнишь ли? — Да, конечно...
О моё бедное сердце! бейся, зажатое между
двумя жерновами времени — между *потом* и *прежде*.
По горизонту памяти сгущается тьма крошечна.
Где же нашло себе место то, что не стало нами?
Время в ретроспективе — тропка зимнего сада,
где, словно нежный иней, след осаждённой досады
чертит во тьме забвенья контуры воспоминаний.
Такое вот настроение — томление серой крови:
растерянность перед миром, переходящая в чувство,
что всё, присущее вечности, человечности чуждо;
блудному сыну времени нечего вспомнить, кроме
сладких мучений юности и горьких радостей детства.
В этом есть что-то жалкое (*или фатальное, скажем*):
так сдаётся на милость природы окружённый пейзажем
человек. А куда ему деться?
Ведь все причуды психики и все диковины мира,
если судить по сути, между собой так схожи —
разные отражения одного и того же
бога, идущего мимо.

Медитация II

настроение маренго

* * *

Начинается вечер. Сгущаются сумерки. Даже
на проезжей дороге человек исчезает в пейзаже:
человек погружается в тень, с высот опускаясь в низины,
бормоча: *невозможно... невысказано... невыносимо...*
Боже мой... (он зовёт) *Боже мой...* — и, не слыша ответа,
умирает от страха — и с болью рождается снова.
Только тьма выявляет начальную стоимость света.
Лишь молчанье даёт настоящую цену за слово.
То сгущаясь до тайного горя, то прячась за прочим,
через годы терпения тянутся тени за нами, —
это лишнее время, стекая в пустое сознание,
разъедает как ржавчина и поражает как порча.
А когда от тоски выцветают красоты и краски,
от науки любви остаётся лишь навык прощаться:

из вчерашнего мира пора уходить по-аркадски —
забывая дорогу назад, забывая про счастье.
Оставаться собой — это значит всегда быть не равным
никому и неверным себе: ни мальчишкой, ни мужем.
В предвечернем пейзаже, пропитанном тенью нирваны,
невозможное счастье покажется сердцу ненужным.
Дух изгнания как ворон летает над нами, надменно
с точки зрения вечности нашу тщету озирая.
Жизнь мала для любви. Так гравюра на меди
неспособна вобрать акварельное облако рая.
Возвращается ветер, тревожа дубы вековые.
Звякнет цепью собака, хранящая голос для воя.
В тёмной полости рта нарываю слова роковые,
чтоб хватить через край и растечься недоброй молвою.

* * *

Человеку в толпе одиноко, потому что от века
среди многих он равен нулю и с любым одинаков;
самого же себя для него слишком мало, однако
ничего не поделаешь — это судьба человека.
Возвращается ветер на круги, — с тех пор и поныне
слёзы Екклесиаста першат в обезвоженном горле;
возвращается ветер — и в нём растворённая горечь
иудейского йода и печаль половецкой полыни.
Через тысячи лет возвращается ветер на круги —
плачем ерусалимским в мелодию венского вальса:
это зов никуда, это голос пропавшей подруги...
но сердечные узы упали — и круг разорвался.
Ни на зов, ни на вызов я уже ничего не отвечу;
что таращить глаза в непроглядное нечто? тем паче,
чтобы выразить эту печаль, эту суть человеческую,
у меня ничего не осталось — ни слова, ни плача.
Блудный сын никогда не воротится к отчему крову,
где цепная собака однажды завоет по-волчьи,
где седая тоска истекает отравленной кровью, —
дух изгнания слабеет, жалея последнюю сволочь.
Жизнь кончается — и — начинается нечто иное,
для чего нет названья, о чём не случается вести...
Вдоль неторных дорог отчужденно лежат под луною
не безлюдные, нет — нелюдимые русские веси,
где земля тяжелеет, и воздух густеет по рощам,
и вода засыпает, сиротски свернувшись по лужам;
неспокойные рыбы в реке ищут омут поглубже,
и неспящие птицы над нами крылами полощут.

Алексей Феденко

Рассказы

История Владлена Филейкина

Неприлично говорить, до чего Афродита Кузьминична была существом непривлекательным и своим видом доставляла недомогание Владлену Филейкину при всякой встрече. А встречи случались не так уж редко — Афродита Кузьминична и Владлен Владленович служили в одной конторе и сидели в одном кабинете друг против друга. Поэтому Владлен Владленович недомогал с понедельника по пятницу с восьми утра до пяти вечера с перерывом на обед.

— Сил моих больше нет видеть это природное недоразумение, — выговаривал он.

Выговаривать было некому: друзей Филейкин не заводил, поэтому скорбь свою он обращал самому себе, глядя в зеркало, утром и вечером, приглаживая редкие волосы на голове.

Владлен Филейкин имел утонченное восприятие мира и по сторонам смотрел требовательно и с досадой. Его отличали высокие морально-нравственные, эстетические, кулинарные и административно-хозяйственные требования к людям вообще и, в частности, к его супруге, к несчастью для которой женат на ней он пока не был, а только искал. Поиски затягивались, и бедняжка томила тягостным ожиданием неминуемой встречи, сама того не подозревая.

Мучения Филейкина от ежедневного созерцания Афродиты Кузьминичны довели его до порчи сна и аппетита: ему снилось, будто он сидит в зубоврачебном кресле, открывает рот, а врач, вместо того чтобы сверлить зуб, как делают все порядочные зубные врачи, с ложки кормит Филейкина манной кашей — остывшей и, разумеется, с комками. Это было чудовищно, Филейкин метался в судорогах, врач оборачивался Афродитой Кузьминичной, только очень лысой. Есть и спать после такого не хотелось.

Владлен Филейкин не понимал, за что судьба наказала его этим некрасивым, глупым, неприветливым и несчастливым соседством. Филейкин возненавидел Афродиту Кузьминичну, чувств своих не скрывал и вскоре добился полной взаимности. Жизнь с восьми утра до пяти вечера сделалась невыносимой. Филейкин пробовал отвлечься работой: выдумывал планы, строил графики их выполнения и писал отчеты о достигнутых результатах, но заниматься этим целый день было выше его сил. Досидев до десяти тридцати, он выбегал из кабинета, вздыхал свободно и до двух тридцати пополудни обедал в рюмочной «Александр Сергеевич». Но после обеда образ Афродиты Кузьминичны делался еще более неприглядным. Владлен Филейкин садился за стол напротив противного образа, закрывал глаза, чтобы не омрачаться, и сидел так до пяти

Алексей Феденко родился в 1977 году в Барнауле. Прозаик, сценарист, член Союза писателей Москвы. Публиковался в российских и зарубежных литературных журналах. В «ДН» публикуется впервые.

вечера. Но и тьма добровольной незрячести не приносила облегчения, нарушаемая безобразными медицинскими видениями его воспаленной фантазии и тяжестью в боку.

Приблизившись вплотную к черте, отделявшей его от помешательства, и уже занеся одну ногу над этой чертой, Филейкин прибыл на службу, предчувствуя, что именно сегодня его занесенная нога таки опустится на твердую почву окончательного безумия. Стоять на одной ноге он больше не мог. Со страхом он открыл дверь кабинета и переступил порог.

Афродита Кузьминична подняла на Филейкина глаза, задумчиво и, как ему показалось, с состраданием оглядела его приглаженные волосы, столь же криво приглаженное лицо, неровные остатки фигуры и вдруг одарила Филейкина приветливой улыбкой, а в глазах у нее заколыхалась цветущая сирень.

— Дорогой Владлен Владленыч, хотите чаю?

Пока Афродита Кузьминична хлопотала, Филейкин подозрительно и с опаской следил за ней. Как бы стрихнину не подсыпала, думал он и принохивался.

— Как же радостна жизнь, какое это наслаждение — вдыхать ее полной грудью и выдыхать так же полно. — Голос Афродиты Кузьминичны лился легко и многообещающе, как вино из запрокинутой бутылки.

Филейкин догадался, что сумасшествие состоялось, но пока не понимал чье, и решил приглядываться.

Он незаметно подсматривал за нею — Афродита Кузьминична всякий раз замечала его косящий взгляд и улыбалась ему.

Обед Филейкин сократил вдвое. А после — привычно смежил служебные свои очи и продолжал видеть, как она вдыхает воздух полной грудью и так же полно ею же выдыхает, отдаваясь дыханию сполна, и это заставляло и самого Филейкина дышать чаще обычного.

К концу дня он так и не понял, чье безумие наблюдает, и даже предположил, что оно обоюдно. Слово это — «обоюдно» — поразило его своей новой откровенностью, и он в смятении шел домой пешком, преследуемый запахом сирени.

Ночью ему снилось зубоврачебное кресло в неожиданном, привлекательном свете. Он больше не видел кошмары, а вскоре перестал спать вовсе.

Вечером он укладывался в лоно фантазий, лежал в нем, вдруг подсакивал, и не просто пригладив, а тщательно причесав редкие волосы головы и выровняв лицо потягиванием его за щеки, бежал на службу и два часа стоял под дверьми, дожидаясь, пока откроется контора, затем взбегал по лестнице, садился и ждал.

Афродита Кузьминична вливалась, и наступал рассвет, жизнь возвращалась к Владлену Филейкину, подмигивая ему полной глубокого дыхания грудью.

Несомненно, с тех пор как Афродита Кузьминична стала загадочно улыбаться Филейкину и дышать в его сторону, многое в ней переменялось к лучшему. Владлен Владленович перестал ходить на обед, рисовать графики и отчитываться по планам, которых больше не составлял. Он сидел и любовался.

Афродита Кузьминична делала вид, что смущается, но совершенно не препятствовала созерцаниям Филейкина. Изредка она исподволь смотрела на него, Владлен Владленович никак не мог разобрать, что несет этот взгляд — разное виделось в нем. То глаза ее наполнялись лаской и нежностью, да так, что Филейкину хотелось заплакать и прижаться, то сочувствием, то она вдруг скрывалась в себя, и Филейкин оставался в кабинете словно один. А порой в ее глазах со всей наготой полыхало такое откровение, что Филейкин чуть не скатывался в обморок от увиденного.

А вскоре он заметил, что Афродита Кузьминична терзается каким-то скрытым сомнением, словно хочет признаться ему — Филейкину — в чем-то, но не решается.

— Владлен... — начинала она неуверенно, — Владленыч...

— Да, Афродита Кузьминична? — лихорадочно откликнулся он.

— Я... хотела бы... я... должна, — она смущалась и увиливала к чайнику, — давайте пить чай, я варенье принесла.

В этой робости было что-то приятное для чувств Владлена Владленовича. Но неопределенность доставляла ему душевные неудобства, и они нарастали.

Однажды Филейкин решился. Он встал, надел новый, купленный накануне кисломолочного цвета костюм и с букетом сирени прибыл на службу. Не оставалось никаких сомнений, что Афродита Кузьминична — самая безупречная из всех женщин. И Владлен Владленович готов ответить взаимностью и обоюдностью на ее чувства. Вот только слово «обоюдность» прозвучало тревожно, угрожающе. Филейкин осознал, что вовсе не знает внутренних чувств самой Афродиты Кузьминичны, и, пресытившись волнением, решил открыться в собственных. Он сидел и ждал, когда отворотится дверь.

Она не пришла. Не пришла к началу службы, не пришла к обеду, в десять часов вечера Филейкин заподозрил, что она, возможно, не придет сегодня вовсе, но не уходил.

Вдруг она заболела? — беспокоился Филейкин. Или у нее умер дядюшка в Торжке и вызвал ее срочной телеграммой — обнадеживался Владлен Владленович. Или по канцелярской опечатке ее перевели в департамент учета мелкого рогатого скота и отправили в бессрочную командировку в Узбекистан — доходил он до худшего из подозрений, дальше которого идти было некуда.

На следующий день Владлен Филейкин явился в отдел кадров и потребовал от сидевшей там Оленьки объяснений, куда она подевала Афродиту Кузьминичну.

— А вы по каким причинам интересуетесь?

— Как это по каким? — растерялся было Филейкин, но тут же нашелся: — По тем самым! График плановой отчетности кто сводить будет?

— Ах, по тем самым? — странно усмехнулась Оленька. — А по тем самым ваша Афродита Кузьминична отбыла в декретный отпуск, о чем есть медицинская бумажная констатация.

Лицо Владлена Владленовича Филейкина смялось, сделалось белым и комковатым, как скисшее молоко его костюма.

— Неприлично говорить, до чего непривлекательное существо этот Филейкин, — выговаривала сама себе Оленька, глядя на медленно удаляющиеся неровные остатки его фигуры, — просто природное недоразумение, а не существо.

Взросление

Девочка Маша нашла на улице палку, принесла домой и разрисовала. Налепила на нее обертки от конфет. Повязала бантик.

— Волшебная палочка, — говорит.

И пошла загадывать желания.

Папа девочки — Пал Палыч Кузиков — потоптался перед дверью детской комнаты, несмело сунулся:

— Дашь загадать?

— Говори, что хочешь, — я тебе загадаю.

— Желание — штука личная. Говорить вслух нельзя. Просто скажи палочке: «Пусть папино желание исполнится».

— Нет. Так ничего не выйдет. Палочка должна знать, что ей колдовать.

Кузиков ушел. А когда девочка уснула, втихоря пробрался, взял палочку и загадал. Всего одно. Но заветное.

Утром девочка прибежала к отцу.

— Ты брал мою палочку?

Кузиков солгал.

— Тогда почему палочка перестала работать? Она не могла сломаться сама!

— А разве вчера она работала? — Кузиков сделал глуповатое лицо.

— Да, — глядя на отца сквозь слезы, прошептала девочка.

Он объяснил, что волшебства не существует и что сейчас очень подходящий случай начинать взрослеть.

Маша ничего не ответила и ушла взрослеть.

Пал Палыч хотел покурить, огорчившись неприятным разговором с дочерью, сунул руки в брюки, но папирос из карманов не достал, а достал две полные горсти медной мелочи. Монетки посыпались на пол, и лицо Кузикова стало еще более глуповатым.

Тут он вспомнил, что накануне попросил у палочки денег, и побольше, но не уточнил каких. Вышло нелепо и жутко обидно. Пал Палыч даже заподозрил издевательское ехидство, а то и подлую насмешку с ее стороны. Хотел выругаться, но сдержался.

— Где палочка? — Кузиков звенел медью и оставлял на полу обильный копеечный след. — Она работает!

Девочка снисходительно скривилась, услышав такую несуразицу.

— Я ее выбросила.

Кузиков выбежал.

Маша сидела на подоконнике, поджав ноги, и курила папироску, глядя скучающими глазами в окно — на мечущегося по двору отца. Пал Палыч Кузиков хватал с земли палки, ветки, прутья, брошенные палочки от мороженого, даже щепки и горелые спички — говорил с ними, требовал, упрасивал, угрожал и умолял.

Пепел с папироски упал на ковер с игрушками и рассыпался.

Ветер

Тихая погода стояла уже три недели. Катсуρο три недели лежал под дубом и безмятежно спал. Не беспокоимый никаким дуновением, спал и дуб. И все ветви и листья дуба тоже спали.

Один молодой листок, не выдержав тяжести бездействия, сорвался с ветки и озорно закружился в загустевшем воздухе.

Разбуженный его падением Катсуρο открыл один глаз.

— Быть буре, — сказал он и открыл другой глаз.

Катсуρο поднял голову, и потревоженный им воздух ухватил танцующий лист у самой земли, не дав ему упасть. Катсуρο встал, и его волосы растрепал порыв ветра.

Лист унесло. Дуб взволнованно заскрипел.

Ветер крепчал — с крестьянина, работавшего неподалеку, сорвало шляпу. Крестьянин побежал было за ней, но шляпа быстро скрылась за мельницей, что стояла на холме. Мельница расправила крылья, мечтая о полете и воображая себя необыкновенной летательной машиной, но ветер так ее скрутил, что она взмолила о пощаде.

— Я остановлю тебя, — прокричал Катсуρο ветру, и огромная бочка с дождевой водой, стоявшая в соседней деревне, тут же поднялась и с силой пушечного ядра была брошена в грудь Катсуρο.

Катсуρο не сдвинулся с места, он стоял, подставив ветру лицо, и смеялся.

— Ты слаб, если зовешь на помощь старую бочку.

Ветер рассвирепел. Он хватал с земли и поднимал в вихре стада коров и овец,

срывал крыши с домов, вытряхивал оттуда испуганных людей. Катсуρο даже не покачнулся.

Огромный военный корабль с хмурыми моряками пролетел над Катсуρο. Моряки кричали ему, что восхищаются храбростью его, но ветер сразу уносил их слова за вереницу гор.

Катсуρο оглянулся на корабль и увидел, что ветер, как лепестки с цветка, обрывает с мельницы на холме ее парусиновые крылья — насмешливо, одно за другим, то подкидывая вверх, то с треском обрушивая о землю и волоча низом. Лишившись их, мельница сделалась похожей на человека с отрубленными руками, мечтать ей стало не о чем, и ветер смел ее, словно спичечный домик.

Монастырь с монахами пролетел над Катсуρο. Монахи выглядывали из окон и говорили, что завидуют его стойкости, но ветер сразу уносил их слова за бескрайнее море.

Катсуρο посмотрел вслед монахам и увидел, как его дом, в котором он родился, зашатался, беспомощно моргая глазницами окон, рассыпался и скрылся из виду. Но сам он не сдвинулся с места.

Огромный императорский дворец, с золотыми фонтанами, чудесными садами и семярусной башней пагоды, пролетел над Катсуρο. Сам император, увидев Катсуρο, обмолвился, что преклоняется перед величием его духа. Но ветер сразу унес слова императора на другой конец земли.

Катсуρο оглянулся полюбоваться семярусной башней пагоды и увидел, что голый дуб лишился сил своих и рвутся жилы, державшие его за землю. Тысячелетний корень лопнул, как годовалый тростник, и дуб унесся вдаль. Ветер теперь разрывал самую землю, на которой не осталось ничего и никого, кроме Катсуρο.

— Ты слаб, — сказал ветру Катсуρο, — если ломаешь других, чтобы сломить меня!

— Ты проиграешь, Катсуρο, — шепнул ему на ухо ветер. — Невозможно победить того, кого нет!

И ветер вдруг исчез, стих в одно мгновение, и его вовсе не стало. Катсуро со всей силой, с которой он сопротивлялся ветру, подался вперед и упал. Поднялся и упал снова. Без ветра стоять он уже не мог и остался лежать, закрыв глаза, сокрушенный...

Вокруг не было никого, кто бы мог помочь Катсуро подняться. Даже дуб — преданный друг его — погиб.

Прошла неделя — Катсуро был недвижим.

Еще одна — кривой желудь, ухватившийся за трещину исковерканной земли, дал росток, но закрывшиеся глаза Катсуро не могли его увидеть.

Через три недели пустынная земля отозвалась едва уловимой поступью босых ног. Юная девушка, легкая, как воздух, подошла к телу Катсуро и села рядом.

— Здравствуй, Катсуро. Я так много слышала о тебе — там, за вереницей гор, за бескрайним морем, на другом конце земли, только и разговоров — о Катсуро, победившем ветер.

Катсуро приоткрыл один глаз и посмотрел на девушку. Она была мила. В глазах ее таилась невесомая нежность. А в длинных выющихся волосах запутался высохший дубовый листок.

Заметив его, Катсуро открыл другой глаз...

Александр Евсюков

Рассказы

На корейской границе

I

— Слушай, — говорила ему бабушка шепотом, — как снег идет...

Веня жмурил узкие глаза и, засунув пальцы под шапку, как мог оттопыривал свои круглые уши. Было очень тихо. Только в глубине дома за двумя дверями утробно гудел холодильник. Легонько щекоча запястья пухом, колыхались повисшие варежки. А резинка, пришитая к ним, напряженно вытянулась по спине. Чувствуя ожидающий бабушкин взгляд, Веня сглотнул и задержал дыхание... Тонкий электрический треск сопровождал шаги. Такие вкрадчивые, мягче кошачьих.

— Слышу-у-у, — распахнув глаза, восторженно закивал Веня. — Снег пришел!

Бабушка облегченно улыбнулась и, выудив «беломорину» из кармана фартука, сладко затянулась через мундштук. Иногда она вдруг забывалась и курила при внуке. Бабушка пристрастилась к крепким папиросам с молодых лет, но стыдилась этой напасти и, как могла, ее ото всех скрывала. Веня думал, что это напрасно — курила она изящно, как в кино, плавными взмахами ладони отводя дым в сторону от него, — но никому бабушку не сдавал.

Она поправила ему шарф, сама натянула варежки, убедилась, что внук не забыл ничего нужного.

— Ну, все. Дуй, пока светло.

Веня поднял руки и, крепко обхватив ее поясницу, блаженно замер на несколько секунд.

Потом развернулся и сбежал вниз по скрипящим ступеням.

* * *

...странный этот ребенок в драповом пальто. Брел по дворам, как увалень. А затем, на тропинке у безлюдного пустыря, раскинув по сторонам портфель и мешок со сменной обувью, кружился, прыгал и ловил снежинки на язык.

Александр Евсюков родился в 1982 году в городе Шёкино Тульской области. Выпускник Литинститута 2007 года. Публикации в журналах «Дружба народов», «День и ночь», «Ното Legens», «Вайнах» (Грозный), «Бельские просторы», «Звезда Востока» (Ташкент) и др.

Участник Форумов молодых писателей России. Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016). Проза переведена на итальянский язык.

II

— Эй, Веник!..

Он резко обернулся на голос. Это «погоняло» никогда ему не нравилось.

— Ты — за кого?

Сегодня — пятница. И, значит, пустырю за гаражами предстояла очередная битва в извечной войне между *кордонами* и *корейцами*. Здесь, на условном рубеже между ПГТ Орейский и городским поселением Кордонный, после множества мелких стычек сходились две ватаги с подручными орудиями или без них и устраивали *месиловку*.

В этот раз *кордоны* заняли обледеленное полукружье на теневом склоне. *Корейцы* чавкали ботинками в грязи напротив них. Чуть ниже, разделяя противников, бурлил узкий весенний ручей.

— К нам. У нас живет! — загудели одни.

— А к нам через день ходит! — тут же завопили другие.

Веня поднял руку и дождался шаткой тишины.

— Я — за всех. Почему выбирать надо?.. У меня бабушка в Корейском, а сам я здесь. Что мне — бросить ее? Пацанов всех знаю. Что нам делить?.. С кем?

Пацаны заозирались. Четверо со склона подались в сторону. Побойше грозило сорваться.

— Вали, ссыкло узкоглазое, — гневно сплюнув, встряхнул рыжей шевелюрой Демид, один из старших кордонов. — Сю-уда-а-а! Па-анеслась!..

Надсадный рев. Топот. И грязью чавкают.

Так вот, значит!.. Веня метнулся зигзагом, уклоняясь, рухнул на четвереньки, вкатился среди множества ног в самую буйную их гущу.

Он. Рядом.

Выпрыгнул и вцепился сбоку в рыжие космы. Сжав зубы, принял удар тяжелой ременной бляхой поперек спины и потянул старшего за собой. Демид, заваливаясь, молотил кулаками воздух.

Веня, нагнув ему голову ладонями, приложил об лед.

— Веник Демиду жопу дерет! — пронеслось над свалкой.

Кажется, они одни не слышали этого.

— Как?! Меня?! Зовут?! — завернув руку Демида ему за спину, он с хрустом задрал ее к верху лопаток.

— ВЕНЯ! — извиваясь, прохрипел тот.

Веня выпустил побелевшую руку и слез с Демидовой спины.

* * *

...в спину стукнул шальной камень — он не обернулся.

Пошатываясь, уходил, чувствуя на себе долгий сверлящий взгляд.

III

— СТОЯТЬ!

Веня не сделал и трех шагов в узком проулке между казармой и котельной, как над ним, перекрыв полосу солнечного света, навис Гиря — зам. начальника заставы капитан Гирей.

Рядовой поднял руку, отдавая честь. Мгновение они смотрели в глаза друг другу, как бы оценивая. В глазах у Гири мелькнул азарт. Последовала излюбленная комбинация: ложный замах слева и стремительный нырок правой снизу.

Веня помнил, как уверенно капитан вышиб из него дух при первой такой внезапной проверке, сразу после учебки. «Дух из духа» — схохмил тогда кто-то. На этот раз Веня успел уклониться с полуразворотом и ускользнуть от огромного капитанского кулака, даже не опустив свою приветствующую руку.

— Молодцом, рядовой! — уважительно кивнул Гиря. — На дембеле махач будет — не пропадешь уже. Вольно!
— И раньше не пропадал, товарищ капитан.
— Раньше ты бойцом не был. Пойдем, прогуляемся!
Неожиданно как-то. Хотя, говорили, с ним бывает.
Капитан повернулся. Рядовой пошел следом.

* * *

Проскользнули в лаз, чтобы на КПП не светиться. И вышли сюда, к излучине Тумангана¹.

Мошки было меньше, чем обычно — сбило утренним ветром.

— Будешь? — Гиря протянул ему фляжку.

Веня отрицательно мотнул головой.

— Хлебни чутка. Приказ!

Веня отхлебнул. «Ох, крепка!», — но вида он не подал. Вернул фляжку капитану.

Они присели на отполированную водой корягу, и капитан заговорил, глядя вдаль:

— Это и есть — корейская граница. Самая короткая из всех. Ты бы у них, пожалуй, сошел за своего. — Гирей скосил взгляд на Веню: — Издалека сошел бы, только слишком длинный. Здешний разлив ты видел. Мы в низине, и заливают всегда нашу сторону. И каждый раз мы отступаем, отходим, а они там стоят себе на месте и смотрят.

— Потом-то возвращаемся.

— Ага. Возвращаемся и сидим. Мне здесь куковать еще долго, на этой моей границе. — Капитан сделал несколько крупных глотков. — А ты скоро свалишь. Но тебя она настигнет уже там.

Наверное, капитан сам себе казался пророком. Или просто знал, что такой вот вечер обязательно запомнится этому дембельку.

Веня пожал плечами.

— У тебя баба-то есть? — вдруг спросил Гиря.

— Не встретил пока.

— Как встретишь — гляди за ней в оба...

* * *

...в бинокль — с того берега — они казались мирными осоловевшими рыбаками, которые ненадолго позабыли о сетях и удочках.

IV

— Урод! — блондинка Нина рыдала на скамейке, уткнувшись в Веню. — Уро-о-од!

Она то сжимала кулаки, то бессильно обмякала. Тушь давно размазалась на пол-лица. Слезы промочили Венин рукав.

— Ты видел его с этими?.. Видел?..

Веня видел, и не в первый раз, но раньше она бы не поверила ни ему, никому.

Пробормотал в ответ что-то невнятное.

И вдруг? Нет. Показалось. Ослышался. Такого просто не могло быть.

— Ко мне? — не веря, переспросил он.

— К тебе. — У нее был гордый и одновременно какой-то жалкий взгляд. — Только возьми вина. И сыра, и шоколада. И пойдем уже, а то скоро дождь будет.

Они встали. Она впервые прильнула к его руке и пошла рядом. Веня с трудом удерживался, чтобы не задрожать.

¹ Туманган (она же Туманная) — река на Дальнем Востоке, пограничная между КНДР и Россией

Она осталась ждать под фонарным столбом, а он заказывал и привередливо отбирал все лучшее в попутном круглосуточном «гадюшнике».

* * *

— Ты один здесь живешь?

— Ага. Наследство.

Они провели вместе почти сутки. Отдышавшись, жадно впивались друг в друга. Набирали ртом вина и поили друг друга поцелуями. Наперебой угощали запрыгнувшую через форточку Венину кошку Рысю сыром и колбасой. И взахлеб смеялись, когда отвалилась спинка дивана, и они вместе скатились на пол. А потом Веня подставил под тот край табуретку, и они улеглись снова.

— Пойдем смотреть салют?

— Оттуда, — Веня поднял палец вверх, — все видно. И фотик захватим.

Они стояли на крыше, обнявшись. Небо снова и снова озарялось сиянием. Девушка чуть вздрагивала. Как необыкновенно вот так стоять. Только немного зябко.

— Поможешь? — прошептала Нина в самое Венино ухо. — Выручишь меня?

— Конечно. А чем? Сейчас?

Она мотнула головой:

— Потом. Очень надо.

Все, что он наснимал тогда, оказалось смазанным. Праздники почему-то не хранятся долго.

* * *

...гр. Христофорова Н.В., 23 лет, уроженка ПГТ Корейский, вошла в подъезд дома № 9 по улице Н-ой, держа под мышкой правой руки коробку, обернутую в полиэтилен и обмотанную скотчем.

Спустя четверть часа она вышла из подъезда налегке.

V

Веня лежал на голом диване, с трудом ворочая отяжелевшим телом и что-то бессвязно бормоча.

В дверь сначала звонили, потом стали громко, властно колотить. Сквозь шум по ту сторону он смутно разобрал свои имя и фамилию, которые выкрикивались попеременно.

Стук ослаб. Веня различил треньканье мобильного — ему звонили. Но дотянуться неподъемной рукой до стола никак не получалось. Плотный удушливый комок подкатил к горлу. Веня с трудом удержался. Что же это? Выпил всего-то чуть из принесенной Ниной бутылки...

Раздались треск и звон стекла. Ноги обдало холодом. Веню вышибло из сна. Разлепив глаза, он увидел, как с улицы через окно, в которое ходила Рыся, впрыгивает кто-то облаченный в темную форму, широкий и тяжелый.

Протопал мимо, отпер дверь, видимо, впуская еще нескольких. Квартира наполнилась шумом и топотом.

Крепкая рука трясла Веню за плечо и одновременно тянула вверх:

— А ну, подъем...

И тут, перегнувшись с дивана, Веня выbleвал все, что в нем было, на руку и на ботинки трящего.

— Твою ж мать!.. — Резкий удар обрушился поперек Вениной спины.

— Э-э, хорош! — осадил другой голос, громче и главнее. — Обмойся. Потом разберетесь.

В мозгах у Вени наконец прояснилось. Над ним стоял и глядел из-под рыжих бровей Демид, с прошлого года — старший лейтенант Демидов.

— И убери-ка это, — он поднял с пола и передал недопитую бутылку с бордовой жидкостью.

* * *

Коробку вытащили из распахнутого шкафа с полки над джинсами.

— Вещество растительного происхождения зеленого цвета. В коробке три упаковки по килограмму. Твое?

— Это что? — едва слышно спросил Веня.

— Чуйка, самая отборная, — вдохнув, пояснил Демид.

— Как?..

— Дурь. Трава.

Веня глядел молча. Столько травы он никогда не видел. Чуть желтоватая измельченная масса. Похоже, готова к употреблению. И все это лежало здесь, у него. Даже посмотреть не догадался.

— Вам, понятые, все ясно?.. Тогда расписываемся здесь и здесь.

* * *

Замкнув «браслеты» на запястьях, его вывели из подъезда. Под ногами захрустело. «Снег пришел!» — вспомнилось как вчера. Мимо — вдоль скамейки — проплыло несколько знакомых с детства лиц.

— За хатой приглядите. И Рыську кормите хоть раз в день, — успел крикнуть им Веня. Кажется, закивали.

Веня опустил на сидение. Старлей Демидов прошелся по нему удовлетворенным взглядом. От макушки до ботинок. И обратно.

— Что, Веник, еще поговорим?

Удивляясь себе, он улыбнулся и ответил:

— Поговорим.

...Адресованная другу

Ходит «пяточка» по кругу,

*Потому что круглая Земля-а-а...*¹ — промурлыкал конвойный и подмигнул:

— Учи матчасть, наркобарон!

Дверца хлопнула. Машина тронулась.

* * *

...через полчаса во двор на колею уазика выскочила двухцветная кошка. Она кружила и принюхивалась к снегу и к воздуху.

А потом села и протяжно завывала во весь голос, будто собака.

Соседи молча смотрели в ее сторону, сгрудившись у скамейки и прилипнув к оконным стеклам. Но никто так и не решился ни утешить, ни швырнуть в нее чем-нибудь, чтобы уже замолчала.

Поезд с юга

— Поезд отправляется с третьего пути! — эхом гудело в висках. — Повторяю: С ТРЕТЬЕГО ПУТИ! — Этот металлический с потрескиванием голос заставлял метаться по переходу, наталкиваться сумкой на чьи-то плечи и животы и, не дослушав ругани, нестись вверх по ступеням с сердцем, допрыгивающим до кадыка.

Подхватив разодравшийся пакет с сувенирами под мышку, успеть вскочить в последний вагон. Мотая головой, с шумным дыханием вместо речи, предъявить билет и паспорт полной ворчливой тетке с должностной биркой на груди. И отправиться сквозь пять вагонов к своему купе.

¹ Перепевка известной песни в исполнении Э.Хиля.

* * *

Войдя, он едва не стукнулся лбом с чубатой головой, свесившейся навстречу с правой верхней полки.

— Павел, — произнесла голова вполголоса и, ощупав его взглядом, чеканно отрекомендовавшись: «Майор Рожков», — вернулась на подушку.

В багажном проеме над входом на чемодане действительно лежала ментовская фуражка.

Внизу у столика сидели еще двое мужчин. Один был лысый с вытянутыми по затылку широкими складками, как у шарпея. У другого были рыжие волосы и простодушное лицо с конопушками. Павел кивнул им и полез на свою, левую верхнюю.

Вслед за Павлом, постучавшись, вошла девушка. Проводница их вагона. Она держала на руках стопку с бельем для пассажиров. Глянув на нее, майор присвистнул, но от белья отказался. Скоро выходить.

Она двигалась легко и грациозно. Даже в крохотном купе этого нельзя было не заметить. Форма только приманивала взгляд к точеным ножкам, а темно-русая прядь выбивалась из-под шапочки.

Павел увидел себя в ее зеленых глазах. Всего секунду. Затем она отвела взгляд и с легким целлофановым шорохом наклонилась к нижней полке.

Шарпей что-то горячо шепнул ей на ухо. Она посмотрела на него так, что он отпрянул.

Спокойным голосом спросив, все ли все получили, она вышла, не оборачиваясь. Шарпей вынырнул следом. Минуты через три вернулся с озадаченным видом. Окинул всех стремительным прищуром и сел на место к окну.

...Отпуск не удался. Приходилось это признать. У фирмы, где работал Павел, наступило «сложное время». Отдел продаж на собрании попросили съездить развеяться на дачи или на моря. Всему отделу пришлось согласиться. Однако жену — главного бухгалтера другой фирмы — никто в конце квартала отпускать не собирался. После того как сорвались две подряд «горящие» путевки в тропики, Павел психанул, собрался и, плюнув на престиж, поехал.

Один.

В первый день он осознал, как сильно соскучился по морю, даже такому.

— Как моча после пива, — широко зевнул дородный попутчик из пансионата, глядя на разлитую по песку пену прибора.

Павел усмехнулся. Не согласиться было трудно.

Но весь отпуск он ждал чего-то...

Разумеется, не футбольных мучений на большом экране в баре. Не танцев под хиты трехлетней давности. И даже не толстой мулатки, которая липла к нему чаще, чем к другим, так что пришлось показательно опрокинуть целый бокал и, изобразив в хлам пьяного, уползти к выходу, держась за край барной стойки.

Утром он увидел ту мулатку с опухшим лицом. Она заплетала «африканские» косички на выходе с пляжа. Отчего-то стало стыдно, он отвел глаза и стал пристально разглядывать разноцветные надувные подушки.

И не той экскурсии к древнему святилищу, из темноты которого дохнуло чем-то колодезно жутким. Гид сообщил, что на ближайшем к этому месту участке автотрассы, несмотря на отсутствие поворотов и хорошую видимость, регулярно происходят аварии. «Отрицательная энергетика», — пояснил он.

...Может быть, того момента, когда сумерки вдруг пришли раньше? Начинался шторм. Павел запомнил, как порывами продирал кожу ветер, а волны прогретого за день моря хлестали и ошпаривали. И три вечера подряд приходилось накачиваться дрянным пивом, подслащенным вином или поддельной чачей.

После шторма вдоль пляжа разнеслась вонь. Оказалось, что среди стогов

морской капусты на берег вынесло полутораметровую дохлую рыбину неопознанного вида.

Весь отпуск он беспокойно ждал чего-то. Загорая. Напиваясь. Звоня жене. Засыпая. Вспоминая о работе. Ходя из угла в угол в непогоду.

И вот — отпуск кончился. Хорошо еще, что загореть успел. Только грудь под волосами и веки остались бледными.

Но и загар скоро сойдет и забудется.

Скоро, совсем скоро.

* * *

Майор Рожков четкими движениями скатал матрас, облачился в форму и снял чемодан.

Попрощался он почему-то с одним Павлом, подмигнув:

— Бди!

«Так точно!» — захотелось было козырнуть в ответ, но вслух он сказал:

— Всего доброго.

Вскоре после той станции Павла окликнули.

— Сосед, — донесся голос Шарпей, — слазь, что ли? В картишки перекинем. Чего киснуть?

Он послушно слез.

— В свару умеешь?

— Играл когда-то.

— Давай напомним, — краем губ улыбнулся Шарпей.

— А ты умеешь, хлопец? — обратился Шарпей к глядевшему в окно конопатому крепышу.

— А покажь, — с сомнением повернулся тот.

— В двухлистку проще, — начал Шарпей. — Я раздаю. Запомнить легко: крестей вообще нет... Понятно?.. Поставим по маленькой — для интереса?

Конопатому свезло дважды. Видно, как загорелся. Потом несколько конов неожиданно выиграл Павел.

Ставки подросли, а перед ним оказался пестрый ворох купюр.

— Дерет, как липок, — цокнул языком Шарпей. — Профи. Правда, не играл взрослому никогда?

— Нее, ни разу, — едва сдержав довольную ухмылку, ответил Павел.

— Может, хва-атит уже? — протянул Конопатый.

— Ну, еще пару конов, — ответил Шарпей. И, улыбаясь Павлу: — Отыграться хоть дашь?

— Куда там, — вставил Конопатый, кивнув на Павла, — прет ему сегодня.

— Попробуй, — согласился Павел.

Следующий кон взял Конопатый.

— Не все коту масленица, — отсчитал он выигрыш.

Горка купюр перед Павлом резко просела. Вот повезло Шарпею. Павел каждый раз был уверен, что у него стоящие карты, но у одного из соперников они почему-то оказывались чуть лучше.

Выложил еще. Впитались тут же.

— Ставить нечего?

Деньги кончились. Но то, с какой издевкой глядел Шарпей, заставило Павла подняться, раскрыть пакет с сувенирами, достать акварельный пейзаж.

— Пойдет на ставку? — хрипло спросил он.

— Я в мазне не шарю, — отозвался Шарпей. — Что скажешь, Сер... сосед?

Сосед взял картину, поднес к окну и с минуту разглядывал.

— Ну, не Айвазовский. Не Куинджи. Но авансом пойдет. В три штуки оценю по большой дружбе.

— За двенадцать брал, — вырвалось у Павла.

— Загибаешь, братело, — ласково улыбнулся Шарпей и сдал карты.

Картина ушла Конопатому.

Дальнейшие полчаса Павел припоминал с трудом. Как будто в лихорадке он выставил часы. Мобильник. Снял с шеи цепочку с крестом. Последним ушло обручальное кольцо.

Больше ставить нечего.

Все, что было ценного с собой у Павла, сгрудилось теперь на дальних сторонах стола.

Легкий стук в дверь.

— У вас все в порядке? — донесся из тамбура мелодичный голос проводницы. — Ничего заказывать не будете?

— Не-е. Все хорошо. Чайку попозже, — ответил за всех Шарпей.

Павел сидел, понурился чугунную голову.

— Может, на паспорт? — вдруг предложил он.

— А потом?.. Кредит оформить? — Шарпей поскреб складки на темени: — Черт с тобой. Праздник у меня на душе сегодня. Есть один вариант. Особый. Проводницу здешнюю разглядел?

— Ну...

— Сможешь ее вот так, без копы, в койку уложить, и все твоё — опять твоё. И бабе своей кольцо предъявишь, и попу — крест. Нет — разойдемся краями. Свечку мы держать не будем, а трусы с нее, если выгорит, сюда притащишь. Все понял?

Павел кивнул.

— Действуй. А нам пусть чаю занесет. Коньяк у меня свой.

* * *

Павел очутился в коридоре. За окнами смеркалось. Проносились городские огни. Поезд стал притормаживать. Она вышла из своего купе. Взглянула на него.

— Добрый вечер. Вам чаю?

— Да-а. Только, — он хлопнул себя по карману, — я денег не взял, потом занесу.

— Хорошо, — спокойно сказала она.

— А где мы сейчас?

Она ответила.

— Уже далеко.

— От чего?

— Далеко заехали.

За окнами мелькнуло название станции.

Дежурные фразы ни о чем. Но темные искры, мелькавшие в зеленых глазах, заставили его пойти вслед за ней на платформу. Пахло недавним дождем и, сквозь запах мазута и сторовших масел, неизвестными ему цветами.

Он сдул с ее щеки нахального комара. Она улыбнулась.

— Что это за цветы?

— Которые пахнут? Там?

Она кивнула.

— Не знаю. А сколько стоИм?

— Четырнадцать минут.

Что-то подстегнуло его:

— Мне хватит.

И пошел, ускоряясь, побежал, перепрыгивая рельсы, через пути к сиреневому облаку. Подтянувшись, оказался за бетонной оградой, и терпкий нежный запах ударил и как будто заставил раствориться в себе. Он замер на несколько секунд, а затем принялся за дело.

Обернувшись, Павел увидел, как по путям катится и уже тормозит нескончаемый товарняк.

Он снова перемахнул через бетон. Состав шатко застыл, готовый сдвинуться.

Павел нырнул с цветущей охапкой под огромное нависающее сцепление между гигантскими неподвижными колесами, молясь, чтобы ни одно из них вдруг не дернулось.

Выбравшись из-под состава, он, спотыкаясь, побежал дальше. Впрыгнул в свой вагон.

Она взмахнула флажком, и поезд тут же тронулся.

— Не хватило, — без насмешки произнесла она. — Еще бы чуть — и пришлось бы ехать без вас... без тебя...

Его порыв вдруг сменился странной робостью. Ей даже пришлось самой забрать у него букет.

Зашли к ней. Она приготовила чаю и протянула чашку ему.

— Ты просил.

— Да?..

* * *

— Что это было?

— Ты и я.

— Все, что должно быть в жизни. Самое-самое.

Лунный свет сквозь занавески выхватывал и освещал изгибы их голых тел. Когда поезд чуть менял направление — свет падал на стену или на дверь.

Они лежали переплетенные друг с другом, и в объятьях она казалась еще более хрупкой и незнакомой, чем полтора часа назад. «Я здесь, с ней, — пронеслось в его голове. — Но ведь только с ней, с ней одной и возможно быть, и как я мог не знать этого раньше?»

Но следом вползали, вкрадывались другие мысли: «Согласилась, так сразу... из-за вот этого веника? А может, в каждый свой рейс соглашается?.. И не только на это?» Он увидел небольшой светлый комочек на полу. Протянув руку, подтолкнул его к своим брюкам и заткнул пальцами внутрь кармана.

— Дай мне сигарету, — сказала она.

— Ты куришь?

— Иногда. Там, на полке, лежат.

Он нащупал тонкую узкую пачку, рядом зажигалку.

Она закурила:

— Ты думаешь, часто у меня так бывает, да?.. А скажу — в каждом рейсе, поверишь?

Он едва не застонал. Захотелось прямо как есть, голым, сорваться с этого дивана, выскочить из вагона, из этого поезда и пропасть без вести в ночной степи.

— А никогда так не было, — помедлив, возразила она себе. — Только сегодня. Один раз. Как провалилась.

И как-то яростно затушила сигарету об стол. Наверное, смотрела на него с вызовом сквозь темноту.

Постучали в дверь. Они лежали тихо. Шаги по коридору обратно.

* * *

Выстрелил гудок встречного. За окном замелькали вагоны.

— Скоро большая станция, — сказала она. — Тебе пора.

Ему не верилось, что можно сдвинуться и уйти. Но все-таки он оделся и вышел. Тусклый тамбурный свет его ослепил.

Из его купе в ночной тишине доносились тусклые голоса. Потом — смешок.

Павел дернул дверь и вошел. Шарпей метнулся тревожным взглядом, но справившись с собой, тут же спросил:

— Ну? И как успехи у ходока нашего?

Павел прижал карман брюк, где лежала его добыча, но вдруг решительно поднял голову. Едва сдержав счастливую улыбку, развел руками:

— Не фортануло...

Ната Сучкова

Монохромная страна

* * *

За железными засовами что ни век — идёт война,
Ненаглядные пособия, монохромная страна,
Сколько в парту ни засовывай — только мел и шелуха,
Всё серьезней, всё басовее пели строчки Маршака.

Всё грубее, заскорузлее — веселее пой, дурдом! —
Поднималась наша музыка над учительским столом.
И обменивались взглядами, и пускали пузыри
Чудо-рыбы ненаглядные, второгоднички мои.

А потом внести просили нас аккуратно-аккуратно
На наковки светло-синие в наши контурные карты
Красным, жёлтым и оранжевым, чёрным, серым и зелёным
Прошрое и настоящее, страны, города и сёла.

* * *

К открытым дверям музучилища
привязан шуршащий пакет,
заходят поэты в чистилище,
проходят второй турникет.

А там всех — сопрано, и теноров,
и тех, кто всегда — только басом,
под рученьки тонкие белые
разводят по сумрачным классам.

И в них — за дверями и ширмами,
где вдоволь еды и вина,
они целый день музицируют,
и только в одном — тишина.

И там — их хормейстер простужена,
и спился давно пианист —
молчат ко всему равнодушные
любители пения птиц.

Ната Сучкова (настоящее имя Сучкова Наталья Александровна) — поэт, издатель. Родилась в Вологде в 1976 г. Окончила Литинститут им. А.М.Горького в 2006 г. В течение четырех лет издавала в Вологде литературный альманах «Стрекоза». Автор книг стихов «Лирический герой» (М., 2010) и «Деревенская проза» (М., 2011). Лауреат премии «Московский счет» (2011) и др. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Вологде.

* * *

За жуков и улиток снищу ли когда-то прощенья?
Половина каникул уходит на списки для чтения.
Воздух сладок от пыли, а вкус у всех книг одинаков,
В нашей «звёздочке» были: Мересьев, Печорин, Иаков.
Пионеры-апостолы, парочка супер-героев,
Мир открыт на вопросе — еще полчаса до отбоя.
А теперь не до песен — молчу, летний берег топчу я,
Улетает Мересьев, в карету садится Печорин,
От любви и смущенья другому придётся заплакать,
И в далёкой пещере лежит под закладкой Иаков.

* * *

На пыльном заборе вдоль пыльной дороги
болтаются баннеров тряпки:
застыли детишки в немом хороводе —
веснушки, кудряшки, панамки.

Их светлые лики забрызганы грязью,
им чахлые сосны внимают,
проедет раз в сутки чихающий ПАЗик,
собака проскачет хромая.

Под этим забором устроились двое:
он курит, а дама — икала.
Плывут облака, да такого покроя,
какого не сыщешь лекала!

Плывут не спеша, как гружёные лодки,
садятся на мель в тополя,
затем, чтоб на этой глухой отворотке
родная порвалась земля.

Её залатают: тут — косо, здесь — криво,
гудроном зальют, а пока
сидят эти двое — Лопух и Крапива,
и смотрят в дыру облака.

Как будто им дети мороженку дали,
и скоро исполнится всё,
как будто бы ПАЗик их в светлые дали
из этой дыры унесёт.

* * *

Первый муж — Василий, и второй — Василий,
Первый нелюбимый, а второй — ох, сильно!
Васька — окаянный, Вася — золотой,
Не донежил первый, помер и второй.
— Ноги-то не ходят, ты уж отнеси
Свечку на медовый Васе-Иваси.
Сунула бумажку и конфет дешёвых:
— Да не перепутай, это — за второго!
Царствия небесного Васе попроси!
Ходят почтальонши по святой Руси.
— Да не перепутай! — Ну, уж, чай, не дура!
В первый раз как будто! Что ты, баба Шура!
— Тут тебе не почта, аккуратно надо,
Ну, как перепутаешь, Люся, адресата!
И всю ночь бродила — чаю напилася:
«Ох, Васюта-милый! Ах, скотина-Вася!»

* * *

Напекла как-то бабка пирогов с котятами —
то ли тронулась, то ли просто датая...
В общем, как-то вот так — напекла.
И собаке своей дала.
А собака — не дура: живём-то в Рязани,
не такой повидали жратвы глазами,
не совсем в Рязани, но, в общем, близко,
километров семьсот или триста.
Что котята ей? Ерунда!
Повозилась часик, ну полтора:
у того припёк — поперёк,
у того голова — едва.
Пропеклись не очень, но всё — еда,
одного сгоревшего прибрала,
остальных раздала — вообще не беда,
супом луковым, крынкой кефирной сыта.
Все пристроены, в добрых мурчат руках,
сдобой пахнущие, выращенные в пирогах,
о, хвала Авито!
Бабка злющая в доме стучит клюкой,
а тебе, собака, в дом — ни ногой!
Вот сиди на крылечке и плакай —
ни одной теперь грязной лапой!
А собака села на поезд сапсан,
и была такова — коль сама с усам!
И жила потом
с Угольком-котом
в бывшем городе Ленинграде
на канале Лиговском
над мостом
где-то между булочной и гнездом
сбором мусора
Христа ради.

Адриан Топоров

Фарт

Рассказ

Адриан Топоров (1891—1984) в советской литературе — личность уникальная¹. Скажем, членом писательского союза он стал, когда ему стукнуло ни много ни мало 88 годов! А легендарная книга «Крестьяне о писателях» — главное его детище — с 1930 года и по сей день остается единственной в своем роде во всем мире².

История ее создания вкратце такова. Учитель А.М.Топоров в коммуне «Майское утро», что находилась неподалеку от Барнаула, с 1920 по 1932 год ежедневно проводил с малограмотными или неграмотными вовсе крестьянами чтение мировой и отечественной художественной литературы. Сумел убедить неразговорчивых в обыденной жизни сибиряков высказаться по каждому из произведений. А диапазон услышанного коммунарами в артистическом исполнении Топорова был поразительным. Это сотни книг: от пьес Шекспира и Гамсуна — до Тренева и Всеволода Иванова, от античных поэтов — до Блока и Пастернака, от Толстого и Достоевского — до Зазубрина и Серафимовича...

«Крестьяне» получили восторженные отзывы известных писателей (М.Горький, В.В.Вересаев, А.В.Луначарский, Н.А.Рубакин, чуть позже А.Т.Твардовский, М.В.Исаковский, С.П.Залыгин, В.А.Сухомлинский и др.) и злобную критику — от обиженных литераторов и окололитературных деятелей.

Книгу эту и поныне бережно хранят тысячи библиотек по всему свету — от Николаева, Белгорода и Барнаула — до московской «Ленинки» и Библиотеки Конгресса (The Library of Congress) в столице США Вашингтоне.

Определенную известность А.М.Топорову также принесли отрывки из мемуаров — «Я — учитель» («Детская литература», 1980) и «Однажды и на всю жизнь» («Октябрь», 1980, №3); коллекция изящных миниатюр из жизни великих деятелей искусства и ученых — «Мозаика» («Дніпро», 1985, «Нобель-пресс», 2013); многочисленные статьи во всесоюзной прессе.

Но только считанные единицы людей из числа близких или почитателей его таланта знали, что Адриан Митрофанович пробовал свое перо и в жанре новеллы.

Автору настоящих строк недавно удалось отыскать в личном литературном архиве писателя рукопись рассказа-воспоминания «Фарт», который, на мой взгляд, по мысли, языку и стилистике заставляет вспомнить лучшие образцы российской словесности.

Именно он и предлагается вниманию читателя.

И.Т.

¹ Журнал «Дружба народов» в свое время не раз вспоминал этого удивительного человека: Горюхина Э.Н. «В деревне Бог не по углам...», 2003. — №2; Горюхина Э.Н. Темный лес — трава густая, 2006. — №4; Румер-Зараев М. Одиночество власти. История взлета и гибели Михаила Евдокимова, 2009. — №4. — Прим. ред.

² В этом году книга была переиздана.

В пяти-шести верстах на север от города Старый Оскол, что на Белгородчине, разметалось большое село Каплино. В нем до революции была второклассная учительская церковноприходская школа. Эти учебные заведения были детищем обер-прокурора Святейшего Синода К.П.Победоносцева, бурсами последних десятилетий российского самодержавия. В них готовились подпорки под прогнивший трон — учителя церковно-приходских школ, школ грамоты, псаломщики и дьяконы. Самые дошлые выпускники вскоре выходили и в священники.

В учительские второклассные школы принимались недоросли из привилегированных сословий, часто — верзилы с усами, по разным причинам изгнанные из реальных, городских и духовных училищ, семинарий и гимназий, да дети сельских торговцев и служащих. Но попадали туда и смывленные ребята из бедных крестьян.

Осенью 1905 года и я очутился в Каплинской бурсе. Воспитанники ее, кроме местных, жили в общежитии. Там же и питались.

Когда я учился во втором классе, в бурсу поступил Петя Золотухин, восемнадцатилетний переросток, сын сидельца винной лавки¹ в селе Лебедях. В спальне моя и его кровати стояли рядом. Мы оба любили пение и музыку, оба играли на скрипке. Любовь к искусству и сдружила нас.

В летние каникулы Петя наезжал ко мне в гости на велосипеде «Дукс»², вызывавшем всеобщее изумление моих односельчан. А детвора оравой гналась за Петей, когда он слезал с велосипеда и не спеша, гордо вел его по селу...

Весной 1908 года в моих руках было уже свидетельство на звание учителя школы грамоты. Петя пригласил меня в Лебеди. Отец его, занятый служебными делами, был всегда угрюм и молчалив. Зато мать Пети, стройная, румяная брюнетка, почти неизменно улыбалась, несмотря на свои пятьдесят шесть лет и уйму семейных забот. А голос у нее был такой трогательно ласковый, будто она не говорила слова, а пела их.

Старшей из четырех дочерей, Нине, шел восемнадцатый год. Она недавно окончила прогимназию³.

Семья Золотухиных была интеллигентной, а я еще никогда не бывал в таких семьях и не знал, как надо себя вести в них.

Увидев Нину, я оторопел. Она была чуть-чуть пониже матери ростом, но, как и та, стройна, румяна и грациозна. Большие темно-голубые и как бы усталые глаза ее с поволокой напомнили мне слышанное в школе выражение Гомера «волоокая богиня». Две косы, сверкавшие, как антрацит, спускались ниже осиной талии и резко оттеняли молочно-белые шею и плечи. Одета в простенькое розовое платье и облитая солнечными лучами, Нина казалась насквозь светящейся. В детстве я себе такими представлял ангелов.

За обеденным столом Нина исподлобья посматривала на меня, и эти ее взгляды мучительно-сладостными стрелами вонзались в мое сердце. Разговор с молодой красивой женщиной для меня — сушая мука. И потому я, по большей части, молчал и только иногда коротко спрашивал Нину о каком-нибудь пустяке. Она односложно отвечала — и все.

Дядя Пети, старый революционер-народоволец, был скрипачом. Оглухнув на каторге, он подарил племяннику свою скрипку. Как-то под вечер все куда-то отлучились из дому. Я взял скрипку и, став у открытого окна перед палисадником, заиграл «Элегию» Эрнста⁴. Мне рассказывали, что она была симпровизирована автором на могиле его невесты.

¹ Продавец в казенной водочной лавке.

² Завод «Дукс» (Dux) — императорский (до 1917 года) самолетостроительный завод в Москве. Завод производил также велосипеды, мотоциклы, дрезины, автомобили, аэросани, дирижабли.

³ Общеобразовательное учреждение в Российской империи с программой младших классов гимназии. Прогимназии учреждались в городах, где не было гимназий.

⁴ Генрих Вильгельм Эрнст (1814—1865) — австрийский скрипач и композитор.

Я играл — и вдруг букетик из бархаток, петуний, иммортелей и еще каких-то цветов упал на струны скрипки. Я кинулся к окну и увидел только, как за углом дома мелькнул подол розового платья.

Вскоре судьба разлучила нас с Петей. И навсегда. Я уехал учительствовать в Сибирь, а он погиб на первой русско-германской войне. Но где бы потом я ни был, образ Нины неотступно преследовал меня...

Через 36 лет я вернулся в родное село Стойло¹. В стойленских лесах и логах исстари росло много дикого терна. Его нещадно ломали, вырубали, корчевали, жгли, а он, как назло людям, разрастался все шире и гуще. Только что сорванные с колючих веток ягоды терна нестерпимо кислы, но люди понемногу заготавливали его в зиму на кулагу². Хваченный морозом, он становился сладким с кислинкой и удивительно вкусным. Недаром бабы и девки даже из отдаленных сел приходили в стойленские лога и леса и уносили отсюда полные сумки терна.

Однажды соседка моей квартирной хозяйки, разбитная старуха Фекла Семеновна, пригласила меня:

— Айда, Андриян, со мной в большой лог за терном! Там он хрушкой да сизый!.. Толька ты обуйся в тюни да портки надерни дерюжные, а то весь в колючках обремкаешься.

Я обмундировался по инструкции Феклы Семеновны, и мы пошли. Был конец сентября, а дни стояли еще теплые, золотые. Во всей природе было разлитое настроение покоя и удовлетворения.

Осторожно раздвигая кусты терновника, мы с Феклой разошлись в разные стороны. Чтобы не потеряться, то и дело аукались:

— Ау-у! Фек-ла Се-ме-нов-на-а-а! Где ты-ы-ы?!

— Тута я-а-а-а!

Часа через два, когда сумка моя уже была набита терном, Фекла Семеновна закричала:

— Ан-дри-я-а-а-н, ва-ляй сю-ды-ы-ы! Ско-ре-и-ча-а-а!!

Я пошел на голос. Фекла Семеновна сидела на полянке, а рядом — другая старуха.

— Глянь-ка на кого я напала в кустах! Не узнаешь?

— Нет.

— Голова, два уха! Да это ж Варя... Мещерякова Варя! Помнишь Яшку да Захарку, что с тобою ходили в Бродчанскую школу?.. Ужли забыл?!

— Их помню, а ее нет.

— Да это ж их родная сестра, Варя!

Силясь вспомнить Варю Мещерякову, я пристально смотрел на сухопарую, седую старуху с землистым, морщинистым лицом. Ее руки были до крови исцарапаны терновыми шипами. Из-под изорванной блекло-синей юбки высывались костлявые ноги с шелушащейся кожей.

Старуха пылливо всматривалась в меня мягко смеющимися глазами.

— Ну, Андриян, и я тебя не признала бы, кабы Фекла не сказала, что это — ты! Мы с нею не царевны-королевны, да и ты не князь! Ишь, как жизнь-то нас всех измотала!..

Нахлынули волны воспоминаний... Аллах мой! Передо мной сидела Варя Мещерякова, та самая Варя, которая слыла в Стойле «слободской», умывалась с духовитым мылом, долго не шла замуж за деревенских ребят — все ждала городского жениха. Она была чванлива и не водилась с «простыми» девками-одногодками. Зимой

¹ А.М.Топоров вернулся на Старооскольщину — в село Стойло — в 1944 году после отбытия несправедливого наказания в ГУЛаге.

² Славянское народное кисло-сладкое блюдо из ржаной муки и солода, мучная каша.

ходила в «благородном саке»¹, руки держала в муфте², а в церкви стояла рядом с попадшей и ее дочкой, епархиалкой³.

— Что же с тобою было, Варя? — спросил я.

И она долго рассказывала свою тяжелую историю и заключила ее словами:

— Так-то вот и вышло хомут да дышло... Чепурилась я, чепурилась и закисло в девках. Стали мною люди гребовать. И выскочила напоследок замуж за тюху-матюху, за вдовца. Он пропил весь наш общий живот. А после того захворал, да и окапутился. Я осталась мыкаться с его горбатой сестрой... Детей не было. Так и век векую...

— А где ж теперь живешь?

— Да все там же, в Лебедях.

— А не знала ли ты в этом селе семью Золотухиных?

— Винопольщикову-то?! Да как же не знать?! Через двор от них мы жили. Я ж помню, как ихний Петя ездил к тебе на лисапете.

— А сестру его, Нину, помнишь?

— Господи, да как же не помнить?! Я к ним уходя была, как своякая... А Нина та — та была красавицей на весь Лебединский приход!

— Знаю... Где же она теперь?

— У-у-у, стрянулся! Давно уж она на том свете!..

Я умолк. Точно понимая мое состояние, Варя тяжело вздохнула и, обвивая вокруг пальца травинку, продолжала:

— И у ней тоже не было фарту в жизни. Вышла она замуж за барина Сверчевского. Он служил в Петербурге, при царе каким-то прихлебателем. А видный был из себя, картиночка! И Нина дюже любила его. Раз приехали они на лето к барину в гости попрохлаждаться на деревенских воздухах. Ну, на радостях старый барин назвал гостей со всей округи, музыку из города достал.

Бесились тут господа ден пять. Вечерами в саду огни разные запусали вверх, катались по пруду на лодках и всякое вытворяли. А то еще задумали охотиться в лесу на волков. Оборужились и поехали. И уж как это там приспелось, только один барин бацнул из ружья и уложил Нининого мужа наготово. Тот и не копыхнулся! Вернулись охотники домой. Нина выбежала на двор встречать своего дружечку, а он лежит на линеijke⁴ пластом.

Грохнулась Нина на него — и давай на себе волосы полосовать! А когда хоронили, она рванулась сигать за ним в могилу. Насилу оттащили. А после того дела у ней начались в голове памороки. Ну, матери и отцу жалко же свои кровя, взяли они Нину к себе, в Лебеди. А их дом, ты же помнишь, был прямо-прямо против церкви, через зеленый выгон. На святой неделе у нас по старинке целый день на колокольне ребятишки трезвонили, а протчие люди коло церкви гуляли, на каруселях кружились, песни играли. Все разряженные! Сам знаешь: праздник! И тут-то и приключилась беда. Отец Нинин уехал по делам в город, а мать умаялась по дому, легла отдохнуть и уснула. А в ту пору на Нину, видно, и нашло. В длинной белой рубахе, простоволосая, выскочила она из дому и бегом к церкви. Мигом взнялась на самый верхний ярус колокольни. Ребятишки испужались ее отуманелых глаз — и все ссыпались оттуль по лестнице. Нина встала в окно колокольни и чебурахнулась вниз на кирпичный настил. Подбежал народ к ней, но она уже не дышала.

— А где же похоронили Нину?

— На кладбище, тут же, за оградой церкви...

¹ Широкое и длинное женское пальто.

² Принадлежность женской одежды — род открытого с двух сторон мешочка, обычно из меха, для согревания рук.

³ Воспитанница епархиального училища.

⁴ Многоместный конный экипаж с боковыми продольными сидениями.

Фекла Семеновна тронула ладонью плечо Вари и заговорила:

— Эх, Варюха, Варюха! Ты помянула, что ни у тебя, ни у Нины не было фарту в жизни. А мне так кажется, что его ни у кого не было, нету и до веку не будет! Вот те крест! И я не видела фарту! Шишнадцать детей родила, пятнадцать померли от разной хвори, остался живой один, да и тот калека. Ушиб на работе ногу, она и гниет от чахотки. А мужика моего задавила двойная кила¹ — и пупочная, и паховая. Ты, Варюха, кинь глазами по всяким людям — и увидишь, может, кому-то и на кой-то годок выпадет радость, а дале все горе и горе. Сколь коло нашего Стойла бар жировало! А ливарюция их — шарк! — и скovyрнула минтом к лихоманке. И попов, и купцов, и енералов, и самого царя! Враз ихнему фарту пришла крышка...

Рассказ Вари не выходил у меня из головы.

Прошло еще восемнадцать лет. Снова мне довелось увидеть родные места. В памяти живо воскресли образы далекого прошлого. Меня неодолимо потянуло в Лебеди. И в один теплый майский день, взяв палку, я пешком отправился туда. Но от былых Лебедей теперь почти ничего не осталось. На их месте гремел и гудел отуманенный пылью грандиозный Лебединский рудник Курской магнитной аномалии. Не видно было и следа дома Золотухиных, а от церкви уцелели лишь стены, от которых большими шматками отвалилась штукатурка. От этого руины казались пегими.

Сняв кепку, я долго в трепетном молчании стоял возле колокольни, угадывая место, где лежала разбившаяся Нина. Потом побрел на кладбище, как будто осевшие могильные холмики да покосившиеся деревянные кресты без надписей могли сказать, где тлели кости моей первой, никому не высказанной любви...

1962 г.

Предисловие, публикация и примечания Игоря ТОПОРОВА

¹ Грыжа.

Александр Никулин, Екатерина Никулина

Москва: из «большой деревни» — в «мегасело»

...И все слышней, и все напевней
Шумит полей родных простор,
Слывет Москва «большой деревней»
По деревням и до сих пор...

Москва в столетях не завянет
И не поникнет головой,
Но каждая деревня станет
Цветущей маленькой Москвой.

М.Исаковский «Большая деревня», 1925.

После того как в состав Москвы были включены юго-западные земли Московской области, фактически сформировался единый сельско-городской мегарегион, который представляет громадный интерес с точки зрения взаимодействия село—столица не только в национальном, но даже и в международном масштабе. К подобного рода взаимодействию в современной экономической и социальной географии сложился ряд оригинальных подходов, которые позволяют взглянуть на Москву не только как на город, но также как и на село — как на единый регион гигантской городской деревни.

Яркий пример такого подхода продемонстрировал в одном из публичных выступлений классик российской теоретической географии Б.Б.Родоман: «Почему первичен регион? По многим причинам. Во-первых, потому что я географ и люблю сплошной подход к территории, а подход архитектора, градостроителя слишком дискретный. Природой они называют зеленые насаждения, как будто их Бог насадил. Они гиперурбанисты, много говорят о городах. Но для меня не существует научной границы между городским и негородским поселением. Более того: я вообще не понимаю, почему мы придерживаемся этих двух категорий. Никакого научного объективного содержания в различии городского поселения и сельского, города и деревни нет. До революции в языке существовала масса разных слов, потом

Никулин Александр Михайлович — социолог, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Публикации в «Дружбе народов»: «Крестьянская доля Николая Доброго» (2013, № 4).

Никулина Екатерина Сергеевна — социолог, научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

выкристаллизовалось три уровня: бывший посад, ныне поселок городского типа (он соответствует местечку в западных губерниях), собственно город, поселение сельского типа. Есть там церковь или нет, это сейчас детали. Не вижу я разницы; когда я занимался этим вопросом, я не нашел объективных научных различий между городом и деревней в нашей стране. Я считаю, что эти термины являются пережитком, как было принято говорить, феодального общества, когда разные поселения пользовались разными привилегиями. Известно, что одни были освобождены от податей, другие не освобождены и т.д.»

Такое радикально-эксцентричное мнение маститого географа возникло не на пустом месте. Одним из его влиятельных академических истоков, например, является фундаментальное трехтомное исследование «Систематическое исследование по сельской социологии» 1930-х годов, выпущенное под редакцией знаменитого российско-американского социолога Питирима Сорокина, в котором утверждалось: «Наше общее заключение таково, что все принципиальные различия между сельскими и городскими обществами — различия в средствах связи, в мобильности, роде занятий, общей численности населения и плотности — имеют тенденцию к нивелировке»¹. В этой книге разрабатывалась идея так называемого *сельско-городского континуума*, представляющего собой, в сущности, *единую*, хотя то более разреженную (сельскую), то более сгущенную (городскую) хозяйственную ткань общей социально-экономической жизни. В настоящее время эти идеи переживают второе рождение в научных работах, например, влиятельнейшей школы сельской географии Англии и Северной Европы, представленной в работах Терри Маршдейна, Лео Гранберга и ряда других исследователей, — так называемый подход «Metropolitan Ruralities» («метрополисная сельскость»).

Наконец, надо отметить начавшуюся еще с 1960-х годов экспансию в социальные науки концепции «глобальной деревни» Маршалла Маклюэна, согласно которой с развитием масс-медиа и новейших средств телекоммуникаций сжимаются пространства земного шара, превращая процесс взаимодействия людей фактически в общение селян на всемирной заваulinке, что отчасти можно подтвердить широчайшим применением мобильных телефонов и антенн спутникового телевидения в современной, и в особенности сельской, России.

Учитывая правомерность бегло упомянутых концепций и мнений об относительности привычного нам понятийного противостояния «село—город», обратимся к интерпретации поговорки «Москва — это большая деревня». Конечно, она популяризировалась в свое время вместе с развитием новой столицы России Санкт-Петербурга, образцово рационального, регулярного, так называемого европейского города, противостоящего азиатскому хаосу деревенского типа старой столицы Москвы. При этом отмечалось, что в чопорном Санкт-Петербурге царила официальная столичная атмосфера в сравнении с провинциально деревенскими задушевностью и уютом Москвы². Второе дыхание метафора «Москва — большая деревня» получила вместе с интенсивными процессами индустриализации и урбанизации как в царской, так и в советской России³.

¹ A systematic source book in rural sociology: In 3 Vol. / Ed.: P. Sorokin, C.C. Zimmerman, C.J. Calpin. — Wash.; Minneapolis. Vol. 1, 1930. P. 63

² Уже у Льва Толстого мы встречаем упоминание этого феномена в романе «Война и мир»: «Tres beau, — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, — tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne (прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню)». Цит. по: Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 8 т. Т.3. М., 1996. С. 241.

³ Вот чрезвычайно остроумное и проницательное мнение об облике Москвы первой половины XX века в связи развитием отечественного кинематографа, зафиксированное в высказывании Фаины Раневской: «Большая деревня, как известно, одна — это Москва. Всю натуру мы снимали вблизи вашей родной Даниловской площади». Цит. по: Скорыходов Г. Разговоры с Раневской. М., 2004.

Волны сельских мигрантов-отходников со второй половины XIX века и по сию пору переполняют и переполняют Москву, постоянно привнося в столицу особенности сельского поведения и привычек. Огромное количество таких сельских мигрантов оседало и оседает в Москве, превращаясь со временем в стопроцентных столичных горожан, но этот путь из селян в горожане не быстр и не прост, тем более что постоянно на смену новым горожанам из окрестных провинций прибывают все новые и новые селяне. Посмотрите в исторической динамике на карту плотности населения вокруг Москвы в радиусе полтысячи километров: вы увидите, как за последние сто лет Москва, словно гигантский пылесос, засосала-выкачала из центральной России почти все сельское население, обрекая старинные русские сельские регионы на непрерывные депопуляцию и депрессию.

Впрочем, и в наше время Москва не прекращает, но усиливает эту свою работу. Теперь она привлекает к себе миллионы селян из мест, удаленных от нее на тысячи километров, и не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. Наконец, город Москва постоянно, подобно чернильному пятну, вот уже сто пятьдесят лет непрерывно расплзается во все стороны окружающего его сельского Подмосковья, трансформируя деревенско-дачные ландшафты в сумбурный пригород. Новейшие сельско-территориальные аппетиты Москвы непомерны, и несколько лет назад административным решением для развития города Москвы на юго-западе Московской области выделено 144 тысяч гектаров земли. Эта площадь почти на треть превышает площадь Москвы перед присоединением. Таким образом, Москва совместно с Подмосковьем, которое в последнее десятилетие застраивается, урбанизируясь фантастически быстро, из «большой деревни» превращается в «мегасело».

Приведем несколько характеристик современной сельско-городской трансформации Москвы и Подмосковья из работы Т.Г.Нефедовой «Десять актуальных вопросов о сельской России: Ответы географа» (Москва: ЛЕНАНД, 2013). На основе многолетних собственных и своих коллег исследований Нефедова приходит к выводу, что Москва и Московская область в настоящее время фактически образуют единый пристолличный регион, где Москва перехватывает трудовые ресурсы и налоги Подмосковья. С другой стороны, благодаря соседству со столицей область стала регионом, крупнейшим в стране не только по населению, но также по промышленному и сельскохозяйственному потенциалу. Взаимозависимость Москвы и Подмосковья выражается в складывании единой сети транспортной инфраструктуры и логистических центров, в разнообразных миграциях городского и сельского населения между столицей и областью, в концентрации мигрантов из регионов России и стран СНГ в Подмосковье, в использовании подмосковных земельных ресурсов и налоговых возможностей для развития московского бизнеса, в снабжении агропредприятий Москвы и Подмосковья сельскохозяйственным сырьем, в поездках москвичей для дачного отдыха, в интенсивной скупке подмосковных земель для производительных, рекреационных и спекулятивных целей.

Как отмечает Нефедова, «из-за обилия коттеджей и дач кажется, что сельского хозяйства в Подмосковье не осталось. Однако вопреки общемировым тенденциям сельское хозяйство все еще остается важным признаком подмосковной субурбии... В 2013 году небольшая по площади Московская область все еще занимала восьмое место в России по производству продукции сельского хозяйства, оставаясь крупным производителем сельскохозяйственной продукции на фоне других регионов России».

Весомое аграрное значение Московского региона намного выше скромных сельскохозяйственных достижений некоторых ближайших соседей. Посевные площади в Подмосковье сокращались гораздо медленнее, чем в окружающих областях, а производство мяса в отличие от соседей даже возрастало. В результате к 2010 году мяса в Московской области производилось больше, чем во Владимирской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях вместе взятых. Здесь вполне можно согласиться с

Нефедовой, которая именует сложившуюся ситуацию «подмосковным парадоксом»: в то время как многие районы Нечерноземья, оставаясь сельскими, становятся все менее сельскохозяйственными, Подмосковье, даже переставая быть сельским, все еще остается сельскохозяйственным. Вместе с тем, нам кажется, ни в коем случае нельзя недооценивать именно сельский потенциал Московского региона, чему свидетельство его обширная и все увеличивающаяся сельско-городская субурбия.

Впрочем, и сама Нефедова отмечает, что разделить сельскую и городскую местность в районах подмосковного дачно-коттеджного строительства чрезвычайно сложно: «Например, в северном Подмосковье на стыке Пушкинского и Щелковского районов между городами Королев, Пушкино, Ивантеевка и Щелково располагаются огромные сплошные массивы застройки с дачными участками — одно-двухэтажные, преимущественно деревянные псевдогорода, по площади куда большие, чем территории с собственно городской застройкой. Прежде это была сельская местность. Но все больше дачных поселений включают в территорию соседних городов, которые почти сомкнулись. Подобные массивы типичны и для восточного Подмосковья вдоль дорог. А в западном они мельче и разрозненнее, чаще примыкают к населенным пунктам или окружены лесами, что делает эти территории более привлекательными для горожан, а землю — более дорогой. В целом сельское население Московской области численностью 1,4 млн человек в летний период увеличивается как минимум на 3—4 млн человек».

Таким образом, «большая деревня Москва» действительно, пусть и пульсируя сезонно, трансформируется в своих региональных масштабах в «мегасело», хотя многим москвичам и московским властям так хочется видеть в Москве и ее окрестностях только сверхсовременный мегасити без всяких признаков деревенщины. Но даже в проектах и идеологиях самих московских властей постоянно проступают аграрно-деревенские черты. Доказательство тому хотя бы лидерство Москвы в аграрном развитии России.

Каков парадокс! Гигантский мегаполис благодаря симбиозу бюрократии и капитала выстроил на окружающих его подмосковных землях систему гигантских агрохолдингов, задающих тон в аграрном развитии не только Подмосковья, но и всей страны. Московские агрохолдинги раскинули свои сети от Подмосковья до Приморья. Земли вокруг Москвы не самые плодородные, а от интенсивного производства птицы, свинины и мясомолочных продуктов страдает экология густонаселенного подмосковного региона, но зато в Москве и ее окрестностях много капитала, много рабочих рук и относительно развитая инфраструктура, и этого всего достаточно, чтобы раскрутить маховик сверхкрупного аграрного производства.

Несмотря на определенное доминирование агрохолдингов в аграрной политике и экономике Москвы, число разнообразных участников земельного передела Подмосковья чрезвычайно велико, и все вместе они образуют весьма сложную композицию. Это администрации разных уровней (районные, городские, сельские); организации, занимающиеся жилищным, дачным строительством, инфраструктурным обустройством территории; предприятия торговли, логистики, транспорт; спекулятивные земельные посредники; дачники; собственно сельские жители; крупные и средние агропредприятия, не входящие в холдинги; наконец, фермеры. Как отмечает Нефедова, конкуренция за земельные ресурсы Подмосковья все возрастает, и в ней «выигрывают отнюдь не местное население и сельскохозяйственные производители». Между прочим, Москва даже поставила себя в центр торговли и координации бывших сельских народных промыслов, которые с исчезновением деревни становятся все более городскими занятиями. Мастера и торговцы, связанные с промыслами России, все более концентрируются на бесконечных ярмарках и фестивалях народных ремесел Москвы.

И конечно, власти московского региона весьма ловко используют деревенскую

символику для дальнейшего прославления московского величия. Так несколько лет назад в Москве воссоздали большой летний дворец русского царя. Построенный в XVII веке, этот дворец был крупнейшим деревянным зданием в России, возможно, и мире — царской деревенской мегадачей. Простояв более ста лет, дворец был разобран за ветхостью. Теперь заново собранный, он вновь символизирует царские мегадеревенские традиции Москвы. В Подмоскowie, в Калужской области одним московским бизнесменом реализуется новый гигантский сельский проект — деревня всех стран и народов «Этномир»: в центре этого экзотического сельского поселения высится пятиэтажная русская печка — символ центра деревенских покоя, сытости и уюта. На престижном Рублевском шоссе построен дорожный и престижнейший выставочный и торговый центр, носящий имя «Барвиха Luxury Village», — этот комплекс, где выступают звезды эстрады, продаются престижные автомарки, а цена на продукты питания в пять и десять раз выше, чем в обычных московских продуктовых магазинах, тем не менее, зовется именно деревней — роскошной деревней.

Москва стала, впрочем, не только лидером нового масс-индустриального агропроизводства агрохолдингов, но также и инноватором интернет-торговли фермерскими экологически чистыми продуктами. Здесь достаточно упомянуть так называемый кооператив «ЛавкаЛавка», по пути которого пошли уже десятки интернет-агро-торговых фирм.

Впрочем, на наш взгляд, гораздо более существенный вклад в сохранение и развитие деревенских традиций вносит не бизнес-бюрократическая Москва с ее элитарными мегапроектами, но культурно-интеллектуальная Москва, чьи проекты скромнее, но количество их действительно велико. Московский регион переполнен этнографическими клубами, ансамблями, школами народных искусств, стремящимися сохранять и развивать историческое сельское наследие. Московские академические и университетские команды прилежно исследуют историю и современность сельской России.

Что касается жителей Москвы, то весьма любопытными оказались итоги проведенного Фондом «Общественное мнение» опроса об отношении граждан России к крестьянству. Москвичам, затем жителям крупных и малых городов, а также сельским жителям России задавали два вопроса: 1) «Обладают ли крестьяне некоторыми качествами, отличающими их от остальных граждан России?»; 2) «Если обладают, то что это за качества?». Оказалось, что именно москвичи чаще, чем остальные горожане и селяне России, считают, что «крестьяне — это какие-то особенные существа» (так ответило 79 процентов опрошенных москвичей). Особенности крестьян, по мнению москвичей, заключаются в целом букете положительных качеств: это трудолюбивые, скромные, честные, душевные люди, да к тому же еще и непременно бедные.

А главная деревенская черта самих москвичей, подчеркнем еще раз, — это, конечно, их неутомимое стремление к дачной жизни в сельской местности на лоне природы. В кризисные 1990-е годы московские семьи всерьез занимались продовольственным самообеспечением, выращивая на своих дачных участках картошку, овощи, фрукты, ягоды. Сейчас дачное натуральное хозяйство для москвичей не столь актуально, но ценность сельского образа жизни через дачное загородное существование остается одним из важнейших приоритетов московских семей. Существует значительная социально-экономическая и социокультурная градация дач: часто москвичи умудряются покупать и содержать две дачи — так называемую ближнюю дачу, на которую они выезжают по выходным, и дачу дальнюю — дом в деревне, в которой они живут во время летних отпусков и каникул. Если от Москвы ближняя дача может находиться в радиусе от двадцати до двухсот километров, то дальние дачи могут располагаться на расстоянии от двухсот до тысячи километров. Например, дачники Москвы и Санкт-Петербурга фактически образовали сплошной дачный пояс между двумя столицами. Для русской деревни во многих случаях московский дачный энтузиазм,

безусловно, имеет положительное значение. Многие сельские депрессивные регионы благодаря дачам горожан (конечно, не только москвичей) преображаются, пусть хотя бы на лето.

Если только в одном Подмоскovie число сельских поселений составляет 6,1 тысячи единиц, то общее число только садово-огородных поселков превышает их почти в два раза (11,7 тысячи). Эти бесстатусные поселения образуют на территории области целые сезонные псевдогородки, что коренным образом трансформирует «официальную» сеть расселения. Пик их создания пришелся на 1980-е и первую половину 1990-х годов.

Именно появление коттеджных поселков является наиболее зримым признаком перемен, происходящих в сети сезонного расселения; и хотя их число пока невелико, оно быстро увеличивается. Первые коттеджи «новых русских» появились в начале 1990-х годов, активно коттеджное строительство стало развиваться с середины 1990-х годов. В 2001 году в Московской области было лишь 30 таких поселков, в 2004 — уже более 300, в 2008 — 700, в 2013 — около 1100 поселков, включая строящиеся. Несмотря на появление и активное развитие коттеджных поселков, все же наиболее массовыми и типичными в подмосковном сезонном расселении остаются обычные дачные и садово-огородные объединения. Многообразное сезонное дачное население обслуживается бурно растущей придорожной подмосковной торговлей продуктами и стройматериалами. В целом местные сельские жители, а также гастарбайтеры активно обслуживают дачников, работая строителями, сторожами, садовниками, продавая дачникам овощи, молоко, мясо.

До сих пор мы излагали преимущественно позитивную картину региона Москвы как «продуктивно-креативной деревни», но мы должны помнить, что из Москвы и раньше, и теперь исходят и исходят мощные импульсы дезорганизации и подавления сельско-городского развития по всей стране. От коллективизации 1930-х до приватизации 1990-х годов Москва, стремясь тотально контролировать и перераспределять ресурсы России, жестоко и бесцеремонно обращалась прежде всего с провинциальной Россией. Посмотрите, что творится сейчас в самом Подмоскovie, где бывшие сельские земли (часто эти земли имеют общенациональную историко-культурную ценность) приватизируются через самые разнообразные рейдерские схемы. Поле рядом с дачей Пастернака в Переделкино, Бородинское поле, деревня, где родился Сергей Радонежский, усадебный комплекс Архангельское — мы упоминаем лишь те несколько мест, где разыгрывались самые впечатляющие из скандальных историй, связанных с натиском амбициозно-безликого московского коттеджного строительства на уникальные сельские ландшафты подмосковной России. Так же бесцеремонно московские агрохолдинги и другие московские компании захватывают сельские территории по всей России во имя своих бизнес-интересов.

И конечно, востребованность именно подмосковной земли ведет к сжатию и загрязнению подмосковных природных ландшафтов, что сопровождается отсутствием эффективной системы вывоза мусора из дачных и садовых поселков. В самой московской области размещено более полусотни гигантских свалок мусора, на которых сосредотачивается две трети мусора, вывозимого непосредственно из самой столицы. Строительство коттеджных поселков часто сопровождается вырубкой подмосковных лесов (хотя до сих пор лесистость в Московской области составляет около 40 процентов территории, то есть чуть выше показателей в регионах, окружающих Москву). При этом происходит повальное огораживание земель вокруг новых поселков, часто нарушающее доступ населения к окрестным водоемам.

С одной стороны, дачи в Московской области удобны, поскольку расположены недалеко от Москвы, с другой стороны — они становятся все менее комфортными из-за нередкого соседства с крупными животноводческими комплексами, из-за уплотненности застройки, загазованности и шума автодорог, из-за все учащающихся

и увеличивающихся пробок на дорогах. К тому же теснота землепользования сопровождается социальным перемешиванием старых дачных и садовых поселений с новыми дачными постройками. Как отмечает Нефедова: «Смена поколений и занятий, продажи-покупки старых пригородных дачных владений усиливает социальные контрасты и соседские конфликты. При небольших участках в ряде мест это вызывает эффект перенаселенности, когда человек в городской квартире чувствует себя более изолированным от окружающей обстановки, чем на даче в Подмосковье».

Драма Москвы как региона заключается в том, что она, согласно поговорке, — *большая деревня* (сейчас уже фактически мегасело, по-своему аграрно-урбанистически перенаселенное). А именно *большая деревня* в русской социальной истории часто связана с целым комплексом весьма противоречивых характеристик. Большая деревня, как правило, богатая, предприимчивая, торговая, но одновременно сварливая и агрессивная, доминирующая над своими соседями — средними и малыми деревнями, эксплуатирующая их. В свое время, в годы коллективизации, Москва ополчилась на кулаков, выкорчевав без разбора вместе с крестьянами-ростовщиками огромные слои обычных прилежно работающих крестьян. И вот с тех пор, «ликвидировав кулачество как класс», Москва — большая деревня — сама неуклонно превращается в деревню-кулак в самом мрачном значении этого слова, в село-мегамироеда, паразитирующего на пространствах России разнообразными административно-спекулятивными способами.

Впрочем, вопрос особенностей и масштабов московского «паразитизма» весьма дискуссионен. Географ-регионалист О.Вендина вносит уточнение, начиная, правда, свою статью «Проклятие столичной ренты» с подтверждения расхожего мнения о том, что «Москва жирует, страна голодает»: «Процветание Москвы связано с искусственным стягиванием к столице финансовых и человеческих ресурсов — главная мысль выступлений многих экспертов, критикующих сложившуюся ситуацию. Но так ли это на самом деле? Статистика дает обильный материал, подтверждающий тезис об искусственности благополучия Москвы. На Москву приходится порядка 80 процентов финансовых потоков России. Здесь «прописано» более половины банков страны и почти 90 процентов штаб-квартир работающих в России зарубежных банков и международных финансовых организаций, сосредоточено 85 процентов банковских активов и треть сбережений россиян... Душевые доходы москвичей превышают среднероссийский уровень в 2,5 раза. По показателям достатка столица выделяется даже на фоне городов-миллионников, опережая по размеру средней заработной платы Петербург в 1,5 раза и остальные миллионники — в 2 раза».

Однако далее автор делает весьма неоднозначный вывод о лидерстве Москвы и корнях ее паразитизма: «При всех диспропорциях Москва не является паразитом на теле страны. Ее роль в консолидации России и выстраивании контактов со всем миром неоспорима. Москва — единственный российский город, располагающий развитой инфраструктурой и достаточным количеством профессиональных кадров для выполнения столичных и международных функций. Помимо своей интегрирующей и координирующей роли она демонстрирует провинции образцы поведения и желаемого уровня жизни, устанавливает планку достижений. Снижение этой планки угрожает благополучию не столько столицы, сколько провинции, ослабляя мотивацию к инновациям и модернизации. Камнем преткновения конфликта «столица — провинция» является «столичная рента». Ее неумеренное потребление чревато негативными последствиями для самой Москвы, которая страдает от социальной и имущественной сегрегации, наплыва приезжих, разрушения привычной среды и резкого роста стоимости жизни».

Итак, роковое редуccionистское слово по поводу паразитического первенства Москвы произнесено — «столичная рента». Многие исследователи, Впрочем, подчеркивают, что статусом «столичной ренты» обладает ведь не только Москва, а

фактически любая мегастолица планеты. Причем некоторым из таких столиц — скажем, Лондону или Парижу — присуще даже более широкомасштабное экономическое доминирование среди остальных национальных регионов, чем это присуще российской столице.

Все крупнейшие столицы мира и пристоличные регионы стараются использовать свое административное и экономическое доминирование в интересах собственного развития. Проблема в том, какими именно административными и экономическими мерами достигается это региональное столичное лидерство. Сама же О.Вендина в другой своей публикации «Две Москвы: мировоззрение москвичей и дифференциация городского пространства» проясняет традиционную архаичность способов внутреннего и внешнего московского доминирования в российском пространстве: «Москва — очень большой и сложно устроенный город, авторитарные методы управления которым еще в советское время вошли в противоречие с растущим разнообразием городской жизни. Российская столица практически лишена выборных органов власти. Представительная власть слаба как на районном, так и на общегородском уровне. Никакой свободной городской прессы, открытой аналитической критике и обсуждению городских проблем, нет. Масштабы фальсификаций на выборах и нарушений в ходе проведения переписи сравнимы с наблюдаемыми в этнических республиках и являются одними из наиболее значительных среди регионов России... Мнение жителей Москвы слабо учитывается и при принятии градостроительных решений. Последний яркий пример — двукратное расширение территории города, неожиданное не только для москвичей и жителей Подмосковья, но и для экспертного сообщества».

В связи с этим О.Вендина ссылается на феномен сельско-городского постсоветского консерватизма по В.Цымбурскому, отмечавшему, что побежденное «городской революцией» сословно-аграрное общество берет реванш, актуализируя свои ценности в рамках городской массовой культуры. Этот феномен хорошо известен урбанистам, характеризующим российские города как «сельские» или «слободские». Перефразируя Цымбурского, Вендина утверждает, что «Москва берет свой реванш, актуализируя и поддерживая свою [авторитарную] систему ценностей в рамках изменившейся реальности». Другой не менее влиятельный эксперт, также весьма эмоционально анализирующий феномен нового и старого лидерства московского региона, географ Н.Е.Зубаревич в лекции «Московская система» постулирует: «Москва — не точка в пустом пространстве. Это часть Российской Федерации; развитие Москвы тесно связано с тем, как развивается страна. Часто говорят, что Москва — не Россия, но это не так. Москва — это очень Россия: рациональные, правильные изменения в Москве невозможны, пока не произойдут изменения в Российской Федерации».

А в Российской Федерации и в ее столице также, по мнению автора, доминирует статусная рента, или рента административного статуса, дающая сверхпреимущества, особенно сильные при централизованном политическом режиме, основанном на сверхцентрализации управления государством, сверхцентрализации управления бизнесом. Поэтому, полагает Н.Зубаревич, Москве предстоит трансформировать ее архаичную статусную ренту в современную статусную через процессы демократической децентрализации: «Первый пункт — это децентрализация. Москва — это Россия, и до тех пор, пока не будут произведены децентрализация управления и дерегулирование управления, передача не только полномочий, но и контроля на региональный уровень, ничего не изменится. Сейчас расстояние между детскими кроватками в детском садике и расстояние между горшками регулируется федеральными нормами, независимо от того, какая в городе очередь на детские садики, регулируется вид краски, которым красится детский туалет. Шаг влево, шаг вправо — это превышение полномочий... Значит, без деконцентрации и дерегулирования проблема московской ренты неразрешима. Задача не в том, чтобы расширить Москву прирезкой, а в том,

чтобы освободить Москву от избыточного количества чиновников, уменьшить его, и от избыточного регулирования всего федеральными органами власти. Понятно, что крупные компании все равно будут прописываться по Москве, так в России исторически сложилось — мы страна централизованная. Но примите, наконец, законы, которые обязывают платить прибыль по активам, размещенным в регионах, и тогда не будет этого перекоса. Но не принимают лоббисты: невыгодно».

Итак, мы приходим к выводу, что исходящая ныне от Москвы официальная политика укрепления вертикали власти достаточно консервативна и архаична, ее исторические корни заключаются в старинной практике централизованного управления метрополией своими аграрными провинциями. Мы знаем, чем заканчивался такой старинный агроменеджмент. Именно о нем писал в свое время древнеримский историк Плиний Старший: «*Latifundia per didere Italiam, jam vero et provincias*» — «Латифундии погубили Италию и, кажется, уже и провинции».

Впрочем, мы не можем останавливаться на осмыслении метафоры «Москва — деревня», лишь оглядываясь на консервативное российское прошлое. Москва, не справившись еще со своим историческим деревенским наследием, уже оказалась в центре новых сверхсовременных противоречий как один из крупнейших мегагородов современности, находящийся в условиях информационной глобальной деревни. В продуктивном реструктурировании пространства старых и новых сельско-городских взаимодействий Москва должна найти перспективы собственных, российских и международных путей развития. Стремительный транзит между руралистикой и урбанистикой нашего времени формирует новое пространство нашей жизни, возможное имя которому — «страна Трансурбания». Пока же характеристику московской трансурбании с ее отличиями от соответствующих западных аналогов и перспективами развития емко сформулировала Татьяна Нефедова: «В отличие от многих европейских стран и США, где пригородное сельское хозяйство с развитием территориального разделения труда и субурбанизации почти исчезло, в России его роль в снабжении продовольствием велика. Уникальное пригородное сельское хозяйство, на которое опирается снабжение не только столицы, но и других городов, в условиях России нужно бы охранять так же, как памятники культуры или заповедники. Однако следует отдавать себе отчет в том, что его существование вблизи крупнейших центров — это лишь вопрос времени».

Международные мегагорода и мегадеревни, такие как Москва, превращаются в гигантские лаборатории, внутри и снаружи которых осуществляются разнообразные эксперименты симбиотического сосуществования города и деревни. Чем внимательней мы будем всматриваться в Москву-мегасело (помня, конечно, и о других мегагородах-деревнях нашей планеты), тем отчетливей перед нами будут проступать очертания парадоксальных форм сельско-городского сосуществования XXI века.

София Бахурина

Нервных тут не понимают

«Куда-куда ты собралась?! В Колумбию?! С ума сошла?!» — вот первая реакция благоразумных соотечественников. Понять их можно — имидж Колумбии в мире, «благодаря» печально известному Пабло Эскобару, главе Медельинского наркокартеля, подарившему миру кокаин в промышленных масштабах, оставляет желать лучшего. Стереотип этот, как и любой другой, верен и неверен одновременно. Одно можно сказать точно — уезжающего путешествовать по Колумбии, а тем более на пмж, уж никак нельзя обвинить в охочести до «сладкой жизни». Сюда стекаются люди по-своему отчаянные, авантюрного склада, не ведающие обывательского страха, отважные романтики без предрассудков, те, для кого приключения и острые ощущения важнее физического комфорта и уюта.

Всем известно, что «в Греции все есть»; на самом деле это относится к Колумбии. Здесь действительно есть все — райское побережье Карибского моря с одной стороны и Тихоокеанское — с другой, заснеженные горные пики, жаркая влажная амазонская сельва, пульсирующие бешеной жизнью мегаполисы (среди которых мировая столица сальсы — Кали и жемчужина Карибского побережья — Картахена), бескрайние степи, древнейшие на планете столовые горы, долина самых высоких в мире пальм (Кокора), самая красивая в мире речка (разноцветная Каньо Кристалес) — и это далеко не полный список красот и богатств Колумбии. Трудно представить себе больший рай для путешественника. Однако добавьте слабо развитое дорожное сообщение (в некоторые районы страны можно попасть только на самолете), весьма острую криминогенную ситуацию, особенно в отношении чужаков, вполне реальный риск натолкнуться на опасные отряды партизан¹ при попытке углубиться в природу — и все это, помноженное на некоторые специфические черты колумбийского национального характера, делает бывшую Новую Гранаду местом, далеким от понятия «отдых», а «семейный отдых» и подавно.

София Бахурина родилась в Пушкине в 1979 году. В 2003 окончила филфак СПбГУ по кафедре английской филологии. Переводчик, редактор, блогер. С 2012 года живет в Колумбии.

¹ В Колумбии уже много лет идет вялотекущая война между правительственной армией, левыми радикалами (Фарк) и ультраправыми (Парамилитарес). Партизанские отряды, помимо мечтаний о всеобщем равенстве и братстве в стране, известны тем, что контролируют оборот наркотиков, а также «подрабатывают» рэкетом и киднэппингом (*прим. автора*).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ВЕЧНОЕ «МАНЬЯНА»

Маньяна (завтра) — любимое слово не только Колумбии, но универсальная примета всей Латинской Америки. Это даже не слово, а жизненная философия, состояние души. Зачем напрягаться и делать сегодня то, что можно с чистой совестью отложить на завтра? А лучше навсегда. Впрочем, слово «совесть» колумбийцы понимают не совсем так, как принято у нас. Вернее сказать, это слово в здешнем лексиконе вообще отсутствует. И не только в нем. Тут квартиросъемщик запросто может съехать, не расплатившись с хозяином за жилье — ну, не вышло, бывает! Поэтому снять квартиру зачастую задача почти невыполнимая, требуются поручители с собственностью, найти которых опять же большая проблема — ручаться друг за друга желающих не много, ибо как можно поручиться за ветер в поле? Случается, что и члены семьи друг другу отказывают в поручительстве, предпочитая не вступать с сомнительными родичами в денежные дела.

Так что если отмечать основную колумбийскую черту характера, то главная трудность здесь заключается в подборе литературного слова. В самом деле, неловко пускать в ход такой сленговый термин, как «пофигизм», однако именно он как нельзя точно передает многие нюансы отношения колумбийца к феномену бытия. Причем, пофигизм исключительно веселый, начисто лишенный каких бы то ни было экзистенциальных раздумий и метаний.

В чем же проявляется колумбийский пофигизм? Да во всем. Если у вас назначена встреча с колумбийцем на два часа дня, можете смело приезжать в половине третьего — как минимум он опоздает на столько же или как максимум не придет вообще. Разумеется, не позвонив. Если вы работаете с колумбийцами, тщательно проверяйте результат работы, ни в коем случае не пускайте дело на самотек. Не доверяй, а проверяй — отныне ваш новый девиз. Моя знакомая занималась международной торговлей цветами. Однажды она не проверила очередную партию. В результате к празднику 23-го февраля вместо красных гвоздик российским военным по ошибке прислали несколько ящиков голубых роз с блестками, предназначавшихся для некоего гей-торжества. Клиент устроил скандал, поставщик только пожал плечами: да, ужас, но ведь не ужас-ужас!

И это не единичный случай. Если же вы пригласили колумбийца в гости на событие, которое по каким-то причинам утратило для него актуальность или нашлось занятие поинтереснее, гость просто не явится, скорее всего, опять же не удосужившись позвонить. Причем, во всех трех случаях «накосячившие» виновники вашей испорченной крови будут совершенно искренне недоумевать, чего это вы так беснуетесь? Они же покаянно развели руками и даже сказали «ке пена» (как жаль, амиго!) в ответ на ваш упрек. На этом конфликт, по их мнению, должен быть полностью исчерпан. И если вы думаете, что тот же персонаж не совершит подобного впредь, вы заблуждаетесь. Перевоспитать колумбийцев трудно, почти невозможно. Да и не нужно, ведь они самые классные ребята на свете. Во всяком случае, они в этом совершенно уверены.

Такое условие, на первый взгляд совершенно невыносимое, может иметь и свои плюсы. Если вы остро реагируете на агрессию, общую нервозность и мрачность атмосферы, здесь вы будете неизменно отдыхать духом. Колумбийцы совершенно спокойны всегда и в любых обстоятельствах. Вы можете сколь угодно долго копать у кассы в кошельке или вальяжно-придирчиво выбирать себе булочку, очередь позади вас будет терпеливо ждать и еще участливо помогать советами. Никаких шиканий, вздохов, закатывания глаз или, упаси боже, замечаний, так хорошо знакомых каждому нашему соотечественнику. Колумбийцев невозможно вывести из себя ни на улице, ни в транспорте, ни в других общественных местах, они начисто лишены нервозности и агрессии. Они никогда не станут публично осуждать ваши действия, делать замечания или прилюдно учить вас жизни. В транспорте на вас никогда не накричат за то, что вы «не так стоите», и не станут истошно требовать, чтобы вы уступили место. Максимум — вежливо попросят сделать «фавор» (оказать любезность).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Раз уж мы заговорили о транспорте, стоит сказать о нем несколько слов отдельно. С транспортом в столице — городе Боготе — большая проблема. Его катастрофически не хватает. Трансмиленио (что-то среднее между нашими метро и автобусом) — рейсовый автобус, едущий по выделенной полосе, Ситп (рейсовый автобус без полосы, пробивающийся через городские пробки), многочисленные «бусеты» (нечто вроде нашей маршрутки, только классом ниже — грязноватое ведро с низким потолком, передвигающееся рывками и зигзагами) и удобное, весьма доступное по цене такси — вот и весь столичный транспорт. Несравненно лучше обстоит дело в Медельине, где есть наземное метро, удобное и просторное, построенное, как говорят, не без помощи старины Пабло. В двух местах медельинское метро переходит в фуникулер, летящий над фавеллами, — незабываемый аттракцион. Комичная ситуация в Картахене, жемчужине Карибского побережья, туристической аттракции номер один: деньги на постройку единой транспортной системы выделили, терминалы для трансмиленио возвели давным-давно, после чего деньги резко «кончились». Так и стоят эти терминалы посреди оживленных улиц, поблескивая пустыми застекленными внутренностями на разомлевших от жаркого солнца туристов.

Русскому человеку — нервному, требовательному, критичному — для поездок в боготинском транспорте придется «отрастить дзен», иначе это испытание окажется для него чрезмерным. Дело в том, что абсолютно спокойные колумбийцы в битком набитом трансмиленио больше всего напоминают стадо овец. Здесь совершенно не принято проходить вглубь, чтобы дать войти другим, все толпятся в дверях, даже те, кто не собирается выходить на ближайших остановках. Не принято и облегчать выход — на остановках двери снаружи блокированы толпой ожидающих другого автобуса, которые и не думают посторониться. Есть множество и других мелких неудобств, омрачающих жизнь нервного человека, регулярно пользующегося столичным транспортом, и вынуждающих его активно применять локти. Впрочем, со мной еще ни разу не случилось такого, чтобы пихнули в ответ или даже косо посмотрели. Сама толкаюсь постоянно, есть грешок. Не выдерживаю.

Хорошо развиты в Колумбии междугородные авиа- и автобусное сообщение. В «низкий» сезон билеты на море доступны всем, на самолете лететь всего час. Примерно столько же времени займет путь в любую точку страны из столицы. Тем, кто не прочь провести время поездки в неторопливой медитации, можно сесть на автобус. Междугородные рейсовые автобусы чистые, комфортабельные. Стоит учесть, однако, что расписание движения носит условный характер, — автобус может и выехать с опозданием, и приехать на несколько часов позже, застряв в пробке. Водитель, даром что в красивой форменной фуражке и отутюженной рубашке, вполне способен неожиданно остановить автобус в каком-нибудь селе и зайти к родственникам посидеть, выпить кофейку. Такое неслыханное для нас поведение на работе воспринимается совершенно спокойно, в прибрежных карибских районах так и вовсе как само собой разумеющееся. Весь автобус терпеливо ждет. Таких остановок может быть сколько угодно. Если начнете проявлять признаки беспокойства и возмущаться — не поддержат. Нервных тут не понимают. Сиди, отдыхай, плохо, что ли?

СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

Колумбийцы представляют собой смесь трех народностей: индейцы, жившие на территории Латинской Америки до прихода завоевателей, испанцы-конкистадоры и негры, которых последние привезли с собой в качестве рабов. Эти три основные «струи» причудливо сочетаются между собой в разных пропорциях на всей территории Колумбии.

Некоторое подобострастное отношение к «белым господам» и культ белой кожи довольно быстро начинает ощущаться в Колумбии при более близком с ней знакомстве. На рекламных проспектах, в коммерческих роликах часто можно увидеть умопомрачительных скандинавских блондинов, которых в Колумбии, в отличие от Бразилии, например, нет по определению. Блондины эти позиционируются как «клиенты-модели», что негласно повышает статус торговой сети.

Это работает и в обратную сторону. Как ни печально, некая не озвучиваемая вслух толика «расизма» (слово в данном контексте, конечно, несколько чрезмерное) в колумбийском обществе имеет место. Чем темнее цвет кожи, тем, как правило, ниже статус человека, и переломить этот снобизм очень трудно.

Стоит отметить, что, хоть колумбийцы и относятся к «белым» европейцам с оттенком подобострастия, это не мешает им сдирать с нас три шкуры при каждом удобном случае. Если белый, значит — богат. Иначе и быть не может. А раз богат — плати втридорога. Такая тут общепринятая «философия».

Кстати, последнее утверждение — не только фигура речи. В Колумбии существует стратификация жилых районов. Это деление на так называемые «эстратос», от нулевого до шестого. Нулевой и первый эстратос — это социальные низы, населяющие трущобы, они же фавеллы. В районы фавелл посторонним соваться не рекомендуется даже при свете дня, а уж ночью — и говорить нечего. Обычно это называется «нарываться на проблемы». Жители фавелл не платят за коммунальные услуги, их стоимость включена в счета пятого и шестого эстратос. Второй эстрато тоже беден, но уже не самое дно. Третий — на рубеже между нищетой и цивилизацией. Прилично, но с издержками в виде шумных соседей и не очень чистой лестницы. Четвертый — так называемый «средний класс». Кстати, наши соотечественники, переехавшие в Колумбию, обычно принадлежат к четвертому, иногда к третьему эстрато. Четвертый обычно означает, что вы живете в охраняемом жилом комплексе с благоустроенной территорией, имеете квартиру с двумя санузлами и домработницу. При этом жильцы разных эстратос могут иметь абсолютно одинаковый расход ресурсов — воды, газа, электричества, — но счета их будут отличаться друг от друга в разы. А за первый и нулевой эстратос и вовсе платят «богатенькие», как я уже отметила! Чем не официальная философия? Повезло тебе в жизни — делись!

Несколько слов о тех самых таинственных обитателях верхних эстратос, «сливках общества». Как правило, это потомственные богачи — подняться со, скажем, третьего эстрато до шестого в пределах одного-двух поколений считается практически невозможным, про низшие мы и не говорим. Это люди, живущие в своем изолированном мире, — в буквальном смысле: их жилые районы никак не пересекаются с «нижними». Дети их учатся в дорогих школах, ездят развлекаться за границу, ведут образ жизни золотой молодежи, отделенные невидимой, но гигантской пропастью от остального населения страны. Им, в отличие от более низких эстратос, доступно приличное образование и открыты все дороги. Их будущее предопределено и обеспечено действительно очень и очень богатыми родителями.

Образование — больное место Колумбии. Оно, во-первых, просто неприлично дорого, во-вторых — качество, как правило, оставляет желать лучшего. Учебных заведений в стране много, однако выпускники большей части из них демонстрируют зачаточный уровень владения профессией. Профессионалов, мастеров своего дела, нужно искать днем с огнем.

Образование, после которого можно рассчитывать на какую-никакую карьеру, своим детям могут дать только весьма обеспеченные родители.

У тех же, кому в жизни не повезло, практически нет выбора, кем быть. Говорят, конкурс на одно бюджетное место в Универсидад Насьональ (Национальный университет) составляет около тысячи человек на место.

Правда, стоит отметить, что низшие эстратос, похоже, совершенно не переживают

из-за отсутствия у них возможности получить образование. Они поют, танцуют и радуются жизни, утешаясь словами Екклесиаста «во многом знании — многая печали». Не случайно по индексу счастья среди населения Колумбия занимает одно из первых мест в мире.

ДОСУГ — ТАНЦЫ, ВЫПИВКА, ФУТБОЛ

Прежде чем остановиться подробно на колумбийских развлечениях, необходимо развенчать один миф. Правильно, о кокаине. Колумбия вовсе не страна кокаиновых наркоманов. Данным продуктом здесь гораздо больше интересуются падкие на стереотипы туристы. Среди местного же населения человек, ни разу в жизни не попробовавший кокаин, — явление более чем обычное. Гораздо больше здесь любят выпить. В ходу пиво, агуардиенте (род анисового ликера, пьется из крохотных пластиковых стаканчиков) и местный ром; кто побогаче, не прочь побаловаться и виски с текилой. Выпивают исключительно в выходные, причем никогда — накануне работы. С этим, как правило, строго; на предприятиях стоит специальный прибор с трубочкой, в которую надо дышать. Если прибор вдруг разоблачит возлияние, имевшее место накануне — о состоянии активного опьянения мы даже не говорим, — работник отправляется домой с выговором, что чревато потерей работы. А за рабочее место тут принято держаться. Кстати, сами колумбийцы уверены, что в их стране остро стоит проблема алкоголизма, с которой срочно «надо что-то делать». Стоит ли говорить, что нам, русским, это слышать одновременно смешно и грустно.

Интересно отметить поразительную общность колумбийцев, они как будто связаны между собой невидимой нитью. Часто на ум приходит гигантский рыбный косяк, который по некоему внутреннему наитию единодушно поворачивает в определенном направлении. Тут принято жить, развлекаться, любить и не понимать всей нацией. Колумбийцы большей частью совершенно лишены индивидуализма. Здесь подчеркивают не свою непохожесть на других, а наоборот, свою принадлежность к «общему».

Это отсутствие индивидуализма принимает порой формы, довольно причудливые для русского человека. Например, совершенно невозможно купить выпивку после девяти вечера в воскресенье. Не принято в этот день выпивать — и баста! Или, скажем, весь следующий день после католического Рождества или Нового года. Какая выпивка в такой день, вы что? То же самое с диско-клубами в дни от воскресенья до вторника, даже в туристических районах. Ну, не принято танцевать в эти дни! Так никто же и не хочет! Даже если ты турист и на работу тебе не надо, найди другое развлечение, потише. Выбора-то особо нет.

То же отсутствие индивидуализма проявляется и в музыке. Популярные жанры — сальса, бачата, меренге, байенато (вайенато), кумбия — музыка, любимая всеми, сплошь танцевальная. Это музыка, которую колумбийцы слушают нон-стоп всегда и везде, не выказывая ни малейших признаков утомления и желания внести хоть какое-то разнообразие. Душа Колумбии — сальса и байенато.

О сальсе и бачате все знают, они популярны нынче и в России, хотя колумбийская сальса несколько отличается от преподаваемой в России «кубинки» в сторону большей простоты. Меренге — это парный танец с веселым маршевым ритмом, слова песен повествуют исключительно о тяготах любви в радостном мажорном тоне, с притопами и прихлопами. Кумбия — фольклорный стиль с использованием народных инструментов, исполняется на знаменитом ежегодном карнавале в Баранкилье. Байенато — особ статья. Исполнители этого жанра — сплошь упитанные мужчины не первой молодости, в национальных шляпах и с аккордеонами наперевес. Исполняется байенато звонким бодрым тенором с руладами. Среди приличных людей байенато

принято любить, так как это «хорошая музыка и поэзия». Впрочем, критерием высокой поэзии в данном случае является отсутствие «вульгарных» слов и прямого упоминания об интиме, чем грешат «низкие» жанры. Более изысканными художественными качествами байенато похвастаться, в общем, не может.

«Для души» существуют протяжные песни «ранчеро» и «йанеро», нечто вроде наших «медляков», но не для танцев. На диско-вечеринках они ставятся в перерывах между оными, чтоб люди сели и заказали выпить. Все песни строго о любви, исключений нет. Ни одному колумбийцу не придет в голову, что можно сочинить песню о чем-то другом. О чем же еще петь-то?

Музыку тоже принято любить всей нацией. Часто можно встретить ярко одетого и модно причесанного юнца, горланящего вслух совершенно «старперское» байенато. Это как представить, что у нас поколение юных рэперов заслушивалось бы Кобзоном и Львом Лещенко. Здесь — запросто. Одни и те же песни знают и поют все, от 9 до 90 лет. Однажды со мной рядом в автобусе сидели молодой парень и пожилой дед — соответственно, по левую и по правую руку — и одинаково самозабвенно исполняли песню байенато.

Особняком в музыке стоят такие жанры, как реггетон и чампета — парные ритмичные танцы, когда партнеры прижимаются друг к другу и двигаются, имитируя половой акт. Иностранцам видеть это с непривычки довольно дико; один мой русский приятель заметил, что «после такого танца мужчина как честный человек обязан жениться». Со временем привыкаешь, и реггетон начинает казаться по-своему красивым, особенно в исполнении чернокожих пластичных костеньос. Тексты песен — подчеркнуто, гипертрофированно циничны и прямолинейны, хотя не лишены юмора и самоиронии; говорится в них исключительно о разных аспектах сексуальных утех, описываются курьезные случаи из интимной сферы. Отношение к этим жанрам в колумбийском обществе двоякое: официально их принято презирать и ни в коем случае не признаваться, что такому приличному сеньору (сеньоре) нравится такая вульгарная музыка. Однако мало кто удержится от соблазна сплясать реггетончик, особенно подшофе. Да и громко спеть сомнительный текст, оказывается, — очень даже запросто. На любой вечеринке с возлияниями обязательно наступает неловкий момент, когда выясняется, что все присутствующие знают наизусть очередной сомнительный хит. И не прочь пропеть его вслух.

Впрочем, существует и так называемый «реггетон романтико» — «романтический реггетон», но, с моей субъективной точки зрения, это такой же оксюморон, как «христианский рок».

В качестве развлечения среди молодежи принято ходить на «диско с кроссовером» — когда все упомянутые стили играют по очереди. Колумбийцы танцуют все или почти все. Как мне сказал один знакомый, «мы танцуем с двенадцати лет; если не танцуешь — не сможешь подцепить девушку». Рядовому русскому человеку, как правило, не наделенному большой природной грацией, колумбийцы кажутся великолепными, фантастическими танцорами. Потом, с приходом опыта, видишь, что это не совсем так. Однако сам факт, что все танцы непременно парные, подкупает и трогает — есть в этом для нас какая-то ностальгия.

Диско открыты с четверга по субботу, с восьми вечера до трех ночи. Веселиться позже указанного времени, в отличие от Аргентины, где три утра — самый разгар веселья, в Колумбии не принято.

Семейным же людям, особенно на побережье, положено развлекаться так: на улицу (на крыльцо, в патио, во двор — в зависимости от материального положения) выставляется гигантская стереосистема, и на полную мощность врубается тот же самый «кроссовер». Задача — заглушить соседа. Члены семьи и соседи степенно сидят тут же рядом на стульях или лежат в гамаках, вокруг бегают и играют дети. Фризовольных

слов реггетона, который неизбежно включается следом за сальсами и байенато, будто бы никто не замечает. Во всяком случае, реагируют философски.

Кстати о стереосистеме. Она здесь так же обязательна, как гигантский телевизор. Какой бы бедной ни была семья, у нее непременно имеется и то, и другое, причем, телевизор не в одном экземпляре и обязательно с «тарелкой», ловящей кучу каналов. Стоит ли упоминать, что книг в доме чаще всего нет совсем, а если случится парочка залетных, никто не знает, что это и откуда взялось. Высшим шиком считается стереосистема на автомобиле — при наличии одного. Автомобиль принято мыть по воскресеньям, открыв все двери и включив стереосистему. Решающий критерий — оглушительность. При этом никого не интересует качество музыки; повторюсь, колумбийцам совершенно чуждо желание выделиться. Если приехать в поселок на сто домов, будьте уверены — вечером вас ждет 100 мощных стереосистем, установленных на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, и звучать из них будет совершенно одинаковая музыка.

И да, колумбийцы не мыслят своей жизни без телевизора. Смотрят всё подряд, в том числе сериалы — те самые, что были популярны у нас в девяностые. Даже актеры зачастую те же — недавно краем глаза видела ролик сериала... «Просто Мария» все с той же Викторией Руффо. Сами колумбийцы снимают сериалы пачками, процесс поставлен на поток, причем смотрят их как женщины, так и мужчины.

И все же самой большой страстью колумбийцев стоит, пожалуй, признать футбол. Его обожают так же, как сальсу, или даже больше. Болельщики они страстные, самозабвенные. В день игры с утра на улице все желто от футболок цвета колумбийской сборной, в которые облачаются все, от мала до велика. В день игры этому событию подчинено все, даже служащих могут отпустить с работы пораньше. Независимо от того, выиграла команда или проиграла, после каждого более-менее важного матча на улице начинается нечто вроде стихийного бедствия: людские вопли, вой клаксонов и сирен, оглушительное дудение вувузел, толпы народа в желтом всех возрастов и конфигураций — каша и какофония, живая иллюстрация любви народа к футболу. Победу и поражение, как уже было сказано, отмечают почти одинаково страстно.

КУХНЯ

Известно, что в прошлом, в течение долгого времени, вплоть до новейших времен, в Колумбии не существовало хороших дорог, что делало затруднительным сообщение между городами страны. Это и стало главной причиной относительного культурного разнообразия и отличия регионов друг от друга, сказавшегося в том числе и на колумбийской кухне. Каждый департамент Колумбии имеет свои национальные блюда, предмет особой гордости. Так, типичным блюдом костеньос (жителей карибского побережья) считается патакон — жареная рыба и кокосовый рис с расплюснутым обжаренным бананом, в то время как на другом конце страны, на границе с Эквадором, вам предложат пастский картофель и «куй» — запеченную целиком морскую свинку, считающуюся здесь деликатесом.

Несмотря на изобилие и разнообразие есть ряд черт, объединяющих колумбийскую кухню. Прежде всего это любовь к углеводам. Опишу стандартный колумбийский обед — нечто усредненное, что можно встретить по всей территории страны.

На первое подается суп. Это густое варево, в котором есть абсолютно все: разварившаяся картошка, юкка (местный крахмалистый корнеплод), вареные бананы, кусок мяса или рыбы (иногда и то, и другое) и прочие радости. Замечу, что, несмотря на непривычные для чужаков продукты и их сочетание, колумбийские супы весьма вкусны. На второе вам принесут гигантскую тарелку с куском мяса (курицы, рыбы), а также рисом, картошкой, макаронами, парой ломтей юкки и патаконом. Я не

ошиблась, именно так — всё вместе, на одной тарелке. Венчать все это великолепие будет горстка салата из свежих овощей либо кусок авокадо. К обеду также подается стакан домашнего лимонада или сока, который позиционируется как свежевыжатый. На деле же он настолько разбавлен водой и льдом и сдобрен сахаром, что определить, сколько там свежего фрукта, будет делом нелегким.

Стоит вообще отметить, что колумбийцы — страшные сладкоежки. Кафешек, где вам за копейки соорудят гигантскую башню из мороженого, свежих фруктов, взбитых сливок, каких-то вафель, других лакомств и почему-то тертого сыра, обильно залив все сгущенкой, здесь видимо-невидимо, и все они очень популярны. По моим наблюдениям, молодежь даже предпочитает такие заведения пивным. Недавно видела молодого парня рэперской внешности, сидящего в таком кафе со скучающим видом. Хотелось понаблюдать, что ему принесут. Каково же было мое удивление, когда вместо предполагаемой бутылки пиваса хлопец получил огромную разнородную башню мороженого, за которую тут же с аппетитом принялся.

Колумбия известна обилием свежих тропических фруктов. Их здесь так много, что сами местные зачастую не знают всех названий. Очень популярны свежевыжатые соки с водой или молоком. Казалось бы, рай. Но здесь — внимание! Большинство фруктов, традиционно идущих на соки (маракуйя, луло, ежевика), сами по себе очень кислы на вкус, поэтому при их приготовлении добавляется просто рекордное количество сахара. Неслучайно Колумбия занимает одно из печальных первых мест в мире — по заболеваемости сахарным диабетом. Вот чем оборачивается бешеная любовь к сладкому.

КРАСОТА, МОДА

И о прекрасном. Прочла в одной статье в интернете (цитирую по памяти) шуточный совет: если ты парень и хочешь «слиться с ландшафтом» в Америке Латине, надень футболку с яркими блестящими буквами, максимально броские джинсы, волосы не скупясь «напомадь» гелем, и если ты стал похож на петуха, значит есть шанс, что примут за своего. Девушкам совет аналогичный — одеться максимально ярко, не скрывая никаких своих женских достоинств. И побольше блеска!

Конечно, подобные «советы» сильно утрированы. В столице Колумбии Боготе на улицах можно встретить немало элегантно и неброско, «по-европейски» одетых людей. Однако в остальных районах страны, да и в той же Боготе, при менее формальных обстоятельствах — скажем, бар или ночной клуб — девушки в неброской одежде моментально опознаются как иностранки.

Идеал женской красоты в Колумбии — девушка «в теле» (тощих «вешалок»-моделей здесь не ценят), с пышной грудью и оттопыренной круглой попой, обязательно с длинными прямыми волосами, желательно блондинка — разумеется, крашеная, так как среди колумбийцев, в отличие от бразильцев, натуральных блондинов практически нет. Те, кому бог не дал роскошных форм и позволяет кошелек, недолго думая, ложатся под нож: силиконовая грудь и ягодицы, липосакция, подправленные нос и губы. Нынешнее «силиконовое безумие» пришло к нам именно из Латинской Америки вместе с жаркими ритмами сальсы и бачаты.

Одеваться колумбийки любят во все блестящее, демонстрируя особый, «латинский» вкус: надеть разом длинные, до плеч, серьги, блестящие бусы, несколько браслетов и джинсы со стразами (обязательно в умопомрачительную обтяжку пышных форм). И каблук! Здешные женщины, как правило, маленькие от природы (женщина ростом 165 см считается высокой), с каблуками управляют виртуозно! Шпилька сантиметров в пятнадцать, плюс толстая платформа — и девушка цокает «летающей походкой». Большинство из нас, европейцев, на таких не сможет даже постоять!

Броскость, яркость, кричащая, нарочитая сексуальность — порой с заплывом в дурновкусие — так можно описать выходную одежду средней колумбийской девушки, претендующей на определение «привлекательная».

Колумбийские мужчины, как и девушки, уделяют довольно много внимания своей внешности. Часто можно встретить у них замысловатые прически, выбритые на голове причудливые фигуры. Почти маниакальное увлечение средствами для укладки волос — визитная карточка 99 процентов здешних мужчин. Среди молодежи нередок рэперский стиль или «стиль реггетон» — мешковатая яркая одежда, бейсболка. Мужчины из высоких эстратос ухаживают за собой не меньше, чем женщины, — посещают косметолога, делают маски, маникюр и педикюр — изящные ухоженные ногти покрыты бесцветным лаком, сам мужчина пахнет детской присыпкой, источая ауру какой-то стерильной аккуратности. Так и видишь мысленно его ванную — притирок, баночек и пузырьков у него должно быть больше, чем у жены. Хотя хватает и «бруталов» — мачизм в Колумбии пока еще весьма силен, все «гейские» проявления незлобно высмеиваются, не одобряются.

КРИМИНАЛ

Ни для кого не секрет отрицательный имидж Колумбии, полученный в лихих восьмидесятых с легкой руки Пабло и его наркокартеля. В то время Колумбия была опасным и диким местом, где неподготовленному человеку особо не рекомендовалось высовывать нос на улицу. Сейчас ситуация изменилась сильно, но, положа руку на сердце, не так чтобы кардинально. В той же Боготе, как я уже говорила, наряду с лощеными светскими кварталами имеются районы, в которые в любое время суток чужому человеку лучше не заходить. Не то чтобы вас там убьют, нет — колумбийцы вообще не кровожадны. Просто вероятность лишиться ценностей резко возрастает. В Боготе это «сентро» (центр) и «сур» (юг). Вообще-то попытаться ограбить могут в любом районе и любым способом — тут практикуют и тихие карманные кражи, и гоп-стоп с ножиком в руках. За одним моим знакомым бежала банда по склону горы Монсеррате (одно из популярных туристических мест Боготы), размахивая ножами и крича на ломаном английском языке с характерным мягким колумбийским акцентом: «Don't worry! No problem!» Такие они, местные бандиты: мы тебя, милый турист, просто тихонько ограбим, ты только стой — не дергайся, ничего личного... Никаких поводов для беспокойства, и вообще — пустяки, дело житейское!

Еще забавный факт: количество ограблений и гоп-стопов увеличивается на праздники, в том числе религиозные. Например, Святая неделя, Рождество. Ребятам нужны деньги, чтобы достойно отметить рождение Иисуса, что тут непонятного? Как говорится, «только у нас».

Есть несколько простых правил, следуя которым можно минимизировать риск утраты ценных вещей. В колумбийском испанском для них даже есть особое выражение — «но дар папайя» (буквально — «не давать папайю», что означает «не вводить в искушение»). Правила эти в общем-то просты и универсальны: не ходить ночью по незнакомым безлюдным районам с тысячей долларов и айфоном последней модели, торчащими из кармана. Кстати, стоит отметить, что сами местные в таких случаях проявляют трогательную заботу о наивных иностранцах. При вашем появлении в сомнительном месте с лицом человека, считающего ворон, к вам почти наверняка подойдет предупредительная пожилая сеньора или сеньор и, неодобрительно качая головой, скажут, что здесь «пелигросо» (опасно), спросят, куда вам надо, и либо сопроводят, либо помогут поймать такси. Вежливых, равнодушных и милых людей здесь все же значительно больше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги: посоветовала ли бы я ехать сюда русскому туристу? Если вы человек авантюрного склада, не робкого десятка, не боитесь трудностей и возможного отсутствия комфорта и если отдых для вас это активное путешествие, с адреналином и экспериментами, — несомненно. Вполне возможно, что поездка в Колумбию окажется лучшим вояжем вашей жизни. Если же вы от природы вялы и не особо активны, признаете только комфорт и планируете спокойный отдых с детьми или со степенной супругой, — пожалуй, не стоит.

Советую ли я ехать сюда жить? Если вы ищете удобств и легкой, красивой жизни; если вам неинтересно экспериментировать, вас не увлекают антропологические и культурные наблюдения и анализ, совсем не интересует история, а музыкой и танцами вы увлекаетесь, только когда примете на грудь в компании приятелей, в Колумбии вам, скорее всего, делать нечего. Более того, велика вероятность, что скоро вы ее невзлюбите и будете ныть о том, как все ужасно. Лучше не рискуйте.

Если вы человек с ярким внутренним миром, которому интересно с самим собой, думаю, вы найдете тут много интересного и привлекательного. А если у вас есть друзья-единомышленники, то и подавно. А будущее покажет. В конце концов, человек — не дерево, чтобы расти всю жизнь там, где посадили. Верно?

Вот и закончился мой небольшой ликбез по Колумбии. Получилось весьма субъективно; наверняка найдется множество соотечественников, видящих эту страну совсем иначе. На объективность я и не претендую. Я старалась описать свою Колумбию — с ее плюсами и минусами; слабостями и сильными сторонами; яркими, веселыми моментами и стоячим болотом, которое не скоро сдвинется с мертвой точки. Несомненно тут одно: эти люди довольны и счастливы. Просто так, без причины. Нам этого не понять, мы так не умеем — уж не знаю, плохо это или хорошо. Наша радость всегда с надрывом, с карамазовщиной, на фоне подспудно тлеющей внутренней печали или даже трагедии, истоков которой мы сами чаще всего не можем объяснить. Нам чертовски трудно понять, как можно веселиться и радоваться просто так, быть счастливым без причины.

Колумбийцы, в свою очередь, никогда не поймут нас. Да и надо ли? Им не свойственна наша критичность, они не понимают, чего это мы вечно «паримся». И они будут счастливы, будут жить, плясать сальсу, рожать детей, есть эмпанады, смотреть футбол и гордиться своей колумбийской идентичностью совершенно независимо от того, что о них думаем мы с вами. Им на это по-хорошему наплевать. Они любят свою страну и убеждены «по умолчанию», что не любить ее невозможно. И ты, раз ты здесь, ты тоже наверняка ее любишь. Это, кстати, первый вопрос, который в Колумбии тебе задают незнакомые люди, нисколько не сомневаясь, что услышат в ответ «да».

Ефим Бершин

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Неевклидово пространство

*Заметки на полях**

1.

Я знаю не только авторов и адресатов этих писем — я знаю адреса. Некоторые адреса. Кстати, у Лиснянской адрес все-таки действительно был, хотя постоянных конкретных адресов долго не было. Но дело ведь не в конкретных строениях с номерными знаками. Дело в конкретной почве, в точке притяжения, без которой она себя долго не мыслила. Ее адрес — Россия. Или то место, где говорят и пишут и по-русски. Почти воздух. Такой воздушный адрес. А письма, о чем бы в них ни писала, она всегда отправляла в одном и том же направлении — куда-то поверх крыш. Просто поэт, наверно, иначе не может. И то, что эти письма каким-то чудом доходили до Елены Макаровой, — чудо и есть.

Тем более что сама Макарова выбрала себе адресом весь мир. Или даже не выбрала — родилась с этим адресом в голове. Потому и писала: «Думаю, что приверженность к своей земле — это поэтический образ. Вся наша земля такая маленькая, и у всего есть культурные двойники — храмы Нового Иерусалима и храмы в старом городе Иерусалима, и, зная хоть еще один какой-нибудь язык, можно со своим родным жить полюбовно везде, также и в литературе». Или так: «Мир скоро станет маленьким и общим. Наши представления о времени, пространстве и скоростях настолько отличаются от представлений прошлого века! Человек тогда был внутри времени и движения, а теперь скорость самолета, например, ты не можешь ощутить, находясь внутри самолета, то есть теряется связь с пространством и временем в процессе перемещения».

Энергия Лиснянской совпадала с энергией места. Внутренние ритмы — с ритмами ухабов на переделкинских дорожках, леса за забором, того самого леса, «где не бытует эхо», деревянными домиками и бездомными котами, выклянчивающими по утрам под ее окном сосиску или колбасу. Или висящего над ней переделкинского неба. Уже потом, в двухтысячные, подолгу живя в Иерусалиме и в Хайфе, эту энергию места она так и не сумела преодолеть, все рвалась к своему ветхому переделкинскому дому, к своей земле.

Буйно желтеет сурепка, белеет ромашка, —
Слёзная горло моё сжимает петля.
Ежели к телу ближе своя рубашка,
Значит, к душе ближе своя земля.
Значит, прощай, фиолетовое цветенье
Персика, смоквы оранжевый цвет,
Я отлетаю в землю свою в воскресенье,
Где в эту пору ещё и подснежника нет...

* Том переписки Инны Лиснянской и Елены Макаровой готовится к печати в издательстве «Новое литературное обозрение».

2.

У Лены Макаровой этой точки, этой «земли притяжения» нет. «Мой адрес — не дом и не улица», как пели когда-то в Советском Союзе. Тем удивительнее было идти к ней, к примеру, в Иерусалиме. По конкретным улицам и к конкретному дому. Нужно было сначала пройти по улице царя Давида, потом выйти на улицу Газы, свернуть на улицу философа Маймонида, ну, и так далее. И пока я шел, в ушах, как и положено, сначала звучали псалмы, а после поворота на улицу философа псалмы плавно сменялись умными мыслями. Например, о том, что я многое знаю, но до сих пор не знаю, как ходят письма без почтовых дилижансов, почтовых же поездов и даже — чего уж там! — современных самолетов. Впрочем, от Переделкино до Иерусалима ни на каком дилижансе не доедешь, да и по проволоке, как Маршаконская дама, тоже не дойдешь. Зато был факс, которым Инна Львовна сумела как-то овладеть. «Мама писала свитки в 8 метров длиной — с обеих сторон — в те годы в факс-машину заправлялись рулоны, и мама, узнав, скажем, что кто-то поедет в Израиль через месяц, писала весь месяц». Потом Лиснянская просила Лену сохранить эти не письма, нет — «свитки».

Помню форменную революцию в глазах почти восьмидесятилетней Лиснянской, когда у нее появился Интернет. Она выставляла шрифт покрупнее и одним пальцем левой руки старательно выискивала нужные клавиши, сама не веря в то, что больше не надо связываться с почтовыми ящиками или искать оказии. Но надолго ее не хватало. И это были уже другие письма — коротенькие, почти записки. Ее почерк, а с ним и свободное дыхание исчезали в виртуальном пространстве. Поэтому самое интересное — письма, написанные в доинтернетовскую эпоху. Потому что все самое для нее важное в эту эпоху и происходило. И самое важное для этой книги, где в письмах в полной или почти в полной мере на фоне исторических событий раскрываются сложные миры двух женщин — матери и дочери.

Или дочери и матери. Они ведь иногда менялись местами. «Я смотрю на тебя вопросительно-виноватым взглядом полустарушки-полуребенка», — пишет Лиснянская. А Елена Макарова дополняет ее любопытной историей: «В 2007 году мама потеряла на море обручальное кольцо, и я отдала ей свое золотое колечко. Мы "обручились", и она сказала: "Я твоя удочеренная мать". В этой шутке была доля истины. Мама-поэт была и остается для меня недостижимой величиной, а мама по жизни — маленькой беззащитной девочкой. Поэтому и разлуку она переживала столь болезненно, как потерю части себя, как ампутацию».

Всё заняла разлука —
Длиннее, чем с Марса дождь,
Вот ведь какая штука, —
Имя разлуки: дочь.

«Ампутация» — точное в данном случае слово. Глубокое. Горькое. В каком-то смысле напоминающее рождение. Зная Лиснянскую, можно предположить, что освобождение от бремени после рождения ребенка она тоже могла воспринять как ампутацию. А почему нет? Ребенок был частью ее тела и духа. И перестал быть таковым, высвободившись в мир. Высвободившаяся в мир в прямом и переносном смысле Елена не замедлила явить свою полную самостоятельность, инаковость, непохожесть на мать. Естественно, это не могло не породить некоторых противоречий в отношениях. Не пишу «некоторого непонимания». Обе все понимали. Но Лена лаконично и четко рисует картину: «Мать — дочь, великий поэт — нерадивый писатель, интроверт — экстраверт, глубина — широта, усидчивость — неугомонность и т. д. При этом невероятная близость, часто ранящая нас обеих. Чувство вины, раздражавшее маму всю жизнь, приносило в наши отношения "миндальную горечь"». И еще: «Нас волновали разные вещи. Мама считала, что у меня комплекс непризнанного писателя,

и очень за меня переживала, считая несправедливым такое суждение света, в котором сияла ее слава в последние годы».

Но вот опять парадокс. Сама Лиснянская написала целый цикл писем к дочери под названием «Из дневника посредственности» и утверждала буквально следующее: «Я сильно пересмотрела свои поэтические результаты и возможности и пришла к стойкому выводу — в русской поэзии я букашка». Знаю, что это не игра, не поза. Написав новое стихотворение, Инна Львовна на первом этапе очень радовалась и читала его всем, кто входил в дом. На другой день ее постигало полнейшее разочарование написанным и стихотворение откладывалось подальше. Находила она его еще через месяц-другой, читала как чужое и удивленно восклицала, затягиваясь очередной запрещенной ей сигаретой: «Хорошее же стихотворение! И почему оно мне не нравилось?» Запись в «Дневнике посредственности» она сделала, видимо, на втором этапе.

3.

Так вот, у Лены Макаровой «земли притяжения» нет. Ее адрес — мир. Ее товарищами могли быть Павел Коган со своей «земшарной республикой», Марк Шагал, не уместившийся в своем витебском местечке и утачивший его за собой в небо, или даже сам председатель земного шара Велимир Хлебников.

Это, кстати, косвенно в письме к дочери подтверждает и Лиснянская: «Вот были Микеланджело и Левитан. Первый был настолько сконцентрированным временем, что в нем умещались все таланты, а в Левитане — только один, созерцательный, хоть и очень приятный для русского глаза. Уже совсем другое время — Шагал, это время охватывает все прошлое и будущее, поэтому на земле Шагала не умещаются ни строения, ни люди. Мы их видим и на земле, и на небе. Ты — то время, которое имеет отношение именно к Шагалу. Но быть Шагалом-временем и одновременно женщиной, на которую наваливается быт, — очень трудно».

«Кто-то, кажется, Витгенштейн, говорил, что граница моего языка — это граница моего сознания», — пытается вспомнить Лена. Если не ошибаюсь, Макарова знает четыре или пять языков, и этого хватает, чтобы раздвинуть границы сознания до границ почти мировых. Бывая в Израиле, Германии и других странах, где много наших бывших соотечественников, я невольно пришел к выводу, что сознание новых переселенцев, особенно возрастных, резко сужается. Потому что язык, на котором говорили с рождения, нужен все меньше, а новый язык, кое-как выученный для походов на рынок, до размеров этого рынка сознание и сужает. Да и Макарова в своем письме замечает нечто похожее: «Посмотрела вчера на наших евреев в Германии, еле говорят по-немецки, какие-то некрасивые, как на подбор косые-кривые, лишь одна красивая девушка-устроительница украшала собой собрание неприкаянных соотечественников. Не гордый народ, какой-то уязвленный. <...> Они там нигде — ни в России, ни в Израиле, ни в Германии».

Сразу же оговорюсь: относится это далеко не ко всем. К писателю Елене Макаровой точно не относится, потому что ей языки нужны не для рынка. При этом забавно, что Инна Лиснянская, знавшая только один язык, русский, но знавшая его изумительно, с трудом могла его применять в магазинах и на рынках где-нибудь в Москве или Новопеределкино. У меня складывалось впечатление, что продавцы ее изысканный русский просто не понимают. А она не понимает их. Потому что границы сознания в самой России в последние десятилетия так сузились, что неизбежно упростили и язык. Или наоборот. Это уж кому как нравится.

Естественно, Лиснянская видела эти процессы и в самой литературе. В частности, в поэзии начала девяностых. Мы с ней не раз говорили о роли авангарда, постмодернизма, захлестнувшего в тот период журналы. И приходили к выводу, что постмодернизм хорош тогда, когда надо разрушить единый официальный стиль. В том случае — советский. Что и было сделано в восьмидесятые годы. Но когда никакого единого стиля

нет, когда нужно наконец заняться не разрушением, а осмыслением и созиданием, уже сам постмодернизм становится не только бессмысленным, но даже и тоталитарным.

«Наших журналов не читаю, — пишет Лене в начале девяностых Лиснянская. — Все почти в поставангардистской дури — сдуй игривую пену, и ничего не остается под ней. Не шампанское. Последние мои стихи те, которые я написала раньше посланных тебе, будут, кажется, в 10-х номерах "Н[ового] мира" и "Знамени". Последний взял ориентацию на андерграунд как в прозе, так и в стихах. Чтение это очень убогое, со всеми эротическими выкрутасами, со всем этим "говном", пуканьем и т. д. и т. п. У этого поколения писателей вряд ли будет будущее. Мы это уже проходили, начиная с 1914-го по 1928-й включительно. Тогда в атаку пошел фашизм-коммунизм, и сейчас та же атака. В сущности, эта литература плоть от плоти соцреализма. Звучит парадоксально, но так оно и есть. Задумаешься — и поймешь, и согласишься. Ультра-декаданс всегда приходит с реваншизмом. А что такое соцреализм, как не реваншизм, когда в закоменистой форме идет лживое содержание. Сейчас это приняло вызывающе крикливый вид. Содержательности нет совершенно, как правдивой, так и лживой, и это ничто прикрывается "новой" одежкой. Да, это все уже было и прошло, как с белых яблонь дым».

Здесь уместно вспомнить Пикассо: «Заслуга Бога — в отсутствии стиля». То есть Бог — не тоталитарен. Он сам — Творец. И как творец дает свободу стиля любому художнику. Лиснянской, естественно, не нравился новый тоталитаризм стиля. Как и старый. Поскольку у нее давно уже был свой, выстраданный, узнаваемый стиль. К словам Пикассо можно еще добавить, что Бог дает не только свободу стиля, но и свободу мысли. А отсутствие мысли в стихах — элементарное неумение расшифровать и перевести в язык бушующую внутри поэта и вокруг него энергию. И Лиснянская интуитивно протестует против бессмыслия в поэзии: «Все сейчас очень правильно говорят, что литература не должна быть идейной. Но забывают сказать, что произведение не может быть бессмысленным. Тут полная путаница: идею отождествляют с мыслью. А это две большие разницы. Идея — это раз и навсегда окаменевшая мысль. Именно поэтому нельзя путать идею с мыслью. Художественная мысль всегда очень подвижна и вряд ли может окаменеть. А вот идея — это та философская «горячая» точка, которая застывает, как вулкан. Вот и я раз рассуждалась, в то время как я вовсе не теоретик, практик. Да ещё беспомощный. И беспомощно думать литераторам, мол, русский писатель должен прекратить и свою пророческую миссию, это опять перепутывают идею с мыслью. Я встаю на все, что сейчас говорится в русской поэзии и в прозе, что мы все должны очиститься страданием. Это уже окаменевшая идея».

4.

Елена Макарова — прозаик. Соответственно, и мышление иное. Это еще одно кардинальное отличие двух женщин, мамы и дочери, да еще и усугубленное тем, что они смотрят на мир и на происходящее с разных точек планеты. Или вообще — одна с земли, с конкретной московской, красновиловской или переделкинской земли, а другая — откуда-то сверху. Хотя и ее заботы — более чем земные. В том числе и заботы литературные.

«Правда, что трудно нынче написать "Муму" и "Возвращение блудного сына"», — пишет она Лиснянской в ответ на ее рассуждения о «пунктирности» новой литературы. — Но для меня это не страшный симптом, а лишь указание на то, что сегодня изменилось художественное мышление. Так же, как изменилась живопись с появлением фотографии, так меняется проза с появлением факсов. (Сегодня, наблюдая за тем, что творится в Интернете, над факсами можно только посмеяться. — Е.Б.) Появляется отрывочность, вложение текстов в блоки, пунктирность — это нормально. Правда, что скверно образованные писатели стали открывать велосипед. Что ошибаются в установках, поскольку прочли впервые Экклезиаста, а обращаются с ним так

запанибратски, словно ходили в лучших друзьях у Соломона. Но почему надоело всем исследовать реальность?»

В принципе, ответ на этот вопрос довольно прост. Реальность, например, в нашей стране с некоторого времени напоминает калейдоскоп. Стеклышки меняются местами чуть ли не ежедневно, заодно меняя всю картину происходящего. Здесь уж никакое образование не поможет. Мозги плавятся. Лиснянская довольно точно подмечает, что «...здесь формируется чудовищное поколение, это так печально, тем более что наряду с формированием уродливого мышления это поколение начитанных, образованных молодых людей. Просто отчаяние охватывает, когда думаешь о судьбе дальнейшей русской литературы». И как бы обращается к этим «образованным молодым людям»: «Во всем, даже в пунктирном мышлении, мне думается, должна быть золотая мера. Тонкая золотая натянутая проволока, по которой движется этот пунктир, не сваливаясь туда, где уже не речь, а мычание».

Эти сетования понятны. Но что делать, если сама эта «золотая мера» отменена? А понимание происходящего в иные времена сродни пониманию Бога. А это практически невозможно. Поэтому проще бывает куда-нибудь спрятаться от этой действительности, чем ее осмыслить. Многие и прячутся. В том числе и в литературе, и в поэзии в частности. Заумь берет верх над разумом. Но и заумь надо как-нибудь украсить, чтобы было похоже на новаторство в литературе. Можно не признавать прописных букв. Можно отменить знаки препинания. Можно еще чего-нибудь придумать. Суть не меняется. Главное — чтобы непонятное осталось непонятным, чтобы непонятное было похоже на непонятное. Потому что всякая попытка сделать понятное из непонятного — выстрел мимо цели.

И в этой странной литературной действительности мать и дочь, обе пытаются вырваться из лап чудовища сонного разума. Лиснянская — следуя своей отработанной десятилетиями форме писания и форме поэтического мышления. Дочь — упорно работая над созданием своей ни на кого не похожей формы. И ее находка, ее разгадка точнее всего выразилась в названии одной из ее книг: «Движение образует форму». Это — точно. Это — гениально точно. Движущийся, сорвавшийся с цепи, кувыркающийся мир можно познать только двигаясь, кувыркаясь вместе с ним. Если оставаться в статичном положении, он просто сметет художника (да и просто человека) или сведет его с ума. У Елены получилось: «Проза, — пишет она, — переработалась в определенную поэтическую форму, так что все как бы соединилось и не требует адресов. Внутри меня все ссылки, но человеку постороннему их будет трудно опознать, так как примечания неотделимы от самого текста».

Лене порой кажется, что она «застывает». Или, как она выражается, «стрела застывает». И я ее понимаю. Но это не стрела застывает. Просто сама Макарова летит с такой скоростью, что перестает эту скорость замечать. Прямо по теории относительности. Это как выйти в открытый Космос — скорости не чувствуешь.

5.

«Свобода, мамик, свобода! Каждый день молюсь за то, что я свободна. И могу решать все независимо ни от кого, как ни трудно бывает принимать рискованные ходы, все же — свобода!»

Отъезд Макаровой из России — это не эмиграция в общепринятом смысле. Это именно рывок к свободе, к той жизни, когда никто и ничто не сдерживает, когда можно жить не в стране, а во всем мире в соответствии со своими целями, желаниями, талантом. Это попытка внутреннюю свободу дополнить внешней. Понятно, что абсолютной свободе противоречит сама человеческая природа. И окружающая природа — тоже. Да и свободу каждый понимает по-своему. Когда-то меня удивил Григорий Соломонович Померанц, сказавший, что никогда он не был таким свободным, как в лагере. В сталинском лагере! Не сразу, но со временем я понял, кажется, что он имел в виду: несвобода тела переходит в такую свободу мысли, о какой так называемому

свободному человеку приходится только мечтать. А поскольку для Померанца понятия «жить» и «мыслить» были практически синонимами, то и жизнь свою лагерную он воспринимал как свободную.

Несвобода Лиснянской рождена несоответствием между реальным миром и ее представлением о том, каким этот мир должен быть. Этот конфликт и лежит в основе ее творчества. А то и всей жизни. То есть Лиснянская пишет потому, что «на правду мир не похож». И пытается сотворить мир, похожий на правду. Я уже говорил о том, что у Инны Львовны возникали проблемы в общении с продавцами на рынках и в магазинах. Но дело тут не только в упростившемся языке и сузившемся сознании окружающих. Дело и в ней самой. Поскольку «мир не похож», а жить как-то надо, Лиснянская пыталась к этому миру приспособиться. И выходило это подчас довольно смешно.

Вообще, чтобы что-нибудь понять в поэте, надо определить, где в нем заканчивается поэт и начинается человек. И наоборот. Лиснянская — яркий пример поэта, вынужденного играть роль человека, поскольку выступает в его обличье. Она ходит в магазин, кормит котов, платит за электричество, записывается на прием к чиновнику, получает паспорт. А как же иначе? Без паспорта нельзя! При этом, не очень понимая, как соответствовать окружающему, этот сгусток воздуха пытается приноровиться к человеческим вкусам, порядкам и отношениям. Люди, например, любят выглядеть красиво и модно, чтобы нравиться другим. Лиснянская это понимает почти буквально. Поэтому приходит фотографироваться на паспорт, надев шляпу и улыбаясь в пол-лица. И совершенно искренне не понимает, почему этого нельзя. В мире людей поэт почти всегда чужой, потому что постоянно попадает в обстоятельства, в которых мало что понимает. Ему остается все время мимикрировать, как инопланетянину из фантастических фильмов, принимая форму землян. Это тоже — несвобода. И постепенно, подспудно Лиснянская утверждает, видимо, в простой с виду мысли: жизнь — это боль, а боль — жизнь.

Я репетировала смерть,
Крест-накрест складывала руки.
Лицо не выражало муки,
Чтобы не страшно было впрямь.

Борис Пастернак репетировал любовь — «шатался по городу и репетировал». Лиснянской это не надо было. Она репетировала смерть. Она репетировала смерть как свободу. И та свобода, к которой рвалась Елена, ей была не нужна. Ей достаточно было окна, в котором жили лопухи, шел дождь и темнел лес. Все остальное у нее было с собой. В том числе и внутренний свет.

Мне всё одно — в себя или наружу
Глядеть, поскольку вижу я всегда,
Как изумрудный свет втекает в душу,
И как душа взлетает из окна.

Свет — вот свобода Лиснянской. Остальное — дань страхам, которыми ее обильно питали тогдашние газеты, телепрограммы и многочисленные друзья. Как-то я подметил, что Липкин смотрит все новости подряд, по всем телевизионным программам. На мой удивленный вопрос она ответила коротко: «Бойтся погромов». Оказывается, в раннем детстве в Одессе он стал свидетелем погрома. И это — на всю жизнь. Поэтому запечатленные в письмах мысли Лиснянской не о литературе тоже, скорее, взяты из ее советского прошлого и всего того, что там с нею было связано, — от допросов в НКВД до «Метрополя», ухода из Союза писателей и запрета на публикации. Поэтому даже в состоянии почти полной возможной свободы ее постоянно преследовала иллюзия внешней несвободы.

6.

У Лены Макаровой свобода имеет совершенно иной оттенок. Ей нужен весь мир, ей нужна свобода передвижения, потому что она не только прозаик. Она — художник, преподаватель, историк, исследователь, драматург, устроитель выставок, изобретатель всевозможных проектов, для реализации которых действительно нужно свободно передвигаться по миру. Поэтому, повторяю, живет она не столько в стране, сколько — везде. Но больше всего — в себе. «Я тоже чувствую, что живу одиноко со своим личным занятием, и все мечтаю объединить всякие виды искусства вместе, но мне никак не удастся найти такую группу людей, которая поняла бы "сверхзадачу", — словом, все мое существо полно фантазий, которые возникают или как словесные или как какие-то скульптуры, или говорящие тексты в пустоте и картинках, проектируемых на стены...»

«В принципе, мамик, я живу в странном мире, — пишет Елена. — Связь с русской жизнью у меня только через тебя. Если бы не твои письма, которые, ты даже не представляешь как, помогают и согревают меня, я бы ощущала полную отрезанность. Мои мозги производят разные фантомы, увидишь, когда получишь материал будущего романа, это тот уровень самоустранения, на котором я сейчас нахожусь».

Лена обрела свободу в одной упаковке с другой стороной этой же свободы — изнанкой свободы. Вырвавшись в открытый мир, почти в Космос, она, как мне кажется, в полной мере ощутила оторванность от мировых провинций. Или даже так: любая точка, где она пребывает на земле, — провинция. В том числе и Россия, и Израиль. Хотя ей порой очень не хочется в этом признаваться. В этом смысле характерны строки, адресованные даже не маме, а Семёну Израилевичу Липкину: «Жить в Иерусалиме — это жить и в Провинции, и во всем мире одновременно. Здесь есть Тора и довольно-таки эпигонская современная литература, в основе которой язык Торы. <...> Семён Израилевич, это я пишу Вам в ответ на чудесные слова о принадлежности. Я это чувство понимаю, но никак не думаю, что это чувство имеет привязку к географии, к улице Усиевича или Красновидову».

Зато в другом месте Лена являет следующее: «Нравится тебе твой дом или нет, это дом». Поэтому какая-то привязка все-таки есть. И это — Иерусалим. Но не просто город. И даже не люди. Сама природа позаботилась тут о том, чтобы люди обрели земное притяжение. «Мы живем на крутом холме, в трех км от Вифлеема, — пишет Елена. — Из-за гор и долин город кажется вывернутым, вогнутости и выпуклости как бы все должны быть поменяны местами, чтобы выстроилась нормальная прямая перспектива или нормальная обратная. А так это совершенно неевклидово пространство».

Написано это довольно давно. А совсем недавно подоспели новые откровения ученых, из которых следует, что именно искривленное пространство рождает земное притяжение. Следовательно, именно в Иерусалиме этот фокус Бога явлен наиболее наглядно. Наверно, от этого города так близко до неба, что Всевышнему пришлось подстраховаться, чтобы люди не улетали. Впрочем, их полет в истории принимал самые разнообразные формы, иначе этот город не стал бы колыбелью нескольких религий. Но что, может быть, хорошо для иерусалимцев, бывает страшно для приезжих. Я лично знаю многих людей, так и не сумевших преодолеть удушающую силу Иерусалима. Они тут задыхаются. Кажется, и Лиснянская во время своих первых приездов к дочери испытала то же самое. «Всю жизнь перед сном она читала Библию, — сообщает Лена. — И оказаться вдруг в Библии стало невыносимым для ее души потрясением».

И — новые противоречия Макаровой с матерью, а заодно и с Липкиным. Ведь она уже тут жила. Она уже привыкла. Она все увидела и продумала. И это при несомненной любви к городу, который в письме к Семёну Израилевичу она как истинный художник сравнивает с картиной Иванова. Но при упоминании ритуалов, связанных с религиями, в ней не просто возникают, в ней уже прочно живут сомнения и даже усмешка. «Я

надсмехаюсь не над верой, а над ритуалом. Человек, который положил записочку в стену Плача, вирджинец, — посмотри, что он творит. Я знаю, что ритуал удерживает структуру, но уже нечего удерживать, по-моему. Люди в Терезине столько думали о морали, так строго судили себя по тем меркам, которые были давно разрушены в Европе, — люди истребляли людей, а какой-нибудь Гонда Редлих¹ страдал от того, что он, имеющий власть, не может спасти ребенка от транспорта. Не мог, и страдал. Евреи были свалены в крепость Марии Терезии и страдали, что дети вынуждены красть картошку с поля. Вот выживут и станут ворами! Сурожский, он об этом пишет прекрасно. О совести. Люди в жизни ставят галочки, отмечают на туристических тропах, — это тот же ритуал, что записки в стене Плача или поход на Голгофу. Я говорю о человечестве, а не о Шахье² или Швенке³. Но посмотри, что с ними стало?»

7.

Проводив дочь, Инна Лиснянская постоянно живет ожиданием катастрофы. Все ее письма девяностых годов посвящены не только тому, что творится вокруг, — они полны страшными предчувствиями. Хотя, конечно, у каждого своя катастрофа, свой взгляд, и то, что одному кажется ужасным, у другого не вызывает повышенных эмоций. Но тут еще следует отметить, что все реальные и экзистенциальные страхи этого времени совпали не только с творческим взлетом Лиснянской, но и с настоящим признанием. Журналы рвали из рук новые стихи. Премии следовали одна за одной. Все это скрашивало жизнь, помогало утвердиться в собственном творчестве, но все-таки не избавляло от мрачных предчувствий.

Уехав в Израиль, Елена Макарова сама себя, все свое существование ввергла хоть и в бывшую, но реальную Катастрофу. Комнаты в Яд-Вашем или в Терезине стали ее реальным адресом. Собрать воедино произведения заключенных в гитлеровских концлагерях детей, наверно, могла только Лена. Даже непонятно, как эта маленькая хрупкая женщина все это выдержала. Ведь не для литературы же она поместила себя в минувший ад. И вообще, литература — не ее цель. И признание — тоже. Она не чувствует необходимости занять свое место в так называемом литературном процессе. Любимая игра Липкина по распределению поэтов по рядам и ранжирам — не ее игра. Здесь другое: «Осколки, обрубки, опилки, ошметки чьих-то судеб, распиленных, разбитых, раскромсанных, раскрошенных — это XX век. Я родилась сюда, видимо, не для того, чтобы занять свое место в шеренге, а чтобы даже близко ни к какой шеренге не подходить — стояние в очереди — это трата времени. Может, и не напрасная для сиюминутной жизни, но бессмысленная, если во что-то веришь, например, в непрерывность культуры. И с этой точки зрения неважно — публикуют, покупают, читают, знают, — или все то же с "не". Другой вопрос — для кого это все делаю — для себя, для знакомых, друзей, для широкого читателя?»

Лена Макарова не просто с головой ушла в ад Катастрофы. Она нашла в себе силы этот ад исследовать. Чего это ей стоило и как ей удалось все это выдержать, знают и понимают немногие. Как? Наверно, вот так: «Я построила стену, которая будет защищать меня от ударов. Эта стена во мне самой. Так что все зло людей будет рикошетом бить в них самих. <...> А я останусь только с тем — что люблю. Своим одиночеством, своей работой».

То, что этот ад нашел отражение в ее книгах — естественно. А в чем же еще? И вечно сомневающаяся Лиснянская, уже находясь на вершине своей земной славы, всеобщего признания, ставшая лауреатом всевозможных премий, вдруг заново открывает собственную дочь: «"Фридл" — замечательно сильное, талантливое произведение, за которым стоит не только ее и твой огромный труд души, но и Слово как таковое. Но начало, а м.б., середина вещи, которую ты сейчас прислала, а мы с Семёном прочитали, уже новый, высший уровень, самый высокий, на который способен подняться художник. Прежде я считала тебя крупным талантливым писателем. А теперь вижу: ты — гений! Даже страшно от этого открытия. Боже мой! Неужели Твою

посланницу родила я, грешная? Ты понимаешь, что за вопрос я задаю и каким благоговением этот вопрос продиктован? Больше ничего я тебе сейчас не напишу: я плачу, я смеюсь, я обращаюсь к Богу. Я молюсь, чтобы Он дал тебе сил и здоровья довершить твой подвиг не гражданина-архивщика, и за это слава была бы архивному работнику, я молюсь за Его поддержку твоего писательского гения».

Но сама Макарова тут же реагирует, словно желая поставить все на свое место: «Что до моей гениальности, то слухи о ней прошу считать преувеличенными. У гениальных все связывается воедино, а у меня все трещит по швам. Но что-то мною движет, и, скорее, интерес, любопытство, желание узнать, научиться распознавать вещи и явления, это метонимические поиски, но, даже если они меня не приведут к конечному продукту — результату, они интересны сами по себе».

Это и является целью — поиск, движение. Вся работа ее — средство познания. И создание прозы — в том числе. И вполне естественно, что на этом пути возникают не только открытия, но и обыкновенная человеческая усталость, попытка защититься даже от себя самой, от своей собственной бьющей через край энергии. Несколько наивное утверждение, что «у гениальных все связывается воедино, а у меня все трещит по швам» — тоже от усталости. На пути поисков не все тупики рассасываются быстро. Это вполне естественно. И в таких ситуациях возникает неуверенность, что тоже закономерно. «Сейчас я не вижу смысла ни в своей "подвижнической" деятельности, ни в потребности поддержки с чьей-либо стороны. Думаю, я нуждаюсь только в одном — в одиночестве. Это не поза "рассудка", который "изнемогает", это поиски пути. Я заблудилась не в небе, а между землей и небом, притом, что не птица. Правда, летаю на самолете, где и впрямь чувствую себя свободной».

Хорошо, что эти периоды у Елены Макаровой не затягиваются надолго.

8.

Могу только присоединиться к Инне Львовне: книга «Фридл»⁴ — это одно из лучших произведений нового века, написанных на русском языке. Читая ее, понимаешь, как все в этом мире связано, почти неразрывно, одно с другим. «Двадцатые годы Европы — какой расцвет искусств, и какое отвратительное время — становление советской и формирование фашистской империй. Ипохондрический еврей Кафка ищет душевного укрытия от будущего ада на груди Милены Ясенской. Все те же проблемы — социальные катаклизмы и жизнь художника. Очень полезно для понимания эпохи и Фридл, ведь это схожие по типу женщины — богемные, свободные (в рамках тогдашних представлений о свободе)», — пишет Макарова.

«Расцвет искусства» прямиком отправлялся в сталинские лагеря и гитлеровские газовые камеры. Одиночки искали новые пути в искусстве. Политики искали новые средства истребления. В этом нет ничего нового. Но Лена не останавливается на ужасных фактах Холокоста. Она, как всегда, идет дальше, до конца, за грань общеизвестного. И в письмах матери вскрывает еще один конфликт — конфликт между еврейским иррационализмом и еврейской логикой, между величайшей трагедией народа и постыдным практицизмом отдельных его политиков, зачастую перечеркивавших стремление народа к выживанию в страшной бойне двадцатого века.

«Йоран пишет книгу — "Израиль — утопия". Это сейчас актуально. Хамас⁵, каждый день что-то. Похоже, наш народ совершенно никчемный. Открылась сейчас история с Кастнером⁶, венгерским евреем, который вел переговоры с Эйхманом⁷, в 44-м году. 2 миллиона хотел Эйхман, он сказал, что будет отправлять ежедневно в Освенцим 12 тыс[яч] евреев, пока Кастнер через Сохнут⁸ не доставит нужной суммы. Сохнут не принимал партнера Кастнера 4 месяца. Сохнут был под Бен Гурионом, у того, увы, были прямые отношения с Эйхманом, но он не спешил и не хотел, по политическим соображениям, спасать венгерских евреев (мы вас звали, а вы не почесались, теперь получайте), в конце концов Кастнер вывез лишь богатых евреев и родственников, 1800 человек, остальные отправились в газ. Это все было известно.

Когда думаешь о монашках, которые прятали еврейских детей у себя, а потом об основателе еврейского государства, — приходишь в тупик. И всякие другие истории, про Эцель⁹ и Хагану¹⁰, как они топили и убивали друг друга, евреи, как пытали друг друга и приговаривали к смертной казни в 44-м году, когда шла война и было кому уничтожать евреев без них. Страшно. Сейчас наступила в Израиле пора демифологизации прошлого — израильтяне пока еще не говорят о том, какой мор устроили они идишистской культуре, как вытравливали язык галута, как создавали нового человека, как унижали немецких евреев и как боролись с немецким языком. Но все это на очереди. Сионистские идеи сейчас уже не верховодят, на чем все это будет держаться? На вечном антисемитизме? На противостоянии? Жалко, такая красивая страна, я знаю, что где бы ни была, это единственная страна, по которой буду тосковать физически».

9.

«Я говорю о человечестве, а не о Шахе или Швенке», подчеркивает Елена, пытаясь понять, что было с людьми и что с ними стало.

Так что было с людьми? И что с ними стало? Да ничего нового. Люди остались людьми во всей их красоте и во всем их безобразии. Как-то гуляя со своей немецкой приятельницей по Гамбургу, наткнулся на табличку, сообщавшую, что в этом районе города до войны проживало девять тысяч евреев. Из них выжили триста человек. Я, уже много прочитавший к тому времени о Катастрофе, все-таки до конца не понимал: как такое могло произойти? Как люди, жившие десятилетиями рядом, допустили истребление соседей и даже друзей? Оказалось, все очень просто. Всем сообщили, что евреев переселяют в другое место. Не в концлагеря, нет, упаси Боже! Просто в другое место. А их дома, магазинчики, лавки можно занимать. И добропорядочные соседи все прибрали к рукам. Нет, конечно, уверяли меня, если бы они знали, что их соседей отправят в газовые камеры! О, как они потом сожалели! Они же добропорядочные люди! Но соседского добра эти добропорядочные уже никогда никому не вернули.

Да, они люди. А границы добра и зла размыты не вчера. И не сегодня. Только сегодня зло стало более изощренным. Оно норовит натянуть на себя маску человеколюбия, законности, демократии. И многие действительно добропорядочные люди скажут потом, что ни о чем не догадывались, что ничего не понимали, не знали. А много ли нужно знать, чтобы перестать оправдывать убийства? Много ли нужно знать, чтобы не воровать и не лжесвидетельствовать? На зло надевается маска добра. Маска становится не только символом, но и сутью современного мира. Мир больше не мир — маска мира.

Иногда кажется, что человечество вновь идет по пустыне. Но не туда, где из горящего куста явились на свет Скрижали, а в обратную сторону. А люди? Да, люди — это люди. И с этим надо как-то жить.

10.

«Боже мой! Неужели Твою посланницу родила я, грешная?» — сама себе не верит Лиснянская.

Неужели эта знаменитая на всю страну поэтесса — моя мать? — могла бы в ответ изумиться Макарова.

Известное утверждение о том, что род кончается художником, никак на Елене не сказалось. Может быть, потому, что в роду и в окружении был не один художник, а несколько. И мать Инна Лиснянская, и отец — известный поэт Григорий Корин, и Семён Липкин, и целая плеяда их талантливых друзей, с которыми Лена могла общаться чуть ли не с самого раннего детства. Казалось бы, есть простор для подражания и продолжения. Есть прямой путь в тупик. К счастью, Елена Макарова это вовремя поняла. Или нет, не так — она просто родилась другой.

Переписка Инны Лиснянской и Елены Макаровой — документ эпохи. Это письма на фоне новых мировых катаклизмов. И на фоне старых — тоже. Потому что уже самой своей работой, своим творчеством обе раздвинули границы современности. Это их объединяет. А отличает то, что когда-то экзистенциалисты называли поведением человека перед лицом катастроф. И вообще, это не столько письма, сколько запись в историю.

Инна Лиснянская — из породы спасаемых, самоспасаемых. Средством спасения были стихи. Она писала их в огромном количестве почти до самого смертного часа. Стихами она боролась с самой собой и со смертью.

Елена Макарова — из породы спасателей. Она спасает других. Не только живых, но и мертвых, убитых, расстрелянных, задушенных в газовых камерах. Вернее, не мертвых — души мертвых. «Иногда мне кажется, что ты философ Федотов, — пишет Лиснянская, — который хотел оживить всех мертвых. Его концепцию я выражаю примитивно, но по сути дела — оно так и есть. Иное — историческая память, которая складывается из крупных и мелких архивных данных. Ты же делаешь то, что делал бы Федотов, не будучи Христом (Лазарь), именно оживляешь».

А может быть, так: Елена Макарова исследует и завершает судьбы безвременно ушедших людей. Доживает за них. Делает их бессмертными. В музее Яд-Вашем, где так долго работала Макарова, есть детский мемориал. Огромный черный зал, в котором ничего нет. Только в крошечной темноте со всех сторон мерцают звезды — души убиенных детей. И — монотонный голос, перечисляющий имена. Вся деятельность Елены Макаровой — вот эти звезды. Эти души.

Спасаемая и спасающая — в этом главное отличие двух женщин, матери и дочери. А во всем остальном — любовь, любовь, любовь...

Загадка — жизнь, а смерть — её разгадка.
О как мне эти слёзы видеть сладко!
Поплачь ещё, хоть я плохая мать
По всем параметрам миропорядка.

Нет, слуха твоего не оскорблю
Тем оправданьем, что с пути я сбилась, —
Всё это ложь. Я так тебя люблю,
Как дочерям заласканным не снилось.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Редлих Эгон (Гонда) (1916—1944), сионист, автор терезинского дневника, переведенного на многие языки, погиб в Освенциме.

² Шахья — герой романа Е. Макаровой «Смех на руинах», опубликованном в сокращенном виде в «Знамени» (1995) и в 2008 г. — отдельной книгой в издательстве «Время».

³ Швенк Карел (1917—1945), режиссер, актер, драматург, поэт, погиб на марше смерти в апреле 1945 года.

⁴ Фридл. Роман Елены Макаровой. Новое литературное обозрение, 2012 г.

⁵ Хамас — палестинское исламистское движение и партия, правящая в секторе Газа.

⁶ Кастнер Рудольф (1906—1957), венгерский еврей, деятель сионистского движения.

⁷ Эйхман Адольф (1906—1962), оберштурмбаннфюрер, сотрудник гестапо, непосредственно ответственный за массовое уничтожение евреев.

⁸ Сохнут — международная сионистская организация, которая занимается репатриацией в Израиль (Алия) и помощью репатриантам.

⁹ Эцель — национальная военная организация, действующая на территории мандатной Палестины с 1931-го по 1948-й г.

¹⁰ Хагана — еврейская военная организация, действующая на территории мандатной Палестины с 1920-го по 1948-й г.

Евгений Абдуллаев

О рейтингах и «борьбе за потребителя»

«Толстые журналы — это какой-то досадный анахронизм, портящий искусство». Так писалось в 1907 году в альманахе «Белый камень»¹.

Казалось — и были тогда основания — время толстых журналов прошло. Сбрасываем их с корабля современности и весело плывем дальше — с альманахами, сборниками, чем-то еще. Без этих серых журнальных редакций, без въедливых редакторов и прочих анахронизмов.

На какое-то время — после октября 1917-го — толстые журналы действительно исчезли. Но уже в 1921-м появилась «Красная новь» — первый советский «толстяк». Затем «Новый мир», «Октябрь»... И далее по списку.

На семьдесят последующих лет вопрос об отказе от толстых журналов был снят. И дело не только в государственной поддержке. Свои журналы выпускал и «самиздат», и «тамиздат». Журнал был единицей измерения литературного процесса. Журнал был его регулярно обновляемой витриной. Журнал — был.

С начала 90-х... Впрочем, что писать, что произошло в 90-е, — все и так помнят. Неактуальность толстых журналов стала одной из самых актуальных тем.

Падение тиражей и снижение общественного влияния — это было еще «цветочками». В те же годы возникало множество новых толстых журналов. Предпринимались и попытки «поженить» толстые журналы с глянцем (увы, недолговечные). Наконец, благодаря интернету резко возросла читательская аудитория. Хотя для самих журналов интернет и стал палкой о двух концах. Читателя приносил, доходов, скорее, лишал.

К середине нулевых поспели и «ягодки». Опять же, известные всем до оскомины². Новые толстые журналы перестали возникать. Существующие — едва сводят концы с концами.

Год назад, в начале июля, все это обсуждалось на круглом столе, организованном журналом «Знамя». Предлагались разные рецепты спасения толстых журналов. Превращение их в музеи, в хранителей «культурного наследия» — с перспективой получения под это госдотаций (Д.Бак). Зарабатывание «гуманитарным бизнесом» — семинарами, фестивалями... (А.Архангельский).

Прошел год. На журнальном фронте без перемен. «Толстяки» не превратились в музеи, не ринулись в «гуманитарный бизнес». Вообще, не заметно, чтобы что-то изменили в своей работе. Думаю, так оно и должно быть. В отличие от многих, знающих, каким должно быть будущее толстых журналов, — я таким знанием не обладаю. Обладаю бы — занялся литературным менеджментом, а не критикой. Дискуссии вокруг толстых журналов меня интересуют, главным образом, как индикатор состояния современной словесности.

¹ Цит. по: Брюсов В. Среди стихов: 1894—1924: Манифесты, статьи. Рецензии. М.: Сов. пис., 1990. С.256.

² На подробном их перечне, опять же, не останавливаюсь; почти все были названы в дружинском заочном «круглом столе» десятилетней давности (Продуктовый набор или осколок вытесняемой культуры? Толстые литературные журналы в современной России // «Дружба народов», 2005, № 1; <http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/1/pro16.html>).

Вот и нынешнее лето подкинуло пару небольших сюжетов на эту тему.

Полемика Сергея Морозова с Романом Сенчиным на сайте «Rara Avis. Открытая критика»¹. И июньский рейтинг литературных журналов в «Журнальном зале»². Можно добавить еще опубликованную в третьем номере «Вопросов литературы» стенограмму ежегодной Букеровской конференции «Роман в толстом литературном журнале». Но этот сюжет уже выходит на бескрайнюю тему современного романа; поэтому ограничусь первыми двумя. Итак.

Роман Сенчин написал на «Rara Avis» о своих впечатлениях от фестиваля «Толстяки на Урале» (2–5 июля, 2016). Написал дельно, доброжелательно; добавил несколько общих соображений о состоянии толстых журналов. Фактически не рецензируются; отсутствуют в медийном пространстве. И главное — не читаются.

«...По-моему, в кризисе не журналы, а читатели: они попросту ленятся читать».

Последняя фраза, судя по всему, и зацепила Сергея Морозова.

«Искали, искали "кто виноват?", наконец нашли: читатель — трутень. Опять народ не тот попался, читателя неправильного подсунили. Лентяй, дармоед, не может задницу оторвать от дивана. Но других читателей у нас нет и не будет. Ведь новых никто не воспитывает».

Прочитав это, я даже слегка порадовался: у нас опять появилось что-то вроде Виктора Топорова (или раннего Кирилла Анкудинова). Говорю без иронии: критика должна быть и вот такой, провокативной, едкой; иначе будем засыпать на бегу.

К тому же Морозов — отчасти — прав. Ждать, что читатель, смутившись, возьмется читать не «милорда глупого», а «Дружбу народов» или «Знамя», несколько наивно.

Однако правота эта — с червоточинной. По Морозову, во всем виноваты сами толстые журналы. Не печатают шедевры. Сплошная вкусовщина. Ленивы: не желают «приноравливаться к рыночной реальности».

И вообще... «Толстяки» живы только потому, что издательства немощны... «Толстяки» [якобы] отбирают лучшие тексты. А издательства во всем мире, получается, печатают что попало, без разбору? Смешно слышать».

Насчет «всего мира» — не скажу. А что касается российских издательств, то да: не печатают без разбору. Только «разбор» у них — даже у самых «продвинутых» — другой, *коммерческий*. Текст оценивается не столько в силу своих художественных достоинств, сколько в плане возможной прибыли. Или — хотя бы окупаемости затрат. И это нормально, такова была и будет логика издателя. В то время как логика отбора в толстом журнале на коммерческий успех не ориентирована. Она может быть не всегда чисто эстетической, к ней могут примешиваться репутация автора, степень его близости этому журналу. Перспективы выдвижения текста на престижную литературную премию. Но все это — соображения некоммерческие.

И в этом, на мой взгляд, — главный смысл существования толстых журналов. Серьезная литература не может существовать по законам рынка. Никакого — ни западного, ни российского.

Слегка увеличу масштаб, чтобы было лучше видно, о чем речь... В современном капиталистическом обществе, обществе массового потребления, остаются анклав, куда рыночные отношения проникнуть не могут. Это церковь. Это армия. Это фундаментальная наука. Это — в том числе — серьезная литература. Устроены все они, скорее, по аристократической модели³. И — главное — они не ставят своей целью

¹ Праздник без веселья. Писатель Роман Сенчин рассказывает о том, как в Екатеринбурге прошел второй фестиваль «Толстяки на Урале» // Rara Avis. Открытая критика. 15.06.2016 (http://rara-gaga.ru/menu-texts/prazdnik_bez_veselya); Бедный, толстый, живой. Литературный критик Сергей Морозов об участии современных «толстяков» // Rara Avis. Открытая критика. 23.06.2016 (http://rara-gaga.ru/menu-texts/bednyj_tolstyj_zhivoj)

² «Что читали в ЖЗ в июне (2016). Рейтинги» / Сост. В. Костырко (<http://magazines.russ.ru/rejtingi/rejting-iyun-2016/>).

³ О чем, в отношении литературы, мне уже приходилось писать: «Литература ... строится отнюдь не по демократическим законам. Демократия исходит из равенства всех или, хотя бы, большинства людей, литература же — из их принципиального неравенства, обусловленного различной степенью литературной одаренности» («Арион», 2009, № 1; <http://magazines.russ.ru/arion/2009/1/ab26.html>)

номер один получение прибыли. Коммерциализация, разумеется, может проникнуть и в эти анклавы; но тогда начинается их вырождение. Армия разваливается либо превращается в сборище наемников. Церковь — в корпорацию по оказанию «религиозных услуг». Что касается фундаментальной науки, некоммерческих видов искусства и серьезной литературы, то они при этом раскладе просто должны исчезнуть (за исключением «классики», на которую всегда будет спрос).

Это не значит, что современная серьезная литература не может быть коммерчески успешной. Может — и была — в отдельные исторические периоды. И некоторые толстые журналы — в некоторые периоды — могли быть прибыльными. Например, в 1840—1880-е годы. Но происходило это не за счет коммерциализации журналов, а за счет торможения (государством) коммерциализации общества в целом, и литературного рынка — в частности. В более либеральные и рыночные времена толстые журналы самостоятельно не только «раскормить», но прокормить себя не могли. Так было в начале XIX века, когда Иван Мартынов издавал свой «Северный вестник» на субсидию Александра Первого. Так было и в начале XX: «Весы» финансировались Поляковым, «Золотое руно» — Рябушинским, «Аполлон» — Ушковым, меценатами из купечества. Так обстоит дело и с начала 1990-х...

«Журнальная индустрия», — заявляет Сергей Морозов, — сфера бизнеса, поэтому все вопросы должны решаться в этой плоскости. Реклама, продвижение товара, борьба за потребителя, модели распространения — вот какие темы следует обсуждать».

Это так, если иметь в виду «Playboy», «Крестьянку» или «Коммерсантъ-Деньги».

Что касается толстых журналов — то «бизнес» у них может быть только один: поиск меценатских денег. Неважно, это деньги частных меценатов (как это было в девяностые) или деньги государства (середина нулевых — по сей день). Важно, чтобы меценат не навязывал свои литературные вкусы. Не тыкал пальцем, что печатать и кого.

Что касается читателя «толстяков», то тут, думаю, не совсем правы оба — и Сенчин, и Морозов. Читатель у толстых журналов есть. Да, он не очень многочислен. Но много ли сегодня тех, кто следят за новинками современной серьезной (не эстрадной и не самодеятельной) музыки? Много ли ходят на пьесы современных драматургов (если там никто не раздевается)? На выставки современных художников?

Число читателей современных толстых журналов приблизительно такое же. Небольшое — но стабильное.

Тут бы, конечно, хорошо располагать какими-то цифрами; но получить их сложно. Тираж журнала мало о чем говорит — часть его идет в библиотеки; как он читается там, отследить сложно. Остается подсчет количества посещений журнальных публикаций, размещенных в сети. Прежде всего, в «Журнальном зале» «Русского журнала» (<http://magazines.russ.ru/>), где все они вывешены.

Несколько лет назад, возражая на утверждение об элитарности «Журнального зала», я попросил Татьяну Тихонову, работавшую тогда куратором «ЖЗ», прислать статистику просмотров некоторых поэтических подборок, опубликованных в тот год в толстых журналах. Цифры получились не маленькие: от двух до двенадцати тысяч просмотров.

Но то был, так сказать, разовый замер. Интересно было бы следить за динамикой.

Поэтому анонсированный в июле Василием Костырко «новый проект по изучению читательской аудитории ЖЗ» сразу привлек внимание.

Проект действительно интересный. Особенно справка «"Журнальный зал" в цифрах». И цифра 19 912 — именно столько авторов на 11 июня 2016 года представлены в «ЖЗ» своими публикациями. Поскольку по ней можно получить некоторое представление о численности современного русского литературного сообщества (трудно сегодня представить хотя бы одного более-менее заметного литератора, кто бы не «засветился» хоть раз в одном из «толстяков»). Для более точной картины из нее следовало бы вычестить число зарубежных иноязычных авторов, авторов научных статей (не связанных с литературой: по социологии, политологии, экономике, истории), а также авторов, уже ушедших из жизни. Но такой подсчет — работа трудоемкая; одними «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика» тут не обойдешься. Это, скорее, из серии пожеланий.

Дальше идет «Рейтинг журналов за июнь (с момента выставления свежего номера) — первые десять позиций из 27».

И тут уже возникают вопросы.

Почему нельзя было указать количество просмотров? (То же самое касается и идущего ниже «Рейтинга журнальных публикаций, выставленных в июне»). Рейтинг без статистики — не столько даже сомнителен, сколько малопоказателен. Что означает первое или пятое место того или иного издания (публикации)? Сколько людей его «кликнуло»? Тут ведь как раз и возможен выход на определение аудитории «толстяков» — ради чего все это, видимо, и затевалось.

Далее. Если приводимый рейтинг публикаций еще имеет смысл, то рейтинг самих журналов несколько похож на среднюю температуру по больнице. Во-первых, не все «толстяки» выходят ежемесячно. Есть еще «Арион», «Вопросы литературы», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «НЛО»... При таком ежемесячном рейтинге они явно оказываются в невыгодном положении. Не случайно, что и в рейтинг фактически не попали.

Второе. Еще лет семь назад журналы выкладывались в «ЖЗ» в одинаковом режиме: выход номера — появление в «ЖЗ». Сегодня каждый играет по своим правилам. Скажем, «Знамя» выкладывается оперативно — в «ЖЗ» свежий номер появляется даже раньше, чем на сайте самого журнала. А «Октябрь» выкладывается через месяц, после выхода следующего номера. «Новый мир» — вообще через полгода. Тот же разницей и по количеству выкладываемого. Большинство выкладывает весь номер. Но «Звезда», например, с отдельными купюрами. А «Иностранка» и «Вопросы литературы» почти все материалы помещают только частично... Результат: в июньской «десятке» «Вопросы литературы» вообще отсутствуют, а «Иностранка» стоит на самом последнем месте, уступая изданиям гораздо менее интересным...

Наконец, такой рейтинг имел бы смысл, если бы все журналы, которые вывешиваются в «ЖЗ», более нигде не были доступны. Но у многих из них есть свои сайты, где их тоже можно почитать. И чем более «раскручен» сайт, тем больше вероятности, что читать журнал будут на нем, а не в «ЖЗ». И рейтинг журнала в «ЖЗ», соответственно, будет ниже (и наоборот). Стоит учесть и другой «сетевой» фактор: блогерскую активность журналов (и их авторов)... Вот и получается, что в начале «десятки» может оказаться не слишком, может, и интересный журнал N — если он (а) ежемесячный, (б) выкладывается регулярно и в полном объеме, (в) более нигде, кроме как в «ЖЗ», не доступен, (г) активно рекламируется в соцсетях.

Насколько все эти «а», «б», «в» и «г» имеют отношение к литературному качеству журнала — что, по идее, и должно быть определяющим в случае толстых журналов? На мой взгляд, фактически ни насколько. Все это весьма обесмысливает рейтинг журналов в его нынешнем виде — слишком велики погрешности...

Вообще, рейтинг журналов — если его измерять числом просмотров — имел бы смысл, будь они (журналы) предприятием коммерческим. Если бы просмотры в «ЖЗ» приносили им, скажем, какую-то прибыль. Но «толстяки» — повторюсь — предприятия некоммерческие. Поэтому и их рейтинг, если таковой требуется, может быть составлен только путем сопоставления. Что, опять-таки, дело трудоемкое¹.

Важно одно — не стоит навязывать толстым журналам ту логику (логику рынка), которая в принципе противоречит их природе. Лучше задуматься над тем необъяснимым с точки зрения рынка явлением, что *все* толстые журналы еще продолжают выходить. На глазах рушились мощные издательства, исчезали затеянные с размахом литпремии, закрывались крупные книжные магазины и целые книготорговые сети. «Толстяки» — выжили. Не сократив при этом периодичности, не урезав редакционные штаты. Не понизив — самое главное — планку качества. Самое коммерчески убыточное звено в современной литературе оказалось самым устойчивым. Не парадокс ли?..

¹ Уже когда эта колонка была дописана и отправлена в редакцию, появился июльский рейтинг «ЖЗ» — к счастью, без ранжирования журналов. Но решил ничего не переписывать — поскольку проблема применимости «потребительского» рейтинга к серьезной литературе может иметь отношение не только к проекту Василия Костырко.

Ольга Балла

В первый и единственный раз

Александр Блинов. Рассказы толстого мальчика. — М.: Арт Волхонка, 2016. — 224 с.; Варвара Мухина. Ты и твоё тело. — М.: Арт Волхонка, 2015; Варвара Мухина. Привет! Удачи! — М.: Арт Волхонка, 2015; Варвара Мухина. Ты в дороге. — М.: Арт Волхонка, 2015. — (Хорошие манеры в вопросах и ответах); Анастасия Коваленкова. Капля. — М.: Арт Волхонка, 2016; Гелия Певзнер, Мария Марамзина. Варенье Нострадамуса. — М.: Арт Волхонка, 2015. — (Из истории еды); А.Р. Багаутдинов, Е.С. Борисова, М.Е. Гудков, О.В. Золотухина, И.В. Келейников, И.С. Лебедева, Н.П. Логинова, Т.В. Перец, С.В. Силиванов, Н.М. Шешеня. Что придумал Шухов. — М.: Арт Волхонка, 2016. — 104 с. — (Что придумал...)

Рассказы Александра Блинова аннотация к книжке рекомендует читать непременно «вслух, по возможности громко. Чтобы сбежалась вся семья. После этого прибегут и соседи — на ваш радостный смех».

Смеетесь, говорите? — Ну-ну. Вам-то хорошо, вы уже выросли.

А вот вспомните самих себя, допустим, лет в пять-шесть. Только честно, по-настоящему вспомните. Помимо пестуемых культурой, едва ли не обязательных в ней к проживанию ностальгических мифов о золотом и розовом детстве. Самих себя того времени, когда вы об этих мифах и слыхом не слыхивали, а ностальгия по собственным изначальным временам еще и не начиналась. Когда вы были с большим неизвестным миром один на один.

В культуре, разумеется, ничего зря не заводится. Детство надо приручать, хотя бы задним числом (а еще лучше того — превратить в ресурс для будущего роста, в источник смыслов, в опору), чтобы можно было жить с ним дальше. Все эти мифы совершенно необходимы. Просто стоит помнить, что к ним все не сводится. Что была еще и встретившая нас в начале жизни сырая, темная, чуждая и непонятная реальность, к которой, правду сказать, ну совершенно непонятно было как подступиться.

Если как следует вспомнить, ребенку в мире трудно. Он чужак в бытии. Выросши, человек предпочитает вытеснять из памяти жгучий ужас детства, свою потерянность и беспомощность, неудобство и неловкость, стыд и страх (вряд ли сознательно — само забывается, нормальный защитный механизм) — отчего это все, конечно же, само по себе никуда не девается.

Вот книга Александра Блинова хороша тем, что помогает новоприбывшему в мир человеку со всем этим справиться. Он обращается как раз к человеку до мифов и ностальгии, перед которым детство стоит в качестве практической задачи — и с этой задачей надо еще как-то справиться. На равных обращается, между прочим!

Всю эту первоначальную трудность жизни автор честно вспоминает — как личный опыт. Без всякого надрыва, без малейших обид, с иронией — и да, со смехом.

Показывает маленькому читателю: ты со своими страхами, неудачами, неловкостями, с окаянной зависимостью от старших — не одинок. Я вот, говорит он, был совершенно такой же! Я тоже — ты не поверишь! — «все время отвлекался» «и поэтому все время опаздывал». Я тоже постоянно терял вещи, у меня тоже ну никак не получалось зашнуровывать ботинки, воспитательница тоже на меня орала, а все смеялись. И, представляешь, я был толстый и нескладный! И видишь — ничего, справился! У тебя тоже получится!

Ненавидел я, мол, в детстве рано вставать — и даже это обошел, а ведь никуда, казалось бы, не деться! «...мне пришлось заниматься тем, что не требует ни рано вставать, ни рано ложиться.

Когда можно вообще толком и не вставать, и не ложиться... Не пойми что...

Я стал художником и архитектором, который рано не встает.

А дальше — больше.

Я начал писать и стал писателем.

А куда дальше-то?!»

Дальше-то, тихо думает, вспоминая себя, читатель, очень даже есть куда. Дальше можно и даже нужно становиться волшебником! Что, неужели никогда не хотелось? Да вы хотя бы попробовали?! Но автор его, конечно, не слышит — и продолжает себе:

«По крайности, все мои родственники и знакомые мне так и сказали: допрыгался Сашенька!

Вот так и живу:

рад-радешенек,

шалей-валяй,

трын-трава,

супер-пупер,

шик-блеск-красота!»

Вот и ты не отчаивайся.

Для начала бывший толстый мальчик рассказывает о своем рождении, а еще прежде того — о детских мечтах быть кем-то совсем другим, во всяком случае — о примеривании к такой возможности. Кто не мечтал? Кто не примеривался? Кто вообще не изумлялся тому непостижимому факту, что «я — это я», и почему так, и почему я не могу быть кем-то еще, и что было бы, если бы вдруг смог? Ну, мы, конечно, об этом не болтаем — мало ли чего мы там себе навоображали! Да еще, может быть, и не помним толком ничего такого. А Блинов — вот, пожалуйста:

«Я родился мальчиком Сашей.

Хотя запросто мог родиться и девочкой Ирой, и соседской дворнягой Фомкой, и даже верблюдом.

Тогда:

меня бы в школе не мучила эта Верка;

я бы легко выполнял все команды — «лечь», «встать», «ко мне», — а не ковырял бы задумчиво в носу;

я бы знал верблюжий язык и дальше всех плевался».

А затем — дух не успеешь перевести — переходит сразу к самому трудному. К такому, что в детское сознание вмещается меньше всего (да и во взрослое-то, признаться, не слишком) — к смерти. Главного героя ведут к бабушке и дедушке на кладбище. И в рассказ об этой истории вмещается если и не вся вынужденность, стесненность детства, если и не вся его плотная окруженность непонятым, страшным, чужим, — то, по крайней мере, изрядная часть всего этого.

«На мне серая дурацкая шапочка с ушками, короткое серое пальтишко (такое называли «кrapчатое»), короткие штанишки на помочах, вечно сползающие чулки в резинку (колготок тогда еще не было) и черные высокие неудобные ботинки фабрики «Скороход». Мне скоро пять лет. Я неотрывно смотрю, как руки женщины распутывают

узелок на тряпочке в уключине дверцы кладбищенской ограды. Женщина — моя мать. Мне страшно».

И дальше, не останавливаясь, — новая встреча со смертью, в мавзолее Ленина — тоже взрослые тащат, потому что положено. В юном уме все это умещается еще менее кладбища: «Ни живой, ни мертвый — не пойми что. Как спящая красавица в хрустальном саркофаге». Это начало шестидесятых, и рядом с Лениным в мавзолее еще лежит Сталин: «У второго мертвеца из щек и подбородка торчала жесткая черная щетина «.... Мне показалось, что небритый еле-еле приподнял голову и смотрит на меня из-под прикрытых век <...> "Зырит. Мертвяк может и съесть. Пехтерь говорил — запросто..." Я перестал дышать, чтобы мертвяки решили, что я мертвый и им неинтересный...»

Потом уже выносимее, но тоже нелегко. Потеря любимой игрушки, навсегда нарушающее весь порядок жизни рождение младшего брата, несбыточная мечта о собаке, родительский гнев за неминуемые, просто совершенно неминуемые проступки... Словом, то, через что проходит каждый, — как будто рутина, но ведь для каждого это бывает в первый и единственный раз.

В общем, самое главное мы в этой книге прочитали: детство — это трудно, каждому трудно, но это не страшно. Оно преодолимо — и более того, однажды ты, юный читатель, с изумлением застанешь себя за тем, что очень ему благодарен. Вот именно тому, как все волею слепого случая сложилось (случай-то оказался зрячим, а?).

«Теперь когда я иду по улице и навстречу мне ведут за руку какую-нибудь девочку Настю или мальчика Васю, а те тыкают в меня пальцем и кричат во все горло: "Ой, мамочка, кто это?", — их мама смотрит на меня, вздыхает и говорит: "Да дядя какой-то".

И я думаю, что это не так уж плохо, и горжусь, что родился мальчиком».

Ага, вот и еще один вывод, примечай, читатель: в том, чтобы быть самим собой, оказывается, масса преимуществ. Причем никогда заранее не знаешь каких. Потом откроешь и освоишь. Ну, или сам изобретешь — что и того интереснее.

А даже если и не откроешь и не изобретешь — да и пусть. Жить-то в себе самом ты теперь умеешь!

Остальные же книги, которые волею случая легли на читательский стол рецензента рядом с рассказами бывшего толстого мальчика, представляют нам несколько разных типов... как бы это сказать? — путеводителей для маленького человека по миру, который ему предстоит. По разным областям этого мира. Включая и собственное тело, с которым тоже ведь приходится осваиваться.

Первый тип — по существу, практическое пособие, прямо-таки справочник. Вот как раз по тому жгучему, никогда как следует не ясному в детстве вопросу, как себя следует вести, как с собой справляться в этом их взрослом обществе, чего от нас ждут, как не попасть в дурацкое положение, не оказаться плохим и виноватым? Взрослые — молодцы, сами же все и объясняют.

Этот тип представлен тремя книжечками из серии «Хорошие манеры в вопросах и ответах», все — принадлежащие перу Варвары Мухиной.

«Дано мне тело, что мне делать с ним?...» — до сих пор, бывает, растерянно бормочет про себя, вспоминая классика, тот, кто уже вырос. А тому, кто только растет, некоторые соображения об этом уже предлагаются в книжечке «Ты и твое тело». Как, например, правильно сморкаться, чихать, жевать? Как надо есть и вообще вести себя за столом? Что думали по этому поводу люди в разные эпохи? И, наконец, ответ на самый главный детский вопрос: зачем? Для чего все эти сложности? Может быть, их придумали зануды, чтобы испортить людям жизнь? И вообще «правила поведения — они отнимают свободу или дают ее?»

А если «Ты в дороге», то как себя вести? Ведь там опять правила! — Справимся и с этой задачей. Какие бывают дороги? Где кончается «мой дом, моя крепость» и

начинается чужое пространство? (Откровенно говоря, это и взрослому-то не всегда ясно...) Как вести себя в лифте (заодно — когда эти лифты вообще появились)? А на тротуаре? А на разных видах транспорта — на велосипеде, роликах, скейте, в автобусе? К счастью, тут совсем не нужно быть первооткрывателем. Человечество уже многое в этом продумало — бери и пользуйся!

Книжечка же с веселым, почти несерьезным названием «Привет! Удачи!» посвящена предмету страшно важному и такому сложному, что тут-то уж точно сами взрослые все никак до конца не разберутся: по существу, человеческим отношениям. Приветствия (о которых книжка) всегда оказываются в их начале и таким образом становятся одним из инструментов их налаживания. «Иногда, — предупреждают читателя с самого начала, — неудачным словом или жестом ты можешь испортить впечатление людей о себе». Можешь, конечно, и наоборот — их к себе расположить! И вот для этого надо знать — ну, много чего. Ко всем ли взрослым надо обращаться одинаково? Чем отличаются мужские приветствия от женских? Кто кому первым подает руку и как это надо делать? Как обратиться к незнакомому человеку? А еще ведь стоит держать в голове и то, что «даже самое лучшее, самое правильное приветствие можно испортить негодным исполнением» — если, скажем, процедить сквозь зубы «здрасьте» и угрюмо взглянуть на приветствуемого исподлобья. Оступиться, на самом деле, ничего не стоит на каждом шагу! Господи, как мучительно быть маленьким, когда ты всего этого еще не знаешь...

Второй тип путеводителей по свету представлен книжками вообще-то очень разными — даже адресованными детям разных возрастов, начиная от совсем маленьких, которым — чуть-чуть текста и большие картинки. Они показывают, как устроены разные области мира. То есть, на самом-то деле это — книги-путешествия.

Самым маленьким книжка «Капля» рассказывает о захватывающих приключениях капельки воды во время того, что взрослые называют «круговоротом воды в природе». Кстати, дорогой читатель, ты, кажется, мечтал быть не собой, а кем-то еще? Так вот же, тебе — если еще не перестал — предоставляется прекрасный случай: представь себя этой самой каплей! Пройди весь ее путь с неба до земли, вглубь ее, затем внутрь растения — и снова в небо, превратись из капли в снежинку...

Тем, кто уже как следует подрос, предлагается отведать «Варенье Нострадамуса». Да-да, того самого, который более всего прочего известен как предсказатель (он еще много кем, вообще-то, был — врачом, химиком, — и, разумеется, алхимиком, — ботаником, астрологом... и все эти области его занятий были связаны друг с другом). Книжка вышла в серии «Из истории еды», и там есть даже самые настоящие рецепты, а среди них — и написанный самим Нострадамусом. Но вот чудеса: история такого простого и всем известного продукта как варенье, оказывается, вовсе не сводится сама к себе. Самое интересное в книжке вот что: юному читателю предлагается задуматься о том, что история еды и кулинарных практик — на самом деле часть большой истории (в том числе истории идей и ценностей) и отражает ее в себе! — и по-настоящему рассказывать о приключениях и развитии еды можно только в контексте истории культуры. Многим ли, скажем, приходит в голову связь между изготовлением варенья и идеями вечной молодости и бессмертия? А между тем, уверяют нас авторы, она есть, и самая непосредственная.

«Мишель де Нострадам задумчиво крутил в руках то один, то другой фрукт. У персиков бархатная кожа. У абрикосов румянец, как у красивой девушки. Яблоко налито соком. Может быть, если научиться сохранять фрукт свежим, то и человеческую кожу удастся также избавить от морщин? А там и вовсе получится излечивать от старости... Разгадка вечной молодости так близка!

Нострадамус все чаще ходил на рынок, присматривался к фруктам и овощам. За одним из прилавков торговец продавал цукаты. Это те же фрукты, но засахаренные. Прозрачные, похожие на драгоценные камни, они сберегли вкус и цвет свежего плода. А вот храниться способны чуть не до следующего года. Не в этом ли разгадка?»

«Нострадамус, — утверждают авторы, — <...> стал лучшим в мире специалистом по варенью» не просто так, а «проводя алхимические опыты». Попутно они знакомят юного читателя и с отдельными алхимическими представлениями, а вместе с тем — и с некоторыми особенностями мировосприятия Нострадамова времени: «Весь мир был для человека в те времена единым целым, и все во Вселенной представлялось связанным — небесные тела, растения, минералы и органы человеческого тела». Действительно ли Нострадамус превзошел в своем искусстве всех мыслимых изготовителей варенья, хотя бы и среди своих современников, и как это вообще измерить — вопрос, конечно, спорный. Но вот в том, что читатель получает прекрасную возможность задуматься над тем, насколько связаны между собою разные области культуры и как они помогают друг другу, — не стоит сомневаться.

И, наконец, последняя книжка адресуется к читателям почти совсем уже большим. Это книга-альбом — со схемами, чертежами, старыми фотографиями, с расшифровкой технических и архитектурных терминов, даже с формулами! — о том, сколько всего придумал один-единственный человек — инженер Владимир Григорьевич Шухов. Тот самый, имя которого носит знаменитая башня в Москве, на Шаболовке.

Если кто не догадался — это тоже книга-путешествие, не хуже, чем у маленькой капли, и тоже с фантастическими превращениями. Прежде всего, конечно, это — путешествие во времени: тут можно узнать, как создавался тот мир, тот город, который, кажется, был всегда (маленьким москвичам, соответственно, будет особенно интересно). Оказывается, у давно известных зданий — не только у башни, но и у ГУМа, «Метрополя», Петровского пассажа, у Главпочтамта на Мясницкой, у дебаркадера Киевского вокзала... — есть, во-первых, биография, во-вторых — родство. Все они — ближайшие родственники друг другу по инженеру Шухову, который придумал, как устроить их несущие конструкции.

Кроме того, это — путешествие в мир идей: как возникают идеи и как они превращаются в предметы? Чем, например, Шуховская башня — которая «для всего мира <...> стала символом новой эпохи и образцом для архитекторов разных стран» — обязана своей неприметной родственнице — плетеной корзине для бумаг? На эту корзину, перевернув ее — о, совершенно случайно! — уборщица в конторе Шухова, наводя порядок, поставила тяжелый горшок с цветком. Корзина прекрасно выдержала — и тут инженера осенило... В общем, история вышла не хуже легендарного Ньютонова яблока. (Может быть, дорогой читатель, это — история еще и о том, что нет ничего незначительного, все зависит от того, каким взглядом увидеть?)

Здесь есть и еще одна важная мысль, которую маленькому читателю хорошо бы не потерять. «Вы знаете, кто такой инженер?» — спрашивают с самого начала авторы. Выслушав самые очевидные ответы своей предполагаемой аудитории: это — «человек, который строит дома», «человек, который строит машины и самолеты», авторы озадачивают нас мыслью: «Инженер строит нашу жизнь!»

И ведь правда же, удивляется в ответ этой мысли даже совсем взрослый гуманитарий.

Да, эта книжка тоже учит мыслить цельностью и подталкивает растущего человека к пониманию того, что ведь и техника, как и еда, не существует сама по себе. Только как часть истории культуры, питается культурой в целом и меняет культуру в целом: «строит жизнь».

Ну и, наконец, в книге предлагается простейшее из всех мыслимых путешествий — в пространстве. Это путешествие читатель, если, по счастью, окажется в Москве, может проделать собственными ногами или на метро — по тем местам города, которые связаны с жизнью и работой Шухова. Тут есть даже карта с прочерченными маршрутами. Ориентируясь по ней, юный москвич вполне может начать открытие собственного города — как все, в первый и единственный раз.

Решетка маски, узость дорожки

(Читая Татьяну Любецкую)

Рубрику ведет Лев Аннинский

Термины — фехтовальные. Маска в бою предохраняет лицо от ударов рапиры. Дорожка не дает уйти в сторону от боевого противостояния.

Фехтовальные эмоции владели мной с тех школьных лет, когда я, одуревши от «Трех мушкетеров» Дюма, два сезона ходил на секцию знаменитого тренера Серого и махал там рапирой. Домахаля до третьего разряда и даже поучаствовал в первенстве Москвы для юношей в составе районной сборной: прошел четвертьфинал, из полуфинала, естественно, вылетел. И с фехтованием тогда же завязал.

А в это самое время, как я с ним завязал, родилась в Москве девочка. Таня... Ей бы, по примеру родителей, пойти в музыканты, но дед был писателем, руководителем Гослитиздата, директором музея-усадьбы Ясная Поляна, так что и это сказалось: после школы окончила журфак МГУ, а получив диплом, стала... Но не будем спешить: стала она — членом сборной СССР по фехтованию, в составе коей выиграла ни мало, ни много — чемпионат мира.

Мне, с моей спортивной третьеразрядностью, туда и близко нечего было подходить. Но девочка Таня стала еще и блестящей журналисткой, а там и литературным критиком. И прозаиком.

В этом качестве я и хочу понять теперь ее тексты. Их немало: первая же публикация — «Диалог о поединке» — получила премию ЦК комсомола «За лучшую книгу года». Далее — документальная книга «Братья Аркадьевы» и еще несколько публикаций, касающихся спорта. В 1995 году в журнале «Дружба народов» — первый роман «Наполовину о любви», номинированный на Букеровскую премию и вошедший в хит-лист «Огонька». Потом в альманахе «Апрель» — еще два романа... И, наконец, в той же «Дружбе народов» — эссе «Я попала в руки Набокова».

Попадание точное настолько, что звенит решетка!

О Набокове я в подробный диалог с Татьяной вступать не берусь: она изучила десяток эпосов классика на русском и столько же на английском, плюс еще сотни страниц сопутствующих сочинений. Я же, признаться, лишь треть освоил. Поэтому не о Набокове веду речь, а о том, что притягивает Татьяну Любецкую к Набокову. Какой духовный его строй и публицистический заряд так приковывают к нему отечественную словесность позднесоветских и послесоветских поколений.

Речь не только о поколениях, но и об индивидуальном выборе, обусловленном, конечно же, опытом поколений. О том, в какой степени личность справляется с диктатом судьбы. Говоря узко-профессионально: в какой степени критик способен понять писателя. И как современная критика читает тексты.

В данном (индивидуальном) случае контакт с материалом не окрашен вовсе той требовательной авторитетностью, которой учил нас Чернышевский: у него писатель — судья реальности, а критик — судья писателя. А тут интонация совершенно иная: не судейская, а сочувственная.

Пример?

«Милый, добрый, бедный В...» Это — через весь текст, и лишь в самом конце его обращение: «Милый Винсент» открывает нам, кто адресат эпистолярного цикла.

Диалог через границы стран и культур, и еще — что очень важно — через границы веков.

«Год столетия Набокова и двухстолетия Пушкина. Совпадение это, мнится, не случайно. И оно дарит фразы... в ритме столетий».

«Ритм столетий» — лейтмотив. Между строк — мечта о том, что же надо удержать, если оно попадает и пропадает меж веков.

«Который час? Век? Ну неужели должны пройти века, прежде чем кто-нибудь окликнет тебя?»

Ее окликают вопросом; «Кто твой любимый русский писатель?» Она отвечает: «Набоков». «А из зарубежных?» — «Тоже он».

Откликаясь так, надо остро чувствовать границы культур и эпох, на которых распята душа. Так самоосуществление Набокова в разных национальных границах, которые он так летяще пересекал, и в исторических несовместимостях, которые кровавили его душу, — главная причина непреходящего нашего к нему интереса?

А его трагедия — не от того ли распада судьбы, который если лечится, то судьбой же?

«В самом начале жизни — две великие потери: Родины и отца...»

Потери — насилие безумной эпохи. Исцеление — силой разума. Опытом личности. Упорством характера. И это все фатально? И тут — разгадка неизъяснимой противоречивости русского человека, обреченного утрачивать сокровенное и искать утраченное? Тоска по Родине и презрение к ее режиму — это не абсурд, это *сочетание*, идущее из беспредельности и уходящее в беспредельность. Горечь и вдохновение изгнания — не нонсенс, который можно устранить, а рок на все годы... лучше сказать: на все века. Великая Неприкайнность — Дар, на который ты обречен. Можно его *презреть*, можно *прозреть* (словесный Дар заразителен). Прозреть — в глобальное бездомье.

«Дома уже не существует: ни в Выре, ни в Батово набоковских усадеб давно нет. А в Рождествено их дом сторел несколько лет назад как раз в день рождения писателя. Случайно, нет ли — такие эффекты нам все еще удаются. Это даже не приглашение на казнь — это приглашение к забвению. Оно, впрочем, не принято».

Трагическая судьба побуждает к забвению, а забвенье невозможно. Надо носить в душе незабываемое, как-то примиряясь с ним. Как примирить редкостную приветливость и доброжелательность Набокова (отмеченную всеми, кто с ним напрямую общался) и жесткую неприступность его текстов (ощущаемую всеми читавшими): желчен, холоден, высокомерен. Все сказанное — как через закусенные губы.

Да и как еще хранить достоинство, если от всех исчезнувших домов сбережен только камень из фундамента отчего дома в Выре? На чем строить земной обиход? Где строить — за пределами этой реальности?!

Да, за пределами! Как строил свой мир Гоголь, чувствуя приближение конца.

«Он так свободен (Любецкая цитирует Набокова о Гоголе) в этих своих странствиях сквозь души и миры, что с ним и ты можешь подойти к самому краю бытия, к глухой стене этого мира. Еще немного, и будешь вхож в запредельное».

Запредельное — это и есть тот бесценный Дар, который обретает и хранит Набоков, пропуская свой текст сквозь закусенные губы.

И опять две задачи разом: как отдать душу запредельному, но при этом не забыться в благостном сне.

«Он работал там, где "человеческая мысль летает на трапециях вселенной", и, может быть, вообще недосыгаем».

«Такая там истинно российская бездна отчаяния и глубина».

Там, где не дом, а гостиничное пристанище дает Швейцария, самое имя которой «влечет каким-то хрестоматийным блаженством и малодоступным нам понятием "нейтралитет"».

Все-таки словесный дар заразителен.

«В романе "Дар", — пишет Татьяна, — я вдруг нахожу для себя маленький сюрприз: "Некто Любецкий, адъютант образцового лейб-гвардии уланского полка, лихой малый с фамилией как поцелуй"». И тут же Любецкая отвечает: «Некто Набоков с фамилией как неотвязный сон».

Вы слышите? Неотвязный сон таится, хранится, сберегается в загадочной фамилии... Но что в ней загадочного? Пушкина надо читать: «кири-куку, царствуй, лежа *на боку*». Э, нет, царствовать мы не надеемся. Только сберечь то, что можно сберечь в этой раскалывающейся реальности, которую надо без конца собирать заново...

Собирать — любя.

«Любецкая»... Фамилия — поцелуй.

На узкой дорожке фамилии сходятся и салютуют друг другу, влюбленно переглядываясь сквозь решетки масок.

Summary

Dmitrij VERESCHAGIN. *Zamanilovka-2 (a kind of attraction or rather a trap)*

The reader must take into consideration that the narrator of these short stories is a patient of a mental hospital — a person though mild but inclined to various fantasies and exaggerations. So one must take at its face value only what has its face value. However sometimes it's difficult even for the experienced specialists to see the difference.

Dmitrij STAKHOV. *Light of the night*

Revived corpses and ghosts are not rare in modern literature and cinema, but the plot of this novel is a special case. Yes, there is a ghost roaming about the streets of a small old town and many people have seen it. But is it really a ghost or just an effect of hypnosis? A group of metropolitan psychologists comes to investigate the situation, but the very aim of their work turns out to be concealed by dense fog. Reality is diffusing, seen double, triple...

Marat BASIROV. *LOP*

What is LOP? Life of Outstanding Persons — the name of the famous book series. And what if the person is not outstanding? If the person is known only within his own company? Maybe not the fame is the thing that matters? Maybe it's the ability to resist the fate, to go against the stream or on the contrary to resign oneself that is important? What is the proper criterion of calling somebody an outstanding person?

Poetry

In the poetical polyphony of this issue we make out the powerful, recognizable voice of Ilja FALIKOV, free soaring intonation of Vera ZUBAREVA, memorizable laconism of Nata SUCHKOVA, philosophical lyricism of Alexander ZORIN and meditations of Vladimir ERMAKOV.

Alexander and Ekaterina NIKULINS. Moscow: from «Big Village» to «Mega-countryside»

The authors are examining the alloy of urban and rural features in the character of the Russian capital and come to the conclusion that Moscow is turning into a giant laboratory where various experiments of symbiotic coexistence of town and village are being carried out.

Efim BERSHIN. *Non-Euclidean Space*

«I know not only the authors and the addressees of these letters I know the addresses, — asserts Efim Bershin. — By the way Inna Lisnyanskaya did have the address though for a long time it wasn't some permanent postal address. Her address was — Russia. Or any place where they speak and write Russian. And she always was sending her letters somewhere over the roofs. Poets just can't do it other way.» Presentation of the will-be volume of correspondence between Inna Lisnyanskaya and her daughter Elena Makarova — in our critical section.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»